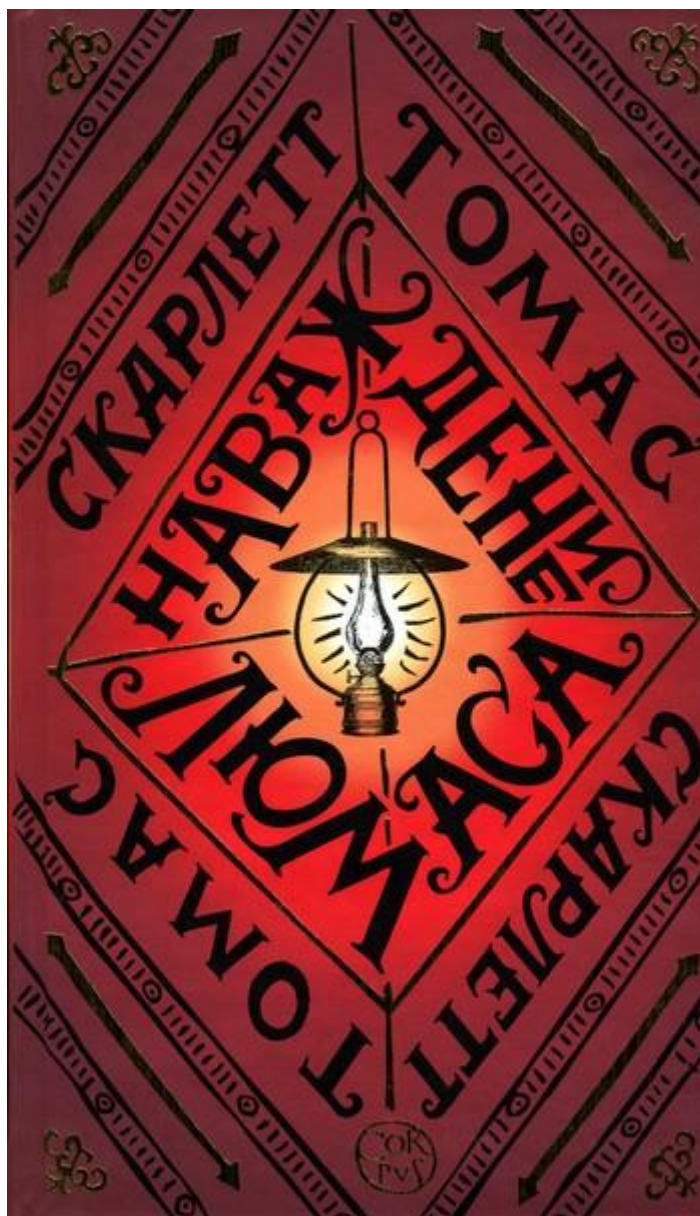


Скарлетт Томас Наваждение Люмаса



: Ronja_Rovardotter; OCR&SpellCheck: golma1 <http://lib.rus.ec>
«Наваждение Люмаса»: Астрель, CORPUS; Москва; 2010
ISBN 978-5-271-30929-8

Аннотация

Молодая аспирантка Эриел Манто обожает старинные книги. Однажды, заглянув в неприметную букинистическую лавку, она обнаруживает настоящее сокровище — сочинение полускандального ученого викторианской эпохи Томаса Люмаса, где описан секрет проникновения в иную реальность. Путешествия во времени, телепатия, прозрение будущего — возможно все, если знаешь рецепт. Эриел выкладывает за драгоценный том все свои деньги, не подозревая, что обладание раритетом не только подвергнет ее искушению испробовать методы Люмаса на себе, но и вызовет к ней пристальный интерес со стороны весьма опасных личностей. Девушку, однако, предупреждали, что над книгой тяготеет проклятие...

Свой первый роман английская писательница Скарлетт Томас опубликовала в двадцать шесть лет. Год спустя она с шумным успехом выпустила еще два, и газета

Independent on Sunday включила ее в престижный список двадцати лучших молодых авторов. Из восьми остросюжетных романов Скарлетт Томас особенно высоко публика и критика оценили «Наваждение Люмаса».

Посвящается Кузу Венну





Со всем чистосердечием и готовностью Запад принял систему репрезентаций, уверовал, что знак может отсылать к глубинному смыслу, что знак может смысл заменять и что существует нечто, служащее гарантом такого обмена, — Бог, разумеется. Но что, если самого Бога можно симулировать, то есть свести к знакам, составляющим веру? В таком случае вся система переходит в состояние невесомости, становится не чем иным, как гигантским симулякром — не ирреальной, но симулякром, то есть уже не может обмениваться на реальное, а обменивается лишь внутри себя в непрерывном цикле, не имеющем отношения ни к чему в реальности.

Жан Бодрийяр

Существует даже возможность, что сущее кажет себя как то,

*что оно в самом себе не есть.*¹
Мартин Хайдеггер

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Ничто не бывает хорошим или дурным — таковым его делает мысль, и только мысль способна на это.

Сэмюэл Батлер

Глава первая

У ВАС ЕСТЬ ОДНА ВОЗМОЖНОСТЬ.

У вас... Я сидела на подоконнике у себя в кабинете, тайком курила и, напрягая глаза в тусклом зимнем свете, пыталась читать «Маргинс». Вдруг раздался шум, какого я никогда раньше не слышала. Ну хорошо, хорошо, шум вроде этого — треск и грохот — я, может, и слышала, но на сей раз он доносился откуда-то снизу, а это ненормально. Подо мной ничего нет: я работаю на первом этаже. И все же землю трясет — так, словно что-то рвется из нее наружу. Мне почему-то представилось, как чьи-то матери вытряхивают покрывала, а может быть, сам Бог вытряхивает полотно пространства и времени; и тут меня осенило: черт, да это же землетрясение! — я бросила сигарету и выбежала из комнаты, и почти в ту же секунду раздался вой сирены.

Обычно, когда включают сигнал тревоги, я не спешу выбегать из кабинета. Да и никто не спешит. Ведь в большинстве случаев сирена — не более чем пустой звук, учебная тревога... Добежав почти до самых дверей запасного выхода, я обнаружила, что тряска прекратилась. Вернуться обратно в кабинет? Но когда гудит сирена, находиться в здании невозможно: вой такой пронзительный, что кажется, будто он раздается прямо у тебя в голове. Я все-таки двинулась к выходу — мимо доски объявлений службы здоровья и безопасности, на которой висят фотографии людей с разными травмами. На ходу рассмотреть их никогда толком не удастся, но краем глаза замечаешь бедолагу, у которого болит спина, да к тому же прихватило сердце, и голограммные человечки пытаются его оживить. В прошлом году меня записали на занятия по оказанию первой помощи, но я на них так и не пошла.

Я открыла дверь и увидела, как из здания Рассела вываливаются люди и несутся — некоторые бегом — мимо нашего корпуса, вверх по бетонной лестнице, в сторону здания Ньютона и библиотеки. Я обогнула правое крыло и тоже побежала по лестнице, перемахивая через две ступеньки. Небо серое, с тонкой, похожей на телевизионные помехи изморосью, которая замерла в воздухе, словно в стоп-кадре. В январские дни вроде этого солнце опускается совсем низко и висит на небе, как одетый в оранжевое Будда из документальной программы о смысле жизни. В этот день солнца не было. Подойдя вплотную к собравшейся толпе, я остановилась. Все смотрели в одну сторону, тяжело переводили дыхание и отпускали шуточки по поводу происходящего.

Они смотрели на здание Ньютона.

Здание падало.

Мне вспомнилась игрушка — кажется, я видела такую у кого-то на столе? — деревянная лошадка, а внизу — большая кнопка. Когда нажимаешь на кнопку, у лошадки

¹ Перевод В. Бибихина. (Здесь и далее — прим. перев.)

подгибаются колени и она вся как-то обваливается. Вот так выглядело сейчас здание Ньютона. Оно уходило под землю, но не все целиком, а по частям: один угол уже скрылся из виду, на очереди — второй, а за ним... Но на этом здание, последний раз скрипнув, замерло. Окно на третьем этаже распахнулось, из него вывалился монитор от компьютера и разбился об остатки бетонного двора там, где раньше был вход. К искореженному двору медленно приближались четверо мужчин в касках и флуоресцентных куртках, потом к ним присоединился еще один — он что-то сказал, и они все вместе ушли.

Рядом со мной стояли двое мужчин в серых костюмах.

— Дежавю, — сказал один другому.

Я огляделась по сторонам в поисках кого-нибудь знакомого. Мэри Робинсон, руководитель нашего отделения, разговаривала с Лизой Хоббс. А больше из наших, пожалуй, никого и не было. Правда, чуть поодаль стоял Макс Труман и курил самокрутку. Он-то уж точно знает, что тут творится.

— Привет, Эриел, — пробубнил он себе под нос, когда я подошла ближе.

Он всегда вот так бубнит — не робко, а с таким видом, будто сообщает, во сколько обойдется заказать твоего злейшего врага или подстроить результаты скачек. Интересно, я ему вообще нравлюсь? По-моему, он мне не доверяет. Да и с чего бы? Я — молодая, на кафедре недавно и, наверное, производжу впечатление человека с амбициями, хотя на самом деле у меня их нет. Зато есть длинные рыжие волосы, и люди говорят, что побаиваются меня (из-за волос? или из-за чего-то другого?). А те, кого моя внешность не отпугивает, говорят, что я «хитрая» и «непростая». Однажды у меня был сосед, который утверждал, что не хотел бы оказаться наедине со мной на необитаемом острове, но не объяснил почему.

— Привет, Макс, — сказала я и прибавила: — Ничего себе.

— А, так ты еще не знаешь про туннель?

Я помотала головой.

— Тут под землей проходит железнодорожный туннель. — Макс указал глазами, где именно. Затянувшись самокруткой, он использовал ее в качестве указки. — Идет вон там под Расселом и здесь — под Ньютоном. Тянется — ну, или раньше тянулся — от центра города до самого берега. Им не пользовались уже лет сто. Уже второй раз обваливается — и Ньютон за собой тащит. Еще после первого раза надо было залить его бетоном.

Я посмотрела туда, куда указал Макс, и начала мысленно соединять прямыми линиями здания Ньютона и Рассела и представлять себе, что по этим линиям проходит туннель. С какого угла их ни соединяй, здания английского и американского факультетов попадали на линию.

— Ну, по крайней мере, никто не пострадал, — пробубнил Макс. — Техслужба еще утром заметила трещину в стене и всех эвакуировала.

Лиза вздрогнула.

— Просто невероятно, что все это происходит на самом деле! — воскликнула она, глядя на здание Ньютона. Серое небо стало еще серее, дождь усилился. Здание Ньютона с темными окнами выглядело очень нелепо — похоже на гигантский окурок, затушенный о землю.

— Да уж, — вздохнула я.

Еще несколько минут мы стояли и молча смотрели на здание, а потом появился человек с мегафоном, который велел нам всем немедленно расходиться по домам и сегодня в университет уже не возвращаться. У меня зашипало в носу. Искореженный бетон — это так грустно. Не знаю, как другие, но лично я не могла вот так просто взять и пойти домой. Ключи от квартиры у меня только одни, и они остались в кабинете — вместе с пальто, шарфом, перчатками, шапкой и рюкзаком.

У главного входа стоял охранник и никого в здание не пускал, поэтому я спустилась по лестнице к пожарному выходу. Мое имя на двери кабинета не значится — только имя его официального обитателя, моего научного руководителя, профессора Сола Берлема. До того как прийти сюда, я виделась с ним всего дважды: первый раз — на конференции в Гринвиче

и второй — на собеседовании, когда надумала сюда устроиться. Я не успела пробыть на факультете и недели, как он исчез. Просто однажды утром, в четверг, я пришла и заметила перемены. Ну, начать с того, что в кабинете оказались закрыты и жалюзи и занавески: жалюзи Берлем под конец рабочего дня всегда закрывал, но к кошмарным серым занавескам никто из нас никогда не притрагивался. А еще в комнате пахло табачным дымом. Я ждала его в то утро часам к десяти, но он так и не появился. Когда он не пришел и в следующий понедельник, я принялась расспрашивать народ, куда он подевался, но никто не мог мне ответить. В конце концов лекции в его группах стал читать другой преподаватель. Не знаю, обсуждают ли это на факультете (со мной-то уж точно не обсуждают), но, похоже, все тут считают, что я совершенно спокойно могу работать над диссертацией и без него — подумаешь, испарился. Ага, а ничего, что я вообще-то поступила сюда работать именно из-за него? Ведь он — единственный в мире человек, который всерьез занимался одной из моих излюбленных тем — творчеством писателя XIX века Томаса Э. Люмаса. Если здесь не будет Берлема, я не очень хорошо представляю, что мне тут делать. И чувствую себя как-то странно из-за того, что он вот так взял и пропал — не то чтобы мне его не хватало, нет, но просто как-то все это странно.

Я оставила машину на стоянке Ньютона. Когда я пришла туда, меня уже не удивляли мужчины в строительных касках, советующие автолюбителям забыть о своих тачках и добираться до дому пешком или на автобусе. Я попыталась было с ними поспорить и сказала, что с радостью рискну в надежде на то, что здание Ньютон не станет подниматься обратно, как на медленной видеоперемотке, чтобы упасть заново, но на этот раз в совершенно другом направлении. Мужчины, однако, ответили мне весьма грубо и предложили все-таки пойти домой пешком или сесть, как все остальные, на автобус — и в итоге я отчалила в направлении остановки. На дворе стояло самое начало января, но из-под земли уже пробились нарциссы и подснежники, которые тянулись влажными рядками вдоль тропинки. Автобусная остановка не сулила ничего хорошего: рядом с ней выстроились в очередь люди, на вид такие же хрупкие и замерзшие, как эти крошечные цветы, — и я приняла решение идти домой пешком.

Мне казалось, что отсюда до центра города есть короткая дорога через лес, но я не знала, где именно она проходит, поэтому старалась придерживаться маршрута, которым обычно выезжаю из университетского городка на машине. По пути я снова и снова прокручивала в голове картину рушащегося здания и в конце концов поймала себя на том, что начинаю вспоминать такие вещи, которые на самом деле не происходили. И приказала себе прекратить об этом думать. Зато начала размышлять о железнодорожном туннеле. Вообще-то понятно, для чего он мог понадобиться: университетский городок расположен на вершине холма, и логичнее было вести дорогу под ним, а не по нему. Макс сказал, что туннелем уже лет сто как не пользуются. Интересно, что было на этом холме сто лет назад? Уж точно не университет — его построили в 1960-х. Но как же холодно! Наверное, все-таки стоило дожждаться автобуса. Впрочем, пока я шла, меня не обогнал ни один. Добравшись до шоссе, я уже не чувствовала пальцев под перчатками и начала заглядывать в переулки справа от дороги — может, все-таки получится срезать. При въезде в первый висел знак «Проезд запрещен», частично заляпанный птичьим пометом, зато второй выглядел многообещающе: ряд домиков из красного кирпича уходил немного влево, и я свернула туда.

Сначала мне показалось, что на этой улице стоят одни только жилые дома, но вскоре постройки из красного кирпича закончились, и за ними обнаружился небольшой сквер, в котором под тенистым навесом из запутанных, но совершенно голых дубовых ветвей ржавела пара детских качелей и горка. За сквером — паб, а за ним — несколько магазинов. Благотворительный секонд-хенд (уже закрыт), за ним — парикмахерская, из тех, где старушкам красят волосы в голубой цвет, а по понедельникам предоставляют услуги за полцены. Дальше — журнальный киоск и ломбард, а за ним — ага! — букинистическая лавка. Еще открыта. Я страшно замерзла. Открыла дверь и вошла.

В магазине было тепло и стоял слабый запах мебельного лака. На двери висел колокольчик, не меньше трех секунд оповещавший о моем появлении, и вскоре из-за книжных полок появилась девушка с банкой лака и желтой тряпкой в руках. Она улыбнулась и сказала, что магазин минут через десять закрывается, но пока я еще могу посмотреть. Затем она уселась за прилавок и принялась вносить в компьютер какие-то данные.

— У вас есть компьютерный каталог всех ваших книг? — удивилась я.

Она перестала печатать и оторвалась от монитора:

— Да, есть, но я не умею им пользоваться. Я сегодня просто подменяю подругу, извините.

— А, ясно.

— А что вы хотели найти? — спросила она.

— Да не важно.

— Нет-нет, скажите, может, я как раз пыль стирала с нужной книги!

— Ммм... Хорошо. Знаете, есть такой писатель — Томас Э. Люмас... Может, у вас есть что-нибудь? — Я задаю этот вопрос во всех букинистических магазинах. Обычно у них ничего не обнаруживается, да и к тому же у меня есть уже почти все его книги, но я продолжаю спрашивать — на всякий случай. Все надеюсь отыскать менее потрепанный экземпляр или более раннее издание. Или, может, что-нибудь с другим предисловием или с обложкой почище.

— Хм... — Девушка задумчиво потерла рукой лоб. — Вроде бы знакомое имя...

— Может, вам попадалось название «Яблоня в саду»? Это его самое известное произведение. Остальные типографским способом не издавались. Он писал во второй половине XIX века, но так толком и не прославился, хотя заслуживал этого как никто...

— «Яблоня в саду»... Нет, какое-то другое название. А ну-ка, постойте. — Она подошла к книжному шкафу в глубине лавки. — Л, Лю, Люмас... Нет, ничего. Даже не представляю, в каком разделе искать. Это что-то художественное?

— Некоторые вещи — да. Но еще у него есть книга о мысленных экспериментах, есть поэтические сборники, трактат о государственном управлении, несколько научных работ и произведение под названием «Наваждение» — один из самых редких его романов...

— «Наваждение»! — Глаза ее радостно заблестели. — Точно! Подождите.

Девушка поднялась по лестнице на второй этаж быстрее, чем я успела предупредить ее, что она наверняка ошибается. Невозможно представить себе, чтобы где-то там наверху и в самом деле находился экземпляр этой книги. Я бы, пожалуй, отдала все, что у меня есть, ради того, чтобы завладеть таким сокровищем. «Наваждение» — последнее и самое загадочное творение Люмаса. Не знаю уж, с чем она могла его перепутать, но было бы полнейшим абсурдом полагать, что эта книга действительно здесь есть. Ее нет ни у кого. Один экземпляр находится в банковском хранилище в Германии, но ни в одной библиотеке эта книга не числится. У меня было подозрение, что Сол Берлем, возможно, видел ее, но и в этом я сильно сомневалась. «Наваждение» считают проклятой книгой, и хотя лично я ни во что такое не верю, некоторые полагают, что всякий, кто ее прочитает, вскоре умрет.

— Ну да, вот она, — сказала девушка, спускаясь по ступенькам с небольшой картонной коробкой в руках. — Вот это вы ищете?

Она поставила коробку на прилавок.

Я заглянула внутрь. У меня перехватило дыхание. Да, она была здесь — маленькая книжка в твердой обложке, отделанной тканью кремового цвета и с коричневыми буквами на лицевой и обратной стороне. Суперобложка потерялась, но в остальном качество почти идеальное. Но только этого ведь не может быть. Я открыла первую страницу и увидела титульный лист и подробности издания. Черт! Да, это оно — «Наваждение». И что мне теперь делать?

— А сколько стоит? — спросила я, едва дыша от волнения.

— О, с этим проблема, — ответила девушка и повертела в руках коробку. — Насколько я знаю, такие коробки присылают с аукциона из города, и раз она стояла наверху, значит,

цена пока не назначена. Наверное, мне ее вам и показывать не следовало... Может, зайдете завтра, когда хозяйка здесь будет?

— Ой, нет, знаете... — начала я.

Мой мозг заработал с космической скоростью. Может, сказать ей, что я живу далеко отсюда, и попросить позвонить хозяйке прямо сейчас? Нет. Хозяйка точно еще не знает, что книга здесь. Нельзя рисковать: узнай она об этом, ни за что не продаст мне такую редкость — ну, или заломит за нее тысячи фунтов. Что же делать? Как заставить девушку продать мне книгу? Время шло. Она уже бралась за телефонную трубку.

— Позвоню подруге, — сказала она. — И спрошу, как быть.

Пока девушка набирала номер, я заглянула в коробку. Невероятно, но здесь были и другие книги Люмаса, а вместе с ними — несколько переводов Деррида, которых у меня не было, и еще что-то, сильно смахивающее на первое издание «Эврики» Эдгара Аллана По. Как все эти книги оказались в одной коробке? Невозможно представить себе, чтобы кому-нибудь пришло в голову объединить их, если только он не пишет диссертацию на тему вроде моей. Неужели кто-то и в самом деле изучает то же самое, что и я? Маловероятно — особенно если учесть, что этот кто-то отдал всю подборку книг в букинистическую лавку. Да и кто вообще станет отдавать такое богатство? Здесь пахнет Божьим промыслом — такое ощущение, словно кто-то сложил все эти книги в одну коробку специально для меня.

— Ну да, — сказала девушка в трубку. — Такая небольшая коробка. На втором этаже. Ага, из тех, что стояли в туалете. Ну... Туг, похоже, вперемешку и старые и новые. На некоторых из старых даже плесень... По-моему, в основном в мягких обложках... — Она вынула из коробки пару книг Деррида. Я кивнула. — Ну да, я же говорю, всего понамешано. А, да? Отлично. Пятьдесят? Серьезно? Не многовато? Ладно, я спрошу. Ага, хорошо, спасибо. Пока.

Она положила трубку и улыбнулась.

— Ну вот, — сказала она. — Одна новость хорошая, другая плохая. Хорошая — если хотите, можете забрать всю коробку, а плохая — я не могу продавать их по отдельности, так что, получается, надо брать все или ничего. Сэм говорит, что сама притащила эту коробку с аукциона, и хозяйка ее еще даже не видела. Но она все равно говорила, что в лавке больше нет свободных полок для новых книг, так что... А еще одна плохая новость — то, что вся коробка стоит пятьдесят фунтов. В общем, смотрите...

— Я возьму, — сказала я.

— Серьезно? Отдадите такую кучу денег за коробку книг? — Она улыбнулась и пожала плечами. — Ну, как знаете. В таком случае с вас пятьдесят фунтов.

Дрожащими руками я достала из сумки кошелек, вынула из него три смятые десятифунтовые банкноты и одну двадчатку и протянула их девушке. Я не дала себе времени подумать о том, что это практически все деньги, которые у меня остались, и что следующие три недели мне не на что будет покупать себе еду. Меня вообще сейчас во всем белом свете волновала только одна вещь: выйти из магазина с «Наваждением» прежде, чем кто-нибудь опомнится и попытается меня остановить. Сердце колотилось с невообразимой скоростью. Не хватало еще грохнуться и умереть на месте до того, как я успею прочитать хоть строчку из этой книги! Черт, черт, черт.

— Отлично, спасибо. Уж извините, что так дорого, — сказала мне девушка.

— Ничего страшного, — выдавила я в ответ. — Многое из этого пригодится мне для диссертации.

Я положила «Наваждение» в рюкзак — так надежнее, подхватила коробку, вышла из магазина и, прижимая коробку с книгами к груди, в темноте двинулась в сторону дома. Я жмурилась от холода и едва ли отдавала себе отчет в том, что со мной только что произошло.

Глава вторая

До дому я добралась только к половине шестого. Большинство магазинов на нашей

улице уже закрывались, но газетный павильон напротив уютно светился: люди заходили сюда по дороге с работы за газетой или пачкой сигарет. В пиццерии, над которой располагалась моя квартира, было еще темно, но ее владелец Луиджи наверняка уже сутился где-то здесь — делал все, что положено, чтобы ресторан открылся ровно в семь. В соседнем магазине карнавальных костюмов было темно, а вот из окон кафе «Парадиз» на втором этаже лился мягкий свет — они работают до шести утра. За магазинами медленно гроыхала по старым расшатанным колеям электричка, а на переезде в конце дороги мигали огни.

В бетонном коридоре, ведущем к моей лестнице, было, как обычно, холодно и темно. Велосипеда на месте не было — значит, Вольфганг, мой сосед, еще не вернулся. Не представляю, как он там согревается у себя в квартире (впрочем, подозреваю, что его выручает огромное количество сливовицы, которое он выпивает), но лично для меня холод — это сущее бедствие. Понятия не имею, когда были построены наши с ним квартиры, но они обе чересчур большие, с высокими потолками и длинными, отзывающимися эхом коридорами. Центральное отопление пришлось бы здесь как нельзя более кстати, но хозяин не желает его устанавливать. Прежде чем снять пальто, я поставила коробку с книгами и рюкзак на большой дубовый стол в кухне, включила свет, проволочка через всю прихожую электрический камин из спальни, воткнула его в розетку и дождалась, пока металлические пружинки тускло (мне всегда кажется, с каким-то стыдливым видом) зарделись. Потом зажгла газовую печь и включила все конфорки на плите. Закрыла кухонную дверь — и только после этого сняла с себя верхнюю одежду.

Я дрожала, но не только от холода. Осторожно вынув из сумки «Наваждение», положила книгу на стол. И мне вдруг показалось, что не годится сидеть вот так, рядом с коробкой, полной других книг, и кофейной чашкой, оставшейся на столе с завтрака. Я переставила коробку и убрала чашку в раковину. Теперь рядом с книгой больше ничего не было. Я подняла ее со стола и провела рукой по обложке, ощущая пальцами прохладу кремового тканого переплета. Затем перевернула книгу и прикоснулась к задней части переплета — как будто бы она могла сильно отличаться от передней. Снова положила ее на стол и услышала, как пульс принялся отбивать послания азбукой Морзе. Насыпала в маленькую кофеварку кофе и поставила ее на одну из уже нагретых конфорок, после чего налила себе полстакана сливовицы, подаренной Вольфгангом, и в два глотка ее опрокинула.

Пока варился кофе, я проверила мышеловки. И у меня и у Вольфганга в квартирах есть мыши. Он все время говорит, что надо бы завести кошку, а я вот ставлю мышеловки. Они не убивают мышей — просто удерживают в продолговатом пластмассовом контейнере до тех пор, пока я их не обнаружу и не выпущу. Подозреваю, что проку от такой системы ни на грош: я выношу мышей из квартиры, и они немедленно возвращаются обратно, но что поделаешь, убивать их я не могу. В этот день попались три мышки, вид у них был невеселый — похоже, им порядком осточертело сидеть в своих тюремных камерах с прозрачными стенами. Я отнесла мышеловки вниз и выпустила мышей во двор. Никогда бы не подумала, что буду возражать против грызунов в доме, но они и в самом деле съедают все подчистую, а одна из них как-то раз пробежала мне по лицу, когда я лежала в постели.

Вернувшись наверх, я достала из шкафчика четыре крупные картофелины, быстро их вымыла, посолила и поставила запекать на медленном огне в духовку. Пожалуй, ни на какую более серьезную готовку я сейчас не способна — да и есть не очень-то хотелось. Диван у меня стоит на кухне, поскольку нет никакого смысла держать его в пустой гостиной, где нет отопления. Воздух в комнате начал согреваться и наполнился запахом печеной картошки, и я наконец сняла кроссовки и свернулась клубочком с чашкой кофе, пачкой женшеневых сигарет и «Наваждением». Затем я прочла первую строчку предисловия — сначала про себя, потом вслух, — а мимо снова с грохотом пронесся поезд: «Данное повествование может показаться читателю сущей выдумкой или сном, записанным сразу после пробуждения — в те лихорадочные мгновения, когда человек еще находится под гипнотическим действием колдовских фокусов, что начинают твориться в его голове, стоит ему закрыть глаза».

Я не умерла. Но, если честно, я этого и не ждала. Да и вообще, как может книга быть проклятой? Сами по себе эти слова (которые я не сразу как следует поняла) кажутся чудом. То, что они по-прежнему здесь, до сих пор существуют, напечатанные черной краской на грубо обрезанных страницах, желтых от старости, — вот что по-настоящему удивительно. Невозможно и представить себе, сколько рук прикасалось к этой странице и сколько глаз на нее смотрело. Книга была опубликована в 1893 году, и что же дальше? Читал ли ее вообще хоть кто-нибудь? К тому моменту, когда вышло «Наваждение», Люмас был уже прочно забыт. Слава пришла к нему ненадолго — в 1860-е, тогда люди знали его имя, но вскоре потеряли к нему всякий интерес и решили, что он не то чокнутый, не то просто большой чудак. Однажды Люмас появился в Йоркшире, где Чарльз Дарвин проходил то, что сам называл «лечением водой», грубо отозвался о казарках, после чего ударил Дарвина в лицо. Это было в 1859 году. Дальше он, насколько я знаю, увлекся совсем уж странными эзотерическими затеями — посещал медиумов, изучал паранормальные явления и стал попечителем Королевской гомеопатической клиники Лондона. Начиная примерно с 1880 года он, по всей видимости, вовсе перестал печататься. Затем написал «Наваждение» и умер на следующий день после того, как книга была опубликована, — кстати сказать, все, кто сыграл какую-либо роль в ее выпуске (издатель, редактор, наборщик) к этому времени тоже умерли. Отсюда и пошли разговоры о проклятии.

Но, возможно, были и другие причины для того, чтобы называть книгу проклятой. Люмас был изгоем. Биолога-эволюциониста Ламарка (который утверждал, что организмы передают по наследству приобретенные качества) он безоговорочно предпочитал Дарвину (утверждавшему, что не передают), хотя даже такие люди, как Сэмюэл Батлер, прозванный «величайшим баламутом девятнадцатого столетия», начинали приходить к мысли, что все мы вообще-то «дарвиновы мутанты». Он писал письма в «Таймс», критикуя не только своих современников, но и каждую сколько-нибудь значительную фигуру в истории философской мысли, включая Аристотеля и Бэкона. Люмаса чрезвычайно интересовало существование четвертого пространственного измерения, и он писал об этом всевозможные неправдоподобные рассказы, чем приводил в бешенство окружающих, решительно не веривших ни в какие дополнительные измерения. На их нападки он отвечал: «Да ведь это всего лишь выдуманные истории!» — но все прекрасно понимали, что, прикрываясь художественным вымыслом, на самом деле с помощью этих самых «историй» он выражает свои философские воззрения. Большинство его идей касались природы мысли, в особенности — мысли научной, и свои художественные рассказы он называл «экспериментами сознания».

В одном из его самых интересных рассказов, который называется «Синяя комната», двое философов приезжают в богатый особняк на званый вечер. Собравшись сыграть с хозяином в бильярд, они никак не могут найти бильярдную и, окончательно заблудившись, попадают в синюю комнату в «нехорошем» крыле дома. В этой комнате две двери, одна в северной стене, другая — в южной, а в середине — винтовая лестница. Один из философов предлагает подняться по лестнице, но второй полагает, что лучше выйти из комнаты через одну из дверей. Они все спорят и никак не могут договориться и в итоге принимают решение рассуждать о призраках. Один утверждает, что, поскольку никаких призраков не бывает, бояться им нечего. Второй соглашается, что бояться им нечего: он никогда в жизни не видел призрака, а значит, призраков не существует. Довольные результатом беседы, философы выходят из комнаты через ту дверь, в которую вошли, и пытаются вернуться к гостям. Однако обнаруживается, что синее крыло дома устроено странным образом: выйдя из комнаты, они попадают в коридор, который ведет к винтовой лестнице, а спустившись по ней, снова оказываются в синей комнате. Они пробуют другую дверь — та же история. Поднимаются по лестнице — видят всего лишь одну из дверей. Куда бы они ни пошли — снова оказываются в синей комнате.

Несколько научных работ посвящено Люмасу как исторической фигуре, еще десяток — его роману «Яблоня в саду». Никто никогда не писал его биографии. В 1990-х двое калифорнийских исследователей-геев пытались причислить Люмаса или хотя бы его

журналы к гомоэротической культуре, поскольку писатель, помимо прочего, оставил и несколько незаконченных сонетов на тему любви между некоторыми шекспировскими персонажами мужского пола. Не знаю, чем закончилась история с голубыми филологами. Возможно, они утратили интерес к Люмасу. С большинством людей именно так и происходит. Насколько мне известно, о «Наваждении» не написано почти ничего. А все, что написано, принадлежит перу Сола Берлема.

Полтора месяца назад «Проклятие Люмаса» стало темой доклада Берлема на конференции в Гринвиче — он выступал перед аудиторией из четырех человек, включая меня. Берлем тогда еще не читал «Наваждение» и говорил в основном о том, что, возможно, вся эта история с проклятием — выдумка. У него был грубый, как наждачная бумага, голос, и еще он немного сутулился, но это отчего-то совсем не вызывало антипатии. Он говорил о понятии проклятия как о каком-нибудь вирусе и рассуждал о произведении Люмаса так, будто бы это организм, зараженный какой-то дрянью и, возможно, обреченный на гибель. Он говорил о том, что забвение губительно для информации, и завершил свою речь выводом о том, что книга Люмаса и в самом деле несет бремя проклятия — но не в сверхъестественном, а в самом обыденном смысле слова: ее проклинали люди, не пожелавшие мириться с его славой.

После доклада в Картинном зале был прием. Народу собралась целая толпа: какой-то известный ученый делал доклад одновременно с Берлемом и теперь принимал восторги слушателей в большом Нижнем зале, под портретом Коперника. Сначала я собиралась пойти на его доклад, но теперь радовалась, что выбрала Берлема. Остальные его слушатели — двое мужчин, чем-то похожих на налоговых инспекторов, если не считать их белобрых голов, и женщина лет шестидесяти с розовой сединой — удалились сразу после доклада, и в итоге мы с Берлемом, забившись в угол Верхнего зала, на пару набросились на красное вино и быстро напились. На Берлеме поверх черных брюк и рубашки было серое шерстяное полупальто, а что было на мне, я не помню.

— Ну а вы сами стали бы его читать? — спросила я, имея в виду, конечно, «Наваждение».

— Конечно, — ответил он, улыбнувшись своей странной улыбкой. — А вы?

— Несомненно. Особенно после вашего доклада.

— Хорошо, — сказал он.

Похоже, Берлем не был знаком ни с кем в Нижнем зале, ну и я тоже. Ни он, ни я не предпринимали попыток покинуть свой угол и смешаться с толпой: я не очень-то сильна в светской беседе и ненароком легко могу кого-нибудь обидеть. Почему не уходил Берлем, я не знаю, — возможно, его я просто еще не успела оскорбить. В этом Картинном зале я казалась себе частью огромной конфетной коробки — коричневые, кремовые, золотые и красные цвета огромных картин будто таяли вокруг меня. А мы с Берлемом были твердой начинкой, которая никого не интересует. За все время, что мы там пробыли, в Верхний зал так никто и не заглянул.

— Просто невероятно, что на ваш доклад пришло так мало народу, — сказала я.

— Никто не знает о существовании Люмаса, — сказал он. — Я уже привык.

— К тому же вам пришлось соперничать с мистером Знаменитостью, — предположила я.

Берлем улыбнулся:

— Джим Лахири. Думаю, он тоже никогда не слышал о Люмасае.

— Наверняка, — согласилась я. Я читала самую известную научно-популярную книгу Лахири о конце времен и не сомневалась, что, даже зная он о Люмасае, наверняка не одобрил бы его. В научно-популярной литературе сейчас чего только не пишут, но сверхъестественные явления по-прежнему остаются закрытой темой — как и Ламарк. Подходов может быть бесчисленное множество, но ни в одном из них нет места призракам или телепатии — ничему такому, что противоречило бы Чарльзу Дарвину или пленило бы Гитлера (за исключением Чарльза Дарвина).

Берлем поднял бутылку вина, наполнил наши бокалы и посмотрел на меня, наморщив лоб:

— А вы здесь почему? Студентка? Если вы изучаете Люмаса, я наверняка о вас слышал.

— Нет, я не изучаю Люмаса, — ответила я. — Я пишу небольшие заметки для журнала под названием «Дым». Вряд ли вы знаете о его существовании. Возможно, я и про Люмаса напишу после вашего доклада, но я бы не рискнула назвать это изучением — ну, во всяком случае, не в том смысле, какой вы имели в виду. — Я замолчала, но Берлем ничего не ответил, поэтому я продолжила: — О нем все равно будет очень интересно написать, пускай и в небольшой заметке. Его вещи просто неотразимы. Ну, в смысле, даже если не брать во внимание все эти загадки и проклятия, все равно он удивительный автор.

— Да, это правда, — согласился Берлем. — Поэтому-то я и пишу его биографию.

Произнеся слово «биография», он посмотрел сначала себе под ноги, а затем — вверх, на раскрашенный потолок. Должно быть, вид у меня был озадаченный, — взглянув на меня, он улыбнулся какой-то кривой, извиняющейся улыбкой.

— Ненавижу биографии, — сказал он.

— Зачем же тогда вы ее пишете? — засмеялась я.

Он пожал плечами:

— Люмас меня зацепил. Похоже, единственная возможность писать о его текстах — это написать его биографию. Может быть, люди даже станут ее покупать. Сейчас модно раскапывать эксцентриков девятнадцатого века — возможно, я на этом заработаю. Факультету не помешают деньги. Да и мне они тоже не помешают, чего уж там.

— Факультету?

— Английской и американской литературы. — И он назвал университет.

— Вы уже приступили? — спросила я.

Он кивнул:

— Да. К сожалению, пока я могу быть уверен лишь в одной биографической детали.

— Прямой в нос? — предположила я, вспомнив Дарвина и отчего-то представив себе грохот, с которым тот свалился от удара Люмаса.

— Нет. — Берлем снова посмотрел на потолок. — Вы не читали Сэмюэла Батлера?

— Читала, — кивнула я. — Да, точно, ведь благодаря ему я и начала читать Люмаса. Батлер ссылается на него в своих «Записках».

— Вы читали «Записки» Батлера?

— Да, мне нравится вся эта история о сахарных Гамлетах.

Если честно, в Батлере мне нравится то же самое, что и в Люмаса, — положение человека, объявленного вне закона, и его блистательные идеи. Излюбленным коньком Батлера было сознание, он полагал, что, поскольку мы эволюционировали из субстанции растительного происхождения, наше сознание, должно быть, в какой-то момент возникло буквально из ничего. А если мы появились вот так — откуда ни возьмись, го почему бы и машинам было не появиться так же? Я читала об этом буквально пару недель назад.

— Сахарных Гамлетах? — переспросил Берлем.

— Ага. В Лондоне продавались такие конфеты. Фигурки Гамлета, который держит в руке череп, а сверху — сахарная глазурь. Классно?

Берлем засмеялся:

— Думаю, Батлер был в полном восторге.

— Вот-вот! Поэтому-то он мне и нравится. У него замечательное чувство абсурдного.

— В таком случае вы, должно быть, в курсе сплетен, которые ходили о нем и Люмаса?

— Нет. Что это еще за сплетни?

— Что они были любовниками. Ну, или, по крайней мере, Люмас был без ума от Батлера.

— Понятия не имела, — ответила я. А потом улыбнулась: — Это важная подробность?

— Скорее всего, нет. Но она ведет к биографической детали, которая кажется мне

крайне интересной.

— К какой же?

— Вы не читали книгу «Она написала „Одиссею“»?

— Нет. — Я помотала головой. — Постойте-ка... Она?!

— Обязательно почитайте. В ней Батлер доказывает, что автором «Одиссеи» была женщина. Черт, это гениально! — Берлем провел руками по волосам и продолжил: — Батлер приложил к книге свой собственный перевод «Одиссеи» с кое-какими черно-белыми иллюстрациями — его собственными фотографиями старинных монет и пейзажей, имеющих отношение к «Одиссее». Один из снимков вроде как показывает бухту, из которой отправился в свое путешествие Улисс, но на заднем плане прогуливается мужчина с собакой. Во введении Батлер рассыпается в извинениях перед читателем за это досадное недоразумение и говорит, что человек с собакой появились на снимке уже после того, как он проявил негативы, а вообще-то их там быть не должно.

— Ого, — сказала я, не вполне понимая, к чему он клонит. — И...

— Человек на снимке — Люмас. Я в этом несколько не сомневаюсь.

— Почему вы так думаете?

— Не знаю. Я даже не знаю, ездили ли они туда вместе. Но то, что человек появляется на фотографии, где сначала его не было... Фигура видна не настолько хорошо, чтобы точно разобрать, кто это, но... Что, если это Люмас? Или даже его дух — но еще до того, как он умер? Возможно, я выпил лишнего. Простите. Но у Люмаса действительно была собака по кличке Эразм.

Тут Берлем странно потряс головой — как будто вытряхивая воду из уха. Он нахмурился, словно обдумывая трудный вопрос, а потом соорудил новую гримасу, которая означала, что, возможно, обдумывать тут особенно и нечего. Затем он поднял одну бровь, улыбнулся, подошел к столу и взял еще одну бутылку вина. Пока он отвлекся на все это, я рассматривала грандиозную картину, написанную на противоположной стене. На ней кто-то вроде царя спускался с небес на лестницу, застеленную дорожкой невнятного красного цвета. Лестница казалась скорее частью комнаты, нежели картины, и можно было подумать, будто персонажи картины по этим ступенькам выходят в реальность — в настоящее.

— От Люмаса можно немного двинуться умом, — сказал он, вернувшись.

— Но мысль с фотографией действительно интересная, — сказала я. — Похоже на этот его рассказ, «Дагерротип».

— Вы его читали?

Я кивнула:

— Да. Думаю, это мой любимый.

— Черт возьми, где вы его взяли?

— Купила на eBay. Он был в сборнике. У меня есть почти все книги Люмаса, кроме «Наваждения». Мне многое попадалось на букинистических сайтах.

— И все это — ради статьи в журнале?

— Ну да. Я всегда подхожу к этому очень серьезно. Могу целый месяц жить и дышать, скажем, Сэмюэлом Батлером. А потом у него могу встретить ссылку на что-то еще, и уже это станет моей новой темой. Моя колонка называется «Свободные ассоциации». Я начала около трех лет назад с темы Большого взрыва.

Берлем засмеялся:

— И какую же следующую тему он вам подсказал?

— Свойства водорода, скорость света, теория относительности, квантовая механика, теория вероятности, кошка Шрёдингера, волновая функция, свет, эфир — эта тема мне особенно нравится, — эксперимент, парадокс...

— Так вы — ученый? Вы во всем этом разбираетесь?

Я засмеялась:

— Да нет, что вы! Совсем не разбираюсь. Даже обидно. Наверное, мне просто не следовало начинать с Большого взрыва, потому что стоит его затронуть, как получаешь вот

это все. В какой-то момент тема искусственного разума привела меня к Батлеру, а уж от него мне достался Люмас. Пока я работаю над ним, приходится думать об ассоциации, на которую наведет меня он, чтобы сразу заказать все книги. Возможно, мне захочется написать что-нибудь об истории фотографии — эта тема крутится в голове, когда читаешь «Дагерротип». А может, следующая колонка будет о четвертом измерении и книге Цельнера,² хотя это снова затянет меня в естествознание...

В «Дагерротипе» человек просыпается как-то утром и обнаруживает в парке через дорогу копию собственного дома, вокруг которого толпится народ. Откуда взялся этот дом? Люди начинают обвинять человека в том, что он совсем выжил из ума: это же надо — организовать за ночь постройку копии своего дома в парке напротив! Он пытается им доказать, что это невозможно. Ну, мыслимо ли построить целый дом за одну ночь? К тому же дом в парке не выглядит новым. Это — точная копия «реального» дома, вплоть до царапин на двери и пятен на дверном молотке. Единственное отличие дома в парке — то, что ключ от настоящего дома не подходит к замку «копии», а его замочная скважина как будто бы чем-то загорожена. Человек сначала пытается не обращать внимания на дом в парке, но тот в скором времени полностью завладевает его мыслями, так что он чувствует необходимость разобраться, откуда дом взялся. Из-за этого он теряет работу в школе, а его невеста убегает с другим. В дело вмешиваются даже полицейские, которые обвиняют героя в самых разных преступлениях. У дома есть еще и кое-какие странные свойства, и главное из них — то, что никто не может в него войти. Через окна можно видеть вещи, которые находятся внутри — стол, ваза с цветами, комод, фортепиано, — но выбить стекло или взломать дверь нельзя. Дом производит впечатление монолита: как будто бы внутри у него вообще нет пространства.

Однажды, когда герой рассказа уже окончательно охвачен безумием, появляется загадочный старик — он приходит в настоящий дом с коробкой, полной каких-то приборов. Он говорит, что слышал о его проблеме и, вероятнее всего, знает, что произошло. Он вынимает из коробки обитый бархатом футляр, говорит, что это дагерротип, и объясняет, как тот действует. Человеку не терпится узнать, к чему клонит старик. Все и без него знают, как действуют дагерротипы! Но тут его гость делает невероятное заявление. Раз люди, трехмерные существа, могут создавать двухмерные изображения окружающих нас предметов, не следует ли предположить, что четырехмерные существа могли сотворить что-то вроде своего собственного дагерротипа, который производил бы уже не плоские, двухмерные, а трехмерные копии вещей?

Человек рассержен и прогоняет фотографа, полагая, что появлению дома должно быть какое-то другое объяснение. Однако найти его он так и не может и со временем приходит к выводу, что его гость, похоже, был прав. Он находит визитную карточку загадочного посетителя и намеревается немедленно отправиться к нему. Горничная открывает ему дверь и проводит в гостиную, но там обнаруживается нечто очень странное. Фотограф вроде бы стоит посреди комнаты и держит в руках свой дагерротип, но это не настоящий человек, а всего лишь его безжизненная копия.

— Знаете, что мне нравится в «Дагерротипе»? — спросил Берлем.

— Что?

— Незавершенный финал. Мне нравится, что герой так и не находит ответа на свой вопрос.

До этого момента в Картинном зале не было музыки — только потрескивание голосов и смех, эхом разносящийся по просторным комнатам. Но кто-то, видимо, вспомнил, что на таком мероприятии полагается быть музыке, и в зал проникли первые тяжелые ноты «Dixit Dominus» Генделя, за которыми последовали голоса хора: «Dixit Dominus Domino meo, sede a dextris meis».

² Иоганн Карл Фридрих *Цельнер* (1834–1882) — немецкий астрофизик, изучавший оптические иллюзии.

— Значит, — сказал Берлем, повышая голос, чтобы перекрыть музыку, — вы работаете в этом журнале на полную ставку?

— Нет-нет. Только пишу колонку раз в месяц.

— И это все, чем вы занимаетесь?

— Пока да.

— И вам хватает на жизнь?

— Еле-еле. Дела у журнала идут хорошо — гонораров хватает на квартплату и несколько пакетов чечевицы каждый месяц. Ну и, конечно, на кое-какие книги.

Журнал начинался как совсем небольшое издание, и его редактором была моя университетская знакомая. Теперь же у него широкая сеть распространения — его раздают бесплатно в каждом крупном музыкальном магазине страны. У него теперь есть даже нормальный рекламный отдел и дизайнер, который делает макет, не пользуясь клеем.

— А чем вы занимались в университете? Насколько я понимаю, не точными науками?

— Нет. Английской литературой и философией. Но я всерьез подумываю о том, чтобы продолжить учебу и заняться естествознанием. Может, подам документы на физфак.

И я рассказала Берлему о том, что мне хотелось бы по-настоящему разбираться во всех этих относительностях и кошках Шрёдингера и что было бы здорово вернуть к жизни старый добрый эфир. Думаю, я выпила лишнего и поэтому еще довольно долго разливалась об эфире. Берлем был с ним знаком — оказывается, он читал в университетской магистратуре курс литературы и точных наук XIX века, — но я все равно продолжала плести что-то о том, как это потрясающе, что люди так долго не могли разобраться, почему свет способен перемещаться в вакууме, а звук — нет (колокол в вакууме виден, но его звона не слышно). В девятнадцатом столетии люди полагали, что свет движется сквозь нечто невидимое — так называемый эфир. В 1887 году Альберт Михельсон и Эдвард Морли решили доказать, что эфир действительно существует, но в конечном итоге вынуждены были признать, что его нет. Конечно, беседуя с Берлемом, я не могла назвать ни точной даты эксперимента, ни имен исследователей, но я точно помнила, как Михельсон говорил о потерянном предмете своего эксперимента как о «старом добром эфире, который отныне всеми заброшен, но лично я по-прежнему к нему привязан». Меня восхитило то, как поэтична, оказывается, теоретическая физика, а потом я начала рассуждать о том, как мне нравятся разные учебные заведения — особенно те, в которых есть большие библиотеки.

И тут Берлем меня перебил и сказал:

— Не надо этого делать. К черту теоретическую физику. Приходите ко мне работать над диссертацией. У вас ведь, насколько я понимаю, еще нет ученой степени?

Да-да, именно так он и сказал. К черту теоретическую физику.

— На какую же тему я буду писать диссертацию? — спросила я.

— А что вам интересно?

Я засмеялась.

— Все? — Я пожала плечами. — Думаю, в этом моя проблема. Я хочу знать все. — Должно быть, я совсем наклюкалась, если призналась в этом. Ну, по крайней мере, я сдержалась и не проболталась о том, что хочу знать все по одной простой причине: если знать все, велика вероятность того, что у тебя появится нечто, во что можно по-настоящему верить.

— И все же, — настаивал Берлем. — Какая ваша главная тема?

— Моя тема?

Он отхлебнул вина:

— Да.

— Кажется, я еще не нашла свою тему. В этом-то и смысл моей колонки в журнале. Свободные ассоциации — это у меня хорошо получается.

— Значит, вы начинаете с Большого взрыва и от него проходите через все точные науки, пока наконец не наткнетесь на Люмаса? Но между всеми вещами, которые вы написали, должна быть какая-то связь.

Я отпила еще немного вина.

— Мне особенно интересны идеи Люмаса о четвертом измерении. Ну, в смысле, не то чтобы он стал первым, кто выдвинул теорию струн, но...

— Что это еще за теория струн?

Я пожала плечами:

— Понятия не имею. Вот поэтому-то я и хочу заняться теоретической физикой. По крайней мере, мне кажется, что хочу.

Берлем засмеялся:

— Черт возьми, да ладно вам! Неужели так трудно найти связь!

Я на мгновение задумалась:

— Пожалуй, все, о чем я писала, было так или иначе связано с мысленными экспериментами, или «экспериментами сознания», как называл это Люмас.

— Отлично. И?

— Мм-м... Не знаю. Но мне нравится, что о точных науках можно говорить, легко обходясь без математических терминов и используя вместо них метафоры. Именно так я поступаю в своих колонках. За каждой идеей и теорией кроется какая-то история.

— Интересно. Можете привести пример?

— Ну, во-первых, конечно, кошка Шрёдингера. Каждый ведь понимает, что кошка в коробке не может быть одновременно и живой и мертвой, — но мало кому доступен этот принцип, если выразить его математически. Потом — поезда Эйнштейна. Он чуть ли не все свои мысли о специальной теории относительности демонстрировал на примере поезда. Мне это ужасно нравится. И всякий раз, когда люди в наши дни пытаются объяснить себе существование четвертого измерения, они возвращаются к «Флатландии»,³ которая была написана году в 1880-м или около того. Думаю, и на Батлера можно взглянуть с той же точки зрения. Его «Эдгин»⁴ — это фактически мысленный эксперимент, задачей которого было выработать идеи об обществе и машинах.

— Ну так пишите заявку. Защитите диссертацию об этих ваших мысленных экспериментах: я с удовольствием стану вашим научным руководителем. Поищите в других романах и поэзии. Я бы посоветовал посмотреть еще Томаса Гарди и Теннисона. Только не позволяйте себе слишком увлечься. Ограничьтесь временными или какими-нибудь другими рамками. Не надо пытаться воссоздать всю историю мысленных экспериментов с начала времен. Выберите себе период, скажем, с 1859 по 1939 год. Начните с Дарвина и закончите, скажем, ну... атомной бомбой.

— Или кошкой Шрёдингера. Думаю, это было как раз в тридцатые. Бомба чересчур реальна. Ну, в смысле, она уже из той области, где мысленные эксперименты воплощаются в жизнь, происходят на самом деле.

— Возможно. — Берлем погладил щетину у себя на щеке. — Ну, так что вы думаете? Полагаю, нам не составит никакого труда вас принять. У вас ведь есть диплом?

— Да.

— Отлично. Давайте тогда так и сделаем. Я мог бы организовать вам и кое-какие занятия, если хотите.

— Серьезно?

— Вполне. — Берлем протянул мне визитку. Наверху жирным шрифтом значилось его имя, а ниже стояло: «Профессор английской литературы».

И вот я написала заявку на диссертацию и без ума влюбилась в эту идею. Но потом...

³ «Флатландия» — книга Эдвина Эббота (1884), в которой рассматриваются, в частности, вопросы иных измерений.

⁴ «Эдгин» — утопический роман С. Батлера, в котором описывается страна, чье название представляет собой частичную анаграмму слова «Нигде».

даже не знаю. Когда я начала работать с Берлемом, он, казалось, как-то поостыл к Люмасу. Конечно, мое предложение на кафедре приняли — я планировала рассмотреть язык и форму мысленных экспериментов, начиная с «Зоономии»⁵ и заканчивая кошкой Шрёдингера, и с Берлемом все шло отлично до тех пор, пока я не упоминала в беседе Люмаса. Стоило мне о нем заикнуться, как профессор тут же принимался прятать от меня взгляд. Он смотрел куда-то в окно — теперь это мое окно — и ничего не говорил. А когда я позволила себе отпустить какую-то шутку по поводу того, о чем мы говорили на конференции (что-то вроде: «Ну как, книга больше ни на кого не навлекла проклятие?»), он посмотрел на меня и сказал: «Забудьте про тот доклад, хорошо? Оставьте Люмаса в покое». Он рекомендовал мне сосредоточиться на тех мысленных экспериментах, которые происходили на самом деле, — кошке Шрёдингера, относительности Эйнштейна, книге «Флатландия» Эдвина Эббота. Он также убедил меня обойтись без «Зоономии» — книги об эволюции, написанной дедушкой Чарльза Дарвина, и начать с более позднего момента — 1859 года, когда уже было опубликовано «Происхождение видов». А еще он напомнил мне о том, что следует обратить больше внимания на поэзию. Я понятия не имела, что с ним происходит, но отступать было уже поздно. А неделю спустя он исчез.

И вот теперь я живу без научного руководителя — как эксперимент без экспериментатора, — ну, скажем, заброшенная чашка с плесенью Флеминга или волновая функция без коллапса, — и чем же я занимаюсь? Читаю Люмаса. Читаю «Наваждение», мать его. И катись ты к черту, Берлем.

Глава третья

Томас Э. Люмас Наваждение Предисловие

Данное повествование может показаться читателю сущей выдумкой или сном, записанным сразу после пробуждения, — в те лихорадочные мгновения, когда человек еще находится под гипнотическим действием колдовских фокусов, что начинают твориться в его голове, стоит ему закрыть глаза. Таким читателям не следует отвергать свой скептицизм, ибо они по собственной воле стремятся заглянуть под покрывало фокусника — как по собственной же воле стремится человек получить ответы на все свои вопросы о жизни. О жизни — и о снах. Об образе — и о слове. О мелькнувшем в мыслях — и о сказанном вслух.

Когда мы смотрим на иллюзии мира, мы видим всего лишь сам мир. Где кончается иллюзия? Нет, в самом деле: что наша жизнь, как не один большой обман фокусника? От окаменелостей, обнаруженных на морском берегу, до трубки Гейслера, выставленной недавно в Лондонском королевском обществе, мир вокруг нас так и ломится от чудес и загадок. Робер-Уден создал устройство для производства иллюзий, я же намерен создать особое устройство в разуме человека, благодаря которому ему откроются иллюзии и высшие реальности; и из этого своего устройства он сможет (если только поймет как) переноситься в подобные устройства в разуме других людей. Отчего бы нам не задаться вопросом, что же такое иллюзия и какую форму она способна принимать — ведь это же так просто: оказаться в ее глубинах, подобно рыбе в пруду, чтобы рябь, которой покрывается поверхность, была уже не иллюзорной и не реальной, но возникшей от столкновения двух миров: мира Фокусника и мира Его зрителей.

Возможно, я сбиваю читателя с толку, когда вот так рассуждаю о Фокуснике.

⁵ «Зоономия, или Законы органической жизни» — сочинение Эразма Дарвина (1796) об эволюции организмов.

Пусть всем заправляет создатель! Мы же — создания, живущие в сновидениях о придуманном нами мире и дающие имена зверям и усоногим, которые ползают по драгоценнейшей и загадочнейшей нашей земле и что есть сил цепляются за нее, в то время как мы собираем их в своих музеях и полагаем, будто всем здесь заправляем мы. Какое безумие доносит сквозь эфир до всякого глаза свет со всего горизонта! И за всем этим — не правда, а то, что сделали правдой мы сами; и все же это — такая правда, которая нам не видна.

Может ли это место — место, где сны и хитроумные устройства являются одним, где сами волокна бытия возникли будто по волшебству из воспоминаний, которые не более реальны или нереальны, чем сон, в котором мы их наблюдаем, где рыбы с носами, и челюстями, и кожей были созданы лишь из мысленной игры на поверхности собранных воедино фантазий нашего создателя, — может ли это место существовать в действительности, если оно всего лишь сотворено, как в метафоре Аристотеля? Ведь и в самом деле, лишь в *logos* метафоры мы найдем *protasis* прошлого, великую иллюзию, которую называем памятью, — то покрывало судьбы, что плотно укрывает сознающий разум, но присутствует в каждой частице бытия — от твари морской до человека, от камешка на берегу до целого океана, и Ламарк и Э. Дарвин были в этом убеждены. Так может ли это место существовать в действительности? По-видимому, нет. А потому я попросил бы вас не искать в этом труде ничего, кроме вымысла.

Т. Э. Люмас, июль 1892

Пролог

Вот впереди желанный берег;
Рыбачья лодка на песке,
Что чист, как первозданный снег,
И грот укромный вдалеке.

Иль, может, там дубы шумят
И ждет меня мой конь гнедой.
Реальней яви сон стократ.
И вот — шалаш, и ключ — со мной.

Быть может, стану я бродить
Там, где в полях алеет мак:
Как ни пытайся мысль сокрыть,
Она вернется в вещих снах.

Куда б ни устремился я,
Тьма обернется светом дня.

Читать предисловие я закончила около девяти. «Я попросил бы вас не искать в этом труде ничего, кроме вымысла». Так заканчивается предисловие. Что это значит? Что же еще можно искать в художественном произведении, кроме вымысла?

Книга начинается с рассказа о том, как некий коммерсант, мистер Y, в дождливый день приезжает на ярмарку. Я, правда, толком уже и не читала, а так — листала страницы и выхватывала по предложению то тут, то там. Мне понравилась первая фраза: «К концу я стану никем, но в начале был известен под именем мистер Y». Я пролистала книгу до самого конца (читать который, конечно же, не стала) — в основном из-за того, что мне так нравилось притрагиваться к ее страницам, а потом вернулась к первой главе. И вот как раз когда я листала книгу с конца обратно к началу, я заметила, что в ней не хватает страницы. Между страницами 130 и 133 торчал только оборванный край недостающего листа. Страниц

131 и 132 не было.

Сначала я даже не поверила собственным глазам. Кому придет в голову вот так выдирать страницу из «Наваждения»? Неужели кому-то просто захотелось испортить книгу? Я внимательно проверила, на месте ли остальные страницы. Все в порядке, больше оторванных нет — и никаких других признаков вандализма тоже. Так зачем же было вырывать страницу? Кому-то не понравилось то, что там написано? Или, наоборот, страницу решили украсть? Но если уж ты решил присвоить себе страницу, почему бы не украсть всю книгу целиком? Ерунда какая-то! Меня пробрал холод — эх, вот бы в комнате стало потеплее.

В этот момент внизу скрипнула входная дверь — пришел Вольфганг. Через несколько секунд уже послышался тихий стук в дверь.

— Открыто, — крикнула я, убирая «Наваждение».

Вольфганг — невысокий блондин родом из Восточного Берлина. По-моему, он никогда не моет голову. Сегодня он одет как в те дни, когда играет: бледно-голубые джинсы, белая рубашка и темно-синий пиджак. Когда я увидела его здесь впервые, в тот день, когда вселилась в эту квартиру, Вольфганг сказал мне, что у него настолько глубокая депрессия, что не хватает воли даже на то, чтобы повеситься. Я встревожилась и стала делать для него разные приятные пустяки — готовила суп, предлагала принести книги из университетской библиотеки. На суп он всегда соглашался, а от книг упорно отказывался, но с некоторых пор вдруг начал интересоваться поэзией — преимущественно Гинзбергом и Буковски.

Пока Вольфганг открывал дверь, я все вспоминала слова Люмаса: «О жизни — и о снах». Сказать Вольфгангу про книгу? Пожалуй, пока не стоит.

Он криво улыбнулся.

— Ну вот. Есть вселенная, в которой я богатч. Это ты для меня печешь-картошку?

Про «вселенную, в которой я богатч» — это я его научила. Так сказал русский физик Георгий Гамов, когда начисто проигрался в игорном доме в Америке. А это значит, что Вольфганг, как обычно, оставил все свои чаевые в гостиничном казино. Возможно, где-то в параллельной вселенной есть его двойник, который выиграл сегодня тысячи фунтов.

— Э-э... Картошку с... — Я огляделась по сторонам. — С оливковым маслом, солью... И... Еще у меня, кажется, где-то была луковица.

— Отлично, — сказал он, усаживаясь за кухонный стол и наливая себе сливовицы. — Ужин для гурманов.

Это у нас такая шутка. Ужин для тонких гурманов — это еще хуже: когда еда готовится практически из ничего. Я умею приготовить ужин для тонких гурманов из чечевицы, а у Вольфганга тонкие гурманы питаются чаще всего тушеной капустой.

Я открыла духовку и вынула оттуда картошку.

— Пожалуй, сегодня то же самое можно сказать и про меня: мое богатство в другой вселенной. — Я поставила противень на стол и улыбнулась.

Вольфганг удивленно приподнял свою светлую бровь:

— Тоже проигралась?

— Ну уж нет, — засмеялась я. — Купила книгу. Теперь у меня осталось фунтов пять, а в журнале заплатят только в конце месяца. Такая вот... Такая вот дорогая книга.

— Хорошая хоть книга-то?

— О да. Это уж можешь не сомневаться. — Мне по-прежнему не хотелось рассказывать, о какой книге идет речь. Я принялась резать лук. — А, и еще сегодня обрушился университет.

— Обрушился? — Вольфганг засмеялся. — Это ты его, что ли, взорвала? Ну и дела. Что случилось?

— Ну, не то чтобы он прямо весь целиком обрушился, только одно здание.

— Бомба?

— Нет, железнодорожный туннель. Под университетским городком. Провалился — и привет...

Вольфганг опрокинул рюмку и налил себе еще.

— Ну да, понятно. Если построить что-то на пустоте, рано или поздно оно обрушится. Ха-ха. Погибших много?

— Нет, никого. Оттуда еще утром всех эвакуировали.

— Ясно. Университет теперь закрывают?

— Не знаю. Наверное, да, — по крайней мере, на выходные.

Я полила картошку оливковым маслом и поставила ее на стол вместе с оливками, каперсами и горчицей. Мы уселись за стол.

— Как вообще дела? — спросила я.

— Жизнь — дерьмо. Денег не хватает, мышей — больше, чем надо. Но зато мне вернули вечернюю смену.

— Красота. А что же случилось с этой-как-ее-там?

Несколько месяцев назад появилось юное дарование в лице некой девицы, которая отобрала у Вольфганга часть смен. Она-то, наверное, была в восторге: ну как же, такой крутой поворот в жизни — девочка-подросток, а играет на фортепиано перед настоящей публикой. Но для Вольфганга это означало, что теперь он не сможет вносить деньги за квартиру и оплачивать счета — вот он и перестал их оплачивать.

— Упала с пони.

Я с улыбкой слушала, как он рассказывает о подробностях случившегося. Слушала вполуха, потому что все мысли были заняты книгой.

— Слушай, Вольф... — сказала я, когда с едой было покончено.

— Что?

— Ты веришь в проклятия?

Он посмотрел на меня с недоверием:

— Проклятия? Типа чего?

— Типа проклятых предметов. Может предмет быть проклят, как ты думаешь?

— Интересный вопрос, — сказал он. — В каком-то смысле все предметы прокляты.

Я подозревала, что он именно с этой стороны подойдет к вопросу.

— Да, конечно, но...

Он налил себе еще сливовицы. Я встала сварить кофе.

— Ну, или можно спросить себя, зачем они вообще бывают. Какова их цель? Я долго думал об этом — еще с тех пор, как впервые слушал Вагнера с Кэтрин.

Вольф встречается с девушкой, которая пытается его «развивать» и для этого таскает в оперу.

— Может, для начала нам следует дать определение слову «проклятие»? — предположила я. — Это слово или предмет?

Вольфганг тяжело вздохнул. Мы уже тысячу раз начинали разговоры приблизительно так же. Чаще всего дело кончается тем, что мы вступаем в спор о Деррида и его difference.⁶

— Перестань, прошу тебя. Терпеть не могу этих твоих французских деконструкций. Давай просто на минуту притворимся, будто проклятие существует, и предположим, что это предмет. Откуда оно берется? Вот на какой вопрос нам следует ответить.

— Ты думаешь?

— Да. Что это — некая магическая сила или же что-то вроде предсказания, которое исполняется только потому, что ты сам заставляешь его исполниться? Или его и вовсе не существует — просто мы используем его для того, чтобы объяснить себе, почему с нами происходят плохие вещи, которые на самом-то деле совершенно случайны? Я вот могу задать вопрос: почему мой дом осаждают мыши? Кто-то наслал на меня проклятие? Или я просто-напросто оставил в один прекрасный день слишком много еды и этим привлек к себе их внимание? Или ответ вообще прост, как сама жизнь: мыши существуют — и точка?

⁶ Различие (*франц.*) — одно из ключевых понятий философии Жака Деррида.

Я зажгла сигарету.

— Сегодня было три.

— Три чего? Проклятия?

— Нет, — засмеялась я. — Это было бы уж слишком большим невезением. Нет. Три мыши.

— И куда ты их дела? Надеюсь, не в коридор, как в прошлый раз?

— Нет, вынесла на улицу, во двор к Луиджи.

Вольф снова завел разговор про кошку. Через несколько минут кофейник зашипел, и я разлила кофе.

— Так или иначе, — продолжил он, медленно выдыхая дым над чашкой, которую я перед ним поставила. — Меня в проклятиях интересует именно это: могут ли они существовать, если в них не верить?

Я засмеялась:

— Чем же, интересно, твой вопрос отличается от моего?

— Он проще.

— Если как следует вдуматься, то совсем и не проще.

Вольф начал говорить про проклятия вуду и про то, что они срабатывают только на тех людях, которые верят в вуду, и я представила себе нечто вроде ленты Мёбиуса — фигуры, которая получится, если склеить два конца длинной полоски бумаги, один раз ее повернув. По одной стороне такой полоски можно безмятежно прогуливаться хоть целую вечность и даже не догадываться, что каким-то непостижимым образом ты постоянно меняешь «стороны». Было время, когда этот мир казался людям плоским, и на ленте он тоже кажется плоским. Идти по ней можно вечно, даже не подозревая, что то и дело возвращаешься в начало и начинаешь с исходной точки. Ты даже и поворота в ленте не заметишь. Твоя действительность изменится, но тебе будет казаться, что ты всего лишь идешь по плоской дорожке. Если бы лента Мёбиуса была трехмерна, на повороте перевернулось бы все твоё тело, и даже сердце на время оказалось бы на правой стороне тела — и оставалось бы там до тех пор, пока ты не вернешься обратно на ленту. Я узнала об этом из лекции по физике, которую закачала себе в iPod. На Рождество я заготовила разноцветные бумажные гирлянды, которые на самом-то деле были скрепленными между собой лентами Мёбиуса. Я приготовилась отпраздновать Рождество в одиночестве — за книгой и бокалом вина, — но тут появился Вольф с огромным бесформенным пудингом с изюмом, и остаток праздничного дня мы провели вместе.

— А что, если это не люди их насылают? — спросила я.

— Ха, — ответил Вольф. — Еще скажи, что это дело рук богов.

— Ну конечно же нет. Это гипотетический вопрос. Может ли что-либо возникнуть в языке независимо от людей, которые этим языком пользуются? Может ли язык стать самовоспроизводящейся системой, или же это... — Э, да я, оказывается, напилась — лучше не продолжать. Хотя на какое-то мгновение эта мысль меня увлекла — мысль о том, что в языке что-то может возникнуть совершенно стихийно — возможно, даже по ошибке — и носителям этого языка придется потом разбираться с последствиями того, что это новое слово стало частью их системы знаков. Я смутно припоминаю какую-то радиопередачу о Святом Граале, в которой говорилось, что вся эта история была всего лишь ошибкой — неправильно истолкованным словом в старинном французском тексте.

Некоторое время мы сидели молча. За окном проехал поезд. Я начала убирать со стола, пока Вольфганг допивал кофе.

— Ты так мне и не ответил, — сказала я ему. — Да или нет.

— Что «да или нет»?

— Ты веришь в проклятия или проклятые предметы?

— Важно не то, проклято ли что-то, — ответил он. — Необходимо выяснить, в чем причина проклятия и в чем именно оно состоит. Давай я помою посуду.

— Хорошо.

Вольф встал, подошел к раковине и вылил на тарелки чуть ли не полбутылки моющей жидкости. Затем открыл кран, несколько раз выругался, потому что вода всегда кажется ему недостаточно горячей, в конце концов вскипятил чайник и щедро окатил посуду кипятком. Я все думала, показать ли ему «Наваждение», но все-таки решила, что не стоит. Перед уходом он посмотрел на меня так, как будто в глазах у него электрические заряды, и сказал:

— У тебя ведь есть что-то такое, да? Что-то, что ты считаешь проклятым?

— Не знаю, — ответила я. — Может, и нет. Думаю, мне просто как-то не по себе после сегодняшних событий — падающие университеты, собачий холод и эта твоя чертова сливовица, вот и...

— Можешь показать мне эту вещь, когда захочешь, — сказал он. — Хуже мне уже не будет. Так что за меня не беспокойся.

— Спасибо, — сказала я. Но... черт! Что со мной такое? Уж чего мне и в голову не пришло, так это побеспокоиться о безопасности Вольфа. Я всего лишь хотела, чтобы книга досталась мне одной, и, положив руку на сердце, боялась, как бы Вольф ее не украл.

Укладываясь в постель, с пересохшим горлом и «Наваждением» под второй, ничьей подушкой, я размышляла о том, существуют на свете проклятия или нет.

Глава четвертая

Иногда я просыпаюсь с таким глубоким чувством разочарования, что едва могу дышать. Обычно никаких явных причин для этого нет, и я списываю все на странную комбинацию несчастного детства и страшных снов (эти две вещи вообще отлично ладят друг с другом). И в большинстве случаев мне довольно быстро удается от этого ощущения избавиться. В конце концов, не так уж и много у меня причин для разочарования. Ну да, после университета мне так и не удалось устроиться на работу в издательство, но кому какое дело? Это было десять лет назад, и к тому же меня вполне устраивает колонка в журнале. И мне плевать на то, что мать убежала с компанией придурков, отец живет в хостеле где-то на севере, а сестра давно перестала присылать мне рождественские открытки. Плевать, что друзья, с которыми я раньше снимала дом, попереженились и оставили меня одну-одинешеньку. Мне нравится быть одной — это-то уж точно не проблема — просто мне стало не по карману жить одной в огромном доме в Хэрни, где пустые комнаты клубятся, будто маленькие вселенные. То, что я перебралась сюда, означает, что я вполне могу почитать в одиночестве свои книги, так что едва ли мне есть из-за чего грустить или испытывать разочарование.

Иногда мне нравится представлять себе, будто я живу с призраками. Не с призраками из собственного прошлого — в таких призраках я не верю, — а с легкими обрывками мыслей и книг, которые висят в воздухе, словно шелковые марионетки. Порой мне кажется, что и мои мысли тоже плавают вокруг, но эти обычно надолго не задерживаются. Они похожи на мух-однодневок: рождаются, большие и сверкающие, летают туда-сюда, жужжа, как сумасшедшие, а всего какие-то сутки спустя берут и замертво падают на пол. Впрочем, не думаю, что мне хоть раз удалось придумать что-нибудь оригинальное, так что и не жалко. Обычно я обнаруживаю, что о том же самом до меня уже успел подумать Деррида, и это вроде как большая наглость — так говорить, но, с другой стороны, он не такой уж и мудреный — просто писал очень путанно. А теперь и он тоже — призрак. Или, может, всегда им был — я его не видела, так как же мне быть уверенной в том, что он существовал в действительности? Некоторые из самых доброжелательных ко мне — это духи моих любимых авторов научных трудов девятнадцатого века. Большинство из них, конечно же, ошибались, но кому какое дело? История-то еще не закончилась. Мы все ошибаемся.

Иногда я провожу свои собственные мысленные эксперименты, например, такие: что, если на самом деле все без исключения были правы? Аристотель и Платон, Давид и Голиаф, Гоббс и Локк, Гитлер и Ганди, Том и Джерри. Может, в этом есть какой-то смысл? Но потом я вспоминаю о своей матери и думаю, что нет, правы не все. Если перефразировать физика

Вольфганга Паули, она даже и неправа не была. Может быть, вот на какой стадии развития пребывает наше общество теперь, в начале двадцать первого века: мы более чем неправы. Люди девятнадцатого столетия были неправы в общих чертах, но мы умудряемся их переплюнуть. У нас теперь есть принцип неопределенности и теорема о неполноте, и философы, которые утверждают, что мир превратился в симулякр — копию без оригинала. Мы живем в мире, в котором не может быть ничего реального; мире бесконечных замкнутых систем и частиц, которые могли бы делать все, что ни пожелаешь (но, вероятнее всего, не делают).

Может быть, мы все такие же, как моя мать. Я не очень-то люблю думать о ней или о своем детстве, но могу быстро описать в общих чертах. Мы жили в спальном районе, где чтение книг считалось отвратительнейшим сочетанием лени и пижонства, и, насколько я знаю, из всего района в библиотеку были записаны только мы с мамой. В то время как остальные дети занимались сексом друг с другом (начиная с восьмилетнего возраста), а взрослые пили, играли в карты, держали злых собак и облезлых кошек и придумывали, как бы разбогатеть и прославиться, моя мать частенько брала меня с собой в библиотеку и оставляла в детской секции, а сама пыталась постичь смысл жизни с помощью книг по астрологии, исцелении верой и телепатии. Если бы не она, я бы, наверное, так никогда и не узнала о существовании библиотек. Это единственная хорошая вещь, которую она для меня сделала. По вечерам она сидела в гостиной в своем розовом халате и ждала появления инопланетян, а отец тем временем брал меня с собой в парк и там фотографировал, как я таскаю туда-сюда алюминиевые скамейки или рисую граффити на стенах, — эти снимки он потом отправлял в местную газету в качестве доказательства того, что муниципалитет терпит поражение в войне с хулиганством. Отец, который никогда не мог окончательно протрезветь и в поддатом состоянии любил покупать мне машинки и наклейки с футболистами, считал, что все наши проблемы — результат правительственного заговора. А мать вообще видела заговор повсюду. Они учили меня, что никому и никогда нельзя верить. Но потом оказалось, что и они тоже мне врал.

Впрочем, мне нравилось играть с другими детьми, с риском для жизни гонять по шоссе, воровать велосипеды у богатых детей, поджигать разные предметы и за пятьдесят центов позволять старшим мальчишкам себя пощупать. Кстати, я на этом неплохо заработала и даже смогла накопить на собственный велосипед, который не нужно было никому возвращать или сбрасывать в реку. После этого я завязала с сексом и стала каждый день ездить в библиотеку. Вот тогда-то у меня и появилась привычка запойно читать все, что ни попадется под руку. Неудивительно: ведь я каждый день часами просиживала в окружении такого количества книг, которое и за всю жизнь не прочитать. Начинаешь читать одну, а в голову вдруг приходит, что ведь с таким же успехом можно было приняться за другую. И вот к концу дня обнаруживаешь, что пролистала от начала до конца две, начала четыре и посмотрела, чем кончаются еще штук семь. Так можно перелопатить чуть ли не всю библиотеку — если не дочитывать до конца ни одной книги. Но вот романы я все-таки дочитывала. Хотя до Толстого так и не добралась — я была не из таких. Я читала в основном такие взрослые книги, которые детям не выдают.

В средней школе я ощущала на себе сочувственные взгляды — в школьной форме из секонд-хенда, непричесанная... Зато (спасибо, мама, спасибо, папа) мне не позволялось посещать внеклассные мероприятия, и к тому же я не верила ничему из того, что нам преподавали, поэтому быстро попала в число «трудных» детей. А еще я лет с тринадцати должна была сама себе стирать, но не очень-то заморачивалась. Другим детям не было никакого дела до того, что у меня несвежий воротник, а к слишком короткой юбке уже несколько недель не прикасался утюг. Но учителя время от времени отзывали меня в сторонку и говорили что-нибудь вроде: «Может, ты все-таки напомнишь своей маме о том, что школьную форму нужно...» Моей маме?! Теоретически с ней можно выйти на связь, но только при условии, что у вас есть портативная радиостанция и вы сумеете убедительно изобразить голос из космоса.

В общем, мне не оставалось ничего другого, кроме как при первом же удобном случае сбежать в университет. Но я и это не смогла сделать по-человечески. Думаю, в моем положении мне следовало тихо сесть в автобус и по дороге в университет читать «Джен Эйр», тихонько всхлипывая над своей нелегкой долей. Я же отправилась в Оксфорд по шоссе М4 на машине без наклейки об уплате дорожного налога, по пути остановилась на выходные, закрутила короткий роман с каким-то байкером, сделала себе татуировку и на место сломанного зуба вставила серебряный.

Я медленно приподнялась на подушке и прислушалась к тому, как внутри меня испаряется, подобно лужам после ливня, разочарование. У меня есть старый будильник-кофеварка — я купила его на распродаже, — можно лежать в постели, потягивая крепкий черный кофе, и дожидаться, пока развеется сон и похмелье после вчерашней сливовицы. Наверное, я не совру, если скажу, что ненавижу утро. Ненавижу его честность: сознание в это время уже вот-вот зажжет свет дня и разгонит тайные ночные тени. Брр... Но зато кофе у меня отличный.

«Наваждение». Я достала книгу из-под подушки и медленно приступила к первой главе. Несколько раз перечитала первую фразу: «К концу я стану никем, но в начале был известен под именем мистер У». И двинулась дальше. Рассказ начинается с того, как главный герой, почтенный торговец тканями, едет на поезде в Ноттингем — по делам. Добравшись до места, он обнаруживает, что город охвачен волнением по поводу происходящей здесь ежегодной Гусиной ярмарки, а назавтра, управившись с делами, случайно проходит мимо торговых рядов.

Над городом висела назойливая изморось — казалось, кто-то заботливо обернул его покрывалом сырости. Никогда раньше не сталкиваясь ни с чем подобным, я все же пожелал остаться в стороне от Гусиной ярмарки, так как был убежден в том, что развлечения там все как одно бесовские. Мне больше хотелось отыскать какое-нибудь заведение поприличнее, где можно просто заказать чаю. Однако вскоре меня, как по колдовству, все же занесло на ярмарку. До самой Рыночной площади тянулись балаганы с бродячими артистами, ряды механических аттракционов, а по краям всего этого — обветшалые повозки дрессировщиков, актеров и циркачей. Я словно попал в иной мир: здесь было куда теплее и, благодаря покрову балаганов и ярмарочных палаток, безусловно, намного суше, чем там, откуда я пришел. Любопытство кривым своим пальцем заманивало меня все дальше. На столбе висела нарисованная от руки афиша, которая, трепеща на ветру, сообщала мне о том, что на ярмарке можно увидеть «Зверинец Уомбуэлла» — излюбленное зрелище королевы. Другие безвкусные афиши зазывали на представления с вот такими названиями: «Странная девушка», «Индийский заклинатель змей», «Чудесная говорящая лошадь», «Женщина-змея на вращающемся шаре с магическими световыми эффектами» и «Дрессированные блохи профессора Инглэнда», среди прочего исполняющие «абсолютно новый и оригинальный номер» — «Похороны блохи».

По мере того как я углублялся в ярмарочные ряды, ветер стихал, но зато воздух, казалось, становился все темнее и гуще, несмотря на зажженные недавно бензиновые лампы, что висели у входа в палатки и украшали фасады балаганов. Взглянув вверх, я убедился в том, что над ярмаркой и в самом деле нависла огромная туча — такая темная, каких я доселе не видывал.

Не имея ни малейшего желания промокнуть до нитки, я поспешил подыскать себе надежное укрытие. Вскоре я увидел балаган, в котором показывали восковые фигуры, — у входа стояли куклы с крайне нездоровым цветом лица. Заходить внутрь и смотреть на такое совершенно не хотелось — равно как и на «ожившего скелета», который демонстрировали в следующей палатке, поэтому я устремился дальше — к балагану, в котором, как утверждала встреченная мною по пути молодая женщина, шло представление марионеток «самого высочайшего качества». Женщина играла на шарманке — древней, разбитой вещице, издававшей

нестерпимые душераздирающие звуки. Мне сообщили, что зрелище вот-вот начнется, и, скорее из жалости к девушке, я заплатил пенни и вошел.

Представление оказалось обычным нравоучительным спектаклем, в котором пара деревенских дураков застревает на дороге из-за осла, который не желает двигаться с места. В какой-то момент является дьявол и предлагает дуракам помощь. Ничем хорошим это, понятно, не заканчивается. В полотняном балагане имелась небольшая сцена, довольно потрепанная и сделанная, как мне показалось, из ящиков для перевозки товаров, обитых двумя отрезами потертого черного бархата. Замкнутое пространство вскоре обволокло меня странным духом, в котором смешались запахи старого нюхательного табака, патоки, кислого молока и помады для волос, и я был рад, когда представление наконец завершилось.

Я покинул шоу марионеток и обнаружил, что грозовая туча, как я и опасался, с оглушительной силой проливает на землю свое содержимое. Надеюсь остаться сухим, я присоединился к толпе, собравшейся под грязным белым навесом слева от палатки с марионетками. Здесь какой-то человек предлагал развлечение под названием «Вытащи соломинку». Он утверждал, что в конвертах, которые он держит в руках, содержатся тайны настолько важные, что власти не позволяют ими торговать. Поэтому вместо конвертов он продает — и совершенно законно, как он нас заверил, — соломинки разной длины. Человек, который выберет длинную соломинку, получит один из конвертов. А тот, кто выберет короткую, к несчастью, не получит ничего. Каждая соломинка стоит пенни. Я наблюдал за тем, как к человеку подошли несколько джентльменов и одна дама. Дама и двое из мужчин вытащили длинные соломинки и получили по конверту. Все глаза были устремлены на них, когда они вынули из конвертов листы бумаги и, изучив их содержание, тут же принялись издавать изумленные возгласы. Меня-то на такой старый трюк не поймает, и я был очень доволен, когда подозрения мои подтвердились — стоило лишь более внимательно рассмотреть выигравшую даму. В грязных ботинках, с крупными и красными руками, она наверняка либо работала прислужкой, либо участвовала в одном из ярмарочных представлений. А чуть позже один из участников шоу ей еще и подмигнул — и это окончательно подтвердило мою догадку.

Я вскоре отвернулся от этого зрелища, и взгляд мой упал на куда более любопытное объявление, вывешенное у входа в большой балаган. В нем говорилось о некоем мероприятии под названием Спектральная Опера с использованием трюка «Призрак Пеппера» и фантомоскопа Гомпертца, которое проводилось под покровительством Ее Величества. Это было шоу привидений — увеселение из числа тех, о которых я нередко слышу у себя в клубе, но которых сам никогда не посещал. Склонив голову под проливным дождем, я бросился из-под навеса в сторону большого балагана и, преодолев несколько ступенек, вошел внутрь.

Передвижной театр был наполовину заполнен зрителями, и стоило мне пристроиться на жесткой деревянной скамье, как свет в балагане притушили. Прошло еще несколько мгновений, и раздались звуки музыки, возвещавшие о начале представления, — удивительно негармоничные и даже какие-то потусторонние — пожалуй, ничего подобного я никогда раньше не слышал. Мне вспомнилась музыкальная шкатулка из детства — маленькое серебряное устройство, которое чаще всего служило одной из моих сестер церковным органом, игравшим на роскошных похоронах сломанных кукол и дохлых мышей.

Вскоре, все еще погруженный в жутковатую музыку, я стал свидетелем воистину увлекательного зрелища: благодаря некоему гениальному научному изобретению на сцене и в самом деле явились призраки. Их было трое, все трое — обычного человеческого роста и телосложения, но бледные и хрупкие, словно головки одуванчика. Сначала я был почти уверен, что передо мной — актеры в особых перламутровых костюмах, ведь они и внешне ничем не отличались от людей, и двигались нормальным образом, а не рывками, как водится у марионеток. Но они, казалось, летают над сценой, вовсе не касаясь ногами деревянного пола. И тут совершенно неожиданно на сцену вышел обыкновенный живой актер и безо

всякого напряжения — и без единой капли крови — проткнул ближайшего к нему призрака шпагой. Должен признаться, что я, как и другие зрители, в ужасе ахнул в то мгновение, когда шпага пронзила слабое и незащищенное тело призрака. Должно быть, именно в этот момент разум покинул меня. Когда представление окончилось, я не сразу решился уйти, а задержался в балагане, надеясь обнаружить в устройстве сцены какое-нибудь подтверждение того, что увиденное мною было не более чем замысловатым розыгрышем. Я не верил в призраков и не сомневался в том, что за всей этой фантазмагорией стоят наука и разум, — меня лишь раздражало то, что самому мне никак не удастся отыскать объяснения увиденному.

Вскоре в балагане остались только я и еще какой-то очень худой человек. Он медленно подошел ко мне и указал на сцену.

— Любопытное зрелище, — сказал он.

— В самом деле, любопытное, — согласился я.

— Смею предположить, что вы пытаетесь найти ему объяснение.

— Да.

Человек на мгновение задумался — словно бы производил какие-то расчеты.

— За два шиллинга я покажу вам, в чем тут дело.

Я не успел даже возмутиться чересчур высокой ценой, как обнаружил, что уже следую за человеком в направлении сцены. Я подумал было, что сейчас он покажет мне сложный механизм, с помощью которого выполняется фокус с призраками, и объяснит мне все путем обыкновенной демонстрации. Но вместо этого он провел меня через занавеску в стене балагана в помещение поменьше, где на маленьком столике стоял ящик с медикаментами, который едва умещался рядом с огромной лампой, уродливее которой я не видел в жизни. Ее керамическое основание было выкрашено в разные оттенки красного цвета застарелой раны, поверх которой кто-то намалевал тошнотворно желтые цветы, каких, у меня не было сомнений, в природе не существует. С ободка ее керамического абажура свисало несколько стеклянных бусин, призванных, очевидно, отражать свет на манер хрустальных украшений люстры, но в действительности создающих лишь жутковатую дрожь теней на задней стене палатки. Позади стола находился кусок плиты, напоминающий закрытый гроб, но используемый, как я предположил, в качестве своеобразной постели.

— Я, кажется, не расслышал вашего имени, — сказал я.

— Можете считать меня ярмарочным доктором, — ответил он. — А ваше имя?

После такого ответа мне не захотелось представляться должным образом, поэтому я просто предложил ему называть меня мистером У.

Меня вдруг охватило странное ощущение того, что все другие посетители ярмарки уже разошлись по домам и я — единственный, кто здесь остался. Я слышал частые удары дождя по крыше палатки, но, похоже, никаких других звуков снаружи не доносилось: ни смеха, ни голосов. Даже дьявольское гудение органа сейчас показалось бы мне благом. Я вдруг почувствовал досаду. Доверия к этому доктору я совсем не испытывал, и все же, когда он знаком велел мне присесть на обломок плиты, я исполнил его распоряжение.

— Вы желаете постичь природу иллюзии, свидетелем которой только что стали, — сказал он. — Я могу раскрыть вам это — и даже больше. — В его голосе появилось сомнение. — Возможно, вы не в состоянии позволить себе просветление, которое я собираюсь вам предложить. В таком случае...

— Два шиллинга у меня есть, — оборвал я его и достал деньги. — Теперь будьте добры исполнить свое обещание.

Доктор открыл ящик с медикаментами и достал оттуда склянку с прозрачной жидкостью. Он отлил немного жидкости из склянки в стакан и протянул его мне. Другой рукой он приказал мне подождать и достал из своего ящика еще один предмет — белую карточку с черным кругом посередине. Затем он велел мне выпить жидкость из стакана и лечь на плиту, поднеся карточку к глазам и насколько возможно сосредоточившись на черном круге. Я сделал, как он велел, но продолжал гадать, как же меня, интересно, собираются обмануть. Я полагал, что

речь идет о самом обыкновенном гипнозе. И даже на секунду не допускал мысли о том, что принятая мною микстура возымеет какое-либо действие — и уж тем более не мог предположить, что с этого момента моя жизнь уже никогда не вернется в прежнее русло.

К одиннадцати часам я дочитала первую главу «Наваждения». Зимнее солнце робко подглядывало сквозь тонкие занавески, и я решилась встать. Ух, ну и холодина. Подхватив с полу джинсы, я быстро перебралась в них из пижамных штанов и натянула первый попавшийся свитер. Спускаясь бегом по бетонным ступенькам проверить почту, я вдруг почувствовала себя так, будто что-то забыла. Неужели опять захлопнула за собой дверь? Нет, не это. Ключи — вот, в руке. Окинув взглядом рекламные листовки еды на заказ и вызова такси со скидкой, я оставила их лежать где лежат и быстро вернулась вверх. Что же я могла забыть?

Каша. Кофе. Впереди — целый день чтения. Могло бы быть хуже. На меня уже накатывало сонное ощущение, какое бывает, когда читаешь хорошую книгу: хочется свернуться клубочком в постели с томом в обнимку и забыть про мир за окном. В какой-то момент все-таки придется задуматься над тем, как прожить следующие три недели на пять фунтов, но, возможно, будет даже весело. Позавтракав, я откопала пачку женшеневых сигарет и закурила. Мне, вообще говоря, здорово удалось расслабиться, но в этот момент из сумки раздалось жужжание. Это мой мобильник. Он сломан и больше не звонит. Сначала я подумала, что жужжание — это звонок, и решила не отвечать. Но телефон жужжал всего несколько секунд, из чего я сделала вывод, что кто-то прислал мне сообщение, и пошла доставать телефон из сумки. На экране — конвертик. Я нажала кнопку — то есть метафорически вскрыла письмо, «сегодня как договаривались? где встретимся?»

Вот черт. Я совсем забыла. Патрик. Быстро пошевелила мозгами и тут же набрала ответ: Собор, склеп, в 5. Не пойти нельзя. Я уже отменила прошлую встречу, и к тому же он, возможно, накормит меня обедом. Его эсэмэски кажутся недостаточно грамотно выстроенными для профессора лингвистики, но, с другой стороны, он и электронные письма пишет исключительно строчными буквами, потому что считает, что так принято. Я встречаюсь с ним последних месяца три, и за это время мы занимались сексом раз десять, не больше. Но зато это отличный секс, яркий — такой бывает только с мужчинами постарше, которые не дергаются по поводу того, придется ли в конечном итоге на тебе жениться; секс ради секса, а не залог чего-то такого, что один из партнеров рассчитывает получить от другого в будущем. Патрик, конечно, женат, но его жена тоже крутит романы на стороне, поэтому я могу не чувствовать себя виноватой из-за наших встреч. Иногда я пытаюсь найти во всем этом логику и понимаю, что должны ведь где-то быть молодые мужчины — мои ровесники, — которым хочется время от времени заниматься сексом и иметь отношения, не отягощенные любовью и ответственностью. Интересно, стала бы я спать с кем-нибудь из таких парней, если бы он мне встретился? Может быть, и нет. Какие-то они уж слишком приглаженные, эти молодые мужчины. И к тому же те, кто постарше, уж точно понимают толк в сексе. Цинизм, но что поделаешь.

Не думаю, чтобы Сол Берлем был женат, и возможно, это даже хорошо, что он исчез: если честно, у меня были на него виды. Но это, конечно, гиблое дело — спать со своим научным руководителем, а я могла бы всерьез в него втрескаться, если судить по его книгам и интернет-лекциям. Я бы, вообще-то, в первый же вечер пошла с ним — даже подумать бы ни о чем не успела. Интересно, он знал? Возможно, он тоже понимал, что это плохая затея. После того как мы поговорили о моей диссертации, я извинилась и пошла искать туалет. Я успела напиться и слегка заблудилась, но плутала недолго. Помню один удивительный коридор — с низким потолком, совершенно белый, — ощущение там было такое, будто находишься внутри старинного телескопа, гладкого и прохладного. Я прошла по нему, наверное, раза три или четыре, жалея, что у меня нет с собой фотоаппарата — или хотя бы памяти получше. А когда наконец вернулась в Верхний зал, Берлема там уже не нашла.

К половине пятого я приняла ванну, снова оделась — на этот раз более осмысленно — и провела краткую инвентаризацию съестного, имевшегося в доме. Список получился не слишком утешительный. Выходило, что, существуя на каше, консервированном супе и лапше, я худо-бедно продержусь неделю. Хватит ли пяти фунтов на оставшиеся две? Можно купить на рынке большую бутылку соевого соуса за пятьдесят центов и, скажем, четырнадцать пакетиков слегка просроченной лапши по двадцать пенсов каждый. После этого у меня останется немного мелочи на большую плитку горького шоколада. Но как быть с сигаретами и бензином? А кофе? Я не могу пить плохой кофе, а хороший мне сейчас явно не по карману. Наверное, можно будет некоторое время продержаться на воде из-под крана и сливовице. А овощи? У меня ведь начнется цинга! Мысли об авитаминозе, сопровождаемом никотиновым и кофеиновым голоданием, окончательно вогнали меня в тоску. Стоило ли идти на такие мучения ради какой-то книги? Наверное, стоило. Я все равно и теперь поступила бы точно так же.

«Мистер Y, — улыбнулась я. — Мистер Y».

По кухне пробежала мышь, и я инстинктивно поджала ноги и обхватила себя за колени. Я так мало читала об этой книге. Единственное, что я о ней знала, — это проклятие. Странное дело — встретиться с такой старой книгой и не иметь под рукой тысячи телепостановок по ее мотивам, исследований и критических статей. О чем она вообще? Какой мысленный эксперимент Люмаса иллюстрирует? И что там такое было про вымысел? «Я попросил бы вас не искать в этом труде ничего, кроме вымысла». Наверное, пока не дочитаю книгу до конца, так и не пойму, о чем это он.

Впрочем, вымысел уже казался мне немного размытым. Мистер Y — это случайно не я сама? Был бы смысл в этой книге, не будь на свете меня? Когда я была маленькой, я решила, что не стану отождествлять себя с главными героями, потому что с ними всегда происходят плохие или, того хуже, очень серьезные вещи, и я не могла справиться с ощущением, будто все эти вещи происходят и со мной тоже — с тем моим «я», которое я всегда помещала в книги, которые читала. Поэтому я выбирала себе какого-нибудь второстепенного персонажа и «становилась» им на то время, пока читала книгу. Иногда я умирала, иногда оказывалась злодеем. Но зато никогда не попадала в центр событий. Теперь я повзрослела и читаю более традиционным способом. Сейчас мне страшно за мистера Y /за себя, и мне кажется, что на улице идет дождь, хотя я и знаю, что на самом деле это не так. Как изменится его/моя/наша жизнь после того, как будет выпито снадобье? Я вспомнила о недостающей странице, и она вдруг приобрела для меня новый смысл — теперь, когда я и сама была вовлечена в эту историю. Надеюсь, я смогу догадаться, о чем идет речь в отсутствующем отрывке. И еще надеюсь, что конец мистера Y не слишком печален, хотя подозреваю, что надежды мои напрасны. Люмас не был большим любителем счастливых концов.

Примерно без двадцати пять я вышла из дома и двинулась по Кэстл-стрит в сторону собора. В этом городе собор виден почти отовсюду. Когда я сюда только приехала, я использовала его как ориентир. Солнце почти село, и небо за бледно-золотыми шпилями казалось выпачканным застывшим розовым воском. Обычная зимняя суббота: я шла мимо магазинов, в витринах которых были вывешены итоги футбольных матчей и где молодые преподаватели покупали себе газету или что-нибудь из еды. Дыхание застывало в воздухе у меня перед носом, и я размышляла о том, когда, интересно, откроется университет. Я думала о бесплатном отоплении в кабинете и о бесплатном кофе на кухне для сотрудников. Ну, хорошо, кофе не совсем бесплатный: положено платить примерно по пять пенсов за каждую чашку, но большинство из нас обычно оставляет сразу фунт или два — когда вспоминает. Интересно, угостит меня Патрик обедом? Почему бы и нет? Вообще-то я всегда настаиваю на том, чтобы оплатить половину счета, но сегодня просто не стану, и все тут.

Всего пару недель назад во дворе собора толпились колядовщики и прочие охотники за рождественскими подарками, но теперь здесь в буквальном смысле не было ни души. Закат

окрасил булыжники мостовой в темно-розовый цвет, и я поспешила по ним к Церкви Христа. Прошла через церковь в сад, оттуда — в собор. По левой стороне нефа двинулась в направлении склепа и спустилась по лестнице в его светлую каменную полость. Мне нравится склеп собора, несмотря на то (или как раз благодаря тому) что здесь произошло, потому что это больше похоже на сказку, чем на реальную историю. Мне нравятся мягкие, пустые звуки шагов тех немногих людей, которые сюда заходят, и нравится единственная зажженная свеча в часовне Богоматери. Некоторое время назад жители Лондона как будто пережили какое-то потрясение и заклеили чуть ли весь аналой желтыми бумажками с просьбами о мире во всем мире. Я приходила сюда, просто чтобы тихонько посидеть, но для начала всегда читала мольбы других людей. Помню, однажды я представила себе, что будет, если бомба попадет в сам собор. Но здание такое огромное и с такими прочными стенами, что бомба наверняка причинила бы ему не больше вреда, чем взорвавшаяся шутиха.

Патрик стоял у восточной крипты, я подошла к нему.

— Привет, — сказал он тихо и поцеловал меня в обе щеки.

— Привет, — шепотом ответила я.

— Довольно мрачное место для свидания, — сказал он, подняв одну бровь.

Я улыбнулась:

— Понимаю. Извини. Просто я хотела поставить свечку — и сразу пойдем.

Я подошла к алтарю, выбрала короткую свечу из ящика внизу и опустила в прорезь 40 пенсов. Я толком не знала, зачем ставлю свечку, вообще-то раньше я никогда этого не делала. Здесь ниоткуда не сквозило, однако примерно полминуты пламя в сомнении дрожало — как будто свеча размышляла, не погаснуть ли, но потом все-таки разгорелась и горела ничуть не хуже остальных. Я некоторое время смотрела на огонек и вскоре отвернулась, размышляя: что, интересно, происходит с энергией, которая скапливается в местах вроде этого. Похоже, мы сами создаем Бога из всей этой энергии. Так Бог создан из мыслей людей или люди созданы из мыслей о Боге? Наверняка эта мысль встречалась мне в одной из книг, которые я читала, но я не смогла вспомнить, в какой именно.

Глава пятая

Патрик снял номер в гостинице где-то за кольцевой дорогой. Мы прошлись по городу, спустились в подземный переход и, выбравшись из него, пошли по шоссе в сторону гостиницы. Это очень ночной район, весь переливающийся неоновыми вывесками кафе-магазинов, видеоларьков, работающих допоздна супермаркетов и ночных клубов. Отметившись у девушки за стойкой, мы по широкой деревянной лестнице поднялись к себе в номер — просторную чистую комнату, которая разве что совсем чуть-чуть поистрепалась за свою долгую жизнь. Пока Патрик переодевался, я стояла в ванной и разглядывала себя в зеркале. На мне уже лежит проклятие? С виду вроде не скажешь. С виду я скорее просто застигнутая врасплох, вымотанная и ослепленная уличными флуоресцентными огнями девушка.

Вы бы стали читать проклятую книгу, если бы она попала к вам в руки? Если бы вы узнали о том, что на свете есть проклятая книга, и она встретилась вам в книжной лавке, стали бы вы тратить на нее последние деньги? Если бы вы узнали о том, что на свете есть проклятая книга, вы бы стали повсюду ее разыскивать, даже если бы все уверяли вас в том, что во всем мире не осталось ни одного экземпляра? Вспоминая свой разговор с Вольфом, я все думала: а может, жизнь как раз и заключается вот в этом «на свете есть книга»? Хотя, если вспомнить разные истории и то, как разворачиваются в них события, получается, что, возможно, вообще не бывает никакого «на свете есть книга». Когда-то, давным-давно, была на свете книга. Вот это ближе к истине. Ну, хорошо, допустим, книга — есть. И что тогда? На свете есть книга, на ней лежит проклятие, и всякий, кто ее прочтет, умирает. Вот это действительно похоже на нормальную историю.

Я вышла из ванной и увидела, что Патрик переоделся в синие джинсы, на вид очень

дорогие, и бледно-розовую рубашку. В джинсах он смотрится неплохо, но мне больше нравится, как одевался Берлем: черная рубашка, темные брюки и полупальто. Но Берлема здесь нет, а Патрик — есть. Мы немного поприставали друг к другу и пошли обедать, а за обедом завели странную беседу о поэзии девятнадцатого века, во время которой я всю дорогу говорила о Томасе Гарди и о том, что самое лучшее в его стихотворении «Случай» — это придуманное им самим слово «уцветать»: «Почему самым светлым надеждам приходит пора уцветать?» В стихотворении автор ищет подтверждение существования мстительного бога — раз уж нет доказательств существования милосердного, — ибо высшая сила, пускай даже жестокая, придает нашей жизни смысл, который сами мы ей придать не способны. В конце концов мы дошли до структурализма и лингвистики (специализация Патрика), а затем — до Деррида (это уже по моей части).

— Как вообще можно читать Деррида? — вдруг спросил меня Патрик.

— А как можно его не читать? — ответила я.

Обед был окончен, и я вдруг поняла, что говорю как робот, который проходит тест Тьюринга. Возможно, у меня еще оставался шанс убедить Патрика в том, что я — человек, поэтому я стала его слушать, хотя на самом деле думала о мистере Y.

— С тобой все в порядке? — спросил он.

— Да-да, — ответила я. Пожалуй, придется поднапрячься. — Ты никогда не слышал лекций Деррида?

— Нет.

— Обязательно послушай. У меня есть одна в айпode. В ней он говорит, что молиться — это не то же самое, что заказывать пиццу. По-моему, здорово. Мне нравится представлять себе Деррида, как он коротает вечер за молитвами и заказанной пиццей, чтобы доказать, что то и это — разные вещи. Хотя вряд ли он делал что-нибудь подобное. Ну, в смысле, не думаю, чтобы он когда-нибудь молился или пытался доказать что-нибудь экспериментальным путем. А вот пиццу он себе наверняка заказывал, это уж как пить дать!

Патрик снова улыбнулся во весь рот.

— Ни за что бы не поверил, — вдруг сказал он.

— Во что? В то, что Деррида молился?

— Нет. В то, что я собираюсь переспать с девушкой, у которой есть айпод.

Наши роли в постели незамысловаты. Я — страстная молодая студентка, а он — профессор со слегка садистскими наклонностями. Наши игры не настолько серьезны, чтобы действовать строго в соответствии со сценарием, и весь их садизм состоит лишь в том, что время от времени Патрик связывает мне руки шелковыми платками, но мне нравится, когда он говорит мне, что делать.

Проснувшись утром, я обнаружила, что Патрик уже позавтракал и ушел. На прикроватном столике лежала записка, в которой он благодарил меня за чудесную ночь и объяснял, что дома какие-то «трудности» и ему нужно быть там. Жаль, что я не захватила с собой книгу. Я заказала в номер плотный завтрак и почитала бесплатную газету, а потом выбралась наконец из постели и поспешила воспользоваться удачной возможностью помыться по-настоящему горячей водой. У меня в квартире она нагревается не сильнее, чем до «более или менее» горячего состояния, а я люблю воду такой температуры, которая почти обжигает.

Помывшись и одевшись, я пошла обратно в город и вдоль полуразрушенной стены вернулась к своему дому. По левую руку от меня тянулась кольцевая дорога, и здешний пейзаж представлял собой спутанный клубок из машин, магазинов, дорожных знаков, бетонных заграждений, заправочных станций, нескольких кранов на заднем плане, паба, автомобильного кольца и пешеходного моста. В какой-то момент мимо промчался поезд, вынырнувший из-под рекламного щита с изображением сверкающих автомобилей, и снова исчез из виду за углом ночного клуба. Такое ощущение, будто в этом месте сосредоточены все признаки городской жизни сразу — от собственно городской стены и развалин

нормандского замка до возведенных рядом с ними уродливых типовых домов из красного кирпича. За замком под кольцевой дорогой прорыт подземный переход — он выводит на дорогу, которая идет вдоль реки в сторону автомобильной трассы, мимо газораспределительной станции и палаточного лагеря, разбитого бездомными. Однажды я здесь уже гуляла — любопытно было взглянуть на здешний пригород — и всю дорогу чувствовала запах газа.

Вернувшись домой, я обнаружила, что велосипеда Вольфганга нет, — значит, придется мне провести день один на один с мышами. Я заглянула в мышеловки, нашла двух пленниц, спустилась с ними вниз и выпустила их за мусорными баками Луиджи. Потом вернулась на кухню, наполнила ловушки новыми кусочками черствого хлеба и убрала их обратно под мойку, потом поставила на плиту кофе и разложила вокруг дивана все необходимое: «Наваждение», сигареты, блокнот и ручку. Дождавшись, пока сварится кофе, я забралась на диван с ногами и начала читать с того места, на котором остановилась вчера утром.

Едва лишь жидкость коснулась моего языка, как я испытал несколько новых ощущений, в том числе отвращение к темноте, и дыхание мое стало тяжелым, затрудненным. Сначала я решил, что это галлюцинации, вызванные подчеркнутой театральностью, с какой мне было подано снадобье, и что я всего лишь стал жертвой внушения. Однако спустя некоторое время я почувствовал нарастающее беспокойство и испытал нечто вроде головокружения. Несмотря на это, я продолжал, как было предписано, пристально вглядываться в черный круг, потому что цепкая лапа любопытства снова крепко сжала мне горло. Я по-прежнему не сомневался, что, даже если этот ярмарочный доктор окажется, как я и подозревал, мошенником, никакого зла его действия мне не причинят.

Лежа на жестком обломке плиты и упершись взглядом в черный круг, через несколько мгновений я вдруг с изумлением обнаружил, что круг распадается прямо у меня на глазах. На его месте появились два круга побольше — розовый и голубой, а потом они, подобно медузам, стали мягко сжиматься и растягиваться. Меня вдруг охватило чувство, какое испытываешь, когда летишь вниз на аттракционе «американские горы» или падаешь во сне. Но опускалось куда-то вовсе не мое физическое тело, а, скорее, сознание. Казалось, думающая, мыслящая часть моего существа закрывается с решимостью тяжелой, запирающейся на замок двери. А на ее месте образуется небольшая щель, которая становится все больше и больше, пока наконец не затмевает собою черный круг на бумажной карточке, и продолжает расти до тех пор, пока не достигает размеров железно дорожного туннеля. Я понял, что с головокружительной скоростью двигаюсь по этому туннелю, и испугался.

Сначала стены туннеля были угольно-черными, но потом я стал замечать, как на них появляются разные знаки, будто начертанные светом. Началось все с маленьких точек — вроде звезд на небосводе, и я подумал о том, что, если бы кто-то сумел их соединить, возможно, они обрели бы форму. Еще там были неровные линии вроде тех, которыми схематично изображают морские волны. В какое-то мгновение мне показалось, будто я увидел нечто напоминающее человеческие гениталии. За ними следовали другие формы, и, несмотря на огромную скорость, с какой я проносился мимо них, я успел отметить не сколько кругов, сфер, треугольников, пирамид, квадратов, кубов и предметов в форме параллелепипеда, а потом все это растворилось и стены туннеля покрылись чем-то, напоминающим древние иероглифы, которые, признаюсь, я не сумел прочесть. Картинки, словно призраки, появлялись и сразу исчезали — вещи, похожие на птиц, человеческие ступни и глаза. И все это искрилось у меня перед глазами, словно прорисованное лучами света.

Я почувствовал, как тревога отступает по мере того, как я продвигаюсь все дальше по туннелю, и мне становилось все любопытнее рассмотреть маленькие символы, которые проплывали мимо, будто картинки в волшебном фонаре. Круги, разделенные крестом или линией, и множество других фигур, среди которых флажки, стебли растений, коробки и перевернутые латинские буквы g, E, r и P. Еще

я видел нечто, напоминающее буквы, написанные детской рукой. Я успел отметить, что здесь присутствовали не все буквы латинского алфавита и что прописные чередовались со строчными. Я убежден, что видел буквы Y, I и z, на французский манер изображенную с поперечной черточкой, а также l, o, w и x. Позже на стенах появились заглавные буквы A, B, H, K, M, N, P, D, T, V, Y, X. За ними последовали греческие буквы, которые явились мне по порядку — от альфы, беты, гаммы и дельты до фи, хи, пси и омеги. Затем я лицезрел весь латинский алфавит в правильном порядке, от A до Z. И по-прежнему то тут то там возникали отдельные иероглифы. Чем дальше я продвигался по туннелю, тем больше символов различал на черных стенах — пока света не стало больше, чем тьмы, и передо мной не столпились тысячи знаков. Среди них я видел римские и арабские цифры и другие фигуры, которых не мог распознать, потому что они пролетали мимо меня с оглушительной скоростью. Были там и математические формулы. Я узнал ньютоновскую $F = ma$, остальные — нет.

В какой-то момент мне начало казаться, что путешествие подходит к концу. Свет на стенах туннеля разросся до такой степени, что теперь я словно в нем купался. На одно мгновение мне даже почудилось, будто бы я сам — часть этого света. Я больше не в силах был различить вокруг себя ничего, кроме этого яркого белого сияния. Я отчетливо помню, как подумал: «Ну вот и все! Ярмарочный шарлатан меня убил. Сейчас я увижу, на что похож рай». О втором из возможных вариантов я не подумал. Вскоре мне и в самом деле показалось, будто я проснулся в райском месте. Правда, со святым Петром мне встретиться не довелось. И вообще, вокруг не было видно никаких других существ — смертных или каких-либо еще. Под ярко-голубым небом, на котором я, к своему удивлению, не обнаружил солнца, росли трава, цветы и деревья, не похожие ни на одно растение, которое можно встретить в Англии девятнадцатого века. В эти минуты я испытал глубочайшее ощущение покоя — тройне приятное после смертельного ужаса, который мне довелось пережить в начале путешествия.

Сколько времени прошло с тех пор? Я не имел об этом ни малейшего представления. В глубине сознания что-то грызло меня маленькими настойчивыми зубками. Возможно, я должен выполнить в этом месте какое-то задание? Я припомнил ярмарочного доктора и его странное снадобье, и тотчас причина моего путешествия стала мне ясна. Я прибыл сюда, чтобы узнать, в чем заключается фокус «Призрак Пеппера», хотя понятия не имел, как это сделать. И к тому же я чувствовал, что мое стремление разгадать эту загадку меркнет в сравнении со страстным желанием раскрыть новую тайну, куда более непостижимую: где я нахожусь и каким образом сюда попал?

В то самое мгновение, когда мне снова стала ясна моя задача, в лугах справа от меня появилась пегая лошадка. Она подошла ко мне и ткнулась носом мне в ладонь, — увидев, что она оседлана, я понял, что должен на ней поскакать. У меня есть кое-какой опыт верховой езды, и мне не оставалось ничего другого, кроме как поставить ногу в стремя, взобраться на лошадь и взяться за поводья. Побрыкавшись лишь самую малость, лошадь грациозно двинулась вперед. У меня снова появилось ощущение, будто я знаю нечто такое, чего знать не могу, и мне показалось, что лошадь отвезет меня именно туда, куда мне нужно. Ощущение было очень отчетливое, и я позволил лошади самой выбирать дорогу. Она повезла меня к вершине невысокого холма. Вокруг меня все было тихо и спокойно, и казалось, я готов остаться здесь навсегда — о чем еще можно мечтать? И все же я чувствовал, что обязан выполнить свою миссию.

Вскоре впереди показались несколько построек. Когда лошадь подошла к ним поближе, я увидел, что на самом деле там располагалась целая деревушка — дома прижались друг к другу, а сразу за ними начинался огромный дремучий лес. Я знал, что должен осмотреть эти жилища, поэтому слез с лошади и подвел ее к первому из домов. Здание было небольшое и темное, окруженное садом, который сплошь зарос кустами ежевики и старыми деревьями со спутанными ветвями. Еще не прочитав имя на воротах, я понял, что это дом ярмарочного доктора. Следующее здание выглядело проще — с белеными снаружи стенами и

незнакомым именем на воротах. Что-то подтолкнуло меня войти в этот дом и затем подсказало мне, будто руководя моими Действиями откуда-то из глубины сознания, что дверь окажется не заперта, поэтому я вошел без стука, зная, что в здешних краях так принято и никто не сочтет меня грубым нарушителем порядка.

И тут я испытал самое удивительное ощущение. Боюсь, мне не хватит слов, чтобы как следует его описать. Пожалуй, сравнить это можно вот с чем: представьте себе, будто вы примеряете на себя даже не тело другого человека, а его душу. Я нишу сейчас эти строки и понимаю, что описание у меня выходит жалкое и невыразительное — и даже отдаленно не может передать того странного, но отнюдь не неуютного ощущения роста, которое я испытал, когда то, что было «мной», принялось прорасти в то, что было «им», и мы вдвоем слились в единое целое. Я попал в сознание иллюзиониста мистера Уильяма Гарди, владельца «Театра призраков Гарди».

Я могу заверить читателя, что телепатическая связь с другим человеком ни в коей мере не является поверхностной, смутной и едва ощутимой. Потому что я, оказавшись внутри сознания другого человека, хотя и оставался по-прежнему в своей собственной телесной оболочке, явственным образом ощущал, что не заменил его в этом его сознании, а оказался там с ним рядом. И как ни досадно мне это писать — ведь я никогда не верил в призраков, фантомов и так называемое четвертое измерение Цельнера и прочих, — у меня нет никаких сомнений в том, что у нас с этим человеком было теперь одно сознание на двоих. Я мог думать о том же, о чем думает он, я знал то же, что известно ему, и — на то время, пока я был гостем его «я», — испытывать все, что испытывает он.

Он (правда, мне казалось, что все это делал не он, а «я», но, пожалуйста не стану морочить читателю голову использованием форм первого лица единственного числа или, того хуже, множественного) был голоден — это самое первое чувство, которое я испытал. Конечно, я тоже ощутил голод — ведь теперь я был им — и немедленно попытался вспомнить, когда ел в последний раз. Передо мною возникло что-то вроде двух прозрачных образов, наложенных один на другой. Конечно, это не слишком точное описание того, что я почувствовал, но словами, пожалуй, лучше не объяснить. Я увидел — или ощутил — как сам я, собственной персоной, обедаю в отеле «Ридженси», но в то же самое время почувствовал, как Уильям Гарди, который, как я теперь знал, любит мысленно называть себя Уиллом или даже Крошкой Уиллом (так в детстве звала его мать), садится за стол, чтобы отведать мясной запеканки, завернутой в бумагу. Мне самому трудно поверить в собственные воспоминания теперь, когда я пытаюсь их описать, но в тот момент я совершенно отчетливо почувствовал вкус жирного мясного блюда и густой коричневой подливки, такой же сладкой, как и мясная начинка. И все же, несмотря на это, я (он? мы?) по-прежнему был голоден. Мясная запеканка была всего-навсего воспоминанием, и Крошка Уилл мечтал об ужине.

До ужина Крошке Уиллу требовалось упаковать свой призрачный театр. Назавтра ярмарка заканчивалась, поэтому все следовало тщательнейшим образом разобрать и сложить в большую повозку. Уиллу — как и мне — уже одна только мысль о необходимости проделать все это казалась невыносимой, и я прекрасно понимал мрачную тоску, с какой он прикрикивал на своих подчиненных, то веля им поторопиться, то требуя работать аккуратнее. Я знал о предательстве его ассистента Дэна Роупера и видел, что Питер, мальчишка-помощник, слишком неуклюж, чтобы справиться с порученным делом. Не думаю, что я в точности разделял мысли Уильяма Гарди, пока шла упаковка театрального оборудования, ведь я не «читал мысли» в прямом смысле этого слова. Я, скорее, имел доступ к его воспоминаниям — точно так же, как мы имеем доступ к своим собственным. Образы мелькали у меня перед глазами так быстро, что сливались в сверкающую полосу, похожую на ртутную. Например, я увидел, как незадачливый Питер разбил большой лист стекла, и знал, что это уже не первый такой случай за последнее время. Увидел, как Дэн Роупер укрылся за ярмарочным балаганом с какой-то женщиной, и тут же увидел Крошку Уилла с нею же. Конечно, я увидел его не со стороны, как вездесущий наблюдатель. Я был его глазами, ушами, носом и плотью

в момент его близости с этой женщиной — еще совсем девочкой, которую, как теперь я знал, он называл Роуз.

Признаюсь, я едва не растворился в этом новом мире, потому что, получив доступ к мыслям другого человека, кто же откажется бесконечно в них скитаться? Что это было — антропология или биология, что позволило мне читать разум другого человека, словно пьесу? Мне искренне казалось, что все труды Шекспира меркнут в сравнении с трагедиями, комедиями, предательствами и страстями этого балаганного артиста. И все же я вспомнил о цели своего визита. Я был здесь, в разуме Уильяма Гарди, для того, чтобы узнать секрет его иллюзорных призраков, которых он возил с ярмарки на ярмарку.

Через мгновение мне все стало ясно. Я увидел, как хитрым образом располагается большой, купленный за немалые деньги лист стекла, который по пять раз в день начищает до блеска самолично Крошка Уилл. Я увидел, как стекло устанавливают на сцене, уперев его в заднюю стену. Я увидел — или осознал — наклон в сорок пять градусов. Мне стало ясно в мельчайших подробностях, каким образом устроена эта иллюзия, — я увидел и наклон стекла, и актеров под сценой, которые танцевали в лучах проектора, чтобы создаваемые ими образы отражались в стекле и переносились на сцену. Мне стало ведомо изумление Крошки Уилла, когда он сам впервые увидел этот трюк со светящимися фигурами, и я вспомнил — так отчетливо, как если бы передо мной возникло воспоминание из моего собственного прошлого, — тот вечер, когда Крошка Уилл открыл книгу, в которой разъяснялись секреты этой оптической иллюзии. Надо сказать, что читать книгу посредством памяти другого человека — ощущение в высшей степени странное, и хотя многих частей текста в памяти не сохранилось — и, следовательно, их я прочитать не мог, — самые значительные отрывки я видел так отчетливо, будто бы книга действительно лежала раскрытой у меня перед глазами.

Было в моем приключении еще кое-что, о чем я пока не рассказал из страха довершить впечатление, будто в тот день в ярмарочном балагане окончательно лишился рассудка. И все же это вещь слишком любопытная, и я хочу о ней рассказать — остается лишь надеяться на то, что читатель и дальше будет проявлять ко мне снисхождение. А описать я хотел бы вот что: то, каким образом изменилось поле моего зрения после того, как я оказался в этом «духовном мире» иных сознаний. В начале, признаюсь, я и понятия не имел ни о том, насколько далеко этот мир распространяется, ни о том, насколько далеко дозволено мне перемещаться в его пределах. И все же во время первого его посещения я узнал несколько важных вещей, которые сейчас попытаюсь описать. Обыкновенно — общаясь с другими людьми или просто наблюдая смену дней — мы видим мир так, будто бы он заключен в рамку. Внешний мир, таким образом, представляет собой всего-навсего картину на стене или, возможно, много картин. Я смотрю влево — и вижу одну картину, смотрю вправо — и вижу другую. Философ мог бы спросить, есть ли еще одна картина у меня за спиной — там, где я не могу ее увидеть, — но в дебри философских вопросов я сейчас вдаваться не стану.

Если представить себе такой способ видения мира в форме рамки с вполне конкретными, хоть и немного размытыми краями, то проще будет осмыслить деформированную рамку, сквозь которую я смотрел на мир Крошки Уилла. Потому что рамка Крошки Уилла содержала внутри себя и мою рамку, наложенную поверх нее. В результате этого наложения все, что я видел, представало передо мной в мутноватой дымке — как будто бы я смотрел сквозь толстое стекло или тонкую завесу. И этим особенности новой рамки не ограничивались. Края моего восприятия рамки Крошки Уилла обрамлялись помутнением вроде того, которое присутствует по краям обыкновенного поля зрения. Но помутнение по краям рамки Уилла было более очевидно из-за того, что слева и справа от нее находились дополнительные картинки, вроде игральные карт, разложенных для пасьянса. Было и еще кое-что особенное в этом новом способе зрения, что поразило меня еще больше. Когда Крошка Уилл подходил вплотную к другому человеку и смотрел на него, у меня перед глазами появлялся полупрозрачный образ какого-то дома — на месте его более расплывчатого

изображения, которое я видел и раньше. Я чувствовал, хотя и не до конца понимал, что в такие мгновения я мог, если бы пожелал, просто шагнуть в этот дом из того, в котором сейчас нахожусь, — то есть, другими словами, мог перейти в другое сознание. Во всяком случае, такую теорию я построил, основываясь на данных, которыми располагал. Однако, когда я опробовал теорию на мальчике Питере, меня словно отшвырнуло от невидимой стены и, вместо того чтобы проникнуть в его сознание, я снова оказался на тропинке, соединяющей деревенские дома.

И снова меня охватило чувство полноты и покоя. Голод, который я испытывал, пока пребывал в сознании Крошки Уилла, мгновенно утих, и я понял, что пребывание в душе другого человека невероятно выматывает. Здесь, среди домов и деревьев, я не испытывал никакого неудобства, но хорошо помнил ощущение голода и отчаяния, которое переживал вместе с Крошкой Уиллом. Из этого я заключил, что дальнейшие приключения, которых я так страстно желал, лучше отложить до следующего визита, отыскал свою лошадь и позволил ей отвезти меня в то место, откуда я явился в этот мир.

Путешествие обратно по туннелю показалось мне менее долгим, чем в прошлый раз, — и вот я уже снова в ярмарочном балагане, лежу на обломке плиты. («Снова лежу» — слова не вполне точные, ведь, наблюдай за мной кто-нибудь со стороны, он бы и не заподозрил, что я куда-то отлучался.) По толстой ткани шатра все так же барабанил дождь, и я попытался открыть глаза, чтобы вновь увидеть знакомый мир, который на время покидал. Так и не открыв их окончательно, я лежал, с головой, еще тяжелой от фантазий, и размышлял, что это было — мне снился созданный искусственным образом сон, или же я и в самом деле проник в сознание другого человека? Я решил расспросить об этом ярмарочного доктора, как только окончательно приду в себя. Однако, открыв наконец глаза, я обнаружил, что лежу один в кромешной тьме. Уродливая лампа, которая прежде ярко горела, была потушена. Доктора нигде не было видно. Я достал из кармана часы и спички и, чиркнув над самым циферблатом, обнаружил, что уже почти полночь. Я в ужасе вскочил на ноги и на ощупь выбрался из балагана, освещая себе путь другой зажженной спичкой. Как же я мог оставаться без сознания так много времени? Мне было страшно, и я бежал, спотыкаясь, пока не оказался наконец снаружи, но и там оказалось пусто и темно. Я был твердо намерен найти доктора и отчитать его за то, что он оставил меня одного, совершенно незащитного, так надолго. Но его и след простыл, и я, уставший и отчаянно голодный, направился обратно в «Ридженси», а доктора решил разыскать на следующий день.

Глава шестая

Несколько часов спустя я проголодалась, замерзла и захотела в туалет. Из окна ванной мир кажется похожим на огромный кукольный дом — шаткий и ненадежный, накрытый, словно куполом, крышами домов и скрепленный дверями запасных выходов. Отсюда видна кровля подсобки Луиджи и темная металлическая лестница, по которой можно спастись в случае пожара. Под серой цементной крышей — черный ход индийского ресторана. Там стоял какой-то парень и торопливо затягивался сигаретой, то и дело оглядываясь, как будто его вот-вот поймут на месте преступления. Из моего окна можно заглянуть в закоулки и кривенькие задние двory домов, но в остальном здесь, куда ни глянь, сплошные крыши и дымоходы, кирпичные и цементные, так что в какой-то момент даже начинает казаться, что это не настоящий город, а трехмерный картонный конструктор. Как можно втиснуть такое количество зданий в такое небольшое пространство? Я начинала думать, уже не в первый раз, о том, какое множество людей постоянно меня окружает — даже тогда, когда мне кажется, будто я совсем одна. Интересно, каково это — оказаться в чужом сознании? От этого чувствуешь себя менее одиноким или, наоборот, одиночество становится нестерпимее?

Я сварила на обед зеленой чечевицы, а потом вернулась на диван и, усевшись с тарелкой на коленях, продолжила читать про мистера У и его поиски ярмарочного доктора.

Когда мистер У приходит на площадь на следующий день, никакой ярмарки там уже нет, как и доктора с его загадочной микстурой. Бедный мистер У. Он был уверен, что сможет вернуться в мир чужих сознаний, и не поторопился исследовать все, пока был там. Он принимается расспрашивать прохожих и выясняет, что почти вся ярмарка перебралась на новое место — сразу за Шервудским лесом. Однако, добравшись туда, он нигде не может разыскать доктора. А люди, которых он спрашивает о том, не видели ли они «ярмарочного доктора», удивляются и уверяют его, что никакого ярмарочного доктора здесь отродясь не видывали.

Вернувшись в Лондон, мистер У со все возрастающей одержимостью пытается найти ответы на вопросы, возникшие во время его путешествия. Неужели ему в действительности была дана, пусть ненадолго, способность читать мысли других (или, как он это называет, «телепатить»)? Или доктор просто напоил его сильнодействующим снотворным? Ответов на эти вопросы у него нет, как нет и возможности их найти. Но в сознании Уильяма Гарди он, пожалуй, все-таки действительно побывал. Ведь удалось же ему отыскать и прочесть ту самую книгу, из которой Гарди узнал об иллюзии «Призрака Пеппера». И отрывки, которые он «помнит» (те, которые прочитал глазами Крошки Уилла), оказались действительно точь-в-точь такими. Человек не может помнить книгу, которой не читал, поэтому мистер У делает вывод, что в тот вечер на Гусиной ярмарке с ним все же приключилось нечто сверхъестественное. Но он понятия не имеет, что же это было. Не находя никакого достойного объяснения происшедшему, он поступает так, как и полагается жителю викторианской эпохи: начинает классифицировать и давать определение разным элементам нового мира, с которыми ему довелось столкнуться. Этому новому миру он дает имя — тропосфера (чтобы его образовать, он берет слово «атмосфера» — сочетание греческих слов «пар» и «шар» — и заменяет невнятный «пар» более существенным греческим словом: «trōpos», то есть «характер»). Больше времени у мистера У уходит на то, чтобы придумать термин для обозначения самого путешествия, но в конце концов слово найдено — «телемантия»: «теле» — от «tele», «расстояние», и «мантия» — по-гречески пророчество. Недавнее приключение представлялось ему не чем иным, как пророчеством на расстоянии, и он нестерпимо желал проделать его снова.

В этом месте повествования мы начинаем узнавать кое-какие подробности деловой жизни мистера У. Его мануфактурная лавка в лондонском Ист-Энде когда-то приносила приличный доход, но теперь, похоже, дела идут не лучшим образом, и он вынужден рассчитать нескольких своих продавцов. Буквально за углом открывается конкурирующая лавка, которая немедленно начинает процветать. Владелец новой лавки, мистер Клеменси, схематично охарактеризован в романе как человек изворотливый и злобный, которому явно доставляет удовольствие видеть разорение соседа и который полагает, что его методы работы (он запирает рабочих в тесном, жарком помещении и платит им гроши) куда прогрессивнее старомодного подхода мистера У. Вскоре мистера У обуревают уже две страсти: телемантия и месть, и он думает о том, что, если бы ему узнать, из чего состояло снадобье ярмарочного доктора, он мог бы приготовить его сам, чтобы посетить разум мистера Клеменси. И, как ни стыдно ему в этом себе признаваться, он намерен шантажировать конкурента — вот только бы придумать как.

А его предприятие тем временем рушится на глазах. В довершение всего заболевает его отец, а жена, обычно такая кроткая, все чаще сердится и бранится. Мистер У не в состоянии справляться со всеми проблемами одновременно, поэтому о больном отце он предпочитает не думать, а на жену кричит. Совершенно очевидно, что вся его жизнь стремительно катится под откос, но он этого не замечает. Он продолжает жечь лампу по ночам и штудировать книги о лекарственных препаратах и растениях в надежде отыскать хоть какую-нибудь подсказку на предмет состава таинственной микстуры. Но подсказки нет. И все же мир тропосферы — и в особенности спокойствие ее бескрайних просторов, по которым он скакал на лошади, — манит его как наркотик, к которому у него выработалась сильнейшая зависимость.

За кухонным окном постепенно темнело, и я посмотрела на часы. Пятый час. У меня в спальне есть настольная лампа, я пошла за ней, принесла, воткнула в розетку за диваном и поставила на подоконник. Так-то лучше. Теперь свет можно направлять прямо на страницы книги. Одна лампа слишком много электричества не сожжет, ведь правда?

Около половины пятого я услышала, как внизу хлопнула дверь, и за этим последовало нестройное позвякивание велосипедного звонка, которым Вольфганг цеплялся за стену, поднимаясь по лестнице. Мне ужасно хотелось дочитать книгу, но глаза уже слезились от напряжения, и к тому же я несколько часов кряду ни с кем не разговаривала. Поэтому, когда несколько минут спустя в мою дверь тихонько постучали, я крикнула, что дверь открыта, и поднялась, чтобы сварить кофе.

Вольфганг вошел и неловко пристроился за кухонным столом.

— Как прошел день? — спросила я, хотя мне следовало угадать ответ по его позе.

— Ха, — сказал он и обхватил голову руками.

— Что такое?

— Для чего нужны воскресенья? — спросил он. — Ну-ка, скажи мне.

— Ну... Для посещения церкви? — предположила я. — Семейного уюта? Занятий спортом?

На плите зашипел кофе, и я сняла его с огня. Налила нам по чашке и уселась за стол напротив Вольфа. Предложила ему сигарету и зажгла одну для себя. На мои догадки про воскресенье он ничего не ответил, поэтому я попыталась придумать еще варианты. Помимо собственной воли, я без труда перенеслась в мир мистера У и собрала в голове наполовину законченные картинки из детских раскрасок, на которых женщины в узких длинных юбках гуляют по паркам, дети играют в обруч и семейства отдыхают на морском побережье с зонтиками от солнца и игровыми автоматами — хотя, кажется, игровые автоматы появились только в начале двадцатого века. Это такой дневной воскресный мир, мир «после церковной мессы», в котором я еще не вполне освоилась. Я попыталась мысленно выбраться из 1890-х годов.

— Для секса? — предложила я альтернативную версию. — Для чтения газет? Похода по магазинам?

— Ха, — снова ответил Вольф и отхлебнул из чашки.

— Что произошло? — спросила я.

— Выходные с семьей Кэтрин, — произнес он с изрядной долей отвращения в голосе.

— Ну, наверняка было не так уж и плохо, — сказала я. — Куда вы ездили?

— В Сассекс. Загородный дом. Это было не просто плохо, а ужасно...

— Почему?

Он вздохнул.

— С чего начать?

В голову пришла «Одиссея».

— Попробуй с середины, — предложила я.

— Ага. С середины. Ладно. В середине я сбил собаку.

Я не смогла удержаться от смеха, хотя, конечно, в этом не было ничего смешного.

— С ней все в порядке?

— Хромает. — Вольфганг был явно расстроен.

Я отхлебнула кофе.

— Как же ты ее сбил?

Вольфганг не водит машину — поэтому у него велосипед.

— В... Как это называется? Забыл слово...

Вольфганг любит вот так прикинуться. Он говорит по-английски лучше, чем большинство студентов-филологов в университете, но иногда принимается подыскивать слова, как сейчас, играя на своем иностранном происхождении, чтобы придать особого драматизма, а то и трагичности истории, которую рассказывает. Меня такое его притворство ничуть не раздражает, а даже веселит. Но это вовсе не означает, что я не знакома с

механизмом этого трюка.

А он все продолжал:

— Это было такое... Похоже на маленький трактор.

— Ты сбил собаку родителей своей девушки «маленьким трактором»?

— Нет. Ну, да. Но ты мне все-таки скажи, как называется маленький трактор?

— Боюсь, никак не называется. Что на нем делают?

— Стригут траву.

— А! Газонокосилка.

Вольф посмотрел на меня как на дурочку.

— Газонокосилку я знаю, — сказал он. — Ее нужно толкать. А на этой штуке надо сидеть.

— А, понятно. То есть это такая газонокосилка, на которой сидят. О, господи. Как же такие штуки называются? — Я ненадолго задумалась. — Думаю, это просто газонокосилки, на которых сидят. А как родители Кэтрин это называли?

— По-моему, они называли это «косилка». Но я был уверен, что есть какой-то другой термин.

— Боюсь, что все-таки нет. Ну, и что же ты делал на косилке?

— Отец, мистер Дикерсон, загнал ее в такое место, откуда не развернуться, и хотел, чтобы «большой сильный парень» вырулил на ней на середину двора.

Я засмеялась от мысли, что кому-то пришло в голову назвать Вольфганга «большим сильным парнем». Ему ни одно из этих трех слов не подходит.

— Да уж, — обиделся он. — Очень смешно.

— Извини! Ну, и что у Кэтрин за семья?

— Богатая. Торгуют коврами.

— А с Кэтрин что-нибудь светит?

— Мне? — Он пожал плечами. — Кто знает?

Вольф встал и взял с полки бутылку сливовицы. Налил себе большой стакан, предложил налить и мне, но я отказалась.

— Ну, — сказал он, усевшись обратно за стол. — А как поживает твое проклятие?

— Мм... Ты умеешь хранить секреты?

— Ты же знаешь, что умею. И к тому же я уже говорил тебе, что мне наплевать, если я стану еще более проклят, чем был.

— Не думаю, что ты станешь проклят просто от того, что я тебе об этом расскажу.

— Так что же это? Какая-то вещь?

— Книга.

— А, горе от ума, понимаю!

— Да нет, тут дело не в этом, — сказала я. — Это роман. Думаю, проклятие — это всего лишь предрассудок. Но книга очень редкая и, вероятно, очень ценная — хотя мой экземпляр испорчен и, боюсь, уже ничего не стоит.

— Ты купила ее в пятницу?

— Да. Практически на все оставшиеся деньги.

— Что — такая уж прямо редкая книга?

— Очень редкая. — Я рассказала Вольфу о том, что во всем мире не осталось экземпляров «Наваждений» — если не считать того, который хранится в немецком банковском хранилище. — Иметь такую книгу у себя дома все равно удивительно — даже если она испорчена. Ее написал тот автор, о котором я пишу диссертацию, — Томас Люмас. Возможно, я единственный человек в мире, который напишет работу о самой книге, а не о загадках, которые ее окружают. Да ее и читали-то за целый век, кроме меня, наверное, только несколько человек.

Я говорила все быстрее и быстрее, но тут Вольф меня перебил:

— И в чем же состоит проклятие?

Я уставилась в стол.

— Всякий, кто ее прочтет, умирает.

Книга по-прежнему лежала на диване, где я ее оставила, и я заметила, как внимательный взгляд Вольфа двинулся по комнате и остановился на ней. Он встал и подошел к дивану. Но вместо того чтобы взять книгу в руки, он просто стоял и смотрел на нее, как на музейный экспонат. Мне вдруг подумалось, что на самом-то деле он очень даже боится проклятий — так сильно, что даже не желает прикасаться к книге. Но потом я поняла, что, видимо, это было всего лишь почтение к ее возрасту и антикварности. Вольф не боится проклятий — он ведь сам сказал.

Он вернулся к столу.

— А о чем там?

— О человеке по имени мистер Y, который отправляется на викторианскую ярмарку, — начала я. И рассказала Вольфу историю до того места, до которого дочитала, остановившись на сцене, в которой жена мистера Y умоляет его перестать проводить ночи напролет над учебниками по медицине. Мистер Y требует, чтобы она не вмешивалась не в свое дело и шла спать. Она уходит, а он снова погружается в чтение.

— Из чего же, по его мнению, можно сделать такую микстуру? — спросил Вольф.

— Он еще не знает, — ответила я. — Он думает, что в основе может быть спиртовая настойка опиума, но пока не уверен. Ему известно только, что снадобье активно в жидком виде, поэтому пока он остановился на закиси азота — веселящий газ — и хлороформе: и то и другое нужно вдыхать. Есть и еще кандидаты — эфир, состоящий из серной кислоты и спирта, и хлорал. Еще он пытается раздобыть какие-то более экзотические препараты за границей и придумывает какую-то странную теорию об иноземном знахаре, который дал ярмарочному доктору рецепт. Но если это так, микстуру нельзя будет составить из ингредиентов, доступных в аптеках викторианской Англии. Мысль об этом погружает его в глубокую депрессию. Но через некоторое время он приходит к выводу, что смесь все-таки вряд ли была экзотической. При такой невысокой цене — два шиллинга — она едва ли содержала в себе древесную кору из Перу, змеиный яд из Африки, кровь единорога или что-нибудь еще вроде этого. Он вычисляет, что за два шиллинга микстура, скорее всего, состояла из относительно недорогих ингредиентов. Но из каких? — Я пожала плечами. — Даже если это не какие-нибудь редкости, это может быть все что угодно.

— А у тебя никаких догадок нет? — спросил Вольфганг.

Я помотала головой:

— Нет. Но я жду не дожусь, когда же они появятся — если, конечно, это когда-нибудь вообще произойдет.

Вольф зажег сигарету и принялся сосредоточенно изучать свой стакан со сливовицей. Я подумала, не рассказать ли ему о предисловии к книге и о намеке на то, что во всем этом может быть кое-что «реальное», но все же остановила себя. Вместо этого я встала и пошла сполоснуть кофейные чашки, а Вольф тем временем допил сливовицу и засобиравшись к себе.

— Я могу приготовить сегодня что-нибудь для гурманов, если хочешь, — предложил он.

Соблазн был велик. У меня-то остались только продукты из раздела «для тонких гурманов», но уж очень хотелось дочитать книгу.

— Спасибо, Вольф. Но я, пожалуй, еще почитаю.

— Чтобы свершилось проклятие? — спросил он, приподняв одну бровь.

— Не думаю, что оно на самом деле существует.

К восьми часам в комнате стало невыносимо холодно, и я включила все газовые горелки. Книга приближалась к концу, и уже почти не оставалось сомнений в том, что мистер Y вот-вот окончательно разорится из-за своей одержимости тропосферой и попыток придумать способ снова там оказаться. Он вовсю экспериментирует с самыми разными лекарствами и настойками — укладывается на кушетку и не отрываясь смотрит в черную точку, но пока безрезультатно. На каждом углу его подстерегают рекламные вывески,

предлагающие лекарства от всех болезней вроде «Пульмонических вафель» доктора Локока или патентованных и усовершенствованных гальванических браслетов, ремней, батареек и аксессуаров Пульвермахера. Что содержится в этих вафлях, и не мог ли ярмарочный доктор составить из этого свою смесь? А электрические товары Пульвермахера? Что, если ярмарочный доктор каким-то образом наэлектризовал составленную им жидкость? Мистер У приходит к выводу, что случайно составить это снадобье невозможно. Единственная возможность снова попасть в тропосферу — это разыскать доктора и добиться от него разъяснений.

К началу двенадцатой главы мистер У обнаруживает, что большинство людей, которые летом путешествуют с ярмарками по стране, зимой приезжают в Лондон и показывают свои представления в заброшенных лавках и нелегально занятых зданиях. В качестве последнего пристанища мистер У теперь тратит все вечера — и почти все оставшиеся деньги — на посещение подобных заведений, надеясь, что в одном из них ему удастся наконец найти подсказку, которая приведет его к ярмарочному доктору.

Мои поиски продолжились до самого ноября. Стало нещадно холодно, но я не пропускал ни одного вечера — даже тогда, когда начал сомневаться в том, что когда-нибудь смогу разыскать этого человека. Лондон превратился в Ярмарку тщеславия: на глухих улочках Уэст-Энда расположились многочисленные временные учреждения, безвкусно оформленные и увешенные рекламными плакатами, на которых намалеваны краской или скопированы на факсимиле изображения таких малопривлекательных персонажей, как Бородатая Дама, Рябой Мальчик, Перуанская Великанша и разные другие мутанты, дикари и уроды. Хотя большинство этих заведений работало весь день, я выяснил, что к ночи шансы лицезреть большую часть номеров сильно возрастает. Вот почему я выходил обычно из дома после ужина и платил по пенни за вход в заведения как кричаще-разноцветные, так и бесцветно-серые, как наводненные людьми, так и пустующие. В каждом таком заведении я задавал один и тот же вопрос, и везде мне отвечали одно и то же. Никто никогда не слышал ни о каком ярмарочном докторе.

Ноябрь становился мрачнее и серее, и снега с каждой ночью выпадало все больше. До наступления теплых дней я решил ограничиться поисками в границах ближайших улиц своего района — хотя вынужден признаться, что к этому времени во всем Лондоне едва ли оставалась хоть одна восковая фигура или живой скелет, на которых я бы еще не налюбовался. И вот до меня дошли слухи о новых цирковых помещениях на Уайтчепел-роуд — прямо напротив Королевского лондонского госпиталя: прежде здесь располагались похоронные конторы, а еще раньше — торговля мануфактурными товарами, в которой я кое-что да смыслил. И вот после скромного ужина из хлеба и соуса я отправился пешком в сторону Уайтчепел-роуд. Дорога вела мимо еврейского кладбища и задних построек угольного склада, а затем — по южной стороне рабочего дома позади хлебного ряда. Меня не в первый раз посетило ужасное предчувствие, что, если мне не преуспеть в поисках, моя собственная семья может оказаться в одном из подобных учреждений. Ничего худшего я и представить себе не мог, потому что ничего худшего просто не знал.

Я шел вдоль железнодорожных путей в сторону Королевского лондонского госпиталя, всю дорогу оглядываясь в поисках воров, которые промышляют в местечках вроде этого. Денег у меня с собой было не слишком много, но я был, конечно, наслышан об ужасной новой породе воров из Ист-Энда, которые, стоит им обнаружить у тебя в карманах хотя бы несколько пенсов, выражают свою благодарность, выбивая тебе один глаз — а то и как-нибудь похуже. Мне на плечи медленно падал снег, а я все шел и шел вперед сквозь туман, и пыль с угольного склада подмешивалась в смог, и без того обволакивающий меня густой пеленой. Я слегка подкашливал и тер руки друг о друга, чтобы согреться. Я шел и думал, что, будь у меня хоть капля здравого смысла, я бы наверняка не вышел из дому в такую ночь. И все же продолжал шагать вперед.

Едва я свернул в Уайтчепел-роуд, как взгляд мой немедленно упал на

заведение, о котором я слышал. Верхняя часть постройки была затянута большим куском материи с перечислением разнообразных представлений и увеселений, среди которых значилась и очередная Толстая Дама бок о бок с Самой Сильной Женщиной в Мире и другими им подобными диковинами. Тревожно сознавать, насколько быстро человеку наскучивают подобного рода развлечения — особенно если посещать их с той же регулярностью, с какой это делал я последние несколько месяцев. Тогда за призванной пугать и восхищать тератологией,⁷ предметом которой служили здешние артисты, со всей очевидностью вставала ужасная реальность. Однажды воскресным утром мне довелось проходить мимо заведения, в которое я заглядывал за две или три ночи до того. Там, в заросшем саду, я увидел «сногшибательную» бородатую женщину. По вечерам, в особом освещении, она становилась внушающим трепет полумифическим персонажем, а сейчас развешивала белье и о чем-то спорила с африканской «дикаркой», которая с заходом солнца облачалась в соломенную юбку и золотую тунику, продевала в уши огромные кольца и на все вопросы отвечала нечленораздельным уханьем, а сейчас, одетая в наряд куда менее экзотический — поношенные чулки, замшевые бриджи и серая матерчатая кепка, — демонстрировала прекрасное знание не только основ английского языка, но также и несметного множества просторечных слов и выражений. Однажды я набрел на Мальчика с Гигантской Головой — ребенка лет двенадцати-тринадцати, который вне стен своей затемненной комнаты, без костюма, лучей прожекторов и разноцветных афиш оказался не расфуфыренным балаганным уродцем, а явно больным ребенком, которому требуется медицинская помощь.

Раздираемый противоречивыми чувствами, я заплатил пенни и вошел в заведение на Уайтчепел-роуд. На нижнем этаже, за посещение которого платить дополнительных денег не требовалось, располагались обычные ярмарочные экспонаты вроде кораблей в бутылках, усохших голов и прочих тому подобных вещей. Кроме того, там были восковые фигуры ведущих политиков, а также сцена, повествующая о славных победах Империи. Еще здесь за небольшими игральными столиками сидели разного рода прохвосты, промышлявшие тем, что прятали «даму» от джентльменов, желавших найти ее за шиллинг, и прочим мелким жульничеством. Когда я покинул этот зал и направился к лестнице, молодая девушка попыталась увлечь меня в заднюю комнату, посулив, что сама мадам де Помпадур предскажет мне судьбу. Я заверил даму, что все возможные повороты моей судьбы мне уже хорошо известны, и стал подниматься по лестнице. Тут меня ожидало зрелище поистине волнующее: одиннадцать восковых фигур, каждая из которых изображала жертву «уайтчепелских убийств».⁸ Признаюсь, я вынужден был отвести взгляд от восковой копии обезображенного тела Мэри Келли, лежащей в постели в сорочке и с толстым слоем восковой крови, стекающей по шее. Но не столько само ужасное зрелище взволновало меня — было в этой восковой сценке и нечто более пугающее, я только никак не мог понять, что именно, и продолжал думать об этом, войдя в следующую комнату, где рыжеволосая девушка поднимала тяжести своей длинной косой. И тут я поспешил обратно к восковым фигурам и снова посмотрел на сцену гибели Мэри Келли. Ну конечно, я не ошибся.

Подпоркой для этой ужасающей композиции служила та самая безвкусная красная лампа, которую я видел в шатре ярмарочного доктора.

Я немедленно бросился к женщине, сидящей в старом кресле в дальнем углу комнаты, — очевидно, именно она присматривала за выставкой восковых фигур. Несколько секунд я стоял перед ней молча, пока она наконец не подняла глаз от платья, которое держала в руках, пришивая к потертой и выцветшей ткани блески.

⁷ *Тератология* — наука, изучающая врожденные пороки развития и уродства.

⁸ В Уайтчепеле в конце XIX века орудовал Джек Потрошитель.

— Чем могу быть полезна? — спросила она меня.

— Я хотел бы навести справки о владельце этой лампы, — сказал я.

— Вы говорите про бедняжку Мэри Келли?

— Нет, — ответил я, чувствуя, что быстро выхожу из себя. — Нет, про джентльмена. Ярмарочного доктора. Он, вероятно, здесь работает?

Женщина снова опустила взгляд на шитье.

— Прошу прощения, сэр, — сказала она. — Боюсь, здесь нет человека, о котором вы говорите.

Сказав это, она на мгновение сверкнула в мою сторону своими маленькими глазками, и я понял, чего она хочет. Я отыскал в кармане шиллинг и показал ей.

— Вы уверены, что не знаете его? — спросил я.

Она взглянула на шиллинг, протянула руку и забрала его у меня.

— Ступайте к гадалке на нижнем этаже, — сказала она быстро и полушепотом. — Человек, которому принадлежит эта лампа, ее муж.

Не теряя больше ни секунды, я кинулся вниз по лестнице и, преисполненный нетерпения, ворвался в салон гадалки. Там сидела тощая бледная женщина с разноцветным шарфом на волосах. Прежде чем она успела что-нибудь сказать, я выкрикнул:

— Я ищу вашего мужа.

Она принялась уверять меня в том, что никакого мужа у нее нет и что я могу заплатить за ее услуги (совершенно сверхъестественные) ей самой, но тут в комнату ворвался поток холодного воздуха — на пороге стоял ярмарочный доктор.

— Мистер У, — сказал он. — Какая честь.

— Добрый вечер, доктор, — сказал я.

— Насколько я понимаю, вы меня разыскивали.

— Откуда... — начал я, но осекся. Нам обоим было известно действие его лекарства. И я сразу же сообразил, каким образом в этой комнате происходит предсказание будущего. Доктор, вероятно, читал мысли всех, кто сюда входил, и сообщал их биографии своей жене, а она использовала их в своих «предсказаниях». Таким же образом он, очевидно, прочитал и мои мысли, и поэтому уже знал, чего я ищу. И возможно, он даже согласится дать мне это — конечно, не бесплатно.

— Вам нужен рецепт, — сказал он.

— Да, — ответил я, но не решился открыть доктору, насколько сильно он мне необходим.

— Замечательно, — ответил он. — Вы можете его получить. За тридцать фунтов, и ни пенни меньше.

Я молча выругался. Этот человек, этот подпольный балаганщик прекрасно знал, что я готов отдать все, что у меня есть, за возможность еще раз отведасть загадочного снадобья, и, конечно же, он вознамерился забрать у меня последнее — не меньше.

— Прошу вас, — начал я. — Не забирайте все мои деньги. Мне нужно покупать ткани для магазина и платить жалованье помощнику. А еще лекарства для умирающего отца...

— Тридцать фунтов, — стоял он на своем. — Приходите завтра вечером с деньгами, и я дам вам рецепт. Если не придете, я буду считать этот разговор оконченным. Всего хорошего.

И он указал мне на дверь.

На следующий вечер я достал деньги из тайника и аккуратно запрятал в ботинок, чтобы не дать головорезам Ист-Энда их у меня отнять. С тяжелым сердцем и вне себя от тревоги я снова направился к зданию напротив Лондонского госпиталя. Накануне я видел снаружи лишь молодого человека, играющего на свирели, но на этот раз там была еще и девушка с шарманкой, и ее инструмент гудел и издавал тот же душераздирающий вой, который я уже слышал раньше — на Гусиной ярмарке. Миновав музыкантов, а также мальчишек, торгующих пудингом с изюмом, воров-карманников и бродяг, я вошел в Дом Ужасов, уплатив за вход еще пенни.

Я боялся, что так называемый доктор снова исчезнет, но соблазн заработать

тридцать фунтов, видимо, оказался сильнее — и вот он уже приветствовал меня, не успел я переступить порог.

Здесь книга обрывалась — в этом месте должна была быть та самая вырванная страница. Я никак не могла оторвать взгляда от единственного предложения на странице 133 — следующей после той, которой не хватало.

Итак, морозной ноябрьской ночью я возвращался домой, и каждый след, оставляемый мною на снегу, становился свидетельством моего приближения к полному краху, к забвению, которое ждало меня впереди.

И что мне теперь делать? Осталась всего одна глава — она начинается на странице 135. Прочитать ее, несмотря на то что я так и не узнала, что произошло между мистером У и ярмарочным доктором — а ведь это, возможно, была ключевая сцена романа! Или... что? Какие у меня еще есть варианты? Я ведь не могу пойти завтра в книжный и купить себе новый экземпляр или просто прочитать там недостающую страницу. Эта книга не значит не только ни в одной библиотеке мира — ее нет даже у коллекционеров редких рукописей. Страница утеряна навсегда? И какого все-таки черта кому-то пришло в голову ее вырывать?!

Глава седьмая

Утро понедельника. Небо — цвета печальных свадеб. Я шла в университет, хотя ни секунды не сомневалась, что он до сих пор закрыт. Но, может, хотя бы отопление включено. И если наше здание еще не обрушилось, в нем наверняка будет бесплатный чай и кофе. А правда, интересно, нашему зданию ничего не грозит? Надеюсь, что нет, потому что мне необходимо попытаться проникнуть в компьютер Берлема. Он единственный известный мне человек, который хоть раз в жизни видел «Наваждение», и, возможно, что-нибудь в его компьютере подскажет мне, откуда взялся его экземпляр или к кому мне следует обратиться, чтобы прочитать отсутствующую страницу. Вчера я все-таки не стала читать последнюю главу. Без вырванной страницы читать дальше казалось неправильным. Вместо этого я послушала Девятую симфонию Бетховена на айпоне и сделала кое-какие выписки из той части книги, которую успела прочесть. Спать я легла только в три часа ночи, поэтому теперь все никак не могла проснуться.

Раньше я еще никогда не ходила до университета пешком — и даже дорогу толком не знала. Помнила только, что нужно все время карабкаться немного вверх. Повторять путь, каким я возвращалась домой в пятницу, мне не хотелось, потому что правильная дорога наверняка намного короче. Мне не пришло в голову ничего лучше, чем подойти к павильону туристической информации у здания собора. В павильоне почти никого не было — только женщина с седыми кудряшками и очками в тонкой проволочной оправе. Она деловито расставляла на полке кружки с видами собора, и мне пришлось подождать несколько секунд, прежде чем она обратила на меня внимание. Оказалось, что у них есть бесплатная карта пешеходных дорог города, женщина вручила мне ее, и я двинулась дальше согласно ее объяснениям — вдоль стены собора до указателя «Северный вход». Дальше я по указателю прошла мимо ряда жилых домов и шумного мельничного колеса напротив паба, где карта велела мне повернуть налево и затем направо. Потом перебралась через мост и двинулась в гору мимо зарослей чего-то похожего на крапиву, пока не оказалась на тропе, ведущей через туннель под железнодорожным перегонном — странное цилиндрическое пространство с гладкими, изрисованными граффити стенами и круглыми оранжевыми лампами, которые зажигаются, когда под ними проходишь (по крайней мере, я сделала такое предположение — но, возможно, они включаются и выключаются по желанию местных призраков, или же просто-напросто неисправны). Прошла по опушке заброшенного пригородного парка — в местах вроде этого мальчишки играют в футбол и по воскресеньям дерутся собаки, — а потом вниз по переулку, через проспект, мимо парикмахерской и вглубь жилого массива.

Думаю, здесь живут студенты, хотя вообще-то в таком квартале можно поселиться только на пенсии или если по какой-нибудь причине махнул рукой на жизнь. Поднимаясь по холму, я видела вокруг одни лишь маленькие домики кремового цвета, окруженные садами, — ни тебе граффити, ни детских площадок, ни магазинов, ни пабов. Мне кажется, такая тишина и безжизненность должны наступить перед самым концом света.

В дни вроде этого я не боюсь смерти — да и боли. Не знаю, в усталости ли дело, или в книге, или даже в проклятии, но в этот день, шагая по жилому кварталу, я чувствовала себя так, будто каждый атом моего тела вот-вот расщепится — и тогда начнется цепная реакция, энергии которой хватит, чтобы добросить меня до любых мыслимых границ. Я шла и изо всех сил желала жестокости: жить, умереть — просто ради того, чтобы это испытать. Я вдруг распалилась настолько, что захотелось отыметь весь мир — или, наоборот, отдаться всему миру. Да, я хочу быть пронзенной шрапнелью. Хочу увидеть собственную кровь. Хочу умереть вместе со всеми: вот он, верх сплоченности, вспышка в самом конце света. Я буду тобой, ты будешь нами, мы пребудем вовек. Разрушительная волновая функция жестокости. В дни вроде этого я думаю, что проклята, и все повторяю про себя: сейчас же, сейчас же, сейчас же. Мне нужна эта страница.

Вскоре я обнаружила начало дорожки, ведущей к университетскому городку. Ржавые ворота не дают велосипедистам промчаться напрямик вверх не останавливаясь — впрочем, не так уж много найдется желающих мчаться напрямик вверх, уклон тут не меньше сорока пяти градусов. Я устала, но все равно у меня вдруг возникло желание пуститься бегом — просто для того, чтобы изгнать это состояние разгона из своей системы. Но я не побежала. Я прошла через двое ворот и мимо клочка зелени слева — тонкие пальцы зимних деревьев укрывали меня от бледного неба. Я почти добралась до вершины холма, и тут начало слегка моросить, а вдали показалась желтая строительная техника, копошащаяся у рухнувшего здания Ньютона подобно игрушечным машинкам в песочнице на детской площадке. Я подошла к своему зданию, и безумное чувство начало понемногу рассеиваться. Оказывается, на дорогу у меня ушло больше получаса. Было бы здорово забрать машину и вернуться домой на ней, но бак, который я планировала заполнить на обратном пути в пятницу, так и остался пустым, а теперь я уже не могла позволить себе платить за бензин.

Здание английского и американского факультетов стояло на месте, и дверь была не заперта — значит, кто-то там был. Можете не сомневаться, здесь всегда кто-нибудь есть. Даже по воскресеньям редко приходится открывать замок самой, хотя однажды я все-таки это сделала — когда явилась сюда наутро после Рождества. Несмотря на то что и на этот раз меня кто-то опередил, проходя по длинному университетскому коридору я не ощущала ничьего присутствия. Нет-нет, гудение электроприборов я слышала, и монотонный стрекот дешевой клавиатуры под чьими-то утомленными пальцами. Но вот чьего-либо присутствия я не ощущала. Я направилась напрямик к своему кабинету и там обнаружила, что отопление работает, хотя после прогулки по холму мне и без того было довольно жарко. Я подошла к окну, чтобы его открыть, и увидела, что дождь забрызгал стекла не абы как, а узорами: ломаные диагональные линии казались намеренно кем-то расчерченными — и это напомнило мне фотографии, сделанные в ускорителе частиц. Я включила компьютер и поднялась на второй этаж узнать, нет ли для меня почты.

Мэри разговаривала с секретаршей Ивонной.

— Думаю, большинство людей не проверяет электронную почту из дома, — говорила Ивонна. — Ну, то есть раз в пятницу говорили, что закроют университет на неделю, вряд ли кто-нибудь явится сюда раньше следующего понедельника. Может, кто и заскочит в пятницу — из любопытства. К тому же преподаватели вообще редко заглядывают сюда в каникулы.

Раньше отделением руководил старший профессорский состав, который самостоятельно распределял руководящие функции. Теперь же, как и в большинстве других отделений университета, для управления бюджетом наняли специального человека. Мэри каким-то образом научилась изображать из себя научного работника — очевидно, полагала, что так мы станем ей больше доверять. Но на самом-то деле она мало смыслит в научной и

преподавательской деятельности, и я часто слышу, как Ивонна просвещает ее на тему обычного поведения университетских сотрудников.

Мэри выглядела взбешенной.

— И кто же пришел?

— Макс пришел. А, Эриел, привет. Эриел вот пришла.

Мы с Мэри обе знаем, что мое здесь присутствие никому не приносит никакой пользы. В следующем семестре у меня только один вечерний курс — и все. На мне не лежит никаких административных обязанностей, и я не состою ни в одном комитете. Я всего лишь аспирантка, к тому ж теперь еще и лишившаяся научного руководителя. Поэтому я очень удивилась, когда Мэри посмотрела на меня так, словно именно со мной-то ей и надо поговорить.

— А, Эриел, — сказала она. — Зайдите ко мне на минутку.

Она прошла мимо меня, вышла в коридор и свернула за угол — к своему кабинету. Я потащила за ней. Она отперла дверь и придержала ее, пропуская меня вперед. Кажется, раньше я еще никогда не была у нее в кабинете. Тут стояло два кресла, которые называются «повышенной комфортности», и между ними — светлый кофейный столик. Я села в одно из кресел, Мэри — в другое. Хорошо, что миновали те времена, когда на начальника следовало смотреть через письменный стол. С компьютерами это все равно не получилось бы: теперь на работе все смотрят в экран.

Мэри молчала.

— Как выходные? — спросила я.

— Что? Ах да, спасибо. Итак. — И она снова замолчала, но я предположила, что она собирается сказать то, что собиралась, поэтому больше не предпринимала попыток начать светскую беседу.

— Итак, — повторила она. — Вы ведь теперь работаете одна в довольно большом кабинете?

Черт. Я знала, что это рано или поздно произойдет.

— Это кабинет Сола Берлема, — говорю я. — У меня там вообще-то только угол.

Я соврала. Берлем не появлялся уже несколько месяцев, и я убрала его вещи со стола, перенесла его компьютер на журнальный столик и выстроила себе просторное Г-образное сооружение из двух наших столов. Я заставила все полки своими книгами — на случай, если вдруг придется срочно менять квартиру, — и вообще обжила комнату как могла: повсюду грязные чашки из-под кофе и бесконечные записи по моей работе. Еще у меня там есть целый ящик вещей, которые, как мне кажется, когда-нибудь могут очень пригодиться. Три маленьких плитки горького шоколада, крестовая отвертка, плоская отвертка, набор отверточных насадок, гаечный ключ, бинокль, несколько непонятных железяк, пластиковые пакеты и, что ужаснее всего, вибратор, который Патрик прислал мне с интернет-доставкой в качестве «рискованного подарка».

— Вероятнее всего, в ближайшем будущем Сол к нам не вернется, а это означает, что существенная часть площади никак не используется.

Мне не оставалось ничего другого, кроме как согласиться с этим — по крайней мере, теоретически.

— Хорошо, — сказала Мэри. — Так вот. Все руководители нашего отделения согласились предоставить временное место для работы преподавательскому составу из здания Ньютона. Правда, большинству из нас придется потесниться, но ничего не попишешь. Мы согласились приютить четверых. Двоих я посажу в комнату для переговоров, а двое других въедут в ваш кабинет. Не возражаете?

— Не возражаю, — ответила я. Но на лице у меня, вероятно, отразилась паника. Я люблю свой кабинет. Это у меня единственное по-настоящему теплое и уютное место на всем белом свете.

— Ну что вы, Эриел, я же не прошу вас освободить кабинет или что-нибудь еще. Всего лишь на время разделить его с коллегами. Ведь если бы Сол был здесь, вам все равно

пришлось бы делить кабинет с ним.

— Я понимаю. Не беспокойтесь. Я не жалуюсь и не...

— И ведь у нас у всех есть ответственность перед беженцами.

— Да-да, конечно. Я ведь уже сказала, я не против. — Я прикусила губу. — И... кто же это будет? Еще неизвестно? В смысле, вы не знаете, кого ко мне поделят?

— Ну... — Мэри встала и взяла лист бумаги, лежащий у нее на столе. — Вы можете выбрать, если хотите. Тут есть... Смотрите. Есть преподаватель теологии, есть специалист, защитивший докторскую по эволюционной биологии, есть профессор бактериологии и ассистент администратора.

Ну нет, бактериолога я в своем кабинете точно не потерплю, хотя он (или она) нашли бы там массу предметов для изучения. И, боюсь, у ассистента администратора мой кабинет вызовет примерно те же чувства, что и у бактериолога.

— Хм, — откашлялась я. — Можно, я возьму себе теолога и эволюционного биолога?

Мэри записала что-то на своей бумажке и улыбнулась мне.

— Ну вот. Не так уж и плохо, правда?

Я вышла из кабинета Мэри, размышляя над тем, со всеми ли она разговаривает как с детьми или только со мной. Я искренне пытаюсь ее полюбить, но она все время мне в этом мешает. Думаю, она закончила какие-то курсы менеджеров, на которых учат, как «подчинить себе» сотрудников и заставить их почувствовать, что они сделали чудовищно неправильный выбор, но теперь вынуждены будут с ним жить. Ох, ну да ладно. Я ведь до сих пор так и не проверила почту — поэтому пришлось вернуться на кафедру.

Ивонна была уже в курсе новых распоряжений относительно беженцев.

— Я зайду попозже помочь со столами, — сказала она. — А потом Роджер притащит третий стол и еще полук. Компьютер профессора Берлема отправим в хранилище, и разный хлам из его стола — тоже, так что ты, может, начнешь с этим потихоньку разбираться?

Почты для меня все-таки не было.

Что значит «попозже»? Что бы это ни значило, времени на попытки проникнуть в компьютер Берлема у меня явно меньше, чем я думала, — особенно теперь, когда его собираются отправить в хранилище. Я водрузила его обратно на стол, воткнула шнур в сеть и включила. Я уже и раньше пыталась его загрузить — правда, в прошлый раз делала это без особого рвения, просто надеялась найти там какие-нибудь намеки на то, куда мог запропасться Берлем. Тогда, как и сейчас, меня встретило загоревшееся на экране предложение ввести имя пользователя и пароль. Имя пользователя я знала: sabu2. Но пароль? В прошлый раз я представила себе, как будто бы я в кино, и уверенно вбила подряд несколько вариантов, пока не поняла, как это глупо. На этот раз я буду вести себя умнее — как заправский хакер. В прошлом году я прочла в одной книге, что умные заправские хакеры для взлома компьютеров не пользуются ни догадками, ни алгоритмами, ни логарифмами, ни словарями, ни, боже упаси, компьютерными программами для разгадывания кроссвордов. Умные заправские хакеры поступают по-другому: они просто вынуждают кого-нибудь сказать им пароль.

Кто знает наши пароли? Технический отдел — наверняка. А Ивонна, интересно, не знает? Я на минуту задумалась. Нет, у Ивонны не может быть наших паролей, но что, если ей вдруг почему-то понадобится узнать какой-нибудь из них? Вероятнее всего, она свяжется с техническим отделом. И что здесь такого? Все равно ведь здесь все принадлежит университету — включая файлы в наших компьютерах. А Берлем исчез, и значит... Что, если просто позвонить в техотдел и назваться Ивонной? Нет, пожалуй, не стоит. Она им, наверное, постоянно звонит, и они знают ее голос. М-м... Я подумала еще немного, потом слегка пригладила взлохмаченные волосы, сменила выражение лица на «очень обеспокоенное» и пошла обратно наверх.

— Слушай, — сказала я, войдя на кафедру. — Ивонна.

Она пила чай.

— Да, Эриел? Что?

— М-м... Да вот у меня тут небольшая проблема. Точнее, огромная проблема, не знаю даже, что теперь делать.

— Что такое? Я могу помочь?

— Даже не знаю. — Я наморщила лоб и посмотрела вниз, на коричневый ковер. — Боюсь, тут уже никто не поможет. Но... — Тут я вздохнула и снова провела рукой по волосам. — В общем... Ты ведь знаешь, что компьютер Сола сегодня переводят в хранилище?

— Ну да, знаю...

— Так вот, там у него есть документ, который мне нужен, а я не знаю, как его теперь оттуда достать. Боюсь, что уже никак. Сола нет, и пароля у меня тоже нет. Конечно, раньше он у меня был, но я его забыла и... Ох. Как бы объяснить... Там антология, которую составляет кто-то в Уорике,⁹ а я должна закончить за Сола... э-э... библиографию и переслать им по электронной почте. До сдачи еще месяц, так что я не особенно волновалась. А сейчас начала собирать вещи, чтобы сдать в хранилище, как ты сказала, и тут до меня вдруг дошло. — Я пожала плечами. — Наверное, теперь мне поможет только чудо или что-нибудь типа того. Ведь ты же не знаешь, как достать документ из компьютера без пароля, правда? Ну, в смысле, ты случайно в свободное от работы время не занимаешься профессиональным хакерством? — Я засмеялась. Как будто бы кто-то из нас когда-нибудь смог бы хакнуть компьютер...

Ивонна отхлебнула чаю.

— Ну что я тебе могу сказать... У тебя проблема.

— Еще какая. Понимаешь, я все откладывала это дело на потом — думала, все-таки удастся связаться с Солом. Ну, может, ближе к концу срока он и объявится, только он ведь не знает, что его компьютер отправляют в хранилище и... Ох. Прости, что побеспокоила. Если уж и ты мне не поможешь, то прямо не знаю, что делать.

Я старалась вести себя осторожно и не упоминать слово «пароль» слишком часто. Мне казалось, что, если акцентировать внимание во всей этой истории на пароле, она будет выглядеть намного подозрительней, чем если я просто скажу: «Мне нужен документ, но я не знаю, как его достать». Еще я подумала, что шутка про хакеров должна помочь, хотя вообще-то она была рискованной.

— А в технический отдел ты не звонила? — спросила Ивонна.

— Да нет. Скорее всего, они меня и слушать не станут. Ну, в смысле, кто я для них такая? Чтобы обращаться с такой странной просьбой? То есть ты-то меня, конечно, знаешь, но они... Боюсь, они меня просто не поймут.

— Хочешь, чтобы я им позвонила?

— Ой, если тебя не затруднит! Большое спасибо, Ивонна.

— Я сделаю запрос на новый пароль и пришлю к тебе кого-нибудь из ребят, чтобы он его установил. Когда профессор Берлем вернется, ему придется завести новый пароль, но старый к тому времени все равно уже перестанет действовать. Правда, не могу сказать, когда они к тебе выберутся... Только не забудь меня предупредить, когда все будет готово — тогда сразу займемся столами.

К двенадцати из техотдела так никто и не пришел, а мне уже очень хотелось есть. Если бы удалось раздобыть булочку, я бы приготовила себе шоколадный сэндвич (бывали в моей жизни обеды и похуже), но я даже не знала, открыта ли вообще столовая. Я попыталась загрузить сайт университета, чтобы выйти во внутреннюю сеть и посмотреть, какие из ресторанов и кафетериев работают, но вместо главной страницы на экране высветилась лишь надпись «Error 404». Немудрено, что никто сегодня не пришел. Если кто и заходил с утра на сайт проверить, что делается в университете, наверняка не нашел в этом послании ничего

⁹ Уорик — имеется в виду Уорикский университет.

обнадеживающего. Я вздохнула. Даже шоколад без ничего стал бы не самым плохим обедом в моей жизни — если разобраться, это вообще обед для гурманов, — но все-таки неплохо было бы сдобрить его хлебом, а булочки в столовой стоят всего десять пенсов. Я написала записку и прикрепила ее к двери. Вернусь через пять минут. Главное, чтобы техник не пришел без меня и тут же не ушел обратно.

Здание Рассела, как и здание Стивенсона в западной части кампуса, построенное в форме киберцветка с четырьмя лепестками, внутри разделяется несколькими переходами. Я не часто сюда заглядываю, потому что студенты все как один говорят, что оно точь-в-точь такое же, как корпус Рассела, только «наизнанку», и у меня от этих их слов просто голова кружится — еще бы, мне и одного Рассела хватает с лихвой! Правда, по-настоящему заблудиться в нем я способна только в начале учебного года, когда вокруг полно новых студентов и все выглядят потерянными — такое ощущение, будто бестолковщина просачивается из каждой головы и заражает всех вокруг.

Я вышла из здания английского отделения через боковой выход и, пройдя по крытой галерее, оказалась у одной из боковых дверей корпуса Рассела. Поднялась на несколько ступенек, потом спустилась и наконец оказалась в начале длинного белого коридора с затоптанным плиточным полом и белеными стенами. Когда вокруг студенты, это место кажется почти нормальным, но сейчас оно напоминало медицинское крыло заброшенной космической станции 60-х годов — как я ее себе представляю. В одной из комнат здесь хранят сломанную университетскую мебель. От гулко-го звука собственных шагов я вдруг впервые явственно ощутила, что, возможно, во всем здании и в самом деле нет никого, кроме меня.

На первый взгляд столы в кафе расставлены хаотично, но стоит подняться в профессорский зал и посмотреть оттуда вниз, понимаешь, что они, словно стрелки, указывают на собор, который виднеется в раме высоких окон в дальнем конце зала. Здесь, наверху, вдруг начинаешь улавливать скрытый смысл всего сооружения — становишься частью единой картины и понимаешь, что на идеально ровной линии, соединяющей тебя с собором, в действительности ничего нет.

Ты — в темноте, а собор — в прямоугольнике света. Я однажды была в той захлавленной комнате — искала там слайд, который забыла в аудитории после семинара, библиотекаря меня бы четвертовала, не верни я его. Вместе со своим слайдом («Бегун» Витторио Корона) я нашла в коробке еще один — с изображением обложки к «Иллюзии конца» Бодрийяра. По дороге в столовую я поднесла его к глазам перед единственным встретившимся источником света — окном в дальнем конце зала — и тогда-то поняла, в чем тут дело. Слайд был весь расплавлен, но картинка сохранилась идеально четкой. И лишь когда я попыталась разобрать детали, меня осенило, что сквозь слайд я смотрю на собор, и два изображения слились у меня перед глазами в одно. Я влюбилась в этот слайд — забрала его к себе в кабинет и все пыталась придумать, как бы украсить стену его проекцией. Но устроить это мне так и не удалось, и теперь я не знаю, где он. Только Бодрийяра с тех пор стала читать больше.

В этот день столы стояли как обычно, но ни графинов с водой на них, ни посетителей за ними не наблюдалось — столовая, как я и опасалась, не работала. Можно было пойти куда-нибудь еще, но тащиться ради одной булочки в другое здание показалось мне глупым, так что я вернулась к себе и съела две плитки шоколада без хлеба. Затем выпила кофе, выкурила сигарету и уселась дожидаться техника. Я старательно гнала от себя мысль о том, что, возможно, в последний раз наслаждаюсь кабинетом в одиночестве, но это давалось нелегко. Наверное, теперь мне больше не разговаривать здесь самой с собой, не курить в окно и не устраиваться поспать под вторым столом. А что, если этим новым людям захочется открыть жалюзи под другим углом? Или еще вздумают принести сюда цветы в горшках... Лучше обо всем этом не думать.

Чтобы как-то убить время, я открыла на своем компьютере страницу поисковика и ввела слово «тропосфера». Вообще-то я не ожидала, что что-нибудь выскочит, но оказалось,

что такое слово существует. Это одна из частей атмосферы Земли — тот ее слой, в котором происходят почти все процессы, связанные с погодой. Неужели Люмас этого не знал? Я-то думала, что он сам придумал это слово. А если заглянуть в Оксфордский словарь? Ага, оказывается, впервые термин был введен в 1914 году. Значит, придумал его все-таки Люмас, просто никто этого не заметил. Да и с чего бы им замечать? Это ведь всего лишь роман. Прочитав всю статью, я ввела в строку поиска «Наваждение» — просто чтобы посмотреть, не появилось ли в Сети какой-нибудь новой информации о книге.

Когда ищешь в интернете «Наваждение», обычно получаешь всего три ссылки. Одна — старый отрывок из доклада Берлема на Гринвичской конференции. Вторая — упоминание в форуме на сайте любителей редких книг, на котором кто-то оставил запрос об этой книге, но так и не получил на него ответа. Третья ссылка несколько более загадочна. Это — настоящий фанатский сайт, с черным фоном и какими-то готическими завитушками, и, насколько мне известно, раньше здесь имелось довольно много информации о книге. Одна страница посвящена проклятию, еще одна — рассуждениям о том, почему во всем мире осталось всего несколько экземпляров романа. Автор веб-сайта состряпал целую теорию заговора: будто бы книгу обнаружило американское правительство и уничтожило все копии, включая ту, что хранится в банковском хранилище в Германии (которая, если верить этому парню, когда-то принадлежала Гитлеру). Откуда ему все это известно, автор сайта не сообщал — только намекал на какую-то страшную тайну. Думаю, на самом деле все обстояло проще: экземпляров изначально напечатали очень мало, а потом про книгу и вовсе лет на сто забыли — немудрено, что за эти годы она просто-напросто исчезла. Так или иначе, примерно полгода назад — или, может, немного больше — веб-сайт закрылся. Я снова попробовала на него зайти, но заглавная страница выглядела так же, как в последний раз, когда я сюда заглядывала. Никакого уведомления об ошибке или чего-нибудь такого, а всего лишь надпись: «Меня закрыли, и я ушел».

На этот раз я с удивлением обнаружила, что в поисковике появилась четвертая ссылка — на страницу, где упоминается «Наваждение». Это был чей-то Живой журнал под названием «Избранные дни моей жизни», и, кликнув на ссылку, я попала на бело-розовый экран с разными дневниковыми записями. Я промотала немного вниз и обратно вверх, но никакого упоминания книги не обнаружила. Тогда я воспользовалась командой «Найти», и сразу же его увидела. Запись датировалась прошлой пятницей.

Снова работала в книжном (большое спасибо, Сэм), несмотря на суровое похмелье. Весь день стирала пыль с книжек, и оказалось, что это здорово помогает от головной боли. За весь день не было ни одного посетителя, если не считать одной студентки, которая пришла и заплатила пятьдесят фунтов за книгу под названием «Наваждение» — я о такой и не слышала, но, наверное, большая редкость. Может, мне заняться букинистическим бизнесом? А, Сэм? Стали бы с тобой партнерами и бросили бы эту чертову учебу — стали бы зарабатывать бабло на людях, которые готовы отдавать сотни фунтов за ветхие книжонки. Работа — не бей лежащего, а?

В дверь постучали, и я быстро свернула браузер. Это пришел техник.

— Эриел Манто? — спросил он, заглядывая в листок бумаги.

— Да.

— Я насчет нового пароля.

— Ах да, отлично, — ответила я. — Вон тот компьютер.

Я постаралась заняться чем-нибудь другим, пока Он возится с системой, — мне казалось, что чем меньше я буду суесться, тем менее подозрительно буду выглядеть. Поэтому я не стала ни оправдываться, ни объяснять, зачем мне вдруг понадобилось установить на компьютер новый пароль — просто предоставила ему заниматься своим делом, а сама тем временем принялась записывать размышления по поводу «Наваждения» для будущей диссертации. Писалось легко — книга сильно меня увлекла, к тому же из этих

заметок можно состряпать отличную статью или доклад для какой-нибудь конференции. Проблема только в том, что я еще не придумала, каким образом доказать, что это именно мысленный эксперимент.

Мысленные эксперименты — по-немецки *Gedankenexperiments* — это эксперименты, которые по какой-либо причине не могут быть поставлены физически и поэтому проводятся мысленно — с помощью логических и умственных рассуждений. Этические и философские мысленные эксперименты проводятся уже сотни, если не тысячи лет, но только после того, как началось их использование в научном контексте, они получили нынешнее название, представляющее собой буквальный перевод немецкого термина *Gedankenexperiments* — хотя Люмас предпочитал говорить об «экспериментах сознания». Эфир — результат своеобразного мысленного эксперимента, исходящего из посылки, что если свет — это волна, то у нее должна быть некая среда. Ведь не может быть волны в воде, если нет воды, — так что же, в таком случае, является «жидкостью» света? Чтобы ответить на этот вопрос, люди придумали эфир — а потом сами же забраковали этот термин, когда эксперимент Майкельсона-Морли доказал, что, к сожалению, никакого эфира не существует.

Эдгар Аллан По использовал принципы мысленного эксперимента для объяснения фотометрического парадокса и для того, чтобы, как считают некоторые, в каком-то смысле изобрести теорию Большого взрыва за добрую сотню лет до того, как до нее додумались другие. В «поэме в прозе» под названием «Эврика» представлены самые разные научные и космологические идеи По, но поскольку он не был ученым-экспериментатором, все свои теории представлял в форме мысленных экспериментов или, подобно его описанию вечности, в форме «мысли о мысли». Его объяснение фотометрического парадокса — один из самых элегантных мысленных экспериментов в истории. В 1823 году Вильгельм Ольберс задался вопросом, почему звезды в ночном небе предстают перед нами именно в таком виде, а не как-нибудь по-другому. В те времена большинство людей полагало, что вселенная бесконечна и вечна. А если небо бесконечно, значит, и количество звезд на нем не имеет числа? Но если в небе бесчисленное количество звезд, то оно должно быть белым, а не черным. Ольберс предположил, что все дело в облаках пыли, и написал: «Какая удача, что Земля получает звездный свет не из каждой точки небесного банка!» Эдгар Аллан По как следует это обдумал и пришел к выводу, что проще и правдоподобнее объяснить существование «пустот, которые наши телескопы обнаруживают в бесчисленном количестве направлений» тем, что некоторые из звезд просто-напросто находятся так далеко, что их свету пока не хватило времени до нас добраться.

Ну а самый известный мысленный эксперимент в истории провел Эйнштейн, задавшись вопросом, что будет, если ему удастся настичь луч света. Эйнштейн рассчитал, что, если бы он смог двигаться со скоростью света, то, рассуждая логически, луч света предстал бы перед ним неподвижным — как бывает, если смотришь в окно одного движущегося поезда на другой движущийся поезд, который едет с той же скоростью, что и твой, — тогда кажется, будто он стоит на месте. И каким же выглядел бы свет, будь у нас возможность увидеть его без движения? Как застывшая волна желтого цвета? Как брызги краски? И что, если бы тебе удалось, двигаясь со скоростью света, взглянуть на себя самого в зеркало? Ты бы казался невидимым. Возможно, ты даже и в самом деле был бы невидим. Эйнштейн понимал, что электромагнитное поле не может пребывать в покое. Уравнения Максвелла, которые, казалось бы, допускают возможность догнать луч света, в то же время доказывают, что свет не является чем-то таким, что может быть неподвижно. Выходило, что одна из этих точек зрения ошибочна. Интереснее было бы, если бы неправильной оказалась вторая, и на самом деле все же существовала бы возможность увидеть свет в виде застывшего луча, но по разным причинам, понять которые я смогу, только если прослушаю еще неизвестно сколько лекций по физике, ошибочна все-таки догадка Эйнштейна. Его теория относительности утверждает, что, независимо от того, насколько быстро ты двигаешься, свет всегда будет двигаться относительно тебя со скоростью света, то есть c . И не важно, двигаешься ли ты со скоростью одна миля или тысяча миль в час. Свет, который

ты видишь вокруг себя, всегда движется быстрее тебя и всегда — со скоростью c . Если бы ты двигался со скоростью в два раза меньшей, чем скорость света, у тебя бы не возникало ощущения, что свет, который направлен в твою сторону, движется в два раза медленнее, чем обычно. Относительно тебя он все равно будет двигаться со скоростью c .

«Пусть железнодорожный вагон, с которым мы уже не раз имели дело, движется по рельсам с постоянной скоростью v », ¹⁰ — пишет Эйнштейн в своей книге «Теория относительности». Затем он говорит о том, что, когда вы идете по вагону в направлении движения поезда, вы передвигаетесь не с собственной скоростью и не со скоростью поезда, а со скоростью, равной суммам этих двух скоростей. Если поезд едет со скоростью сто миль в час, а вы — со скоростью одна миля в час, то фактически относительно полотна железной дороги вы движетесь со скоростью сто одна миля в час. Точно так же, если я поеду по автомобильной трассе вдоль железнодорожных путей со скоростью, скажем, восемьдесят пять миль в час и этот поезд проедет мимо меня, мне будет казаться, что он движется со скоростью пятнадцать миль в час, а вы, идущий внутри вагона, будете двигаться относительно меня со скоростью шестнадцать миль в час. Если же вы выглянете в окно и увидите, что вдоль железной дороги еду я на автомобиле, вам покажется, что я вообще двигаюсь в обратном направлении. Все это — ньютоновская теорема о сложении скоростей, и к свету она неприменима.

Уравнения Эйнштейна, конечный итог его первоначальных мысленных экспериментов, доказывают, что материя и энергия — разные проявления одного и того же и что если бы ты попытался развить скорость, близкую к скорости света, ты бы становился все тяжелее, потому что твоя энергия преобразовывалась бы в массу. Он также указывал на то, что пространство и время — по большому счету одно и то же. Для Люмаса четвертое измерение было пространством, вмещающим существ или, по меньшей мере, мысли. Герберт Уэллс называл четвертым измерением зеленый неведомый мир, населенный ангелами. Для Цельнера это было место, полное призраков, которых хлебом не корми — дай выручить из беды мага или чародея. Для Эйнштейна же четвертое измерение вообще не было местом. Но и просто временем оно тоже не было. Это было четвертое измерение пространства-времени: не просто часы, но часы, которые тикают на стене, относительно тебя.

Техник прочистил горло.

— Почти готово, — сказал он.

— Отлично, спасибо! — ответила я.

Иногда я думаю, интересно, каково это — быть Эйнштейном, сидеть в душном патентном бюро и смотреть в окно на проезжающие мимо поезда и железную дорогу. В этом есть какая-то романтика — ну, конечно, когда смотришь на это со стороны. Я на секунду оторвалась от своих записей и посмотрела на улицу через большущее окно в стальной раме. Вдруг меня осенила странная, неожиданная мысль, и я снова заглянула в свои записи. Я написала: «Метафора (см. предисловие Люмаса)... Троп... (Тропосфера! — странно.) Способы размышления о мире. Невозможно использовать поезда в качестве метафор, если поездов нет. Ср. *difference*. Может ли существовать мысль без языка, на котором ее можно подумать? Как язык (или метафора) влияют на мысль? Ср. поэтика. Если бы не было вечера, никто бы не сравнивал его со старостью».

— Все в порядке, — сказал техник. — Готово. Теперь просто вбейте сюда новый пароль...

Он встал и ушел в другой конец комнаты, а я уселась на его место и начала придумывать, какое бы слово выбрать. Надо было просто использовать свой собственный пароль и не морочить себе голову. В голове мелькнуло несколько возможных вариантов. Но я почему-то взяла и невозмутимо вбила в рамочку слово «хакер». Оно появилось на экране в виде пяти звездочек, я нажала «ввод» и сообщила технику, что пароль введен. Он подошел,

¹⁰ А. Эйнштейн. О специальной и общей теории относительности (общедоступное изложение). 1917.

проделал еще кое-какие махинации и перезапустил машину.

— Готово, — сказал он и ушел.

Я успела подвинуть мышь по экрану всего на миллиметр, и тут раздался телефонный звонок. Это была Ивонна.

— Приходил техник? — спросила она.

— Да, только что ушел.

— Достала свой документ?

— Э-э-э... нет. Еще не достала. Буквально только что включила компьютер.

— Ну ладно, тогда давай делай все, что нужно, а я спущусь минут через десять — займемся столами. Тут у меня Роджер, но я сделаю ему чаю, так что, думаю, он подождет. Ты ведь подождешь меня здесь, Роджер? — На заднем плане послышалось приглушенное: «Подожду, если еще и печенья дадите». — Ладно, Эриел, скоро спущусь.

Десять минут. Черт. Не могу же я изучить все содержимое компьютера Берлема за десять минут! Ладно, план Б. Я достала из сумки айпод и подключила его к компьютеру Берлема. Я молилась (кому? чему?), чтобы он не отказал в подключении, и через несколько секунд значок айпода появился на экране в виде диска F. Фантастика! Теперь скопировать содержимое папки «Мои документы»... Есть. Заняло всего секунд двадцать. Не мог он спрятать часть информации в какой-нибудь другой части компьютера? Я порылась по разным папкам, но после нескольких кликов стало понятно, что Берлем хранил все свои файлы исключительно в папке «Мои документы». У меня осталось ощущение некоторой неудовлетворенности, но пришлось довольствоваться тем, что есть. Я два раза проверила, нормально ли скопировались файлы, отсоединила айпод и выключила компьютер. И в эту секунду раздался стук в дверь — пришла Ивонна.

Глава восьмая

Ивонна страшно расстроилась, увидев, как много в кабинете книг.

— Что будем делать, Роджер? — спросила он.

— Хм, — ответил он. — Больше полок сюда не влезет.

— Ну да, я как раз об этом.

Пока они беседовали, я освобождала ящики стола Берлема — этим мне, конечно, следовало заняться давным-давно. Я сложила в папки несколько разрозненных страниц, имеющих отношение к курсу по литературе и точным наукам, и теперь приступила к ненаучному хламу. Я обнаружила чайную ложку, предположительно украденную из кухни, и спрятала ее прежде, чем мою находку успела заметить Ивонна. Нашла пакетик кофе, еще неоткрытый, поэтому его я тоже спрятала, сказав себе что-то вроде «что упало, то пропало» — ну и к тому же вряд ли Берлем возражал бы против того, чтобы в случае крайней необходимости я позаимствовала у него пакетик кофе. Больше в столе у Берлема не нашлось совершенно ничего интересного — только куча карандашей и фломастеров для магнитной доски. А еще электрическая точилка для карандашей! Ее я тоже присвою.

— Как думаешь, Эриел? — вдруг спросила Ивонна.

— Что? — Я была так увлечена разграблением ящиков Берлема, что совсем отключилась от этих двоих.

— Я говорю, книги Берлема, пожалуй, тоже можно отправить в хранилище. Я сейчас принесу коробки — сложишь их туда, ладно? А остальное доделаем завтра утром.

К четырем часам я упаковала большую часть книг. Ну, то есть упаковала большую часть тех книг, которые мне вряд ли когда-нибудь понадобятся (в основном классику — те романы, которые у меня тоже есть, в том числе здесь, в кабинете), и с ужасом обнаружила, что наполнила только две коробки из выданных мне пяти. Места на полках почти не освободилось. Я снова пробежалась глазами по корешкам. Ну не могу же я отправить в хранилище теоретические труды Берлема! Они все мне нужны. И учебники по литературе и

точным наукам обязательно нужно оставить, ведь через пару недель я начинаю читать курс лекций! А научные книжки девятнадцатого века? Думаю, многие из них есть у меня дома. Черт. Как же быть?

Пока я размышляла над сложностью своего положения, раздался телефонный звонок.

— Итак... — это был Патрик.

— Итак, — подыгрываю я.

— Угадай, что у меня есть.

— Что же?

— Ключи.

— От чего?

— От общежития здания Рассела. И вот я подумал...

Я рассмеялась. Захотелось, значит, потрахаться прямо на территории университета! Что-то новенькое. И в голосе у него тоже появились какие-то незнакомые мне нотки.

— Патрик, — начала я голосом человека, который собирается объяснить ребенку, что играть со спичками опасно. — А что, если?..

— Да тут нет никого, — сказал он. — И почему бы тебе не захватить с собой ту штукуну, которую я тебе прислал?

Может, сказать ему, что я занята — упаковываю коробки? Пожалуй, нет. Тогда, может, о том, что мне нужно исследовать содержимое компьютера Берлема? Я открыла ящик стола и посмотрела на предмет, который он попросил захватить с собой. Посмотрела — и все. Желание накрыло меня с головой, и я почувствовала, как его теплый яд растекается по всему телу. Я махнула рукой на то, что голос у Патрика такой странный, и на то, что это очень глупая затея, и, договорившись встретиться с ним в отдаленной части здания Рассела, схватила сумку и отправилась туда, несколько раз оглянувшись, чтобы убедиться, что никто меня не видит. С коробками закончу потом. Да и к тому же я ведь ненадолго. Небольшой перерыв на секс — что может быть лучше посреди рабочего дня? Правда, прочие люди, кажется, во время перерывов пьют чай...

В шесть часов вечера, когда Патрик уже ушел, я осталась сидеть на полу в маленькой захлавленной комнатке, размышляя о том, почему я всегда и на все соглашаюсь. Возможно, дело в том, что я глубоко уверена в том, что мне все по плечу, и ищу способы лишний раз это доказать? Оказывается, голос у Патрика был таким странным из-за того, что от него уходит жена — не потому, что узнала обо мне, а потому, что влюбилась в одного из своих мальчиков. Патрик был вне себя от злости — это ясно. Мне он позвонил совсем не для того, чтобы выместить злобу, это совсем на него не похоже. Но стоило нам прийти сюда, в эту комнату, как его фантазии словно схлестнулись с реальным гневом, и на этот раз секс был жестче, отчаяннее и намного порочнее, чем обычно. Интересно, он знал, что так получится? Ведь он же попросил меня захватить с собой вибратор, который когда-то мне прислал. А сам принес веревку (а не обычные наши шелковые шарфы). Вряд ли он заранее знал, что зайдет так далеко. Может, он ждал, что я его остановлю? Но ведь дело в том, что... я не остановила его, потому что не хотела, чтобы он останавливался, и, что ж, может быть, мне самой нравятся порок и жестокость. Может быть, порок и жестокость мне необходимы, как пища, как сигареты. Может быть... Может, мне пора перестать об этом думать?

Выждав еще несколько минут, я вышла из комнаты и двинулась по тускло освещенному холлу, обвешанному объявлениями, наставляющими студентов не оставлять окна открытыми, потому что в них влетают голуби и откладывают яйца. По крутой лестнице я спустилась в главную часть здания, прошла по белому коридору с такими же белыми лампами и, добравшись до выхода, обнаружила, что дверь заперта. Обычно они закрывают намного позже. Вот дерьмо. Я еще немного подергала ручку, но сомнений не оставалось — дверь закрыта. Теперь придется возвращаться в обход и прятать глаза в пол, чувствуя себя преступником, ведь если меня тут кто-нибудь увидит, выглядеть это будет очень странно; я даже не могу притвориться, будто бы ходила к автомату, ведь у меня в руках ничего — ни чипсов, ни шоколадки. И походка у меня как будто бы какая-то странная? Очень может быть

— после того, что я только что проделывала. Однако дежурный у входа мне всего лишь кивнул, и я поспешила скрыться через главный вход, бросив на него через плечо контрольный взгляд. Вернувшись в здание английского факультета, в маленькой пустой кухне я приготовила себе кофе и понесла его к себе в кабинет — сначала я и не заметила, что теперь-то уже по-настоящему проголодалась, а потому решила съесть последнюю шоколадку.

Я уселась на пол, скрестив ноги, и некоторое время просто смотрела на коробки, жуя шоколадку и запивая ее кофе. Потом я рассмотрела следы от веревок на запястьях и лодыжках — разглядывать содранную кожу почему-то было интересно, мне виделась в ней какая-то приятная симметрия. Но Патрика я, скорее всего, больше не увижу. Новому опыту я всегда рада, но это вовсе не означает, что я непременно стану его повторять — даже если в прошлый раз получила удовольствие. На секунду я представила себе Ивонну, которая в это время, наверное, уже дома — готовит детям ужин в ярко освещенной кухне: повсюду желтые лампочки, посудомоечная машина, большой телевизор, готовый на весь вечер всосать в себя всю эту яркость. Интересно, в какой точке своей жизни я от всего этого увернулась? И если бы мне все-таки довелось жить так, как живет Ивонна, это было бы приятнее, чем то, как живу я?

Когда я снова принялась складывать книги в коробки, за окном уже стемнело. Книги были очень пыльные — слишком долго простояли на полках, — и руки у меня скоро стали как у трубочиста. Я не обращала на это внимания и продолжала наполнять коробку научными книгами девятнадцатого века, с которыми пусть с трудом, но могла расстаться. Дело шло медленно, потому что я то и дело прерывалась — прикоснуться к страницам и прочесть строчку-другую. Над «Трансцендентальной физикой» профессора Цельнера я задержалась особенно надолго. У Берлема было издание 1901 года — маленькая коричневая книжка в твердом переплете. Я открыла книгу наобум и прочла небольшой параграф о Канте, Боге и четвертом измерении, рассмотрев и рисунок с изображенными на нем непонятными узлами. На другой иллюстрации — несколькими страницами дальше — я рассмотрела круглый столик на одной ножке, изготовленный из цельного куска древесины — и широкая столешница, и такое же основание, — на ножке были надеты два деревянных кольца. Понятно, что, будь столик и кольца выточены из того же куска дерева, получалось бы, что кольца сделали одновременно со столиком — но на самом деле они появились позже. Думаю, понадобилось какое-то волшебство, чтобы они оказались на ножке этого стола с круглым широким основанием. Перевернув страницу, я прочитала о странных огнях и запахе серной кислоты, предшествовавших появлению колец: на ножку стула их поместили незримые силы, возможно явившиеся из иного измерения.

С горем пополам мне удалось расчистить целую полку таким вот методом: беру книгу, читаю немного и с грустью кладу ее в коробку. После этого я попыталась расставить на одной полке все свои книги, в том числе и те, которые «взяла почитать», но они никак не умещались. Я снова посмотрела на книги Берлема. Если перенести в коробку четыре тома «Зоономии» Эразма Дарвина в издании 1801 года, на его полке освободится немного места для моих книг — особенно если убрать еще и немного Аристотеля. Но «Зоономия» — одна из моих самых любимых книг, и к тому же я почти наверняка буду использовать ее в диссертации. Хотя... Вообще-то нет, не буду я ее использовать, ведь Берлем попросил меня не включать ее в работу. Я точно помню его слова. «Забудьте о „Наваждении“». И о „Зоономии“ тоже забудьте». Он сказал, что 1801 год — это слишком рано и что мне следует оставаться в рамках выбранного периода. Ну ладно, если передумаю, возьму в библиотеке. Так что — в коробку. Чтобы дотянуться до «Зоономии», мне пришлось встать на стул, стараясь не слишком страстно прижиматься к их широким зеленым корешкам, а потом я, конечно, принялась открывать том за томом, пробегая пальцами по грубой, шершавой бумаге, в которой, кажется, до сих пор видны крошечные вкрапления древесины. Возможно, дело в том, что под вечер такого странного дня я была уже сама не своя, или руки у меня устали от тяжести книг, только обращалась я с ними не так аккуратно, как мне это

свойственно, так что каждый раз, когда я снимала с полки очередной том, потревоженные страницы тяжело шелестели. Вообще, они, видимо, пребывали далеко не в лучшем состоянии, потому что, когда я взяла в руки четвертый том, один из листов выпал и, как осенний лист, медленно опустился на ковер.

Я спрыгнула со стула и подняла листок. И тут же увидела, что размером и фактурой он совсем не такой, как остальные в «Зоономии». Бумага не такая толстая и шершавая, и шрифт не такой яркий и жирный, с вытянутой буквой «s», больше похожей на «f». Это явно страница из другой книги — не из «Зоономии». И все-таки мне показалось, что я уже где-то видела эти мелкие тонкие буквы, равно как и неровные края страницы. Страницу перечеркивали тонкие линии сгиба — видимо, когда-то она хранилась сложенной вчетверо. Нет, это была не просто страница, выпавшая из «Зоономии». Это была недостающая страница из «Наваждения».

Минут пять я стояла, глядя на свою находку; слов не читала, только трогала бумагу и ждала, пока в голове все встанет на свои места. Книга принадлежала Берлему. Вся коробка из букинистической лавки была его. И это Берлем по какой-то причине вырвал эту страницу и спрятал ее. Наверняка он. Наверняка именно он убрал страницу в «Зоономию». Кроме меня больше ни у кого нет ключа к этой комнате, и, если бы кто-нибудь другой вырвал страницу из книги, он бы спрятал ее в своих вещах, а не в вещах Берлема. К тому же я не знаю, кто еще, кроме Берлема, хоть раз в жизни слышал о «Наваждении». Но зачем ему понадобилось прятать страницу в книге? И как, черт побери, «Наваждение» оказалась на книжном аукционе? Мне никак не удавалось собрать из всего этого что-нибудь связное и путное. Ведь вдобавок ко всему прочему, будь книга цела, она представляла бы собой немалую ценность; как мог профессор, если он не совсем уж потерял голову, вот так взять и вырвать страницу. Почему бы просто не поставить книгу на полку?

Забудьте про «Наваждение»... Простите, дорогой Берлем. Теперь это уж точно невозможно.

Интересно, он что же, и в самом деле хотел, чтобы я забыла про эту книгу? Вместе с «Наваждением» он называл и «Зоономию», потому что знал, что оставил страницу именно там. Он объединил эти две книги на словах задолго до того, как я объединила их в реальности.

Я не могла читать страницу прямо там — хотя, конечно, удержаться было трудно. Вместо этого я аккуратно вложила ее между страниц книги Цельнера, которую собиралась взять с собой, как можно быстрее закончила упаковывать коробки и пошла домой.

Через час, после вынужденной прогулки вниз по холму — было очень темно и холодно, — я сидела на диване на кухне с большой чашкой кофе. Это становилось похоже на какой-то ритуал, но, возможно, тут и нужен ритуал. Я ведь и подумать не могла, что когда-нибудь смогу прочесть «Наваждение», а потом вдруг нашла эту книгу — при обстоятельствах самых что ни на есть невероятных. Я и не надеялась найти недостающую страницу — и вот, пожалуйста, она у меня. Все эти события были связаны между собой — и дело тут не просто в удачном стечении обстоятельств, а в самых что ни на есть настоящих причинно-следственных связях. Единственная случайность во всей этой истории — это падение университетского корпуса, из-за которого, похоже, прежний порядок дал трещину, и вот тут-то и начали происходить все эти странные вещи. Конечно, я по-прежнему понятия не имею о том, что случилось с Берлемом, но знаю, что случившееся с ним послужило причиной того, что теперь творится со мной. Почему он исчез? Возможно, дело совсем плохо, раз его самая ценная книга оказалась в коробке на аукционе. А книги в коробке определенно были его: я просмотрела их, как только вернулась домой, и обнаружила на полях заметки, оставленные его угловатым, прямым почерком. Я сделала большой глоток кофе и под стук колес проезжающего за окном поезда прочитала первую строчку на странице 131 — окончание предложения, начатого на странице 130.

порог комнаты, освещаемой лишь одной-единственной лампой. Я поздоровался.

— Добрый вечер, мистер У, — сказал он, и губы его растянулись поперек всего лица тонкой улыбкой. — Приступим сразу к делу? Я полагаю, деньги у вас при себе?

Я нагнулся и достал деньги из ботинка — и едва не упал, потеряв равновесие. От этого улыбка на лице доктора стала еще тоньше.

— Должен заметить, что нахожу ваш бумажник несколько странным, мистер У, — сказал он.

— Это все деньги, какие у меня остались, — ответил я. — Я не мог допустить, чтобы их украли.

— Безусловно, — кивнул он.

Затем он жестом попросил меня сесть за стол, а сам занял место напротив, как будто бы намеревался начать консультацию.

Я протянул ему деньги и почувствовал, как глубокое чувство пустоты пронзило мне душу. А даст ли мне этот человек то, чего я хочу? Вынужден признаться, что в это мгновение я почти поверил в то, что сейчас передо мной возникнет облачко дыма — и на этом фокус будет окончен. Однако никакого облачка дыма не последовало, и доктор все так же смотрел на меня через стол.

— Я записал для вас рецепт, — сказал он. — Он довольно простой и не требует никаких особенных приготовлений. Все ингредиенты — совершенно обыкновенные, вы сами в этом убедитесь.

Только сейчас я заметил, что в левой руке он держит потрепанный голубой лист бумаги. И этот лист содержит сведения, которые я все это время искал! Я не мог понять, почему этот человек сидит напротив меня в этой своей странной позе и держит в руке бесценное знание. Почему бы ему было просто не дать мне то, за что я ему заплатил? Вдруг мною словно овладели демоны — у меня возникло страстное желание протянуть руку и выхватить у него бумагу. Дальше, признаюсь, я представил себе, как набрасываюсь на доктора, валю его на землю и отбираю свои деньги. Но все это произошло лишь в моем воображении, а на самом деле я всего лишь продолжал сидеть и смиренно ждать рецепта.

— Этот состав, — решил я спросить, — будет иметь точно такой же эффект, как?..

— Вы хотите узнать, позволит ли он вам телепатить?

— Да, — сказал я. — Если именно это произошло со мной в Ноттингеме.

Тонкая улыбка доктора вернулась.

— Этот состав безусловно позволит вам телепатить, если это все, чего вы требуете.

— Если это все, чего я требую? Что, черт возьми, вы имеете в виду?

— Благодаря этому составу вы сможете отправиться в самые любопытные путешествия, мистер У, могу вас заверить.

Секунду или две доктор выглядел так, будто намерен продолжать в том же зловещем ключе, но тут с ним случилось нечто очень странное. Все его тело словно обмякло — как фигурка марионетки, которую после представления положили на сервант. Целую минуту он не двигался — и ничего не говорил. Когда же он снова пришел в себя, его тело слегка дернулось — как будто невидимый кукловод снова взялся за ниточки. Он с некоторым недоумением взглянул на лист бумаги в собственной руке и, больше ничего не говоря, отдал его мне.

Я смог лишь беглым взглядом окинуть свое сокровище, как он уже стукнул дважды по столу костяшками пальцев левой руки и собрался вставать.

— Ну что ж, хорошего вечера, мистер У. Вы получили то, зачем пришли.

Я замялся, понимая, что другой возможности задать вопрос, который вертится на языке, у меня не будет.

— Прежде чем уйти, — сказал я, — я хотел бы задать вам один вопрос.

Вместо ответа доктор молча поднял одну бровь.

— Я хотел бы знать, многим ли людям известен этот рецепт, — сказал я.

— Вы желаете знать, какова цена знания, которое вы держите в руке, —

сказал он — Желаете знать, насколько большой властью теперь обладаете и со сколькими людьми вам придется ее делить. Что ж, я с легкостью отвечу на ваш вопрос. Вы — единственный человек, которому я продал этот рецепт. Не всякий согласится, подобно вам, лечь в шатре и принять снадобье незнакомца просто ради того, чтобы что-нибудь познать. Для избавления от боли — пожалуйста. Ради удовольствия — тоже. Но, могу вас заверить, других клиентов, кроме вас, у меня пока еще не было.

У меня в голове теснились и другие вопросы, но доктор явно дал понять, что наша сделка окончена, и я вышел в темный холодный холл. В гостиной справа от меня ребенок пытался разжечь огонь. Но выходило лишь низкое назойливое шипение и столько дыму, что глаза у меня начали слезиться. Убедившись в том, что никто на меня не смотрит, я вытер глаза от угольной пыли и наскоро оглядел бумагу, которую держал в руках. В ней было всего четыре строчки, написанные бледно-фиолетовой тушью и особым почерком человека, который обучался письму не в школе, а где пришлось.

*Раствор готовится следующим образом:
одну часть Carbo Vegetabilis, то есть растительного угля, в тысячной гомеопатической потенции смешайте с 99 частями святой воды в стеклянной колбе или склянке и энергично встряхните полученную смесь десять раз.
ФД 1893*

Я быстро убрал голубую бумагу в ботинок и направился к выходу.

Дочитав вырванную страницу «Наваждения», я почувствовала, что у меня пересохло во рту и сердце бьется так, словно вот-вот вырвется наружу. Просто невероятно. Я немедленно перечитала текст, силясь вернуть ощущение, которое испытала, когда дошла до рецепта, — с таким же нетерпением занимаешь очередь на аттракцион, который только что напугал тебя до полусмерти или привел в дикий восторг. Но эффект был уже не тот. Это не катание на американских горках, которое можно повторять снова и снова, — скорее это такой аттракцион, с которого невозможно сойти. Я вдруг почувствовала, что не могу сидеть на месте. Я вскочила и принялась ходить из угла в угол — и чувствовала, что должна сделать нечто большее, намного большее, чтобы выразить эмоции, которые меня охватили, но не понимала, что именно. Засмеяться? Заплакать? Мой мозг бился в истерике, но я так и не придумала, как выплеснуть ее наружу, и вместо этого просто ходила, курила и думала. Думала о странном предисловии и о намеках на то, что в «Наваждении» содержится нечто вполне реальное. Думала о том, что кто-то — вероятно, сам Берлем — позаботился о том, чтобы спрятать эту страницу, на которой нет ничего интересного, кроме инструкции по приготовлению препарата. Думала о странных упоминаниях Люмасом телепатии и вспоминала отрывок об «особом устройстве в разуме человека».

Робер-Уден создал устройство для производства иллюзий, я же здесь намерен создать особое устройство в разуме человека, благодаря которому ему откроются иллюзии и высшие реальности; и из этого своего устройства он сможет (если только поймет, как) переноситься в подобные устройства в разуме других людей.

Только окончательно убедившись в том, что теперь мне понятна ценность этой страницы и возможная причина, по которой она была спрятана, я наконец уселась на диван и принялась за последнюю главу — правда, теперь меня отвлекало навязчивое желание найти необходимые ингредиенты и приготовить раствор для себя.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Известные людям вещества по мере восхождения материи на более высокие ступени становятся все менее доступными чувственному восприятию. Возьмем, например: металл, кусок древесины, каплю воды, воздух, газ, теплоту, электричество, светоносный эфир. Мы же называем все эти вещества и явления материей, охватывая таким образом единым и всеобщим определением все материальное; но так или иначе, а ведь не может быть двух представлений, более существенно отличных друг от друга, чем то, которое связано у нас в одном случае с металлом и в другом — со светоносным эфиром. Как только дело доходит до второго, мы чувствуем почти неодолимую потребность отождествить его с бесплотным духом или с пустотой. И удерживает нас от этого только то соображение, что он состоит из атомов; но даже и тогда мы ищем себе опору в понятии об атоме как о чем-то хотя бы и в бесконечно малых размерах, но все-таки имеющем плотность, осязаемость, вес. Устраните понятие о его атомистичности — и мы уже не в состоянии будем рассматривать эфир как вполне реальное вещество, или, во всяком случае, как материю. За неимением лучшего определения нам пришлось бы называть его духом. Сделаем, однако, от рассмотрения светоносного эфира еще один шаг дальше и представим себе вещество, которое настолько же бесплотнее эфира, насколько эфир бесплотнее металла, — и мы наконец приблизимся (вопреки всем ученым догмам) к массе, единственной в своем роде, — к нерасторжимой материи. Потому что, хотя мы и примиряемся с бесконечной малостью самих атомов, бесконечная малость пространства между ними представляется абсурдом.

Эдгар Аллан По. «Месмерическое откровение»¹¹

Поскольку понятно, что все материальные вещи взаимосвязаны и являются частью одного и того же; поскольку галька у наших ног и самая далекая и малополезная неподвижная звезда — и те связаны друг с другом, получается, что вопрос «Дождь пошел, дорогой?» и самые мрачные метафизические искания имеют связь такую же тесную.

Сэмюел Батлер. «Записные книжки»

Глава девятая

Ты смотришь в зеркало, и на этот раз оно говорит тебе, что да — на тебе лежит проклятие.

Солнце только начинало вставать, а я уже примчалась в университетскую библиотеку. Был вторник, утро, до открытия библиотеки — еще пять минут. Я слегка ошалела от подъема на холм в утренних сумерках и немного задыхалась от зимнего неба и своего собственного дыхания, которое само было зимним небом в миниатюре. Впервые в жизни я шла и слушала на ходу айпод. Мне показалось, что самым подходящим аккомпанементом для подъема в гору на рассвете моего первого дня в роли человека, на котором, возможно, лежит проклятие, будет «Dixit Dominus» Генделя — та самая вещь, которую играли в Гринвиче в тот вечер, когда я познакомилась с Берлемом. Я одновременно и люблю эту музыку, и ненавижу ее, и, когда слышу ее, мне чудится, будто она ползет по моей коже — и снаружи и внутри.

¹¹ Перевод В. Неделина.

Патрик может подумать, что я — воплощение постмодернизма только потому, что у меня есть айпод, но при этом, когда дело касается исследовательской деятельности, интернету я предпочитаю библиотеки. И хотя я знаю, что такое святая вода и где ее можно раздобыть, я не имею ни малейшего представления о втором ингредиенте рецепта мистера У: *Carbo Vegetabilis* (или растительный уголь). Ну хорошо, допустим, я понимаю, что растительный уголь подразумевает жженую древесину или какую-нибудь другую растительность, но что такое гомеопатическая потенция? Думаю, в интернете можно было бы быстро найти ответ на этот вопрос, но насколько ему можно верить? А мне же еще нужно точно знать, что мог подразумевать под этим писатель XIX века. Возможно, этим термином больше не пользуются или теперь он означает что-нибудь совсем другое. Взять, к примеру, слово «атом» — как изменилось его значение за сотни лет! Я твердо решила приготовить этот раствор и испытать его на себе. Даже несмотря на то, что сегодня утром очнувшись от укола честности, которая иногда охватывает тебя сразу после пробуждения, и внутренний голос велел мне остановиться. Но зачем останавливаться? Эта микстура не может причинить мне вред. Углем невозможно отравиться, водой — тоже. К тому же мне казалось, что рецепт — это часть книги и что Люмас зачем-то именно так и задумывал — чтобы читатель испытал снадобье на себе.

Отдел «История медицины» обнаружился на четвертом этаже библиотеки, за религиозными и философскими книгами, в маленьком углу рядом с лестницей. Гомеопатии здесь была отведена целая секция: множество потрепанных томов в твердых обложках и неброских переплетах темно-зеленого, темно-красного и серого цвета. Я выбрала толстую зеленую книгу и взглянула на название — «Реперторий Кента» и дату выпуска — 1897. Я уселась, скрестив ноги, на выцветший ковер и принялась листать книгу, заинтригованная ее необычной структурой, мне совершенно непонятной. Казалось, книга содержит в себе списки симптомов, сгруппированные под названиями вроде «Сон», «Глаза», «Гениталии» и «Разум». Я открыла раздел «Сон» и в главе «Сновидения» наткнулась на любопытное стихотворение. Я стала читать дальше и увидела что-то вроде словарных статей, состоящих из одного слова или одного предложения, таких как «сера», «сексуальный», «скелет», «слышать голоса», «стрелять», «стыд» — и дальше: «терять дорогих людей или предметы», «тосковать по дому». После каждого коротенького текста стояли непонятные мне буквы, на вид — какие-то сокращения. Под статьей «сновидения, змеи» их было много: *alum.*, *arg-n*, *bov.*, *grat.*, *iris.*, *kali-c*, *lac-c.*, *ptel.*, *ran-s.*, *rat.*, *sep.*, *sil.*, *sol-n.*, *spig.*, *tab*. Некоторые почему-то были написаны курсивом, и что все они означали, я понятия не имела.

Я стала листать книгу от конца к началу, нашла раздел «Разум» и в главе «Заблуждения» обнаружила очень странные вещи — например, там упоминалось заблуждение из разряда «живой с одной стороны, мертвый с другой» и какие-то туманные «иллюзии влюбленности». В разделе «Гениталии, мужские» я нашла описание эрекции, которая может быть «порывистой» или случаться только во второй половине дня или исключительно в процессе кашля. Все это было очень интересно, но совершенно непонятно, поэтому я захлопнула фолиант и стала просматривать другие книги на полке. Странно: я всегда считала, что гомеопатия — это какое-то безумное траволечение, но, перелистав эти книги, вдруг поняла, насколько серьезно относятся к ней некоторые люди — точнее, относились в конце прошлого века, когда и было опубликовано большинство этих книг. У всех гомеопатических авторов были невероятно шикарные имена: доктор Константин Херинг, доктор Джон Генри Кларк, доктор Вильям Берике; среди них попадались даже женщины, в том числе доктор Маргарет Тайлер и доктор Дороти Шепард. Перед каждым именем обязательно стояла приписка «доктор», указывающая на то, что все важные специалисты, практиковавшие в те времена гомеопатию, были врачами. В итоге у меня набралась целая стопка книг — от 1880 года и до начала XX века. Я перетащила ее на маленький столик и принялась во всем этом разбираться.

После двух часов непрерывного чтения я вышла покурить. Небо теперь окрасилось в ненатуральный синий цвет — цвет школьной формы, и на секунду мне показалось, будто из

него исчезла какая-то деталь. Передо мной по траве пробежала серая белка, ее худенькое тельце поднималось и опускалось, будто волна. Я проследила за ней взглядом: белка взобралась на дерево и исчезла. За деревом, далеко внизу, в слабом искусственном свете поблескивал маленький город. Собор по-прежнему занимал центральное место в картине и при таком освещении казался коричневатым, словно оцифрованная старинная фотография. Вдыхая в холодном воздухе дым, я обдумывала все, что успела узнать за это утро. Судя по всему, гомеопатию изобрел (ну, или открыл) Самюэль Ганеман в 1791 году. Ганеман был химиком и автором научных работ на тему сифилиса и отравления мышьяком. Он был недоволен методами, применявшимися в современной ему медицине — в особенности кровопусканием. Ганеман полагал, что герцога Австрии Леопольда убили придворные врачи, которые четыре раза за одни сутки пустили ему кровь, надеясь таким образом сбить высокую температуру. Работая над переводом *Materia Medica* Каллена, Ганеман вдруг пережил озарение. Каллен писал, что кора хинного дерева излечивает от малярии благодаря своему горькому вкусу. Но Ганеман как раз знал, что отравление корой хинного дерева вызывает симптомы, схожие с симптомами малярии, в том числе увеличение печени и селезенки и общее истощение. Выходило, что лекарство действует на больного так же, как и сама болезнь. А что, если это справедливо и по отношению к другим заболеваниям? Что, если любое лечение подчиняется принципу «клин клином»?

Это дало Ганеману первый повод воскликнуть: «Эврика!» — а позже он разработал целую систему медицины под девизом: *Similia similibus curentur* — подобное лечится подобным. Второй повод кричать «Эврика!» у Ганемана появился, когда он пришел к выводу, что в этом методе эффективны лишь малые дозы. Конечно, кора хинного дерева — это замечательно, но ведь она ядовита и сама по себе представляет большую опасность для человека. Излечение отравления отравой казалось не слишком здоровой мыслью, поэтому Ганеман экспериментировал с сильно разбавленным экстрактом коры и выяснил, что силу имеет даже слабый раствор. Позже гомеопаты XIX века обнаружили, что чем меньше концентрация вещества, тем эффективнее лекарство: приближаясь к бесконечно малой дозе, ты добиваешься до странности сильного эффекта. Парадоксально, но факт. Ведь не остановил же парадокс ни квантовых физиков, ни Эйнштейна.

На улице, несмотря на чистое небо, оказалось ужасно холодно — пришлось быстро затушить сигарету и вернуться в библиотеку, на четвертый этаж, к книгам. Я снова сняла с полки тот толстый справочник, который попался мне первым, и стала снова в нем копать. Теперь я уже знала, что в этой книге врачи-гомеопаты находят симптомы и отбирают в представленном ниже списке общие для всех симптомов препараты. Странные аббревиатуры, оказывается, означают разные гомеопатические вещества. *Ars.* — это *Arsenicum*, *bry.* — это *Bryonia*, а *carb-v.* — *Carbo Vegetabilis*. Разобравшись в этой системе, я сразу захотела поискать свои собственные странные симптомы: ранние пробуждения, пристрастие к соли, сигаретам и алкоголю, любовь к нетрадиционному сексу, предпочтение собственной компании всем остальным... Увы, на это не было времени. У меня на запястьях и лодыжках остались одинаковые следы от веревок, которые поблескивали на коже, как полоски расплавленной пластмассы. Может, подобрать себе что-нибудь, что бы их вылечило? Наверное, много времени не потребуется. Хотя, пожалуй, нет, не буду. Они мне почти нравятся.

Я зевнула и даже не стала прикрывать рот — тут за все утро не появилось ни души. Я по-прежнему не знала, что такое *Carbo Vegetabilis* и что означают слова «гомеопатическая потенция 100 °C», поэтому я продолжала рыться в кипе книг на столе, пока наконец не нашла две полезные работы. Первая оказалась краткой биографией доктора Томаса Скиннера, шотландского гомеопата, который в 1876 году посетил Соединенные Штаты и сконструировал так называемое колебательное устройство для изготовления высоких потенций, которые в книге назывались «потенциями выше 1000». Еще немного пошелестев страницами, я наткнулась на второй полезный текст — ксерокопию статьи из каталога гомеопатической фармацевтической фирмы «Берике и Тафель» 1925 года, в которой очень

подробно описывалось, как готовятся (или готовились в те времена) гомеопатические лекарства. Процесс приготовления походил на чистое безумие. Если я правильно поняла, материал (кора хинного дерева, мышьяк, сера, змеиный яд или любой другой) вымачивается в «чистейшем спирте, приготовленном из отборного зерна», после чего для приготовления лекарства берется одна капля полученного путем вымачивания «материнского раствора» и смешивается с девяноста девятью каплями алкоголя, затем полученную микстуру встряхивают десять раз, после чего берут одну каплю этого нового раствора, снова смешивают его с девяноста девятью каплями спирта — и так далее. Чтобы получить препарат в потенции 3 °С — а, похоже, именно в такой потенции чаще всего прописывают гомеопатические препараты, — нужно проделать эту процедуру тридцать раз. И, соответственно, для тысячной потенции (которую называют потенция 1М) — тысячу. Ну, если я, конечно, все верно поняла. Потому что вообще-то звучит совершенно немыслимо. Я даже перечитала статью заново. Нет, все именно так.

Черт. Этим вообще еще кто-нибудь занимается? И существуют ли до сих пор такие вещи, как высокие потенции Тафеля или машина Скиннера? Может, мне придется пойти раздобыть угля и затеять всю эту возню с пипетками и сливовицей (интересно, она сойдет за чистейший спирт? Боюсь, что нет)? И справятся ли мои израненные запястья со всем этим бесконечным встряхиванием? Руки у меня не железные, и выносливости — никакой. Однажды я стирала карандашные пометки на полях книги страниц в сто, которую мне нужно было отсканировать (длинная история), и после этого у меня было ощущение, как будто бы я сутки напролет обрабатывала вручную чей-то гигантский член.

Я продолжала размышлять над этим и мечтала, как было бы хорошо найти какого-нибудь фармаколога Викторианской эпохи, и тут кто-то похлопал меня по спине. Хотя я и считала, что кроме меня в зале никого не было, я все равно не подпрыгнула. Да какое там: новая проблема увлекла меня так сильно, что я лишь рассеянно стряхнула руку с плеча и продолжала читать дальше. К тому же я все равно уже почувствовала, что это Патрик. Узнала древесный запах его лосьона после бритья и лимонный аромат свежевystиранной одежды. Он снова дотронулся до моего плеча, и на этот раз мне пришлось откликнуться.

— Привет, — сказала я, едва оторвавшись от книги.

— Здравствуй, — ответил он и навис у меня над правым плечом. — О чем читаешь?

— О гомеопатии девятнадцатого века, — сказала я и прикрыла книгу, положив руку сверху на обложку так, чтобы не видно было запястья.

— Господи, тогда уже была гомеопатия?

— Похоже, она тогда переживала расцвет.

Повисла долгая пауза. Поскорее бы он ушел.

— Эриел, — начал он.

— Что?

— Можно, я угощу тебя кофе в качестве извинения?

Я вздохнула:

— Я тут еще не скоро управлюсь.

— Эриел?

Я не ответила. Он молча стоял у меня за спиной, и я не знала, что сделать — обернуться и посмотреть на него или просто продолжать заниматься своим делом в надежде, что он уловит намек и уйдет. Я, правда, была не очень-то уверена, какой именно намек он должен был уловить. Что-то вроде: «Не ввязывай меня в ваше гребаное семейное дерьмо». Некоторое время я продолжала его игнорировать, после чего он подошел поближе и посмотрел на книгу, лежащую передо мной на столе, так, как смотрят на фотографии в комнате, в которой никого нет.

— Ладно, не буду тебе мешать, — сказал Патрик, но с места не сдвинулся. — Гляди-ка. — Он ткнул своим тонким пальцем в книгу. — Это фосфор, я его принимал.

Я взглянула на него.

— Ты принимал гомеопатические средства?
— Ну да. Не знаю, насколько мне это помогло, но...
— Слушай. Давай и в самом деле выпьем кофе, — сказала я. — Только подожди несколько минут, я тут кое-что закончу и возьму домой несколько книг. Давай через пять минут у выхода?
— Отлично.

В колледже Шелли (названном так в честь Мэри, а не в честь Перси Биши) есть лестница Фибоначчи, люстра 1960-х годов и кафе под названием «Жующий монстр». «Жующий монстр» — единственное, что мне в этом колледже не нравится. Весь из себя ярко-оранжевый с белой отделкой, сплошь изгибы и ломаные линии, новенькие бильярдные столы и плазменный экран на стене. Мне куда милее старый маленький бар в здании Рассела с его напольными пепельницами и ободранными столами из ДСП. Студентам «Рассел-бар» не нравится, а это означает, что обычно там никого нет. Иногда они, правда, заходят сюда позаниматься или подремать с похмелья, свернувшись калачиком на одном из старых замызганных диванчиков, но это бывает нечасто. И кстати, в «Жующем монстре» нельзя курить. В «Жующем монстре» можно делать только безупречные вещи, да и самому здесь нужно быть безупречным и прекрасным — иначе флуоресцентные огни и зеркала, развешенные повсюду, немедленно укажут тебе на дверь.

Я взгромоздилась на табурет за маленьким белым столиком у окна и натянула рукава свитера как можно ниже — чтобы прикрыть запястья, а Патрик тем временем заказывал нам кофе: себе что-то взбито-молочное, а мне — «американо» (в Расселе его называют просто «черный»). Передо мной на столе высилась стопка книг по гомеопатии, и здесь они выглядели так же неуместно, как и я сама. Зеркала отражали мой нездоровый цвет лица — из-за ярко-рыжих волос я казалась еще бледнее, чем в действительности, — и джинсы, истрепавшиеся внизу до состояния бахромы (не думала, что это так заметно). Утром я не задумываясь напялила этот черный свитер и только сейчас обратила внимание на то, как сильно протерлась шерсть в некоторых местах и как неопрятно я в нем выгляжу. Если бы не волосы, меня можно было бы принять за плохую ксерокопию самой себя.

Патрик поставил передо мной кофе и выглянул в окно.

— Ух ты, какая сегодня видимость, — сказал он, усаживаясь за стол. Небо по-прежнему было неестественного голубого цвета.

— Да, но собора-то не видно. — Отсюда видны только пустынные поля и за ними — какие-то индустриальные башни.

— А надо, чтобы обязательно было видно собор?

— Ну, наверное. В том смысле, что больше-то тут, по-моему, и смотреть не на что. Когда сидишь здесь, наверху.

— Возможно. — Патрик ковырялся тонкой серебряной ложечкой в своем взбито-молочном напитке, и я заметила, что руки у него слегка дрожат, а лоб блестит, покрытый испариной. — Итак...

— Итак, — откликнулась я. — Ты?..

Что я должна была сказать? Я совсем уж было собралась спросить, не стало ли ему легче, но быстро поняла, что это было бы полным идиотизмом, ведь на самом-то деле мне нет никакого дела до того, как он себя чувствует. Овал, в котором должны были появиться мои слова, некоторое время повисел в воздухе, после чего Патрик сам достроил за меня вопрос и сам же на него ответил:

— Да. Эмма вернулась. Я... — Он еще немного поболтал ложкой в кофе. — Извини, если вчера я вел себя странно. Не знаю, сможешь ли ты меня за это простить.

— Ничего страшного, — услышала я собственный голос. — Я же ничего не говорила... Ну, сам понимаешь...

— Ну конечно, но мне не следовало...

— Я хочу сказать, что, возможно, нам следует избегать... В будущем...

«Жующий монстр» — неподходящее место для подобных разговоров. Это разговор из тех, что ведутся в темноте джаз-клубов, за полночь, когда все дети уже спят, а мы пытались его вести в таком месте, где, кажется, каждое слово подвергается жесткой цензуре.

— Ладно, не важно, — сказала я наконец.

— Прости меня, пожалуйста.

— Все нормально.

Я подумала о монстре Франкенштейна, вымышленном персонаже, который косвенно дал имя этому заведению. «Она лежала поперек кровати, безжизненная и неподвижная; голова ее свисала вниз, бледные и искаженные черты ее лица были наполовину скрыты волосами... На шее у нее четко виднелся след смертоносных пальцев демона, и дыхание уже не исходило из ее уст».¹² Вот что сделало творение Виктора Франкенштейна с его невестой, Элизабет. Так что, возможно, это все же подходящее место для таких разговоров.

— Ты... — начала я одновременно с Патриком, который сказал: «Я...»

— Давай ты первая.

— Нет, давай ты.

— Ну ладно, что ты хотела сказать?

— Я просто... Просто мне не хочется замещать твою жену. Особенно когда вы в ссоре. Так мы с тобой не договаривались.

— Конечно нет. Прости. Это больше не повторится.

Несколько мгновений мы оба молчали. Я пила кофе и краем сознания мечтала о сигарете. К барной стойке подошли две женщины и заказали сок, после чего подошли и сели за столик сразу за нашим.

— Так ты лечился у гомеопатов? — спросила я.

Он пожал плечами:

— Кто-то посоветовал.

— И как тебе?

Он отхлебнул кофе, и я заметила, что руки у него больше не дрожат.

— Любопытно. — Он наморщил лоб. — Задают разные странные вопросы. Спрашивают, какую еду ты больше всего любишь, какие сны тебе снятся, где ты работаешь и доволен ли своей профессией. Чем-то похоже на психотерапевта.

Однажды я была у психотерапевта. Учитель физкультуры увидел у меня на ногах шрамы и отправил меня к врачу. А врач направил меня куда-то вроде подросткового отделения местной больницы. Помню, как я смотрела какую-то мыльную оперу в приемном покое, где кроме задрипанного телевизора имелись еще зеленые пластмассовые стулья и плакаты про СПИД. Доктор, к которому меня направили, оказался молодым круглолицым парнем в очках. Я рассказала ему о том, как это удивительно — доставлять себе удовольствие через боль, о том, что мне известно, как сильно можно на это подсесть, но я-то пока еще не подсела. Рассказывая о своем детстве, я всю дорогу смеялась. А психотерапевт только молча смотрел на меня с очень удивленным видом, и через неделю я получила письмо, в котором говорилось, что «на сегодняшний день» у них нет возможности мне помочь. Я до сих пор помню эту похожую на коробку крохотную комнатку с картонными стенами. В ней пахло дымом, и я заметила на столе пепельницу из серебряной фольги — рядом с пачкой бумажных салфеток и вазой с пластмассовыми голубыми цветами. В это самое мгновение мне пришло в голову, что надо бы попробовать закурить. В конечном итоге я стала курить вместо того, чтобы резать себе руки и ноги, но шрамы у меня остались до сих пор. Патрику они нравятся.

Я отхлебнула кофе, а Патрик продолжал рассказывать о своем походе к гомеопату.

— Не знаю, зачем им такие подробности о твоей жизни, — сказал он и засмеялся. — Я-то вообще туда пошел из-за головных болей и бессонницы.

¹² Мэри Шелли. Франкенштейн, или Современный Прометей. Перевод З. Александровой.

Я допила кофе.

— И в итоге стал принимать фосфор?

— Да. И кстати, знаешь, пожалуй, голова у меня с тех пор не болит — правда, сплю я по-прежнему неважно.

— Так ты в это веришь?

— М-м-м... Не знаю. Я смотрел по телевизору какую-то передачу, там рассказывали, что все эти лекарства — просто-напросто плацебо, в них нет ничего такого, что могло бы существенно повлиять на что-нибудь. Ведь эти препараты и в самом деле так сильно разбавляют, что, с химической точки зрения, там не остается практически ничего, кроме воды. Правда, гомеопаты утверждают, что у воды есть память, но это звучит уж совсем дико.

— И как это твое лекарство выглядело? — спросила я. — Где ты его взял?

— Так мне сама гомеопат его и дала. У нее там такой огромный деревянный шкаф с ящичками... — Патрик развел руки на ширину нескольких футов и поднял вверх большие пальцы, показывая размер шкафа. Я заметила, что смотрит он не на свои руки, а на стену у меня за спиной, и поняла вдруг, что люди, показывая размер руками, призывают на помощь перспективу. Он не говорит: «Шкаф был вот такого размера». Он говорит: «Шкаф выглядел бы отсюда вот таким, если бы стоял вон там».

Разобравшись с размерами, он продолжил:

— Все ящички были с наклейками, подписанными в алфавитном порядке. Она открыла один из них, и там оказалась куча стеклянных пузырьков с крошечными белыми шариками. Она объяснила мне, что вообще-то все гомеопатические лекарства жидкие, но ими пропитывают такие вот маленькие таблеточки, и тогда лекарство намного удобнее принимать. Извини, ты, наверное, заскучала.

— Нет, мне правда интересно. Я вообще представления не имела, как это выглядит. — Я хотела было пробежать рукой по волосам, но где-то в районе лба наткнулась на огромный спутавшийся клок и попыталась его распутать. — Так значит, эти таблетки можно получить только у гомеопата?

— Ну что ты, нет, — засмеялся Патрик. — Ты что, никогда не ходишь в «Бутс»?¹³ Гомеопатические лекарства теперь продаются где угодно. Во всех аптеках и даже в магазинах здорового питания. Я, например, принимаю «нукс вомика» для пищеварения. Его продают везде, даже рецепт не нужен.

— Хм-м-м... — удивилась я. — Интересно... Я и не думала, что это такое популярное увлечение.

— Да, теперь это большое дело, — сказал он. — У меня в кабинете есть немного «нукса», если тебе интересно посмотреть, как они выглядят.

— Хорошо.

У большинства людей в рабочих кабинетах творится черт знает что. Я встречала таких, которые сидят в своем офисе, как в ловушке, и до восьми часов вечера все никак не уходят домой — возможно, просто не могут пробраться сквозь горы старых журналов, книг и распечатанных электронных писем. А вот у Патрика кабинет просторный, незахламленный и без единой пылинки. Конечно, до безупречности «Жующего монстра» ему далеко, но если сюда заглянуть, становится понятно, почему он так любит пить здесь кофе. Он, как и я, организовал себе Г-образную комбинацию столов, только его столы больше и у одного из них стеклянная столешница. Стеклянный развернут длинной стороной к входной двери, и на нем нет ничего, кроме тяжелого полупрозрачного пресс-папье и белой лампы. Второй стол стоит перед окном, на нем нет ничего, кроме компьютера, и, по-моему, его только что отполировали. Комната такая большая, что еще остается место для журнального столика и четырех удобных кресел.

¹³ «Бутс» — крупная аптечная сеть в Великобритании.

Патрик закрыл за нами дверь и подошел к ящику стола.

— Вот, — сказал он и, достав из стола маленький коричневый пузырек, протянул его мне.

Я положила библиотечные книги на журнальный столик и взяла у него пузырек. На этикетке значилось: «*Nix Vom 30. 125 таблеток*». Инструкция сбоку на бутылочке призывала принимать по одной таблетке каждые два часа при «острых» случаях и три раза в день во всех других случаях. Я открутила крышечку и заглянула внутрь — там лежала горка крошечных таблеток чисто-белого цвета, похожих на мини-аспирин.

Патрик тем временем запер дверь и теперь закрывал жалюзи.

— Насколько я прощен? — спросил он.

— Что-что? — подняла я глаза от пузырька, но он уже успел меня обнять и теперь жарко целовал.

— Патрик, — сказала я, как только он остановился. Но что тут скажешь? Несмотря на — или, как это ни странно, именно благодаря вчерашней нашей встрече, у меня по коже пробежала знакомая дрожь, и, вместо того чтобы сказать ему о том, что это не самая удачная мысль, я позволила ему снять с меня свитер и стянуть вниз джинсы и трусы — а потом, схватив за волосы, нагнуть над стеклянным столом. Мои груди распластались по холодному стеклу, и, пока Патрик меня трахал, я все думала — как, интересно, они выглядят оттуда, из-под стекла.

— Господи, Эриел, — сказал он после секса, вытирая себе член бумажной салфеткой, пока я натягивала джинсы. — Не знаю, что ты во мне будишь — мои лучшие стороны или, наоборот, худшие...

— Думаю, худшие, — сказала я, улыбаясь.

Он улыбнулся в ответ.

— Спасибо, что простила.

Я засмеялась:

— А может, я еще и не простила. — Я собрала книги и направилась к двери. — Ну что ж, пожалуй, я пойду — посмотрю, на что похожи мои новые соседи по комнате.

Патрик выбросил свой «клинекс».

— Соседи по комнате?

— Беженцы — так их называет Мэри. Погорельцы из здания Ньютона. Ко мне подселили двоих.

— М-да. Не повезло. — Патрик откинулся на стеклянный столик и посмотрел на меня. — Ну, знай, что здесь тебя всегда ждут.

— Нас застукают.

— Да, наверняка. — Он вздохнул. — Тогда вернемся в отели.

— Посмотрим. — Чтобы смягчить тон, я сопровождала это слово шаловливой улыбкой, потому что мне только что пришла в голову одна мысль.

— Ой, Патрик... — сказала я, уже держась рукой за дверную ручку — как будто чуть не забыла спросить об одной вещи.

Он возился с пуговицами на штанах, проверяя, все ли застегнуты.

— Что?

— Я кошелек дома забыла. У тебя тут лишней десятки не завалялось? Я бы, конечно, обошлась, но собиралась на обратном пути заехать на заправку. Я верну завтра или типа того.

Он тут же полез за бумажником и вынул оттуда двадцатку.

— Не вопрос, — сказал он. И потом, когда я уже выходила из кабинета, тихо добавил: — У меня еще много, так что не стесняйся, если понадобится.

Я шла по коридору и думала: может, все-таки честнее было украсть десятку из чайно-кофейного фонда в кухне?

Глава десятая

У меня в кабинете находилась какая-то молодая женщина. Приблизительно моего возраста или, может, немного моложе, в очках в толстой черной оправе, с кудрявыми светлыми волосами и короткой стрижкой. Она ставила книги на одну из освободившихся полок. На полу вокруг нее стояло еще штук пять коробок, набитых самыми разными предметами, которые едва в них помещались — в основном это были книги, но также и диски, маленький проигрыватель, плюшевая зеленая лягушка и скомканный лабораторный халат.

— Привет, — сказала я, обходя коробки. — Я Эриел.

— О господи. Простите, пожалуйста, что так вышло. Я Хизер. — Судя по акценту, она была из Шотландии, возможно — из Эдинбурга.

Хизер широко улыбнулась, положила книги, которые держала в руках, и протянула мне руку. Я тоже положила свою стопку книг на ставший теперь одинарным стол и ответила на приветствие.

— Нет, серьезно, — продолжала она. — Я переберусь куда-нибудь, как только появится возможность. Хотя это, конечно, ужасно мило, что вы согласились меня приютить. Я вам очень благодарна.

— М-м-м... Послушать вас, так я прямо герой дня, — ответила я. — Нет, конечно, я совсем не против вас приютить, но дело в том, что этот кабинет никогда не был рассчитан на меня одну — я всегда делила его со своим научным руководителем, а сейчас его нет, так что вполне логично, что ко мне решили кого-то подселить. Это вообще-то руководитель нашего отделения предложила.

— Ну, в любом случае большое спасибо. В смысле, вы ведь могли и отказаться.

Вообще-то не могла. Ну да ладно, не важно.

— Я только проверю почту, — сказала я, усаживаясь за свой компьютер. — А потом вам помогу, если надо.

— Нет-нет, не беспокойтесь. Я постараюсь не устраивать тут слишком большого бардака — не хотелось бы разнести вам кабинет своим хламом.

— Да ладно вам, все в порядке.

Хизер уже развернула стол к окну и водрузила на него свой компьютер. Теологу, значит, достанется тот, что стоит за моим — будет сидеть лицом к другой стене. У компьютера Хизер большой монитор с плоским экраном, кажется оставленный в режиме сна. Я включила свой компьютер и стала пробираться по лабиринту из коробок, собираясь подняться наверх, посмотреть, нет ли для меня сообщений, и принести себе из кухни кофе.

— Вам кофе принести или еще чего-нибудь? — спросила я, проходя мимо Хизер.

— Ой, как здорово, кофе! Но нет, что вы, мне неловко вас утруждать...

— Да без проблем, я все равно как раз себе иду делать.

— Ну хорошо. Если это не очень вас затруднит. Наверное, мне сейчас не помешает чашечка — такой сумбур в голове.

— Это мне знакомо, — ответила я.

Вернувшись за стол, я тут же принялась искать в интернете разные гомеопатические препараты. Насколько я смогла разобраться, стоили они по три-четыре фунта за пузырек. Их можно было бы заказать по интернету, но у меня нет кредитной карточки, поэтому придется все-таки идти самой. Я так оголодала, что, казалось, вот-вот потеряю сознание, но тратить даже часть денег на столовую не хотелось. Пожалуй, допью-ка я кофе, а потом освобожу машину и поеду домой, а уж там съем супа и приму ванну. И тогда можно будет пойти на поиски *Carbo Vegetabilis*. В городе есть огромный «Бутс» и еще парочка магазинов лечебного питания, и если эти препараты действительно так широко распространены, как говорит Патрик, у меня не должно возникнуть никаких проблем с этим *Carbo*.

Хизер тем временем закончила расставлять свои книги на полках.

— О господи, — вдруг сказала она.

Я взглянула на нее — она стояла и в ужасе смотрела на полки.

— Что-то не так? — спросила я.

— Ой, простите, я вам мешаю работать.

— Да я не работаю. Что случилось?

— Я совсем не оставила места для того, другого человека.

Мы обе посмотрели на полки. Она действительно ухитрилась забить книгами целый шкаф — да так, что часть книг даже пришлось уложить сверху, и все равно местами тома стояли так плотно, что казалось, вот-вот начнут выталкивать друг друга. Туда втиснулась даже зеленая лягушка, которая выглядела теперь совершенно расплюсненной. Хизер прикусила губу — она явно была очень обеспокоена. Тут она поймала мой взгляд, и мы обе расхохотались.

— Ну, что поделаешь, — развела я руками.

— Может, у него будет не слишком много вещей... У меня-то так много только из-за того, что все мои вещи хранились на складе — мой кабинет как раз планировали ремонтировать во время каникул. Ладно, если у него окажется много вещей, думаю, часть своих уберу обратно в коробки.

Она подошла к моему столу и посмотрела на стопку книг по гомеопатии. Потом провела пальцем по корешкам так, будто боялась подцепить какую-нибудь заразу, и тут же убрала руку.

— Вы ведь вроде с кафедры английской литературы?

— Ну да. Вроде того.

— Зачем же вам книги по гомеопатии?

— Ну, у меня всегда бывают разные странные книги. Я пишу диссертацию по мысленным экспериментам. Вообще-то, думаю, скоро меня отсюда вытурят. Слишком далекая от литературы тема — даже несмотря на то, что я беру примеры из поэзии и все такое.

— Мысленные эксперименты! Круто.

— Да уж, тема увлекательная. А вы, кажется, занимаетесь эволюционной биологией?

— Да, я получила докторскую стипендию по молекулярной генетике, так что занимаюсь вроде как эволюцией с начала времен — ну, или, по крайней мере, с зарождения жизни, хоть это и звучит довольно безумно. В течение учебного года я преподаю у детишек — так мой прежний научный руководитель именует студентов, — но большую часть времени создаю всякие компьютерные модели. Кстати, хотите, покажу кое-что?

— Конечно, — ответила я. — Что?

— Смотрите. — Она дотронулась до мыши у себя на столе, и ее плоский монитор вернулся к жизни. Вдруг всю черную поверхность экрана заполнили цифры и буквы, которые все время менялись — как показатели изменения цен на фондовой бирже или как информационные символы в компьютерной матрице, — казалось, что при этом должно раздаваться тиканье.

— Он рассчитывает происхождение жизни, — сказала Хизер. И засмеялась — таким пронзительным смехом, что народу в комнате было явно недостаточно, чтобы его поглотить. — Звучит безумно, я понимаю. Извините.

— Вот это да! — проговорила я, глядя на экран.

— Ага... Правда, в обосновании диссертации все это выглядело далеко не так увлекательно, но на самом деле я почти ничего больше и не делаю. Практически занимаюсь только тем, что ищу ПУОП. Ну, или, если точнее, заглядываю за ПУОП, поскольку в него-то самого уже никто не верит.

Я все никак не могла оторвать глаз от экрана, но Хизер уже отвернулась. Она взяла со стола карандаш и вертела его в руках, присев на край стола, спиной к монитору. Цифры и буквы передо мной сменяли друг друга и повторялись — и казалось, наблюдать за этим можно целую вечность. Смотреть всю ночь, а потом закрыть глаза и увидеть, как тысячи букв и цифр продолжают безумно кружиться в темноте.

— Что такое ПУОП? — спросила я.
— Последний универсальный общий предок.
— Это...
— Тот, от кого мы все произошли.
— Ага, — сказала я. — Так эта программа — что она делает?

Хизер провела рукой по волосам.

— Хороший вопрос, — сказала она и неожиданно добавила: — Ой, здравствуйте!

— Здравствуйте, — ответил ей мужской голос.

Я обернулась. В дверях стоял парень с небольшой коробкой в руках. У него были черные волосы до плеч, и одет он был в мало сочетающиеся друг с другом слои черной, серой и грязновато-белой одежды. Из-под черной хлопковой куртки виднелась расстегнутая серая рубашка, из-под рубашки — тонкая черная фуфайка, а из-под фуфайки — футболка, видимо изначально белая. Несмотря на такое количество одежды, он выглядел худым и каким-то угловатым, с острым носом и выступающими, как у мертвеца, скулами. А щеки его украшала щетина — примерно трехдневная. Молодой, лет тридцати с небольшим, но темные карие глаза, казалось, смотрели на этот мир уже миллионы лет.

— Здравствуйте, — ответила я. — Вы, видимо...

— Я — Адам. Если правильно понимаю, это здесь мне можно будет какое-то время поработать?

Хизер немедленно взяла руководство в свои руки и стала метаться по кабинету, как мяч для сквоша.

— Привет, Адам. Я Хизер, а это Эриел. Вот ваш стол, а ваша доска для записок — вон там, и мне ужасно неудобно, но вы только взгляните, что я сделала с полками...

Чуть позже я краем слуха уловила все тот же пронзительный смех и еще какие-то слова. Не уверена, что Адам вообще ее слушал: мы продолжали пристально смотреть друг на друга. Не знаю почему, но у меня появилось непреодолимое желание пройти через всю комнату и слиться с ним в одно целое: не целоваться, не трахаться, а именно слиться. Смешно — ведь он для меня слишком молод. Я ждала, что он вот-вот отведет от меня этот свой взгляд — пронзительный и похожий на бесконечность, но он продолжал смотреть. Это что же, будет продолжаться вечно? Нет. Я вдруг вспомнила про Патрика и разные другие подробности своего омерзительного прошлого и расколола это мгновение надвое: отвернулась и уставилась в экран компьютера. Мне впервые бросилось в глаза, что по краям монитора скопилась пыль. Грязным казалось вообще все. Я снова посмотрела на Адама, но он уже занялся делом: убеждал Хизер в том, что полки ему не нужны.

— У меня ничего толком и нет, — говорил он. — Смотрите.

И показал ей свою коробку. Внутри лежало три синих карандаша, университетский дневник, красный блокнот и Библия.

— Да уж, вы путешествуете налегке, — сказала Хизер.

Адам пожал плечами.

— Так что оставляйте полки себе, — сказал он. — Я вполне обойдусь столом.

Он сел за стол и включил компьютер. Хизер не оставляла его в покое, и из его ответов я узнала, что на сегодняшний день самое увлекательное в работе Адама — это составление плана семинаров в магистратуре на будущий семестр. В любой другой ситуации подобный разговор показался бы мне невероятно скучным, но голос Адама оказывал на меня какое-то гипнотическое воздействие, и я просто не могла его не слушать. Определить по акценту, откуда он родом, у меня не получалось. Сначала я подумала, что это Южный Лондон с отголосками Новой Зеландии. Потом переместила его в Новую Зеландию с примесью Ирландии. А потом мне это надоело, и я снова подумала, что пора бы домой. Не хватало еще влюбиться в человека, расхаживающего с коробкой, в которой лежит Библия, особенно сейчас, когда у меня на ногах еще не высохла сперма Патрика. Ох, как же я цинична. Я поднялась и стала одеваться.

— Ну что ж, — сказала Хизер. — Думаю, это нужно отметить. — Она взглянула на

меня. — Эриел? Ой, вы уже уходите? А как вам наша идея?

— А? — переспросила я, укладывая книги по гомеопатии в сумку, чтобы отвезти их домой.

— Как насчет ужина? У меня, сегодня вечером? Я бы рассказала вам про ПУОП, а Адам — про то, как Бог сотворил Человека, и мы бы все здорово напились. Ну, то есть мы с вами, а Адам, думаю, не пьет. Что скажете, Адам?

— Я приду, только если мне позволят пить, — сказал он.

Я улыбнулась Хизер:

— Гм-м-м, да. Мысль и в самом деле неплохая.

— Отлично, — обрадовалась она. — В семь? Вот мой адрес.

Она накорябала что-то на листе бумаги и протянула его мне.

На этот раз, когда я пришла на парковку у здания Ньютона, никаких мужчин в касках там уже не было, а желтая лента была разорвана и обрывки развевались на ветру. За ней стояло, покосившись, разрушенное здание, а вокруг возвышались наполовину недостроенные леса. Кроме моей машины здесь больше не было ни одного автомобиля, и я радовалась, что наконец-то могу ее забрать. Садясь в машину, я всегда надеюсь, что в ней будет тепло, но там, как обычно, настоящий холодильник, к тому же немного сыро и пахнет сигаретным дымом. Ну, хотя бы завелась с первого раза.

Движение в сторону центра было напряженным, а когда я подъезжала к железнодорожному переезду, огни начали мигать и большие ворота медленно опустились. Вот черт. Теперь придется торчать здесь минут десять, не меньше. Передо мной стоял автобус, развернутый под странным углом и загородивший всю правую полосу, и те немногие машины, которым удалось миновать переезд прежде, чем его закрыли, с трудом продвигались вперед, чтобы его объехать. На моей стороне дороги была булочная — сразу за пабом, и я решила выйти и купить хлеба. Женщина в булочной улыбнулась мне так, будто бы все, кого я когда-либо знала, только что умерли. На обратном пути я поняла, почему автобус остановился так странно: на тротуаре у паба припарковался белый фургон. Поперек кузова шла надпись: «Развлечения высшего сорта». Через несколько секунд из паба вышел человек, толкая перед собой выдавший виды игровой автомат, из задней стенки которого торчали провода. Поставив его на тротуар, он открыл задние дверцы фургона. В этот момент я как раз проходила мимо и увидела внутри шесть или семь других стоящих в ряд автоматов — все со стертыми кнопками, на которых, очевидно, сохранились отпечатки пальцев тысяч и тысяч людей. В глубине кузова находился еще один человек — он протирал один из автоматов белой тряпочкой. Увидев, что его коллега возвращается с ношей, он бросил свое занятие и прыгнул на тротуар — помочь затащить автомат в кузов и привязать его ремнями. На мгновение мне почудилось, будто игральные машины — живые и эти люди на самом деле берут их в плен. Но тут ворота поднялись, автомобильный поток тронулся с места, и я быстренько прыгнула в машину. Без проблем добралась до заправки и налила в бак бензина на пять фунтов.

Я арендую парковочное место у китайского рестораника неподалеку от дома, и, к счастью, на этот раз никто по ошибке не припарковался на моем месте. Дома, пообедав супом, я забралась в ванну с двумя из своих гомеопатических книг — «Лекциями по гомеопатической Materia Medica» Кента и томом довольно странного вида под названием «Портреты гомеопатических препаратов». Ну вот, сначала почитаю про *Carbo Vegetabilis*, а потом пойду и куплю его себе. Пускай я грязная, пускай притворяюсь, будто со мной не происходит ничего странного, пускай мне невыносимо хочется снова увидеть лицо Адама и нужно снова браться за заброшенную диссертацию и очередную статью для журнала. Но вот в чем мое предназначение. Оно не имеет к реальной жизни никакого отношения. Реальная жизнь — это когда ты позволяешь мужчинам трахать тебя, уложив поперек своих рабочих столов (и, что самое ужасное, получаешь от этого удовольствие). Реальная жизнь — это когда то и дело кончаются деньги и вслед за ними еда. Реальная жизнь — это когда батареи

еле-еле греют. Реальная жизнь — это физическое. Так лучше уж дайте мне книги — дайте их невидимое содержимое, их мысли, идеи и образы. Позвольте мне стать частью книги — я все готова отдать за это. Быть проклятой «Наваждением» — это ведь, наверное, значит стать частью книги, интертекстуальным существом, книжным киборгом, или, скорее, библиоргом, — если учесть, что книги не имеют ничего общего с кибернетикой. В книге, в отличие от реальной жизни, вещи не обрастают грязью. Реальная жизнь... В конечном итоге это всего лишь пыль. Даже книги — и те становятся пылью, как те рассыпавшиеся в прах останки, которые находит в музее Путешественник во времени Герберта Уэллса. А мысли всегда чисты.

Прежде чем начать читать, я решила на секунду в порядке эксперимента представить себе: а что, если это и есть реальная жизнь? Что, если я действительно проклята и теперь умру, как Люмас и все, кто читал «Наваждение» в 1890-е годы? Но если я допускаю мысль о том, что все это может быть правдой, значит, инстинкт самосохранения должен был меня остановить, ведь так? А если все это неправда, то к чему беспокоиться? Я взяла первую книгу — «Лекции» Кента — и принялась читать о *Carbo Vegetabilis*.

Теперь мы приступаем к изучению древесного угля — *Carbo Vegetabilis*. Это сравнительно инертное вещество, но благодаря тщательному растиранию оно приобретает мощную лечебную силу, превращается в уникальное по своему воздействию лекарство. Будучи разведенным, оно становится подобным природе заболеваний и поэтому может лечить.

В старой школе это вещество применяется в весомых дозах лишь как средство против избыточной кислотности желудка. Силе же своей оно обязано Ганеману; это лекарство — памятник ученому. В чистом виде оно слишком инертно, и его истинные возможности могут быть выявлены только после потенцирования. Это лекарство относится к глубоко и долго действующим антисорическим средствам. Оно глубоко проникает в жизненную силу больного. При испытаниях лекарство вызывало симптомы, продолжавшиеся длительное время, поэтому оно лечит длительно развивающиеся состояния, медленно возникающие внутри организма.¹⁴

Дальше шел длинный список симптомов, которые можно излечивать с помощью этого препарата в гомеопатических дозах. Ничего особенно интересного я там не нашла — как не нашла и никакого намека на то, почему Люмас выбрал *Carbo* в качестве «особенного» составляющего своей микстуры. Я прочитала о вялости, апатии и кровавой рвоте. Потом пробежала глазами по странице и узнала, что люди, испытывающие нехватку *Carbo-veg*, всегда холодные и похожи на труп. Закрыв эту книгу, я взяла «Портреты гомеопатических препаратов». На внутренней части суперобложки было написано, что литературных героев можно «читать» или расшифровывать точно так же, как врачи расшифровывают пациентов с какой-нибудь болезнью. Мне стало сразу понятно, что имеется в виду: все эти незначительные симптомы, о которых я читала раньше, все эти указания на то, что человек чувствует себя хуже в 11 утра (*sulphur*) или в 4 часа пополудни (*lycopodium*). Раскрыв «Портреты», я прочитала:

Carbo-v известен как средство, воскрешающее из мертвых, и любой практикующий гомеопат объяснит вам почему. Когда кажется, будто пациент уже выпускает дух, именно это лекарство следует дать ему в самой высокой из возможных потенций. Обычно потенции 1М или 10М бывает достаточно для того, чтобы оживить пациента или хотя бы облегчить ему смерть.

¹⁴ Перевод А. В. Вахмистрова.

За введением следовала глава, перечисляющая различных известных литературных персонажей, которым, по мнению автора, требовалось это средство. Несколько страниц было посвящено Мине Мюррей и Джонатану Харкеру,¹⁵ а затем автор долго рассуждал об умирающем из рассказа Эдгара По «Месмерическое откровение». И конечно же, особое внимание уделил Элизабет Лавенца из «Франкенштейна». Соответствующий раздел заканчивался так:

Нет ничего удивительного в том, что именно уголь (*Carbo*) наделен этим мистическим свойством. Ведь что такое уголь, как не сама жизнь в сжатом виде? Он становится топливом для наших печей и машин, а те, в свою очередь, обеспечивают топливом нашу жизнь. В уголь возвращается в конце все живое (пепел к пеплу, прах к праху), и, пожалуй, он является самым загадочным из всех существующих веществ — и ассоциации с темой смерти тут неизбежны. Но в то же время уголь — это еще и жизнь. Он — начало жизни и ее конец. В гомеопатических потенциях он сохраняет не физическое содержание, но энергию — смысл. А смысл угля одновременно прост и сложен. Жизнь. Смерть. Граница всего.

Когда я выбралась из ванной, мокрая и чистая, но не слишком согревшаяся, в голове у меня тикало, как на мониторе компьютера Хизер. Средство, воскрешающее из мертвых. Вот это уже действительно интересно. И вся эта история про то, что уголь — это одновременно суть и жизни и смерти. Что-то интересное про уголь было в научно-популярной книжке Джим Лахири — надев халат, я пошла на кухню поставить вариться кофе и принялась рыться на полках в поисках этой книги. Наконец я ее нашла и сразу отыскала то место, которое мне вспомнилось. В горниле Большого взрыва первым элементом, зародившимся в горячем плазменном супе из электронов и протонов, стал водород. Вообще-то ничего удивительного в этом нет, ведь все, что нужно для образования водорода, — это один электрон и один протон. Масса изотопа водорода равна единице — потому что у него всего один протон, а электроны обычно вообще обходятся без массы. В условиях невероятно высокой температуры образуются также изотопы водорода с массой два (дейтерий, состоящий из одного протона и одного нейтрона) и три (третий). Затем следует гелий с массой четыре. Но не существует устойчивого ядра с массой пять. И поэтому никто никогда не понимал, как мог образоваться уголь. Каждый новый элемент образуется путем сплавления элементов, образовавшихся до этого, но, сколько ни смешивай водород и гелий в каком-нибудь космическом блендере, угля из них ни за что не получится.

И это — настоящая проблема, потому что, раз таким образом нельзя создать уголь, вся остальная периодическая таблица представляется невозможной. Поскольку масса угля — двенадцать, то, чтобы его образовать, нужно заставить столкнуться одновременно три атома гелия при очень высокой температуре. И долгое время казалось, что такого ни за что и никогда не могло случиться. Но потом специалист по космологии Фред Хойл представил свои рассуждения о том, что уголь все-таки, как ни крути, должен существовать, поскольку он, Хойл, сам из него состоит. И он разобрался в том, каким образом можно было перескочить через эту «расщелину с массой пять». В ответ на все это Георгий Гамов написал пародию на Книгу Бытия, в которой Бог создал все возможные химические массы, но так увлекся процессом, что забыл про массу пять.

Господь был страшно разочарован и хотел было начать создавать Вселенную заново, с чистого листа, но потом подумал, что это слишком простое решение. И тогда, будучи всемогущим, Господь решил исправить свою ошибку самым невозможным способом, какой только можно было придумать. И сказал Бог: «Да

¹⁵ Персонажи романа Брэма Стокера «Дракула» (1897).

будет Хойл». И стал Хойл. И увидел Бог Хойла... и велел ему создавать тяжелые элементы любым способом, каким ему будет угодно.

Ну что ж, так и есть: уголь — основа жизни и к тому же, как говорилось в гомеопатической книге, неизбежный ее исход. Поэтому, когда собираешься готовить загадочный эликсир, использование угля представляется вполне логичным — особенно если разбавить его так сильно, что его самого в этом эликсире не останется. Останется лишь воспоминание.

До магазина здорового питания я добралась около половины пятого. Патрик был прав: там действительно оказался гомеопатический отдел, но *Carbo Vegetabilis* — их не было. В «Бутс» и «Холланд и Барретт» его тоже не обнаружилось, и уверенности в успехе предприятия у меня поубавилось. В «Бутс» *Carbo Vegetabilis* не было совсем, а в «Холланд и Барретт» он был только в потенции 6С — то есть в 994 раза более концентрированный, чем нужно. Когда я вошла в магазинчик рядом с кинотеатром «Одеон», шел уже шестой час. Я никогда раньше сюда не заглядывала и даже не знала, чем тут торгуют. Когда проходишь мимо, магазина вообще не видно — кажется, что это просто дверь, и все, но если хорошенько приглядеться, в стене рядом с дверью замечаешь стеклянную витрину. В ней выставлено несколько баночек с чем-то вроде трав, томик «Дао Дэ Цзин» и колода карт таро. Название магазина — «Селена» (на греческом «луна») — вывешено на двери рядом с потускневшей табличкой, на которой витиеватыми буквами выведено: «Входите и ищите». Я очень надеялась, что здесь продаются гомеопатические лекарства — зайти сюда мне посоветовала фармацевт из «Холланд и Барретт».

Когда я открыла дверь, внутри что-то слабо звякнуло. За дверью в полумраке обнаружилась узкая деревянная лестница, и я стала подниматься по ней на второй этаж. Наверху была еще одна дверь, на этот раз — с матовыми стеклами, я толкнула ее и вошла. В крошечном помещении сидел за столом лысый худой человек и читал книгу. В воздухе крепко пахло сандалом — тут курили благовония, а сам магазин был прямоугольной формы, со столом слева от двери. Стол этот мог, пожалуй, раньше принадлежать какому-нибудь архитектору XIX века: массивный, широкий и с большим количеством ящичков — в пару дюймов высотой, но шириной фута по три. Кассы тут не было вовсе. На стене позади стола висел потрепанный плакат с непонятными словами, а рядом с ним имелась деревянная, пурпурного цвета дверь, скрытая занавеской из оранжевого бисера.

Мое появление не произвело на лысого человека никакого впечатления, но я все равно принялась ходить по магазину и рассматривать выставленный товар. В левом дальнем углу стояли шаткие деревянные полки, уставленные коричневыми пузырьками с гомеопатическими таблетками. Я нашла *Carbo-veg*, но на этот раз с потенцией 3 °С. Вздохнув, я пошла дальше, мимо пластмассовых лотков с кристаллами и бесконечных рядов огромных банок вроде тех, в каких продают леденцы, — только здесь в них хранились травы. Ниже тянулись ряды пыльных склянок и бутылочек — некоторые заткнутые настоящими пробками из коры пробкового дерева, другие — с обычными закручивающимися крышками. Я выбрала себе стеклянную бутылочку — пригодится, чтобы набрать святой воды. Больше никаких гомеопатических средств тут вроде не было. Я подошла к столу и стала ждать, пока мужчина обратит на меня внимание.

— Мне нужен один гомеопатический препарат, — сказала я наконец.

— Это вон там, в углу, — ответил он и снова углубился в книгу.

— Да, я знаю, но мне нужна более высокая потенция.

— А, — сказал он и посмотрел на часы. — Мы вообще-то уже закрываемся, так что...

— Так у вас нет препаратов в более высоких потенциях?

— Есть, — сказал он. — Но просто так мы ими не торгуем.

Я наморщила лоб:

— Мне что, нужен рецепт?

Он помотал головой:

— Нет, вам придется заплатить за консультацию. — Он вздохнул. — Что вы хотели купить?

— *Carbo Vegetabilis*, — ответила я и почувствовала, что краснею: чудно было произносить вслух такие странные слова.

— Что-что? — переспросил он.

— *Carbo Vegetabilis*. Средство, воскрешающее из мертвых. Ну, кажется, так его все называют. В одном месте я его уже нашла, но не в той потенции, что мне нужна.

— Воскрешающее из мертвых? Откуда вы это взяли?

— Э-э-э... Из книги.

Было не так-то просто делать вид, будто я знаю, о чем говорю.

— У нас оно есть во всех потенциях, вплоть до 10M.

— Мне нужна потенция 1M — тысячная, правильно?

Он снова нахмурил брови:

— Вы знаете, что высокие потенции могут быть опасны? Если вы не представляете, что делаете?

Я не стала произносить вслух слова, которые вертелись на языке: «Но это ведь всего лишь вода!»

И вместо этого сказала:

— Да, знаю. Все будет хорошо.

— Ладно, — сказал он. — Но мне придется все-таки дать вам что-то вроде консультации. От чего собираетесь лечиться?

Пока я говорила что-то про головную боль, он сначала зевнул, потом дал мне еще немного поговорить, а потом, по-прежнему меня не перебивая, открыл один из больших ящиков стола и достал оттуда коричневый пузырек.

— Понятно, понятно. Хорошо. Прописываю вам *Carbo-v*, — сказал он. — С вас восемь фунтов. Это плата за консультацию. Лекарство — бесплатно.

— Спасибо, — сказала я, хватаясь за пузырек.

Я заплатила за «консультацию» и стеклянную бутылочку, которую выбрала раньше, и вышла.

Глава одиннадцатая

Удивительно, но, когда я снова оказалась на морозной улице, было уже шесть. Свет фар слабо пробивался сквозь туман, и люди шли в теплых шапках и перчатках, с портфелями или пластиковыми сумками, раздувшимися от покупок, или и с тем и другим одновременно. Я решила пока пойти домой, а за святой водой заскочить по дороге к Хизер — я как раз буду проходить мимо собора.

Велосипед Вольфганга был на месте. Руки у меня совершенно окоченели, хотя я всю обратную дорогу держала их в карманах, в одной сжимая стеклянную бутылочку, в другой — *Carbo Vegetabilis*. Первое, что я сделала, войдя в дом, — это спрятала лекарство в старую банку из-под сахара в дальнем углу одного из шкафчиков — толком даже и не знаю зачем. Потом я выложила пустую бутылочку на стол и пустила на руки теплую воду, стараясь смыть с них холод. Поставила на плиту кофе и отправилась в ванную. Попыталась было расчесать волосы, но они слишком запутались, поэтому я просто собрала их в хвост. Потом посмотрелась в зеркало и в который раз попыталась определить, до какой степени я проклята. Здравый смысл подсказывал мне, что проклятий не бывает. И тогда я подумала о том, что ведь вечером собираюсь приготовить раствор Люмаса и выпить его. Мое отражение в зеркале никак не отреагировало на эту мысль — ну разве что в глазах вспыхнуло легкое разочарование. А если снадобье не подействует никак — что тогда? Обратно к реальной жизни и реальной работе, а теперь к тому же еще и без собственного кабинета. Я немного припудрила свое и без того бледное лицо и слегка подкрасила губы бледно-розовой помадой.

Потом сняла джинсы и трусы и вымылась фланелевой мочалкой. Надела новые трусы и те же самые джинсы.

Выпив кофе, я вышла в коридор и постучалась к Вольфгангу. Он открыл почти сразу и пригласил меня на кухню. Ни у него, ни у меня кухня толком не оборудована — всего лишь несколько полок и шкафов с дверцами. Полки Вольфганга доверху забиты орехами, семечками и цукатами в прозрачных пакетиках. В шкафах у него один сплошной алкоголь — собственно, именно за этим я и пришла. Войдя в кухню, я обратила внимание на непривычный запах чистоты. Обычно здесь стоял только стол с пластиковым покрытием и один стул, и если я приходила к Вольфгангу есть, то стул приносила с собой. Сегодня, однако, тут стояло не только два стула, но и горшочек с цветами — в центре стола.

— Как тебе кажется, в такой комнате хочется побыть подольше?

— Безусловно, — ответила я. — Тем более что здесь целых два стула. Ждешь Кэтрин?

— Кэтрин? Нет. С Кэтрин покончено. Жду кое-кого получше.

— Как быстро у тебя все меняется на личном фронте, — восхитилась я.

— Ха! Ага, быстро и неожиданно!

— Ну что ж, в таком случае не буду тебя долго...

— Ты ведь не ужинать у меня собиралась? Потому что ты ведь знаешь, в любой другой вечер...

— Да нет, не волнуйся. К сожалению, я уже знаю, где буду сегодня ужинать. Собираюсь провести вечер с людьми, которые захватили мой кабинет. — Я покачала головой. — Ума не приложу, зачем я вообще туда иду.

— А, понятно. Но раз ты пришла не за моим ужином для гурманов, значит, за чем-то другим?

— М-м-м... Да. Хотела спросить, у тебя не осталось того твоего левого вина?

Перед самым Рождеством Вольфганг купил у какого-то неизвестного лица или лиц бутылок тридцать красного болгарского вина и продавал мне его по фунту за бутылку. За последние пару недель я не купила у него ни бутылки, но к Хизер хорошо бы было прийти с вином, а платить за него пятерку в супермаркете, когда у меня осталось не больше десяти фунтов, не хотелось.

Он возмущенно помотал головой:

— Левого? Как тебе не стыдно называть мое вино левым!

Я засмеялась:

— Ладно-ладно. Твоего абсолютно легального вина.

Он скосил глаза в сторону одного из шкафчиков:

— Пара бутылок еще есть.

— Я возьму одну?

— Конечно.

Он достал из шкафа бутылку. Этикетка была на болгарском, и из-за этого вино выглядело очень аутентично и даже, не побоюсь этого слова, дорого.

— Как ты там вообще поживаешь? — спросил Вольфганг, протягивая бутылку.

— Ага, — ответила я и дала ему за это монету в один фунт. — Странно поживаю. Кстати, я тебе говорила? Я дочитала книгу.

— Проклятую?

— Да.

— И как, был в ней рецепт? Уже все ингредиенты нашла?

Я не стала спрашивать, какого черта Вольфганг решил, что, стоит мне узнать, из чего состояло снадобье, я немедленно начну разыскивать ингредиенты.

— Нет, — соврала я. — К сожалению, рецепта не было.

— И что же случилось с мистером Y?

— Почти все, чего он опасался. Хорошо только одно: он все-таки приготовил микстуру и принял ее — и она действительно перенесла его обратно в Тропосферу. Но дальше начался сплошной мрак. Сначала он вошел в сознание своей жены и обнаружил, какой несчастной он

ее сделал. Потом побывал в сознании своего конкурента и понял, что никогда не сможет его одолеть. Перед тем как стало очевидно, что им с женой придется отправиться в рабочий дом, он обнаружил кое-какие подробности устройства Тропосферы. Оказалось, что из сознания одного человека можно перескакивать в сознание другого — как мистер У и предполагал. И таким образом можно путешествовать в воспоминаниях... Получается настоящий серфинг, хотя мистер У дал ему свое название — «педезис».

— В воспоминаниях?.. Это ведь почти как путешествия во времени?

— Думаю, подтекст тут именно такой.

Я запомнила предпоследний абзац книги.

Я не обрел счастья — как не обрел и богатства — в сумерках тропосферы. И все же, находясь в ее пределах, я чувствовал нечто похожее на то, что, возможно, чувствует птица, скользящая по воздуху: перемещаясь по этому новому миру, я знал, что свободен. И пускай в телесном мире я был раздавлен, в мире сознаний я летал — возможно, не как птица, но как человек, который стремительно переносится через бурную реку по торчащим из воды камням, и каждый следующий камень становится трамплином для прыжка на многие другие. Я немало преуспел в методе перепрыгивания во все новые и новые сознания и перемещался по ним легкими и быстрыми шагами — с легкостью серфера, поймавшего волну. И решил назвать это движение «педезис» — от греческого *πήδησις*. Эта река с ее камнями, подобно пейзажу с рассыпанными гут и там домами, стремилась вперед — да, — но и назад она стремилась тоже. И поэтому однажды я решил совершить педезис-скачок в туман самого времени. На этом я заканчиваю свой рассказ, ибо сегодня в полночь планирую отправиться в путешествие в самое сердце тропосферы. Не думаю, что когда-нибудь вернусь, чтобы закончить свой рассказ, — уж слишком далеко я буду от того места, в котором он начинался.

— Так что же с ним в итоге произошло? — спросил Вольфганг. — О какой смерти идет речь?

— Ну, он исчез в тропосфере.

— В смысле? Его тело исчезло?

— Нет, — помотала я головой. — Его тело потом нашли.

Вольфганг уставился на меня с изумлением:

— Он что, по-настоящему умер?

— Да, — ответила я. — В конце книги есть послесловие редактора, в котором рассказывается, как его холодное мертвое тело нашли на полу у него в подвале. Он заперся и отправился в свое самое последнее путешествие. Жена думала, что он пропал, а потом обнаружила, что дверь в погреб заперта, и вызвала полицию. Он умер от физического истощения.

— И автор книги — он ведь тоже умер, да?

— Да.

— Ну тогда можно только радоваться, что ты не нашла ингредиенты.

— Угу.

В темноте ворота собора похожи на широко раскрытый рот — возглас удивления посреди улицы, уставленной старыми покосившимися зданиями-зубами, которые за долгие годы столько раз чинили и латали пломбами. В тот вечер рот был закрыт. Большие деревянные ворота преграждали путь, и табличка на них гласила, что вход для посетителей откроется утром, в 8.30.

Значит, сегодня никакой святой воды. И никакого педезиса.

Но ведь ясно, что все это неправда — и я, наверное, просто тяну время, откладывая момент, когда это станет совершенно очевидно. Я же могла прийти в собор пораньше. Значит, впереди — еще один вечер реальной жизни, но такой реальной жизни, в которой

таится обещание чего-то другого, обещание вымысла. Еще одна ночь в ожидании вымысла — это не так уж и плохо, но вообще-то теперь, увидев перед собой закрытые ворота, я пожалела, что не добыла святой воды, ведь было бы так приятно знать, что впереди меня поджидает опасность.

Я двинулась дальше по мерцающему, подернутому морозом тротуару и, заглядывая в свою новую карту, стала искать улицу Хизер. Оказалось, что она живет совсем рядом с собором — в первом же переулке: черная дверь в ряду одинаковых домиков из желтого кирпича. Я стукнула два раза серебряным молоточком и чуть подалась назад — ждать, пока откроют.

— Эриел, привет! — воскликнула Хизер. — Спасибо, что пришла. Это что — вино? Отлично, мне после такого дня надо выпить побольше! Как у тебя дела? Ой, прости, пожалуйста. Стою тут на пороге и зубы тебе заговариваю, проходи скорее!

Сразу за входной дверью начиналась гостиная. Молодые преподаватели часто живут в именно таких домах, пока не обзаведутся семьей и детьми: деревянные полы, коврики, море книжных полок, репродукции Пикассо в рамках, покрывала с осенним мотивом на диване и креслах, кофейный столик с такими книгами, которые принято держать на кофейных столиках, и несколько ламп. Наверное, так бы выглядело и мое жилище, если бы в нем было отопление и не было мышей и если бы я не поленилась обжить и остальные комнаты тоже, а не только одну. Запах чеснока из кухни смешивался с ароматом благовоний — кажется, мяты и лаванды. В доме было тепло, в маленьком проигрывателе играл джаз. И никаких признаков Адама.

— Белое или красное? — спросила Хизер. — Ой, да ты располагайся, чувствуй себя как дома. Брось куда-нибудь пальто — у меня тут вечно все вверх дном!

Интересно, почему люди все время говорят, что у них дома беспорядок, даже когда никакого беспорядка нет?

— Пожалуй, красное. А у тебя уютно. И вон та картина мне очень нравится.

— Ой, да, она классная! — бросила Хизер, направляясь в кухню налить мне вина. Вернувшись, она протянула мне огромный бокал на серебристо-розовой ножке. — Обожаю Пикассо.

— Особенно эта крутая, — сказала я, не отрывая глаз от картины. — Мне нравится все, что связано с четырьмя измерениями. Я на этом буквально помешана.

— С четырьмя измерениями? — спросила Хизер и застонала. — Пожалуйста, объясни, о чем это ты. Я ничего не смыслю в искусстве, просто думаю: «Как красиво нарисовано» — и вешаю картину на стену. Вот что значит быть биологом. Все время приходится обращаться к гуманитариям, чтобы те объяснили тебе, что такое реальная жизнь.

Я засмеялась и, успокоив Хизер тем, что мои познания в искусстве ограничиваются некоторым знакомством с творчеством кубистов и футуристов, рассказала ей о том, что считается, будто голова женщины на этой картине движется сквозь время или, по другой версии, за нею наблюдает четырехмерное существо.

— Ух ты! Вот это класс. А мне больше всего нравится «Крик». Но я подумала, что будет как-то слишком уж по-студенчески вешать его на стену, поэтому решила выбрать что-нибудь позаковыристее. Но вообще-то «Крик» мне очень нравится. Большую часть времени я чувствую себя именно так.

— Почему?

— Ну... — В дверь постучали. — Надеюсь, это Адам, а не какой-нибудь серийный убийца. — Она засмеялась. — Иду-иду!

По совершенно непонятной мне причине у меня вдруг начали трястись руки. Я поставила бокал на столик, но тут же снова его подняла. В комнату ворвался поток холодного воздуха: Хизер открыла дверь и поприветствовала Адама. Он выглядел точно так же, как и днем, только теперь волосы у него были какие-то всклокоченные.

— Привет, — сказал он мне, снимая пальто.

— Привет, — ответила я.

Хизер велела ему бросить пальто куда угодно и повторила свое извинение о беспорядке, после чего удалилась в кухню налить ему белого вина. Мы молча и не двигаясь с места уставились друг на друга.

— Итак, — сказала она, вернувшись. — Я готовлю макароны с жареными овощами. Ничего особенного... Надеюсь, ты не против, Адам?

— Да, спасибо, — ответил он, забирая у Хизер бокал и не сводя с меня глаз. Я тоже смотрела на него, но на этот раз первым отвел взгляд он — и сфокусировал его на Хизер. — Звучит прекрасно.

Адам устроился в углу большого дивана на другом конце комнаты. Не глядя ни на кого из нас, он наклонился вперед и принялся рассматривать книги на кофейном столике. Рассмотрев все, он выбрал большой том в твердой обложке под названием «Странные рыбы» и принялся его листать. Несколько секунд никто из нас не произносил ни слова. Проигрыватель Хизер, наверное, работал в режиме случайного выбора треков: когда джазовая композиция закончилась, ее сменила печальная акустическая гитара и какой-то парень запел о том, как ему одиноко в час рассвета.

— Поставлю-ка я макароны, — спохватилась Хизер.

— Ну, — сказал Адам, когда она ушла. — Как жизнь?

— Вроде в порядке. А у тебя? Нормально устроился на новом месте?

— Да, все хорошо. Спасибо, что поделилась с нами кабинетом.

— Не за что. К тому же, я уже говорила Хизер, нельзя сказать, чтобы у меня был выбор.

— А, ясно. Так нас, значит, тебе навязали?

— Ага. Но я совершенно не возражаю. Правда.

Пустые разговоры, разговоры ни о чем. И вот он уже снова листает книгу, лежащую у него на коленях.

Хизер вернулась из кухни.

— Ну что, как поживает религиозный мир? — спросила она Адама. — Каково это — жить с Богом?

— Откуда же мне знать? — откликнулся он.

— Разве ты не верующий? — удивилась она. — Я думала...

Адам улыбнулся.

— Я отвечу коротко: нет.

— Да ладно! — засмеялась Хизер. — А если не коротко? Ой! — На кухне что-то брякнуло, и Хизер бросилась выяснять, в чем дело. — Извините, я сейчас! Думаю, это макароны.

Адам посмотрел на меня так, будто мы собрались на пару грабить банк. И в то же время так, как будто бы делать это ему очень не хочется.

— Спасены, — сказал он.

Я улыбнулась.

— Вообще-то жаль, — сказала я. — Я бы тоже хотела услышать длинную версию ответа.

— Ох. — Он вздохнул и провел рукой по волосам.

— Эй, да ладно, не важно, — успокоила я его. — Это я так, в шутку. Не хочешь отвечать — не надо.

— Честно говоря, я бы лучше поразглядывал рыб.

— Думаю, я понимаю, о чем ты, — снова улыбнулась я.

— Они очень странные, эти рыбы. Ты их видела?

— Нет.

— Иди посмотри.

Усевшись рядом с ним на диван, я вспомнила, как сидела вот так с другими мужчинами, и цепочки лжи всегда приводили нас сначала в один и тот же дом, потом на один и тот же диван, а потом — на одну и ту же кровать. Я устала. Я замерзла. Иди-ка сюда, я тебе кое-что покажу. А кончалось все всегда одинаково — сексом. Я сидела теперь всего в

нескольких дюймах от него, но на кухне была Хизер. Я натянула рукава свитера пониже — скрыть запястья.

— Смотри, — показал он.

В книге была напечатанная на всю страницу фотография прозрачной рыбы. Она была похожа на использованный презерватив с красными зубами.

— Фу! — сказала я. Но вообще-то она мне понравилась. — Она как-нибудь называется?

— Не думаю, — ответил он. — А на эту посмотри.

Он перевернул страницу и показал мне. Гам вроде бы была изображена рыба, но вместо нормального рыбьего «лица» с выпученными глазами и маленьким ртом к этой штуковине была приделана, кажется, голова каменной обезьяны, как будто бы кто-то просто слепил вместе рыбье тело и обезьянью голову — так, шутки ради, а может, по невнимательности.

— Как бы ты ее назвал? — спросила я.

— Не знаю. Обезьянорыба? Рыба-псевдообезьяна?

Он перевернул страницу и показал мне следующую картинку. На ней было что-то вроде червяка, из которого вылезала вполне себе настоящая вульва. Мне захотелось засмеяться, но я удержалась.

— Рыба-орхидея, — сказал он. И в этот момент нас пригласили к столу.

— Прошу тебя, скажи, что ты не одобряешь преподавание креационизма в школе, — обратилась Хизер к Адаму спустя минут пять после того, как мы сели за стол. — Или как его теперь называют — теорию разумного начала.

Мы ели, как и было обещано, макароны с жареными овощами и салат из огромной миски. Прежде чем перейти к этой новой теме разговора, Хизер говорила о том, как непросто найти в университете приличных мужчин. Макароны у Хизер получились почти такие же невероятно прыгучие, как и она сама, — белые спиральки так и норовили соскочить с вилки, стоило тебе потерять бдительность. Овощи — помидоры черри, грибы, кабачки и лук — были политы оливковым маслом и лимонным соком и от этого получились вязкими и какими-то даже карамельными. Еще Хизер поджарила чесночных гренков, и я изо всех сил налегала на еду. Вообще, до этого момента еда интересовала меня намного больше, чем разговор. Я терпеть не могу застольные беседы, но на этот раз даже мне показалось, что тема затронута интересная.

— В каком смысле? — спросил Адам.

— Его включили в курс естественных наук, — ответила Хизер.

— Разве креационизм и теория разумного начала — это не разные вещи? — уточнила я.

— В общем, нет, — сказала Хизер. — Теория разумного начала претендует на большую научность, но на самом деле имеет дело с явлениями, которые невозможно постичь.

— Теория разумного начала — это что-то о том, что эволюция слишком сложна, чтобы случиться самостоятельно, да?

— Ага, — сказала Хизер. — Придумали какую-то ерунду. Просто потому что сами не понимают, что такое эволюция...

— Я бы не стал преподавать религию в рамках курса естественных наук, — сказал Адам. — Но наш курс религиоведения действительно включает в себя некоторые научные моменты.

— Например? — спросила Хизер.

— Например, когда мы изучаем мифы о сотворении мира, среди прочих мы рассматриваем и теорию Большого взрыва.

— Интересно, с каких это пор Большой взрыв — миф? — возмутилась Хизер.

— Ну, это еще одна история, — объяснил Адам. — Как, например, история о том, что мир произошел из гигантского яйца, или о том, что Бог сказал: «Да будет свет» — и откуда ни возьмись взялся свет. Все это — не больше чем легенды о сотворении мира, ведь никто из нас не присутствовал при этом событии и не может представить достоверных фактов, так что

вывод напрашивается сам собой: знать, как было дело в действительности, нам не дано.

— Но ведь мы все до сих пор — часть Большого взрыва, — продолжала настаивать Хизер. — Мы постоянно наблюдаем его последствия. Даже в эту самую минуту мы находимся «в нем». И к тому же научное знание совсем необязательно должно подтверждаться опытом. Ведь, например, динозавров тоже никто не видел. Кстати, подливайте себе вина и вообще — угощайтесь!

— Не хотелось бы устраивать спор, — улыбнулся Адам, — но я могу согласиться с теорией Большого взрыва не больше, чем с людьми, которые считают, что мир покоится на гигантских черепахах.

— Нельзя не соглашаться с теорией Большого взрыва! — воскликнула Хизер.

— Почему?

— Ну, потому что это не просто точка зрения, а общепринятая теория, подтвержденная множеством доказательств. Это не что-нибудь такое, с чем можно соглашаться или не соглашаться по собственной прихоти. Ты, конечно, можешь попытаться доказать ее ошибочность, но это будет уже совсем другое дело.

— Значит, можно сформировать собственное мнение о креационизме или, скажем, о том, есть ли Бог, но нельзя подвергать сомнению историю о том, что вселенная началась оттого, что одна малюсенькая крошка по никому не известной причине вдруг взяла да взорвалась?

— Ну хорошо, я согласна с тем, что начало притянута за волосы, — сказала Хизер.

— А еще всегда остается вопрос о том, что же было до начала, — снова включилась я в разговор.

— Да-да, — сказала Хизер. — Но все это можно отложить в сторону и взглянуть на доказательства Большого взрыва. Как только вы поймете, что все во вселенной движется и что каждый осколок отдаляется от остальных, вы поймете и то, что, ну... что вчера все эти осколки были ближе друг к другу, а за день до того — еще ближе. Если перемотать пленку на самое начало, логически получится, что когда-то все эти осколки были слеплены вместе. И поэтому... Адам, с этим-то ты согласишься?

— А что, надо согласиться? Кстати, ты не положишь мне еще немного овощей?

— Только если ты со мной согласишься, — засмеялась Хизер.

— А, ну если дело обстоит так... — Адам поднял руки и изобразил, будто отбивается от какой-то здоровенной штуковины, которая вот-вот в него врежется.

— Да ладно, я шучу. Вот... — Хизер подвинула к Адаму блюдо с овощами. — Но я по-прежнему не могу понять, как можно не соглашаться с научным фактом.

— «Факт» — это всего лишь слово. Наука сама — не более чем коллекция слов. У меня есть подозрение, что истина находится за пределами языка и того, что мы называем «реальностью». Наверняка именно так оно и есть — если, конечно, истина вообще существует.

— Можно поподробнее? — Хизер нахмурилась.

— Ага. — Я кивнула и подняла одну бровь. — Сейчас он тебе объяснит!

— Все это лишь иллюзия, — сказал Адам. — Мифы о сотворении мира, религия, наука. Мы сами придумываем, как работает время, и поэтому можем, например, представить себе, как отматываем назад свою запись вселенной, и не сомневаться в том, что там, на этой пленке, запечатлено в отрезке времени, который мы называем «вчера». Но ведь и вчера тоже существует лишь потому, что мы его придумали: оно не реально. Невозможно доказать, что вчера вообще было. Все, в чем мы сами себя пытаемся убедить, не более чем вымысел, легенда.

— Ну конечно, — огорчилась Хизер. — Тут тебе не возразишь, но это-то как раз и подозрительно. И к тому же, если реальность — всего-навсего иллюзия, зачем мы тогда так суедемся?

— Это ты о чем?

— Ну, зачем пытаемся во всем разобраться. Пытаемся отыскать истину.

— Можно поискать истину и за пределами реальности, — сказал Адам.

— Интересно, каким образом?

Адам пожал плечами:

— Полагаю, что с помощью медитаций. Или сильно напившись.

Я хотела было вернуть что-нибудь глубокомысленное из Деррида, но Хизер уже и без того выглядела огорченной, и я решила промолчать.

— Но ведь медитации — это не наука, — сказала она.

— О том и речь! — ответил Адам.

— Ой, только не начинай! — воскликнула Хизер взволнованно. — Терпеть не могу все эти ваши суеверия... Извини, но для того, чтобы заниматься наукой, достаточно слов и логики. У меня есть один вечерний курс для взрослых, и я всегда привожу им в пример паутину на стене за нашей аудиторией. Там у нас такой длинный коридор и вдоль стен висят оранжевые лампы. Лампы всегда горят. По вечерам видно, что куски паутины с запутавшимися в ней долгоножками и прочими ночными насекомыми натянуты прямо над лампами. Кто-то посмотрит и скажет: «Ну и умный же народ эти пауки! Знают, что надо плести паутины над лампами — чтобы насекомые слетались на свет и попадались в сети!» А другой сделает несколько шагов и поймет, что на самом-то деле паутина повсюду, просто видны только те ее части, которые освещены лампами. Поэт мог бы остановиться в этом коридоре и воспеть хитрый ум пауков. А ученый записал бы в блокнот точное число сплетенных сетей и пришел к выводу, что некоторые из них находятся над лампами всего лишь в результате случайного совпадения.

— Ну, так я ведь как раз об этом и говорю! — воскликнул Адам. — Я бы не стал утверждать, что пауки собирались использовать свет для заманивания насекомых. Я бы подумал, что никогда не смогу понять поведения пауков просто потому, что я не паук.

— Но ученые обязаны пытаться во всем разобраться. Должны все время задавать вопрос «почему?».

— Да, но толкового ответа на него они никогда не получают.

— Кстати, — сказала я как-то неожиданно громко. — Э-э... Кстати, к вопросу о науке и языке: я тут недавно прочитала одну вещь про Большой взрыв... Немного запутанную, но, в общем, речь о том, что если начать с некоторых базисных допущений о Большом взрыве, то путем логических рассуждений неизбежно приходишь к выводу, что мы живем либо в мультивселенной, либо во вселенной, сотворенной Богом. Третьего, получается, и не дано.

— Ох, у меня к концу ужина мозг лопнет! — застонала Хизер.

— А ты пей больше, — улыбнулся ей Адам.

Я наконец доела последний чесночный гренок, и Хизер с Адамом тоже положили на стол свои ножи и вилки. Потянувшись за сумкой, я достала из нее пачку сигарет.

— А разве, когда медитируешь и все такое, можно пить? — спросила Хизер.

— Ну, я это не так часто делаю.

Я не поняла, что он имел в виду — что не так часто медитирует или не так часто пьет, и подумала, что Хизер сейчас наверняка уточнит, но нет, не уточнила. Вместо этого она подняла со стола упавший листик салата и положила его обратно в миску.

— Ничего, если я закурю? — спросила я у нее.

— Кури, конечно. Я только открою заднюю дверь, если вы не против.

Она пошла открыть дверь, а мы с Адамом стали предпринимать вялые попытки убрать со стола, но тут Хизер вернулась и велела нам не суетиться и оставить все как есть.

— Ты мне лучше расскажи, что там за история с Богом и мультивселенной.

— Ну, — начала я, раскуривая сигарету. — Слушай, извини, у тебя нет чего-нибудь типа пепельницы? Я могу выйти покурить на улицу, если скажешь...

— Да брось, сейчас принесу блюдце!

— Бог или мультивселенная, — тихо повторил Адам, пока Хизер ходила за блюдцем. — Хм-м...

— Вы ведь знакомы с основами квантовой физики? — спросила я. — Я не про всякие

там заморочки, а про самые простые вещи — те, о которых пишут в научно-популярных книжках. Ну, там, волновая функция, вероятность и все такое.

Адам помотал головой. Хизер склонила голову набок, как будто хотела, чтобы информация скатывалась по холмам ее разума и останавливалась в некой точке, откуда потом она сможет легко ее извлечь.

— Я должна это знать, — сказала она. — Кажется, когда-то знала. Но когда все время исследуешь только молекулярный уровень, простые вещи начинаешь забывать.

— Боюсь, я в этом вопросе — полная темнота, — сказал Адам.

— В общем, если коротко — только имейте в виду, я пишу диссертацию по филологии, так что вряд ли могу служить авторитетным источником, — квантовая физика имеет дело с элементарными частицами, то есть с частицами, которые меньше, чем атом.

Тут Адам нахмурил брови:

— Может, я чокнутый, но у меня такое странное чувство, будто однажды я видел одну такую частицу... Наверное, просто выпил лишнего. Думаю, когда-то я все это проходил, но потом забыл. И все-таки, несмотря ни на что, мой мозг умоляет, чтобы я спросил у тебя: что же, мать его, может быть меньше атома?

— Ой, ну как же, — откликнулась Хизер. — Все знают, что атом состоит из нейтронов, протонов и электронов.

— А они, в свою очередь, состоят из кварков, — подхватила я. — Только электрон ни из чего не состоит, он неделим — ну, по крайней мере, так принято считать. Сто лет назад и атом считали неделимым, а еще раньше и вовсе не знали о его существовании, так что неизвестно, сколько всего нам еще предстоит узнать.

Из открытой задней двери потянуло холодом, Хизер встала, взяла со спинки стула кофту и надела ее.

— Думаю, что насчет электрона не может быть никаких сомнений, — сказала она. — Бррр, холодно.

Мы с Адамом посмотрели друг на друга.

— Ну так вот, — продолжила я. — Квантовая физика занимается вот этими крошечными частицами вещества. Но когда физики впервые начали теоретизировать на тему этих частиц и наблюдать за ними с помощью ускорителя и прочей аппаратуры для экспериментов, они обнаружили, что элементарные частицы ведут себя совсем не так, как ожидалось.

— В смысле? — спросил Адам.

— Ну, оказалось, что все наши основополагающие принципы — прошлое, которое всегда предшествует будущему, причина и следствие, физика Ньютона и поэтика Аристотеля — ничто из этого не на уровне элементарных частиц не работает. В детерминированной вселенной, в которой, как полагал Ньютон, мы живем, всегда можно предсказать, что произойдет в следующий момент, если у тебя есть достаточное количество информации о том, что произошло раньше. И всегда во всем можно быть уверенным. На дворе либо день, либо ночь — и никогда то и другое одновременно. А вот на квантовом уровне все не так.

— Нет, у меня сейчас от этого всего просто голову снесет, — сказала Хизер.

— Ну да, все это, конечно, очень странно, — согласилась я. — Ведь бывают даже частицы, которые запросто проходят сквозь стены. А есть такие пары частиц, которые вроде как связаны друг с другом и остаются каким-то образом связанными, даже когда их разделяют миллионы миль. Эйнштейн называл это «призрачным действием на расстоянии» и полностью его отрицал — ведь получалось, что информация вроде как может перемещаться со скоростью большей, чем скорость света.

— А скорость света превысить нельзя, — сказала Хизер. — В этом я полностью поддерживаю Эйнштейна.

— Но, пожалуй, самое удивительное в мире элементарных частиц — это то, что всякие интересные вещи происходят с ними только тогда, когда ты за ними наблюдаешь. А пока на них никто не смотрит, они пребывают в подвешенном состоянии и могут занимать в атоме

какое угодно положение — это называется суперпозиция или волновая функция.

Адам замотал головой:

— Боюсь, я перестал что-либо понимать.

— Ну смотри, — сказала я. — Представь себе, что ты вышел прогуляться, а я не знаю, где ты. Ты можешь быть в университете, или в парке, или в магазине, или в космическом корабле, или на Плутоне — да где угодно. Все это — допустимые возможности, хотя некоторые из них более вероятны, чем другие.

— Допустим, — сказал Адам.

— Так вот. Традиционная логика подсказывает нам, что ты определенно находишься в каком-то из мест — независимо от того, видела ли я тебя там или знаю наверняка, что ты там. Ты — где-то, я просто не знаю где.

Адам задумчиво кивал, а я на секунду представила себе жизнь настолько нормальную, что в ней я могла бы быть с кем-то вроде него и мы, возможно, жили бы в доме вроде этого, и, может быть, у меня бы возникла такая обыденная, но в то же время совершенно потрясающая мысль: где он сейчас — в магазине или на работе?

— Ну, — произнесла я вслух, — понятно, что ты в этом примере играешь роль частицы... Так вот. Квантовая физика утверждает, что, пока твое местоположение неизвестно (ведь ты можешь быть как в магазине, так и в парке), ты существуешь во всех местах одновременно — до тех пор, пока кто-нибудь не увидит тебя и не сможет сказать наверняка, где ты. На месте ясной «реальности» обнаруживается полный кавардак. Ты и в магазине, и в парке, и в университете — и только когда я отправляюсь тебя искать и вижу, что ты в парке, все остальные возможности растворяются, и воцаряется реальность.

— Так получается, что наблюдением мы можем изменять реальность? — спросил Адам.

— Да... ну, в определенном смысле. Фишка в том, что до поры до времени все возможности существуют лишь в виде так называемой волновой функции, и эта волновая функция разрушается, как только на нее посмотрит сторонний наблюдатель. Это называется Копенгагенской интерпретацией.

— А что, есть и другие?

— Да. Есть многомировая интерпретация. Если в двух словах, то, в отличие от Копенгагенской, согласно которой появление наблюдателя уничтожает все возможности и оставляет лишь одну несомненную реальность, многомировая интерпретация предполагает существование одновременно всех возможностей, каждая из которых пребывает в своей собственной вселенной. То есть, согласно этой интерпретации, существует множество миров, и все они лишь совсем чуть-чуть отличаются друг от друга. И вот в одном таком мире ты в парке, в другом — на работе, а в третьем — на луне, в зоопарке или где угодно еще.

— И есть только два варианта, да? — спрашивает Хизер — В смысле, люди выбирают себе интерпретацию и придерживаются либо одной, либо другой?

— Ну, в общем, да. Правда, думаю, большинство все-таки отдает предпочтение Копенгагенской.

— И какое же отношение все это имеет к Большому взрыву?

— Ну... Если представить себе первичную частицу — ту, которая рванула четырнадцать миллиардов лет назад... Она ведь наверняка была точь-в-точь такая же, как все остальные частицы. У нее непременно была своя собственная волновая функция — набор возможностей относительно того, где находиться и что делать. И вот из того, что мы знаем о квантовой физике, получается, что, не будь внешнего наблюдателя, который появился бы и своими глазами убедился в точном местоположении и состоянии этой частицы, коллапса ее волновой функции не произошло бы. Ну, то есть она бы продолжала существовать в виде всех своих возможностей сразу. Она была бы одновременно и быстрой и медленной, двигалась бы в одно и то же время и вправо и влево, находилась бы сразу и здесь, и где-то там. А внешним наблюдателем в масштабе вселенной мог стать только Бог. Так что выходит, именно Бог и произвел коллапс волновой функции, который привел к образованию

вселенной. То есть свел все возможности первичной частицы к одной — и результатом этого коллапса стала одна-единственная вселенная, в которой мы теперь живем. Вот что получается, если применить Копенгагенскую интерпретацию к первичной частице. Если же с этим не согласиться, то остается многомировая интерпретация, согласно которой нет никакого стороннего наблюдателя и никакого коллапса возможностей. Все возможности существуют «где-то там», и наряду с нашей существует бесконечное множество каких угодно вселенных: жаркие, холодные, с людьми, без людей, такие, которые порождают свои собственные «малые вселенные», и такие, которые этого не делают...

Хизер снова застонала:

— Теперь-то понятно, почему я все это забыла!

— Ну, а что, если совсем отказаться от квантовой физики? — предположил Адам.

— Тогда, полагаю, перестанут работать твои CD-плеер и кредитная карта.

— У меня их нет.

Я улыбнулась ему:

— Пускай, но ты ведь понимаешь, о чем я. Вся современная технология построена на принципах квантовой физики. Инженерам приходится ее изучать. Ну, то есть да, она звучит совершенно бредово, но ее принципы действуют в реальном мире.

— Бог или мультивселенная, — подытожила Хизер. — Даже не знаешь, что выбрать...

— Мне не нравится ни то ни другое, — ответила я. — Но, наверное, я все-таки за Бога, что бы это ни означало. Можно назвать это интерпретацией Томаса Гарди: уж лучше знать, что где-то там существует нечто, имеющее смысл, чем чувствовать себя барахтающимся в бескрайнем океане полнейшей бессмыслицы.

— А ты, Адам, что выбираешь?

— Бога, — ответил он. — Хотя я и считал, что больше не буду иметь с ним никаких дел.

Он едва заметно улыбнулся, как будто боялся, что от широкой улыбки его лицо развалится на части.

— Нет, правда, — продолжил он. — В этом, пожалуй, есть смысл — в предположении, что существует некий внешний разум. Если уж выбирать, то я предпочитаю его.

— Ну вот, получается, я тут одна со своей мультивселенной, — расстроилась Хизер.

— В мультивселенной ты никогда не одна, — утешила я ее.

— Ха-ха. Нет, правда, я не могу поверить в то, что Бог создал жизнь — это противоречит моей научной деятельности. Ну ведь нет же никаких доказательств! К тому же я получаю от защитников идеи божественного сотворения мира столько писем с угрозами, что уж никак не могу встать на их сторону.

— А это и не требуется, — сказала я. — Ведь можно же допустить, что некое внешнее существо подтолкнуло вселенную к зарождению, а после этого все остальное развивалось именно так, как считают приверженцы научного подхода?

Впрочем, про себя я подумала: «Правда, есть еще ньютоновская взаимосвязь причины и следствия», и она настолько плохо вписывается в идею квантовой вселенной, что я замолчала и больше не знала, что сказать.

— А над чем ты работаешь? — спросил Адам.

— Я ищу ПУОП. Ну, так его называют в газетных заголовках, когда пишут о нем в разделах науки. ПУОП — это Последний Универсальный Общий Предок. Другими словами, ищу праматерь.

— У нее есть такая компьютерная программа, — подхватила я. — Обязательно посмотри, когда будете в следующий раз на работе. Я ничего не поняла, когда смотрела, но прямо мурашки бегут по коже, удивительная вещь!

— Праматерь, — повторил Адам. — Интересно...

— Ну да, да, понимаю, — обиделась Хизер. — Звучит так, как будто тема моего исследования — сады Эдема и все такое...

— Да нет, я не об этом. Мать всем нам. Начало всего. Дао называют Матерью всех

вещей. Оно пусто, но неисчерпаемо и рождает бесчисленные миры. Это из «Дао Дэ Цзин».

— Ох, — сказала Хизер. — Не намного лучше, чем сады Эдема... Кто хочет десерт?

Глава двенадцатая

После десерта — печеных абрикосов с медом, орехами кешью и бренди — и долгого разговора о ПУОП и о чем-то еще под названием ПЖО (первый живой организм) мы с Адамом поблагодарили Хизер и ушли вместе — и теперь старались не поскользнуться на обледенелом асфальте.

Как только мы отошли на безопасное расстояние от дома Хизер, Адам засмеялся.

— Ты чего? — спросила я.

— Ну, там мне не хотелось этого говорить, но вообще-то мне мало дела до того, от какой именно бактерии я произошел.

— Биологи и в самом деле почему-то из всех объяснений всегда выбирают наиболее унылое. И реакция Хизер на мои рассуждения о разумных машинах мне тоже показалась неубедительной.

— Ага. Похоже, ей вообще не нравятся новые идеи.

— Видимо, да. Но почему бы не поспорить, если ты с чем-то не согласен? В какой-то момент животные произошли из растений и появилась сознательная жизнь. Так что же такое сознание? Ведь оно определенно должно состоять из тех же кварков и электронов, что и все остальное, возможно, только организованы они там как-то иначе. Но сознание несомненно способно эволюционировать. Об этом говорил еще Сэмюэл Батлер в девятнадцатом веке. Если человеческое сознание могло возникнуть из ниоткуда, почему бы и машинному сознанию не сделать то же?

Конечно, у этой идеи есть очевидные слабые места, о которых как раз и говорила Хизер. Например: что, если сознание может существовать только в органических формах жизни? Но, с другой стороны, что такое органическая форма жизни? Машины способны к самовоспроизводству, они сделаны из угля и, как и мы, нуждаются в топливе.

— Если, конечно, сознание не состоит из материи, — заметил Адам.

— Ну да, такое тоже возможно, — откликнулась я. — Но я все-таки иногда думаю: если компьютер прочитает все-все книги, какие есть на земле, не начнет ли он в конце концов понимать человеческую речь?

— Хм-м...

Некоторое время мы шли молча.

— Холодно, — сказал Адам.

— Да, я тоже ужасно замерзла!

Мы двигались в сторону центра, но вокруг стояла почти полная тишина. Было уже за полночь, и, когда мы приблизились к собору, до нас донеслись слабые звуки — где-то в отдалении пофыркивали грузовики и слышался стук и шлепанье разгружаемых у дверей магазинов товаров — наутро все эти блузки, бутерброды, коробки с салатами, кофе и газеты появятся, словно по волшебству, на прилавках.

— Мы знакомы? — вдруг спросил Адам.

Я немного опешила:

— В каком смысле?

— Ну, мне показалось, что я тебя знаю, когда увидел сегодня днем.

Я глубоко вдохнула: полные легкие холодного воздуха.

— Мне тоже так показалось.

— Но я тебя не знаю, я уверен.

— Ну... — Я пожала плечами. — Может, мы когда-нибудь виделись, но потом забыли об этом.

— Я бы не забыл. Если бы увидел тебя, уже бы никогда этого не забыл.

— Адам... — начала я.

— Не говори ничего, — перебил меня он. — Лучше посмотри.

Мы проходили мимо ворот собора. Если остановиться и взглянуть туда, куда показывал Адам, можно увидеть, как сверху на тебя смотрит высеченный из камня Иисус.

— Потрясающе, — сказала я, не успев даже подумать. — Даже если не верить во все остальное, Иисус — удивительный человек.

Сказав это, я рассмеялась:

— Сморозила глупость, извини! Ясно ведь, что так считает каждый.

— Да нет, далеко не каждый, — сказал Адам.

— Слушай, — сказала я, вдруг вспомнив, что совсем недавно стояла на том же самом месте, только смотрела не на Иисуса над головой, а на ворота собора. — А ты что-нибудь знаешь о святой воде?

— Станный вопрос.

— Ну да, наверное.

Мы пошли дальше и свернули на мощеную улочку, которая ведет прямо к моему дому. Я подумала, что, возможно, сейчас мы отправимся ко мне и Адам останется у меня на ночь — пожалуй, я бы не прочь. Вот только вместо обычного возбуждения меня охватило совсем другое чувство — похожее возникло у меня днем, когда я взглянула на экран своего монитора и увидела, сколько на нем пыли. Я грязная и в настоящий момент занята тем, что придумываю, как бы отсюда сбежать. Но как ни крути, а мы двигались в сторону моего дома.

— Что именно тебя интересует?

— Ну, много чего... В основном, где ее можно раздобыть.

— Раздобыть? — В темноте я не могла разглядеть выражения лица Адама, но поняла, что он нахмурился. — Ты католичка?

— Нет, я вообще неверующая. Моя мама верила в инопланетян.

— А...

— Да. А почему ты спросил?

— Святая вода есть только у католиков. Ее можно найти в любой католической церкви.

— А в соборе нет?

— Нет, не думаю.

— Но я точно видела там купели. Я еще до Хизер хотела туда зайти, но было уже закрыто.

— Да, купели там есть, но они пустые. Англиканская церковь уже несколько сотен лет не пользуется святой водой.

— А-а... А в католической церкви достать святую воду можно только днем?

— Да нет, не обязательно. Ты... — Он сделал паузу. — Ты хочешь достать ее прямо сейчас?

— Можно и сейчас... Ну да. Не знаю.

— А для чего, если не секрет?

— Наверное, лучше тебе этого не знать. Боюсь, ты не одобришь. Ты когда-нибудь слышал о физике Георгии Гамове?

— Нет. Пока ты будешь мне о нем рассказывать, не возражаешь, если мы свернем в сторону? Я покажу тебе, где можно достать святой воды.

— Правда?

— Да, у меня есть ключи от церкви Святого Томаса. Вот сюда.

Мы пошли через автостоянку и по небольшому проходу между домами выбрались на улицу Бергейт. Здесь, в ряду окруженных зеленью жилых зданий, сразу за автомобильным кругом и церковью Святого Августина, стоял дом Берлема. Интересно, как он теперь выглядит. Я представила себе заколоченные двери и окна, но потом подумала, что это несусветная глупость: в наши дни дома уже никто не заколачивает. Возможно, Берлем его продал. А может, он сейчас там. Однажды, в прошлом году, я уже приходила сюда и стучала в дверь, но мне никто не ответил. Мы с Адамом свернули налево и прошли мимо магазина

комиксов: целая витрина супергероев и злодеев, хороших парней и плохих. Я постаралась выкинуть из головы Берлема и, вместо того чтобы думать о нем, рассказала Адаму про Георгия Гамова. Про то, как однажды, еще маленьким мальчиком, Гамов не стал глотать причастную облатку, которую ему дали в церкви, а положил ее под микроскоп — посмотреть, чем она отличается от обычного хлеба. Я объяснила Адаму, что святая вода нужна мне примерно для того же — я хочу поставить эксперимент, который едва ли имеет отношение к духу католицизма. И вот мы подошли к церкви.

— Я не обижусь, если теперь ты меня туда непустишь.

— Да нет, мне нравится твоя идея с экспериментом. Да и вообще, какая разница, для чего тебе эта вода.

За дверями церкви было темно и пахло ладаном и холодным камнем. Входить внутрь мы не стали — оказалось, что купель со святой водой находится прямо возле входа. Я заметила, что Адам перекрестился перед иконой Богоматери. А я тем временем достала свою бутылочку.

— Наверняка ты не должен позволять мне это делать, — сказала я.

— Это ведь всего лишь вода. Нет никаких правил, в которых говорилось бы, что нельзя уносить ее с собой. К тому же, как я уже сказал, мне больше нет до всего этого никакого дела.

И все же он не стал смотреть на то, как я окунаю бутылочку в купель. Вместо этого он встал позади меня и стал перебирать церковные листовки и просматривать номера «Католик геральд». На стене висел плакат со словами «Усыпальница св. Иуды». Адам поднял руку и дотронулся до него. Скорее всего, он не заметил, что я за ним наблюдаю. Я отвернулась.

— Можно спросить, откуда у тебя эти ключи? — спросила я, когда мы вышли на улицу.

— Я — священник, — отвел он. — Точнее, бывший священник. Можно, я к тебе зайду?

Для того, кто видит мою кухню впервые, это темное, зловонное и гнетущее место, пропахшее чесноком и табачным дымом. Вдобавок ко всему на каминной полке у меня лежит проклятая книга: тоненький томик в выцветшей обложке, который вполне можно и не заметить, если ты — не я.

— Извини, — сказала я Адаму, когда мы вошли.

Я сама не слишком понимала, за что именно извиняюсь. За толстый слой серой пыли на пороге? За сломанные подлокотники дивана? За прожженный в нескольких местах стол? Отставший в нескольких местах линолеум? Когда я здесь одна, я ничего этого не замечаю. Хорошо бы открыть окно, но и без того слишком холодно. Еще я хотела, как обычно, включить все газовые горелки, но удержалась.

— Извини, у меня холодно.

— У меня куда холоднее, — ответил Адам. — Я живу в университетском городке.

— Правда? В котором?

— У меня комната в колледже Шелли. Совсем малюсенькая, и в ней все время пахнет макаронами с сыром. Так что у тебя здесь просто шикарно, можешь мне поверить.

— Хочешь кофе?

— Лучше просто воды, если не сложно.

Я налила в стакан воды из-под крана для Адама и поставила на огонь кофе для себя. За окном проехал поезд, и тонкое оконное стекло тихонько задрожало. Вдруг в углу комнаты что-то шевельнулось — появилось и исчезло, словно призрачная частица. Мышь.

— Мне здесь нравится, — сказал Адам, усаживаясь на диван.

Когда кофе сварился, я села рядом с ним. Пожалуй, никогда еще я не сидела на этом старом диване с кем-нибудь еще. Можно подумать, что мы вместе едем на поезде, сидя спиной по ходу движения, и оба из всех сил стараемся не соприкоснуться коленями.

— Что такое Усыпальница святого Иуды? — спросила я.

— А, ты заметила.

— Просто увидела плакат на стене. Я уже где-то слышала это имя: святой Иуда. Кому он покровительствует?

— Заблудшим и утратившим надежду. Его мощи хранятся в Фавершеме. Я всегда хожу туда, когда...

— Когда что?

— Когда все идет не так. Почему ты не спрашиваешь о том, о чем спрашивают все?

— Это о чем?

— О том, как так получилось, что я стал священником.

— Такие вопросы мне не очень хорошо даются.

Мы оба замолчали. Наверное, мне нужно было что-то сказать — я знала, что сейчас моя очередь. К тому же мне и в самом деле было интересно. В любой другой момент я бы наверняка захотела узнать, каково это — быть священником и как можно быть священником, а потом взять и перестать им быть. Например, я бы спросила его, почему он все равно перекрестился в церкви. Но теперь у меня была святая вода и *Carbo-veg*, и я чувствовала себя как в те дни, когда в коробке у меня хранилась бритва и я не могла дождаться, когда все наконец уйдут, я останусь одна и смогу делать все, что захочу.

— Ничего, если я закурю? — спросила я.

— Ты ведь у себя дома, — пожал плечами Адам.

— Ну да, я понимаю, но...

— Да нет, правда, все в порядке.

Он все пил воду из своего стакана, а я зажгла сигарету. Его левая рука, которая держала стакан, немного дрожала. Я отвела взгляд и медленно оглядела свои израненные кухонные поверхности: вот тут я сожгла рис, здесь — обожглась, а вон там — порезала палец.

— На что это похоже? — спросила я, усилием воли заставив мысли остановиться. — Точнее, нет: как ты сейчас себя чувствуешь?

— Ты про что?

— Про религиозность. Ну, про то, каково это — быть религиозным настолько, чтобы стать священником.

Он убрал стакан на столик и немного подался вперед, поставив локоть на колено и подперев лицо рукой. Провел большим пальцем вокруг лица — словно был слепым и хотел узнать, как выглядят его черты.

— Я много над этим думал, — сказал он. — Пытался выразить это словами, но все равно мне некому было рассказать... Теперь я встретил тебя, и мне кажется, ты поймешь. Точнее, я уверен, что ты поймешь.

— Почему ты так думаешь?

Он закрыл лицо обеими руками и уронил на них голову.

— Не знаю.

— Адам?

— Извини. Я даже не уверен, хочу ли я говорить с тобой о том, о чем хочешь говорить ты. Я перестал быть священником не потому, что мне не хватило веры... У Хизер я просто дурачился. Я потерял веру не потому, что хотел заниматься сексом с маленькими мальчиками, или стариками, или молодыми женщинами — ничего такого. Но я изучал «Дао Дэ Цзин» — несколько лет назад — и решил следовать законам Пути, оставаясь при этом священником. Ничего необычного в этом нет — многие люди так делают. Но это подорвало мою веру. Я хотел ничего не желать, но именно этого-то я и желал, да так страстно, что дело едва не дошло до безумия. И я не переставал думать о парадоксах. О непорочном зачатии, и таинствах веры, и о прочих таких вещах. Я не испытывал неприязни к этим парадоксам — в конце концов, ведь именно на них зиждется церковь, — наоборот, я хотел, чтобы их было больше. Мне хотелось увидеть парадокс в чистом виде. В конечном итоге я осознал, что просто-напросто испытываю потребность в науке — и тогда я на два года присоединился к ордену, блюдущему обет молчания, и ни о чем не думал. А потом все кончилось. Не знаю, как это объяснить... Да, ты права. Зачем я все это тебе рассказываю? Где я тебя раньше

видел? А, ладно. Я лучше пойду.

— Адам...

Он встал.

— Извини, что ворвался к тебе. Это место не для меня.

Он был прав. Я трахаюсь со старыми мужиками и одержима проклятиями и древними книгами. Ему бы поговорить с кем-нибудь более нормальным. Я посмотрела на его старую одежду и лохматые волосы и представила себе его смуглые, сильные предплечья. Интересно, он вообще когда-нибудь с кем-нибудь спал?

Я глубоко вздохнула. Ну почему я все время оказываюсь не тем, кто нужен?

И вот, хотя ни один из нас вроде бы ничего не делал, мы уже стояли прижавшись друг к другу и целовались так, будто бы сейчас полночь и мы — на вечеринке где-то на самом краю света. Я почувствовала, как его член твердеет, и прижалась к нему еще крепче. Какое незнакомое чувство. Все казалось таким настоящим — я давным-давно забыла, что так бывает.

— Извини, — сказал он секунд через двадцать, отстраняясь от меня. — Я не должен этого делать.

— Сама не знаю, что произошло, — сказала я, делая вид, будто и мне это кажется неудачной идеей. Я избегала его взгляда и повернулась к плите, как будто у меня там готовилось что-то очень важное. Интересно, бывает пирог под названием «Разочарование»? Кекс «Вежливый отказ»? Или торт «Ко Дню Нерождения»?

— Извини, — повторил Адам у меня за спиной. — Я... Мне нельзя пить. Я не привык.

Когда я сказала, что мне очень жаль, его уже не было. Чокнутая идиотка. Или нет? Когда привлекательные молодые люди предлагают мне что-нибудь, они всегда очень скоро забирают то, что предлагали, так что, возможно, даже хорошо, что ничего не произошло. Да и что я могу дать такому человеку, как Адам? Мужчины вроде Адама могут спать с кем угодно. Если ему принять душ и надеть костюм или что-нибудь вроде того, тогда, ну... не могу себе представить, чтобы какая-нибудь женщина ему отказала. С мужчинами вроде Адама ни айпод, ни гладкая шея, ни сиськи, которые (пока) еще не обвисли, не имеют никакого значения. У меня нет целлюлита, и поэтому мужчины за пятьдесят чувствуют себя счастливыми, когда им удастся со мной переспать. Но Адам... Что я могу дать такого, чего ему может не хватать? В сексуальной экономике у меня миллионы на инвестиционном счете под названием «Пожилые мужчины», но, боюсь, никакой другой счет мне уже не откроют.

У меня где-то был черный маркер, но я, хоть убей, не помнила, куда он подевался. Большая фаллическая шутовина с химическим запахом — помню, я еще писала им номер своей квартиры на одном из мусорных контейнеров на заднем дворе у Луиджи. Но это было... сколько... года полтора назад? В столе на кухне нет, в стакане с ручками на полке — тоже. Вот черт! Самое подходящее, что удалось отыскать, — это черная шариковая ручка. Зато кусок белого картона у меня нашелся — он лежал в упаковке с дешевыми сетчатыми колготками, которые я купила прошлой весной на рынке, и с тех пор эта часть упаковки так и лежала у меня на комод. Итак, я нарисовала на картонке черный кружок — минут пять ушло только на то, чтобы закрасить его целиком.

На руке у меня тоже была черная отметина — место, в которое я эксперимента ради воткнула ручку: интересно узнать, что я почувствую, и посмотреть, будет ли это похоже на то, что я чувствовала раньше.

Святая вода в стеклянной бутылочке выглядела какой-то мутной. Я вынула страницу из «Наваждения» и положила ее на стол перед собой, чтобы сверяться с инструкциями. Итак, мне нужно смешать *Carbo-veg* со святой водой и несколько раз встряхнуть полученную смесь. Встряхнуть — это ведь, наверное, просто взять в руку и немного потрясти. Кажется, в книгах по гомеопатии было написано именно так. Когда я протянула руку к полке, чтобы достать из банки из-под сахара *Carbo-veg*, страничка из книги Люмаса полетела на пол. Я

подняла ее и обнаружила, что край слегка намок. Где-то в ящике стола я видела клейкую ленту... Достав ее, я потратила еще несколько минут на то, чтобы аккуратно отремонтировать книгу: соединила оборванный край страницы с тем местом между страницами 130 и 133, откуда она была вырвана. Конечно, место склеивания было заметно, но зато теперь страница снова стала частью книги.

Я помнила, что к гомеопатическим препаратам нельзя прикасаться, поэтому вытряхнула одну таблетку на металлическую ложку. Таблетка тихонько звякнула о металл. Я вынула пробку из бутылочки и бросила таблетку внутрь. Секунду она болталась на поверхности, а потом ушла под воду и начала растворяться, отчего вода все больше мутнела. Сердце у меня в груди колотилось резиновым мячиком: ведь я всего-навсего бросаю в воду крошечную таблетку сахарозы. И все-таки я стояла и несколько минут трясла бутылочку, а потом, вспомнив, что я что-то об этом читала, несколько раз легонько ударила бутылочкой о кухонное полотенце, которое лежало, сложенное в несколько раз, на столе для готовки. Я убедилась в том, что таблетка полностью растворилась. Итак, можно пить.

Или нельзя? Эта святая вода — она вообще стерильна? Или, на худой конец, без болезнетворных микробов? Сколько народу окунало в нее свои пальцы? Может, не так уж и много. Ну давай же, Эриел. Но... Интересно, священник выставляет новую порцию воды по утрам или по вечерам? Как глупо. Я откупорила бутылку и заставила себя сделать большой глоток. Ну вот. Теперь думать больше не о чем. Я взяла кусок картона и улеглась на диван, пьяная, уставшая и теперь вдобавок ко всему еще и с подкатившей тошнотой.

Черная точка, черная точка. Пятно... И тут я уснула.

Мне снились мыши. Мышиный мир, больше, чем наш, в котором всю ночь напролет чей-то еле слышный голос говорил мне: «У вас есть выбор» или что-то вроде того.

Проснувшись я только в начале одиннадцатого, совершенно окоченев в своих джинсах и свитере и жмурясь от холодного зимнего света, пробирающегося ко мне сквозь кухонное окно. Кусок картона, видимо, выпал у меня из рук, пока я спала, потому что теперь он лежал у меня на животе. В дневном свете он выглядел ужасно глупо: какая-то каляка-маляка на старой картонке. Могла бы постараться нарисовать что-нибудь попримечнее, но я ведь напилась. Итак, рецепт не сработал. Или, может, я сама все испортила? Интересно, сколько раз можно повторять попытки, прежде чем наконец смиришься с тем, что тебе (опять) задурили голову выдумками, а на самом деле реален этот знакомый мир, полный разочарований? «У вас есть выбор». Ну да, у меня есть выбор: я могу перестать носиться с идеей проклятия. Могу перестать пить микстуры, о которых говорится в редких книгах. Могу даже попытаться продать книгу, хотя она и испорчена. Но нет, хотя эта мысль у меня и промелькнула, я прекрасно понимала, что теперь уже ничто не заставит меня с ней расстаться. Книгу я оставляю себе, но сама снова стану нормальной. Напишу что-нибудь о проклятиях в журнал. Продолжу работать над диссертацией. Посвящу главу Люмасу — напишу о размытой границе между вымыслом и документальной прозой и о мысленном эксперименте, который превратился в эксперимент физический. О фокусе, который заставляет по-новому взглянуть на мир...

Вот только лично я что-то не могу взглянуть на мир по-новому. Я вообще почти не могу встать с дивана — такое ощущение, как будто я вовсе не спала. И живот болит, как во время месячных, только немного выше. Наверное, в воде все-таки была какая-то зараза. Может, нужно что-нибудь съесть? Может, от этого станет полегче...

В холодильнике еще оставалось немного соевого молока, поэтому я принялась одновременно варить кашу и кофе. Только отправившись в ванную за свежим свитером, я поняла, как же сильно на самом деле замерзла и устала. Пожалуй, надо захватить еще и шарф. Натянув толстый черный свитер и намотав на шею длинный черный шерстяной шарф, я выглянула в окно. С внутренней стороны оконной рамы свисали маленькие сосульки. О деталях вроде этой обычно рассказывают много лет спустя, когда жизнь уже наладилась и тебе хочется поделиться смешной историей о том, как беден ты был в ту зиму и каким жалким было твое жилище. Но уверенность в том, что и моя жизнь когда-нибудь наладится,

таяла с каждым днем. Да и не очень-то я к этому стремилась. «Ха-ха, когда я была бедной. Ха-ха, вы видели эту пьесу? Ха-ха, я знаю, что это никуда не годится, но в последнее время я все больше подумываю о том, что, пожалуй, имеет смысл голосовать за консерваторов». Мне хотелось сделать все возможное, чтобы избежать такой жизни. Возможно, я всегда буду жить именно так. Поэтому мне совсем не важно, что означают эти сосульки на внутренней стороне моего окна. «Висят сосульки». Я улыбнулась, хотя никто меня не видел, и еще разок обмотала горло шарфом.

Я пошла по длинному коридору обратно в кухню, через деревянную дверь, распухшую от многолетних слоев краски. И тут меня охватило странное ощущение, будто бы дверь для меня чересчур мала — или я велика для нее. Прямо какое-то дежавю: кажется, сейчас я резко уменьшусь, и придется смотреть, задрав голову, на дверь раз в сто больше меня, хотя на самом-то деле она меня больше всего на какой-нибудь фут. Но нет, я не уменьшаюсь, этот образ остается лишь у меня в голове: параллельная мысль, что-то такое, что, возможно, происходит с какой-нибудь другой мною, где-то там, в мультивселенной. Это напомнило, как однажды кто-то налил мне чая из грибов и не сказал мне, из чего он, а я сидела и весь вечер наблюдала за тем, как розово-кремовая гостиная в загородном доме то вырастает вокруг меня до невероятных размеров, то снова сжимается. Помню, в углу стоял включенный телевизор, шла какая-то субботняя вечерняя телеигра, в которой шумные, счастливые и абсолютно нормальные семьи соревновались друг с другом, чтобы выиграть новую машину или путешествие. В какой-то момент телевизор вдруг навис надо мной, приглашая войти в экран. Но отчетливее всего я помню, как комната сжалась до размера сахарного кубика. Я смотрела на этот кубик — на комнату, в которой сидела сама, хотя меня в ней уже не было. Потом я спросила у друга, как такое вообще могло произойти. Где же еще я была, как не в этой комнате? Он тогда улыбнулся и сказал: «Где-где! На измене, вот где». Идиот. Я закрыла глаза и снова их открыла. С дверью все было в порядке. Наверное, я и в самом деле вчера перебрала с выпивкой.

После завтрака я подумала, не сходить ли в университет, но потом все-таки решила остаться дома. Ну да, здесь надо платить за отопление, но если пользоваться газом, то ничего страшного — по крайней мере, один-то денек точно можно себе позволить, надо привести мысли в порядок. Это я первая набросилась вчера на Адама или он на меня? Сегодня, во всяком случае, я не смогла бы находиться с ним в одном помещении. Теплее от свитера и шарфа не стало, поэтому я включила духовку, забралась на диван, обняв себя за колени, курила и размышляла над тем, чем бы теперь заняться. Можно что-нибудь написать, но нет, не получится. Или почитать что-нибудь — но что же можно читать после «Наваждения»? Можно просто просидеть здесь весь день в ожидании, пока проклятие не настигнет меня. Но никакого проклятия нет. Единственное проклятие моей жизни — это я сама.

У вас есть выбор.

Что же такое там было — в моем сне?

Дрожа от холода, я стояла в сырой ванной (самая холодная комната во всей квартире) и чистила зубы — и вдруг вспомнила, что черный маркер лежит в шкафчике рядом с умывальником. Ну конечно! Я купила недавно на рынке какой-то странный шампунь в бутылке без этикетки и хотела подписать его, чтобы потом не запутаться, если куплю еще что-нибудь у того же торговца. Вот чем я занимаюсь, когда должна бы работать: подписываю бутылки с шампунем, глажу джинсы, размышляю о чайках. Я открыла шкафчик, и, конечно же, именно там он и лежал, рядом со старой упаковкой парацетамола и сломанной расческой — толстый черный фломастер. Стоило мне открыть дверь, как он тут же выкатился наружу, и я едва успела его поймать, прежде чем он упал в раковину. Ну вот.

Десять минут спустя я снова сидела на диване, на этот раз — с чашкой свежего кофе, с сигаретой и идеальным черным кружочком на идеально белой карточке. Ради него мне пришлось перерывать кучу старой почты на первом этаже, пока я не нашла наконец годичной примерно давности поздравительную открытку в бледно-голубом конверте. «С 20-летием, Тамсин! — гласил текст. — Жди в гости!» И подпись: Мэгги и Билл.

Подписанная половинка уже в ведре. Я оставила себе вторую часть — с викторианской пасторальной картинкой на одной стороне и ярко-белым Ничем на другой. И теперь это было уже ярко-белое Ничто с черным кружком посередине, на этот раз — совершенно безупречным.

Я затушила сигарету и выпила остатки кофе, после чего перевернула карточку викторианской картинкой кверху и взглянула на нее еще раз. Дата — 1867 год, название — «Летний пейзаж», хотя цвета скорее осенние. Бывают же на свете такие спокойные места: красная земля под толстым зеленым ковром травы, укрытая балдахином изумрудно-бронзовых деревьев, и по ней вдоль реки бежит тропинка — можно идти по ней в полнейшей тишине. Я перевернула карточку обратной стороной — и вот он: черный круг. Умиротворяющий пейзаж. Круг. Умиротворяющий пейзаж. Я-то знаю, какую открытку предпочла бы получить на день рождения. Ладно. Кажется, положено подождать пятнадцать минут, прежде чем приступить? Книжки по гомеопатии, которые я вчера читала, все как одна утверждали, что гомеопатические препараты нужно принимать с чистым ртом, через пятнадцать минут после приема пищи или питья. Ну и ладно. Если не сработает, можно будет свалить вину на кофе и позже попробовать заново. Буду все время делать что-нибудь не так — хватит чем заняться до самого вечера. И тогда ближе к ночи можно будет наконец-то признать, что моя авантюра окончена, и вернуться к нормальной жизни. Может, перечитаю «Эдгин». Обычно это поднимает мне настроение.

Я взяла бутылочку и снова тихонько ее встряхнула. Да ну ладно, чего там тихонько — как следует ударила два раза об диван. Боюсь, я уже переборщила с числом встряхиваний, но ведь гомеопатическая потенция от этого, кажется, только увеличивается, а не уменьшается? Я попыталась вспомнить, что об этом говорится в гомеопатических книжках — ну да, так и есть: если взять каплю смеси, добавить к ней воды и полученную микстуру снова потрясти, полученное лекарство будет мощнее, чем исходная смесь, хотя с научной точки зрения оно всего лишь более разбавленное. И как только все это работает... Ну ладно, Эриел, хватит думать — пора за дело. Есть только ты и вот эта вот жидкость. О'кей. Я снова сделала большой глоток. Легла на диван и уставилась на черный кружок, сосредоточившись изо всех сил. На этот раз я не уснула и продолжала внимательно, стараясь не моргнуть, следить за кругом, который сначала разделился на два, а потом принялся кружить по странице, поднимаясь и переворачиваясь.

И тут, в мгновение, которое было тоньше и острее лезвия бритвы, я почувствовала, что падаю. Я падала в черный туннель, тот самый черный туннель, который описывал в книге мистер У. И падала я, как бы безумно это ни звучало, не вниз, а в сторону, вперед, горизонтально. Стены туннеля проносились мимо, как будто бы я была в машине, но нет, машины у меня не было. Где бы я сейчас ни была, вокруг стояла полнейшая тишина, и я совсем не чувствовала собственного тела. Я осознавала, что оно здесь, со мной, но никаких чувств и желаний не испытывала. Я даже не была уверена, есть ли на мне одежда. По-настоящему живым оставался только мой разум. Я видела — хотя и непонятно, глазами ли — почти в точности то же, что и мистер У: черные стены вдруг пронзили крошечные огоньки, которые превратились в волнистые линии, казавшиеся бесконечными. Потом появился огромный пенис, напоминающий детородный орган великана Керн-Аббаса, только выложенный из огоньков. Вагина здесь тоже была, но выглядела менее знакомой и вскоре исчезла. Потом я, кажется, стала падать быстрее. Вокруг были те же птицы, ноги и глаза, которые видел мистер У, но мне все они казались похожими на египетские иероглифы, которые показывают детям в младших классах. Потом посыпались буквы: греческие, римские, кириллические. Я узнавала не все, но через какое-то время они собрались в алфавиты, и несколько минут в туннеле, похоже, совсем ничего не менялось. Интересно, можно выйти из этой игры, если захотеть? Вот почему я никогда не любила галлюциногены: с ними никогда нельзя контролировать ситуацию и все «путешествие» приходится непременно пройти до конца, нельзя просто взять и отключить его в любом месте. И вот теперь я здесь и знаю, что отключить ничего нельзя. Может быть, я даже сойду с ума. А

может быть, уже сошла. Что, если именно так и выглядит переход из здорового ума в безумие и мне уже никогда не стать нормальной? От этих рассуждений меня замутило, поэтому я постаралась выбросить эти мысли из головы и вместо этого просто продолжила рассматривать стены туннеля.

Алфавиты стали более знакомыми, и теперь среди букв начали попадаться цифры — в порядках, которые я не сразу узнала. Странные комбинации из римских цифр, которые ни о чем мне не говорили, перемежались последовательностями: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19... и 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. То есть это сначала они казались мне последовательностями, но вскоре расплылись в длиннющие линии цифр, похожие на космические телефонные номера. Там и тут попадались какие-то уравнения, но они, мигнув, тут же растворялись в воздухе. Я уверена, что видела ньютоновскую $F = ma$ и, чуть позже, эйнштейновскую $E = mc^2$. Еще я видела математические символы, которых не понимала, но среди них попадались и знакомые, — например, знаки $=$ и $+$, а также обрывки разных форм записи множества вроде $I = 1, 2, 3, \dots, 100$. А потом — новые наборы чисел, которые тянулись по несколько минут. Некоторые последовательности чисел казались мне совершенно бессмысленными — такие как 1431, 1731, 1831, 2432, 2732, 2832, 3171, 3181, 3272, 3282, 11511, 31531, 31631, 32532, 32632, 33151, 33161, 33252, 33262, 114311, 117311, 118311, 124312, 127312, 128312, 214321, 217321, 218321, 224322, 227322, 228322. Сначала я подумала, что, возможно, все это — какие-то даты, но потом числа стали слишком большими. А потом произошло кое-что еще — то, о чем у Люмаса не упоминалось ни словом: все буквы алфавита исчезли, превратившись в цифры, а потом и цифры — все, кроме единицы и нуля, исчезли, оставив мне целый океан нулей и единиц, которые так и сыпались по стенам вокруг меня.

```
011101110110100001100001011101000111010001101000011
0001010110011001110101011000110110101101101001011100
110110011101101111011010010110111001100111011011110
110111001110111011010000110000101110100011101000110
100001100101011001100111010101100011011010110110100
101100110110011101101111011010010110111001100111011
011110110111001110111011010000110000101110100011101
000110100001100101011001100111010101100011011010110
110100101110011011001110110111101101001011011100110
011101101111011011100111011101101000011000010111010
001110100011010000110010101100110011101010110001101
101011011010010111001101100111011011110110100101101
110011001110110111101101110011101110110100001100001
011101000111010001101000011001010110011001110101011
000110110101101101001011100110110011101101111011010
010110111001100111011011110110111001110111011010000
110000101110100011101000110100001100101011001100111
010101100011011010110110100101110011011001110110111
101101001011011100110011101101111011011100111011101
101000011000010111010001110100011010000110010101100
110011101010110001101101011011010010111001101100111
011011110110100101101110011001110110111101101110
```

А потом все вокруг стало белым — туннель закончился.

Глава тринадцатая

Я стою на невероятно узкой улице, под ногами у меня щебенка. Впереди — неряшливого вида высотное здание, которое раньше, возможно, было вполне себе нарядным. Замызганные витрины магазинов по обе стороны от меня завалены открытками, газетами, туфлями, фотоаппаратами, шляпами, конфетами, секс-игрушками и рулонами ткани, но,

похоже, все они закрыты. Кажется, тут сейчас ночь: неба не видно, но освещение явно искусственное, и, хотя над головой у меня что-то черное, ни звезд, ни луны там нет. Вокруг все утыкано, словно шрамами от прыщей, разбитыми неоновыми вывесками. Две или три до сих пор помигивают сексуальными цветами — помадно-красным, телесно-розовым и рафинадно-белым, но остальные, похоже, перестали работать давным-давно. Пространство над витринами магазинов — клубок из тусклых огней натриевых ламп, дорожных знаков, железных жалюзи и окон, а за ними, думаю, сотни квартир и складских помещений. Вывески — повсюду, они торчат из стен под прямым углом, как клейкие бумажки для заметок, выглядывающие из старой книги. Но я не могу прочесть, что на них написано.

А двигаться вперед я здесь могу? Да. Вот, делаю шаг и за ним еще один. Слева от меня — переулок: еще одно невероятно узкое пространство. В конце переулочка я, приглядевшись, различаю стальной забор, сверху увитый колючей проволокой. Повсюду вокруг — пожарные лестницы, зигзагами и спиралями спускающиеся по старым кирпичным стенам. В окне наверху танцует голубой свет — телевизор? Так значит, я здесь не единственное живое существо — хотя нельзя сказать, чтобы я чувствовала себя по-настоящему живой. Мне ни жарко ни холодно, я не знаю, живая я или мертвая, пьяная или трезвая... Не чувствую вообще ничего. Это даже приятно — ничего не чувствовать, хотя, конечно, по-настоящему «приятными» мои ощущения назвать нельзя. Правильнее назвать их «никакими». Я не чувствую вообще ничего. Вам доводилось когда-нибудь ничего не чувствовать? Это восхитительно. Возможно, я чувствую себя так спокойно, потому что здесь нет людей. Я уже бывала в похожих местах — Сохо, Токио, Нью-Йорке, но там всегда было слишком много народу: все что-то покупали, щелкали фотоаппаратами, говорили, бегали, ходили, надеялись, хотели. В больших городах у меня всегда начинается клаустрофобия — невозможно противостоять этому огромному всеобщему желанию, где толпы людей одновременно пытаются всосать в себя все вокруг: сэндвичи, колу, суши, модную одежду, товары, товары, товары. А здесь никого нет. Есть автобусная остановка, но нет автобусов, есть дорожные знаки, но нет дорожного движения. Я иду дальше и отчетливо слышу глухие отзвуки собственных шагов по усыпанной щебнем дороге. Свернув направо, я выхожу на небольшую площадь с бурлящим фонтанчиком посередине. На площади есть несколько кофеен, в них темно, а столы и стулья свалены на темных тротуарах, и из цементных блоков растут тоненькие городские деревья. Не хотелось бы заблудиться — я возвращаюсь на главную улицу, понятия не имея, что делать дальше. Я оглядываюсь по сторонам, и городской пейзаж расплывается у меня перед глазами.

А теперь куда? — думаю я.

И тут вдруг раздается металлический женский голос: «Вы можете выбрать из четырнадцати возможностей».

На изображении улицы у меня перед глазами вдруг появляется что-то вроде системы управления — как будто бы на мониторе, спрятанном у меня в голове, открылась карта города. Некоторые участки карты ненадолго загораются бледно-голубым компьютерным цветом — так обычно обозначают на картах зоны военных действий. Видимо, вот это и есть те самые возможности. Но... Я не очень хорошо понимаю, что вообще происходит. Ближайшая «возможность», если имеется в виду именно это, находится на третьем этаже того дома, рядом с которым я оказалась с самого начала. Я делаю несколько шагов и начинаю карабкаться по зигзагообразной пожарной лестнице, и резиновые подошвы моих кроссовок отзываются в металлических ступеньках гулким бряцаньем. Наконец я стою перед зеленой дверью с облезшей краской. Я толкаю дверь, и она открывается. А теперь — что?

«У вас есть одна возможность», — говорит бестелесный голос.

Я вхожу.

У вас есть одна возможность

У вас... Я стою на четырех согнутых ногах, и — вот черт! — я в ловушке. Вокруг меня толстые мутные пластиковые стены, и невозможно пошевелиться. Можно пройти немного

вперед и немного назад — я точно знаю, что можно, — но пока не двигаюсь. Твою мать, мне почти нечем дышать. Я часто моргаю, потому что со зрением у меня тоже не все в порядке: мир за стенами моей тюрьмы выглядит каким-то желтоватым и деформированным. А еще я хочу есть, и это такой голод, которого я никогда раньше не испытывала, и ощущаю я его какой-то незнакомой частью живота. Чем бы я сейчас ни была, это сущий ад — пережить такое можно только во сне, да и то — лишь пару секунд, после которых ты с криком просыпаешься. Я не могу двигаться. Не могу обернуться. Мои руки/ноги/крылья впиваются мне в тело. Думаю, у меня есть хвост, но я не могу им пошевелить. Он чем-то пригвожден. Думаю, я здесь и умру — в полном одиночестве, не имея возможности даже повернуть головы. Ну же, Эриел! Ты ведь все еще Эриел! Ну да, Эриел, но еще... что? Кто я? В чей мозг я втелепатилась? У меня — или у нас? — появилась та же проблема, которая была и у мистера У: мне хочется почесаться. И еще мне хочется есть, и я знаю, что именно из-за этого я пришла в эту коробку. Я знаю, что ела что-то сладкое и рассыпчатое, но уже довольно давно. И все-таки почесаться мне хочется не меньше, чем есть. Мне ужасно нравится тереть своей острой ногой за ушами, избавляя их от зуда, и я бы все отдала за то, чтобы можно было это сделать сейчас (хотя и нельзя сказать, что я понимаю, что именно обещаю отдать). Я уже пыталась — точнее, продолжаю пытаться до сих пор. Почему я не могу сдвинуться с места? Я, Эриел, вижу оргстекло, но другая «я» не знает, что вообще происходит. Эта другая «я» впала в панику уже много часов назад. Она не смогла сделать то, что делает всегда в подобных ситуациях, а обычно она просто бежит как можно быстрее и ищет темное и мягкое местечко, в котором можно было бы укрыться. Но очень трудно называть это существо, частью которого я теперь стала, «она». Мой мех («мой мех»? Ну да, похоже, мой) пахнет страхом: сырой, сладковатый запах, похожий на запах печенья. Я знаю этот запах от других — от тех, кто возвращается со следами зубов на своих телах.

Отстраниться. Наблюдать со стороны. Черт побери, Эриел, ты ведь не мышшь. Но ведь мышшь же. Я знаю, как ухаживать за своим мехом. Я несколько раз была беременна (Не думаю, что она умеет считать, но я-то умею. Не думаю, что она умеет говорить, но я-то умею. Я умею считать события в воспоминаниях, о существовании которых она, скорее всего, и не подозревает). Я помню, как больно было рожать — как будто бы давишь на свежий синяк. Я знаю, что здесь и умру, но вот хотя бы знаний о смерти я у себя не нахожу. Только слоны понимают, что такое смерть... Где я это прочитала? Не представляю, сколько я здесь нахожусь, но мне надо отсюда выбраться. Выпустите меня! Я пытаюсь заорать, но слышу только быстрое дыхание мыши и стук ее сердца, которое колотится вместо моего.

Что делать? Я знаю, как надо себя успокаивать в подобных ситуациях. Мне доводилось стоять в переполненных поездах метро и лифтах и думать: «Уже недолго» и «Дыши». Но мое сознание смешалось вот с этим, и я знаю — из-за того, что она знает, — что на сей раз это настоящая опасность и сейчас самое главное — бежать. Но мы не можем сдвинуться с места. Черт, черт, черт. Как отсюда выбраться? Где вся та информация, которую мистер У вроде как видел по краям своего поля зрения? Стоило мне об этом подумать, как передо мной появляется нечто вроде компьютерного рабочего стола. Теперь я вижу все то же самое, что и мышшь: просторную комнату, искаженную пластиком и в тон ему окрасившуюся в желтоватый оттенок (хотя мышшь едва ли все это понимает и, вероятно, полагает, что находится где-то, где никогда раньше не была, ведь даже запах в пластмассовой коробке не такой, как снаружи), — но теперь сверху на все это наложен особый дисплей управления, с помощью которого я могу делать выбор. Трудно описать, как этот дисплей выглядит, потому что я не вполне понимаю, как он работает. Похоже на компьютер, но все немного не так. Я не знаю, как им пользоваться. Но зато, похоже, он появляется тогда, когда мне нужен. И, полагаю, он меня отсюда вытащит.

В верхнем правом углу моего поля зрения есть голубой квадратик, который мигает, когда я на него смотрю (когда о нем думаю?). Весь остальной экран усеян маленькими полупрозрачными квадратиками, на каждом из которых смутно виднеется незнакомый мне пейзаж. Такое ощущение, будто на одном экране одновременно демонстрируется сотня

разных документальных фильмов. Что это за изображения? Когда я останавливаю на них взгляд, они становятся ярче, как ссылки в интернете, и я понимаю (уж не знаю, каким образом), что могу выбрать любую «иконку», чтобы перепрыгнуть в новое место и, вероятно, осуществить то, что Люмас именовал педезисом. Но я не хочу этого делать. Я хочу выбраться отсюда — из тропосферы — и освободить мышь. Я снова смотрю на неясные картинки. Одна из них заинтересовала меня больше других: пейзаж на ней выглядит каким-то инопланетным. Но — о, нет! — в то самое мгновение, когда мои мысли останавливаются на этой картинке и я думаю: «Интересно, что там», что-то начинает происходить. Я размышляю (это единственный глагол, который мне удастся подобрать) в этой реальности и начинаю переноситься в другую. Я думаю: «Стойте! Я не хотела!» Но уже слишком поздно.

Ну, по крайней мере, я больше не в ловушке.

Теперь мои лапы ступают по холодной и жесткой поверхности. Я чувствую, как нижняя часть моего туловища раскачивается из стороны в сторону, а лапы касаются земли: передняя правая — задняя левая — передняя левая — задняя правая. У меня есть хвост и я могу им двигать! Ощущение кажется одновременно и знакомым, и незнакомым: то ли оно было у меня всегда, то ли мне довелось испытать его только однажды, давным-давно. Светлый бетон у меня под ногами (я чувствую, что сама решила так его назвать) — холодный, как кубик льда (тоже мое сравнение), и поэтому я ускоряю шаг. Впрочем, мне вполне тепло. Я только что покинула гнездо, и воспоминания о большом количестве меха и запах моей семьи (я перевожу на ходу, и «семья» — это самое близкое, что приходит на ум при воспоминании чувства связанности и близости) согревают меня, словно горячий сироп (тоже мое). Я снова мышь (я так думаю). Но я свободна.

Между задними ногами у меня что-то есть — знакомое этой мыши, но не мне. Ощущение странное, как и от хвоста, но если хвост представляется мне чем-то вроде лишней конечности, то эта новая вещь кажется наполненной энергией, словно клитор, но только она, в отличие от клитора, большая и простирается от живота и куда-то за пределы меня. Сейчас в ней что-то приятно покалывает — и горячая жидкость выливается из нее на бетон. Я думаю, что это заставит остальных держаться подальше — я всегда делала это с такой целью. Мой мех подрагивает абстрактными существительными, непереводаемыми, нечеловеческими ощущениями гордости, собственности, планов на будущее и постоянного, мускусного желания жестокости (мои клыки — в спинах слабых, бледных соперников, я раздираю их плоть) и секса. Возможно, только ради этого я и живу на свете: ведь вон как дрожит и размякает мой мозг, когда этот похожий на клитор член входит и выходит из теплой, тесной дыры в другом существе, и вон какое сладкое чувство разливается в конце концов по моим животу, спине, ногам и горлу — до того сладкое, что я валюсь на бок, изо всех сил вцепившись в нее, кем бы там она ни была. У меня есть желания — возможно, я даже весь из них состою — но не похоже, чтобы я долго о них размышлял. Мой разум состоит не из призрачных «хочу, хочу», а скорее из уже сбывшихся «вот оно, вот оно». Меня беспокоит только одно, когда я брожу по этому пространству, уставленному мусорными баками на колесиках, которые больше и выше меня. Где она? Одна куда-то делась. Одной не хватает. Одна исчезла. Может, считать я и не умею, но вот вычитать — пожалуйста. И как-то все это хреново.

Даже я потрясена тем, что мышь умеет ругаться, но быстро понимаю, что это мои мысли смешались с его: его чувства — на моем языке. Мне бы пора попытаться выбраться отсюда, но быть здесь, быть им — от этого почти невозможно отказаться. В нем все — под напряжением. По его/моим усикам пробегают электрические разряды и томление — и кажется, что это никакие и не усики, а тоненькие проводки. Теперь он бежит — с такой легкостью, какой своими ногами никогда не достичь, и я словно катаюсь на ярмарочной карусели. Мы перемещаемся по бетону к следующему мусорному баку, и я одновременно и знаю, куда иду, и не знаю тоже, и каждое мгновение для меня — полная неожиданность. Я и водитель, и пассажир одновременно. И в этих наших перемещениях есть какая-то

удивительная определенность — как и в ощущении, которое я испытываю сейчас, вгрызаясь в кусок черствого хлеба, маринованного дождем. Я догадываюсь, что хлеб черствый только потому, что сама его недавно выбросила, но сейчас он представляется мне восхитительным: такой пикантный привкус — можно подумать, будто ешь тост, намазанный пастой «Мармайт».

Но надо все-таки отсюда выбираться. С этой мышью все прекрасно, а вот зато с другой — нет. Она в ловушке, и я обязана ее спасти. Я думаю: «Дисплей!» — как будто играю в «Космических пришельцев» или снимаюсь в фантастическом фильме, и эта штукавина и в самом деле появляется и накладывается поверх всего, что я вижу. Я собираюсь не обращать внимания на размытые «иконки», но в этот момент одновременно происходят сразу две вещи: в поле зрения мыши — за дисплеем — появляется оранжевое пятно, похожее на лужицу апельсинового джема, и в это же время я замечаю на дисплее квадратик, изображение на котором совсем не похоже на инопланетный пейзаж — там сидит у колеса мусорного бака маленькая серая мышка и грызет хлеб. Это я. Какое-то существо смотрит на меня.

Все становится сложнее некуда. Моя мышь увидела рыжую кошку, и ощущение такое, будто нам обоим вкололи ледяной воды и привели в состояние сумасшедшей тревоги. Это страх, но страх такого рода, к которому я не привыкла. Смерть, смерть, приближается смерть. Твою мать! Все мои внутренности превратились в одно большое ледяное месиво, и надо бежать, надо спрятаться... Но погодите-ка. Ледяная вода застывает. Я замираю, превращаясь в ледышку. Я знаю (на каком-то уровне знания, с которым никогда раньше не сталкивалась), что сейчас мне нужно застыть. Я, Эриел, хочу лишь одного — поскорее выбраться отсюда, но какой-то инстинкт, о наличии которого я не подозревала, — какой-то мышинный инстинкт, наложенный поверх моих собственных, подсказывает мне, что над кошкой есть другое изображение, в которое мне можно войти. Поэтому я сосредотачиваюсь на полупрозрачном квадрате с застывшей мышью — квадрате, принадлежащем кошке, которая смотрит на окаменевшую сахарную мышь, чей ужас я ощущаю в своем/нашем теле, и я мысленно кричу: «Переключайся! Переключайся!»

И вот меня снова размывает — во что-то более крупное. Мой хвост становится легче, и я пощелкиваю им, прикинув к земле, сгорая от нетерпения и облизывая тоненьким язычком свои острые зубы. Ох и весело же сейчас будет, не знаю даже, смогу ли дотерпеть! Я в нетерпении выгибаю спину и перебираю задними лапами, занимая устойчивое положение. Пора? Нет, еще немного. Нужно выбрать правильный момент — единственно верный момент. Я проделывала это тысячи раз и уверена, что никогда от этого не устану. Свои нападения я никогда не продумываю до мелочей, но, если подумать, все они похожи на кровавые балеты, в которых я — постановщик, подталкивающий танцора, заставляющий еду танцевать, принуждающий ее выделять пируэты на сломанных лапах, потому что мне нравится еда, которая двигается. Ну да, я ем коричневое дерьмо, которое лежит в пластмассовой миске, но никакого удовольствия мне это не доставляет: у этого дерьма вкус смерти. Я ем его, только чтобы выжить, потому что большую часть времени вынуждена носить этот гребаный колокольчик, который распугивает всю еду. Но если как следует постараться и поработать острыми коготками, колокольчик можно снять. И тогда — смотрите-ка, на мне нет никакого колокольчика, и передо мной — еда. Моя пасть вот-вот наполнится теплой жидкостью-подливкой — стоит только надорвать зубами меховую шкурку на этой дрожащей твари, которая сидит передо мной и изо всех сил прикидывается неживой. Ах, этот вкус... Я так хорошо его помню. О, господи. Фу-у-у! Вкус как у говяжьего концентрата, в который подмешали таблетки железа и немного ржавчины. Теперь мне кажется, что это, должно быть, страшная гадость, но синапсы (или как там это называется) моего и кошачьего разума скачут как сумасшедшие — можно подумать, будто в голове у меня проходит школьное занятие по ведению дискуссии. Через несколько секунд я уже почти убеждена в том, что кровь — это восхитительно, но все, что остается во мне от меня — человека и вегетарианки, кричит: «Нет!» Я чувствую, как эта мысль перемешивается с

мыслями кошки, и в тот момент, когда мышь наконец решает, что настало время нырнуть под мусорный бак, я на мгновение задумываюсь. Разум кошки на какую-то секунду уступает место моему, но этого достаточно для того, чтобы все испортить. Голос у меня в голове велит мне этого не делать. Я не понимаю, в чем дело. В моем языке нет понятий вроде «почему?». Просто как будто бы болит голова, и перед глазами всплывает какая-то белая комната и стол, и кто-то держит меня за шею и втыкает в меня что-то острое. Ну ладно, сейчас-то меня никто не держит.

Отвали, пассажир!

Нет.

Ты как вонючая блоха у меня в голове.

Ну... Может, ты и права. И вообще, к чему спасать кусок еды? И что значит «спасать»? Все бессмысленно... Эриел, но ты ведь не кошка. Ты была этой мышью, ты помнила свое гнездо. Но я же и не мышь! Я хочу почувствовать вкус ее крови.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Я не узнаю этого шума, который раздается у меня в голове. Химия — сильнее страха.

Теперь я медленно двигаюсь вперед. Еда забралась под мусорный бак. Новая стратегия. Игра не окончена. Я опускаюсь передними лапами на землю и выгибаю спину идеальным колесом: одно плечо чуть выше второго, левая лапа — перед правой. Я разгрызу тебе череп, и мне не важно, сколько времени понадобится тут с тобою танцевать. Я... Тебя нет. Да где же ты? Где моя чертова еда??

Мышь убежала. Она в безопасности. Мой разум одновременно празднует победу и оплакивает поражение.

Дисплей. Теперь-то мне уж точно нужно отсюда выбираться. Штуковина снова появляется у меня перед глазами, из-за скачков моего бродячего сознания она подергивается, а кошка тем временем бежит к стене и потом — ух ты! — запрыгивает на нее. Черт, здорово! Но все равно надо отсюда выбираться. Одну мышь я спасла, нужно освободить еще одну. Я снова окидываю взглядом пространство своего мысленного десктопа, стараясь не смотреть на полупрозрачные изображения в центре. Остается голубая картинка, на которую я и направляю мысли. «Выйти сейчас?» — спрашивает тот же женский голос. «Да, — думаю я. — Да, да, да...» Передо мной появляется дверь, и я снова становлюсь собой: поворачиваю дверную ручку и на своих тяжелых ногах (и без хвоста) выхожу наружу. Вот только вокруг все незнакомо. Я в каком-то длинном коридоре с серым ковром и бежевыми стенами. Вот черт. Где же пожарная лестница? Как отсюда выйти?

Я иду по пустому коридору, мимо досок объявлений, к которым не прикреплено ни одной записки, мимо ярко-белых офисных дверей и наконец оказываюсь в вестибюле с четырьмя лифтами. Стены здесь совершенно голые, если не считать одного предупреждающего знака: пеший зеленый человечек и зеленый человечек на инвалидной коляске оба направляются к ярко-белому выходу. Человечек без коляски побеждает. Не придумав ничего лучшего, я нажимаю на кнопку вызова лифта. В ту же секунду раскрываются двери всех четырех. Я улыбаюсь. В этом месте, что же, и в самом деле нет больше никого, кроме меня? Целый город — для меня одной (если, конечно, я все еще в том же городе, в котором начала путешествие). Но оставаться здесь мне нельзя: надо возвращаться. Я выбираю наобум третий лифт слева и нажимаю на кнопку «1». Лифт опускается быстрее, чем мне бы хотелось, но я не чувствую привычного головокружения. Я вообще ничего не чувствую. Оказавшись на первом этаже, я обнаруживаю крутящиеся двери и выхожу через них на улицу. И тут мне на глаза попадает нечто странное: на земле лежит маленькая белая визитная карточка. В обычном городе в этом не было бы ничего удивительного — подумаешь, визитка на асфальте, заплеванном жвачками, замусоренном старыми пакетами из-под чипсов, бычками, чеками и обрывками газет. В обычном городе я бы не обратила на нее никакого внимания. Но здесь не заметить ее невозможно. Я нагибаюсь

и поднимаю ее. На карточке коричневыми чернилами написано: «Аполлон Сминфей»¹⁶ — и ничего больше. Я кладу карточку в карман джинсов.

Я стою посреди широкой улицы, окруженной рядами тихих офисных зданий. Мне встречаются знаки подземных переходов, но машин все равно нет, поэтому я перехожу через дорогу где попало и перебираюсь через парапет, разделяющий улицу на две полосы. Теперь у меня есть выбор — пойти направо, налево или прямо, по улице поменьше. В этой небольшой улице мне чудится что-то знакомое, поэтому я иду туда. Мне страшно, но не по-настоящему, а так, как будто бы я смотрю кино, в котором сама играю. И тут я узнаю переулок справа от меня — и вижу там те самые пожарные лестницы. Раньше этот переулок был слева от меня. Теперь все ясно. Каким-то образом я оказалась в том высоком здании, которое стояло передо мной, когда я только здесь очутилась. Значит, чтобы вернуться, нужно просто все время идти вперед и вперед по этой улице, а затем — да — в туннель с нулями и единицами и всеми буквами каждого известного мне алфавита. А потом я открываю глаза.

Я снова у себя на диване. Я жива. Я дома. Я человек. Я замерзла. Я хочу писать. Чувство разочарования, которое я часто испытываю, просыпаясь после своих обычных снов, теперь переродилось в нечто иное: я разочарована тем, что я — это я, что я — здесь и сейчас.

Мысль, которая перекрывает в моем сознании все остальные: «Я хочу обратно в тропосферу».

А вторая, послабее: «Но ведь ты же сама мечтала оттуда выбраться».

Странно, что я не перестаю думать о наркотиках, но ведь и мистер У тоже сравнивал свой опыт с наркотическим. На этот раз мне припомнилась ванная комната, в которой я оказалась не так давно. Наверное, это случилось незадолго до моей поездки в Оксфорд. В Манчестере я зашла в ванную с большим парнем, который дал мне крошечную трубочку, покрытую зеленой эмалью. Я помню, как пососала эту трубочку и почувствовала нечто такое, чего никогда раньше не чувствовала: полнейшее удовлетворение, вроде того, которое испытываешь сразу после оргазма, но даже более сильное: казалось, что весь мир — это огромный мягкий диванчик и ты вот-вот уснешь на нем, и ощущение такое, будто бы ничто и никогда не причинит тебе боль. Я вдохнула полные легкие этой штуки и почувствовала вкус нашатырного спирта. Я спросила у парня, что это такое. «Крэк, — ответил он. — Думаю, одного раза с тебя хватит, а то башку снесет».

Точно так же, как тогда мне захотелось еще раз приложиться к трубочке, сейчас мне хотелось отправиться обратно в тропосферу. Возможно, в этом и состоит мое проклятие.

Мысли путаются, путаются... Понятно ведь, что я снова уснула. Не может быть, чтобы я действительно побывала в тропосфере. Это вымышленное место, место из книги. И все-таки, встав с дивана, я первым делом пошла не в туалет и не куда-нибудь еще, а заглянуть в мышеловку под раковиной. Мне стало нехорошо. Она действительно была там — зверушка, в чьей памяти я недавно была и чьи мысли принимала за свои собственные. Она сидела в коробке, дрожа от страха, с хвостом, придавленным защелкой мышеловки. Думаю, раньше я никогда не рассматривала мышей, которые попадались в мои ловушки, да и вряд ли вообще задумывалась о них — ну разве что старалась не забыть поскорее выпустить их на улицу. Но теперь я смотрела на нее во все глаза. Не важно, что это было — сон или явь, теперь я точно знала, каково ей там. Я открыла коробку и трясущимися руками стала высвобождать хвост из-под защелки, стараясь делать это как можно нежнее.

— Прости, пожалуйста, — приговаривала я. — Прости.

Я осторожно опустила коробку на пол, и она, пятясь, стала выбираться наружу — медленно, слегка подергивая носиком. Я думала, что она немедленно серой молнией метнется через всю комнату в поисках укрытия, но нет: она уселась прямо передо мной и, глядя на меня, стала чесаться — я-то знала, как сильно ей этого хотелось, — а потом

¹⁶ *Сминфей* («мышинный») — один из эпитетов Аполлона.

осталась сидеть, не отрывая от меня взгляда своих крошечных черных глазок. Я узнала этот взгляд и инстинктивно на него ответила. С минуту мы продолжали смотреть друг на друга, и у меня больше не оставалось сомнений в том, что она знает. Она абсолютно точно знала на каком-то уровне своего сознания, что я побывала в ее мыслях и понимаю ее. Она меня не боялась. А потом она все-таки ушла — и забралась под один из моих кухонных шкафов. Я заглянула в другие мышеловки, обнаружила, что в них никого нет, и все их выбросила.

Что-то было не так со светом. Я не сразу сообразила — сначала сходила в туалет пописать, потом минут пять рассматривала себя в зеркало, размышляя, что бы обнаружили другие, окажись они в голове у меня, и только потом, вернувшись в кухню и поставив на огонь кофе, поняла, в чем дело. Уже почти стемнело. Тогда я взглянула на часы — разобраться, в чем дело. Четыре часа. Как странно. Я приняла микстуру где-то около одиннадцати. А в тропосфере я была примерно полчаса — ну, по крайней мере, так мне показалось. Может, я уже схожу с ума?

Я заглянула в карман джинсов. Ни следа визитной карточки.

Выглянула в окно — никакой кошки.

Но Аполлона Сминфея я потом все-таки поищу — может, хотя бы его не я придумала.

Печь, видимо, погасла, пока я лежала на диване, и теперь я вся дрожала от холода. То ли дело тропосфера! Никаких чувств, никаких температур. Хочу, чтобы опять было так. А если так нельзя, то хочу, чтобы мне было жарко-прежарко. Я включила еще несколько конфорок и встала как можно ближе к плите. Вскоре кофе был готов, но я никуда с ним не пошла. Я стояла у плиты, дрожала и думала. Вообще-то пора бы уже согреться. Интересно, я не заболела? Может, микстура подействовала на меня сильнее, чем я думаю? А что, если теперь все системы моего организма начнут работать черт-те как?

Но потом я подумала, что если я и в самом деле только что совершила путешествие по непонятному другому измерению и побывала в мыслях мышей (и одной кошки), а потом снова вернулась в собственное сознание, пожалуй, неудивительно, что теперь я чувствую себя немного странно. Ну да, наверное, любой почувствовал бы себя странно после такого? От этой мысли мне захотелось улыбнуться, а потом и вовсе пробрал смех. Нет, ну это только я могла втелепатить в мозг сексуально озабоченной мыши и психованной кошки. Вот бы кому рассказать! Да только я ведь никогда не рассказываю ничего о себе, и к тому же все равно никто бы мне не поверил. Я перестала смеяться. Все остальные, кто сделал это, умерли. Если заканчивать свой рассказ этим, история уж точно получится несмешной.

В сумке у меня зажужжало. Сообщение.

Это был Патрик. «Извини за настойчивость, — писал он, — но ты мне снова нужна, как можно скорее».

О господи...

Перерыв все свои энциклопедии в поисках Аполлона Сминфея, я устроила себе ранний обед — миска риса и остатки мисо. В этот вечер с моей квартирой творилось что-то неладное. И дело не только в том, что время прошло слишком быстро, — тут вдруг стало как-то особенно пусто, холодно и еще грязнее, чем обычно. Ладно уж, пускай нагорит много электричества — я зажгла большой свет в кухне и еще торшер, и к тому же включила радио, пока ела. Обычно в это время суток я не слушаю радио, поэтому я понятия не имела, что это за передача сейчас в эфире. Хотелось послушать что-нибудь уютное — например, чтобы какие-нибудь забавные люди полчаса рассуждали о путеводителях или садоводстве. Но вместо этого мне попала программа на тему религии. Я посмотрела на часы и прикинула, что программа идет уже минут десять. Беседовали четыре человека, включая ведущего.

— ...Но Мантра II показала, что пациенты, за которых молились, шли на поправку не быстрее тех, за которых не молились.

— Не могу согласиться...

— (Смех.) Ну что вы! Как же можно не соглашаться с научными данными! Ведь об этом черным по белому написано в «Ланцете».

— Для тех, кто не в курсе, Мантра II («Мантра», насколько я понимаю, расшифровывается как «Мониторинг и Актуализация Новых Тренингов») — это исследование, которое проводилось в начале года. Его задачей было выяснить, оказывает ли молитва существенную помощь пациентам с сердечными заболеваниями. Группа пациентов не была осведомлена о том, за кого из них будут молиться, а группа молящихся состояла из представителей разных религий — христианской, мусульманской, иудаистской и буддистской...

— Мантра II — не единственное исследование в этой области — думаю, следует подчеркнуть это отдельно. А как же классическое исследование Рэндольфа Бирда в 1988-м? Или Уильяма Харриса в Канзас-Сити в 1999-м? В исследовании Харриса, которое он проводил в клинике Св. Луки, группа пациентов, за которых молились, чувствовала себя на одиннадцать процентов лучше, чем те, за которых не молились. Ученые изучают этот вопрос уже не одно десятилетие. И продолжают им заниматься — потому что до сих пор так и не доказано, что молитвы не помогают людям. Нет сомнений в том, что молитвы оказывают на человека определенное влияние, но вот какое именно — в этом нам предстоит еще разбираться.

— Безусловно, из моих наблюдений следует, что молитва действительно оказывает свое воздействие на происходящее в мире. Но, возвращаясь к Мантре II...

— Послушайте, но это ведь просто смешно! Где доказательства? В исследовании Харриса, о котором вы, Роджер, говорите и о котором я подробно рассказываю в своей книге, даже сами исследователи признавали, что у одного пациента из двадцати пяти самочувствие улучшилось просто согласно фактору вероятности. Другими словами, результаты, которых они добились, могли быть получены и сами по себе, случайно, по стечению обстоятельств. А этого, уж извините, недостаточно, чтобы меня убедить. Люди перестали бы играть в лотерею, если бы из двадцати пяти номеров им обещали лишь один выигрышный.

— Итак, возвращаясь к Мантре II, — и, думаю, исследования Харриса это тоже касается, — вы бы для начала поинтересовались, кто занимается подсчетом результатов и каким образом их истолковывают.

— А, так у нас тут, оказывается, еще и заговор? Исследователи «скрывают истину»?

— Конечно нет. Но, возможно, такое явление, как молитва, невозможно адекватно истолковать в исследованиях со всеми их показателями, графиками и факторами вероятности. Как вообще можно подсчитать нечто подобное? Например, что такое «единица» молитвы?

— Думаю, здесь встает интересный этический вопрос о Боге. Как бы мы ни трактовали данные, полученные в результате исследований вроде Мантры II, следует задать себе вопрос: если молитва все же помогала людям, то что же это за Бог, если он помогает лишь тем людям, которые его об этом просят или за которых просят другие люди? Получается, что Бог обращается с разными людьми по-разному, а разве не все мы — Божьи дети и все перед ним равны?

— Да, это интересный вопрос. Возможно, концепция молитвы и заключается в ее парадоксе. Возможно, действительно нельзя молиться такому Богу, который ко всем относится одинаково. Возможно, в таком случае молитва и в самом деле становится чем-то лишним и неуместным. Если Бог любит всех одинаково, ему, вероятно, необязательно все время напоминать о том, что о людях надо заботиться? И в таком случае получается, что в молитвах нет никакой логики.

— Я согласен, это сложный вопрос. И все-таки есть же еще вот какой аспект: а что, если дело вообще не в Боге? Что, если успех молитвы служит подтверждением гипотезы о силе мысли? Может ли мысль всерьез влиять на материальный мир?

— Например, можно ли силой мысли гнуть ложки?

— Да. *(Смех.)* Думаю, в каком-то смысле гнуть ложки — это приблизительно то же самое, что и молиться.

Пока шел весь этот спор, я доела рис и закурила. По крайней мере, в комнате звучали чьи-то голоса, напоминая мне о том, что где-то за пределами этой комнаты и моего сознания существует реальный мир. И куда это, черт побери, меня сегодня носило? И когда можно будет снова туда вернуться? Теперь я все время думаю лишь об этом. Может быть, стоит поскорее попробовать еще раз? Тогда я смогу проверить: а) действительно ли это место настолько реально, как показалось мне сегодня днем, б) если оно реально (что бы ни подразумевалось здесь под реальностью), смогу ли я перемещаться в нем успешнее, чем в первый раз.

Мимо проехал поезд — интересно, куда и откуда? Сегодня я еще не выходила из дому.

Я выкурила еще одну сигарету, пытаюсь согреться, но ничего не получалось. Пожалуй, стоит вернуться в тропосферу хотя бы из-за этого: по крайней мере, там я не мерзну. Если бы только мне не казалось, что события сегодняшнего дня указывают на мою психическую нестабильность (сопереживать мышам — это уже серьезно...), и если бы мне не было так невыносимо холодно, это, несомненно, был бы лучший день в моей жизни. Поэтому я сделаю это еще раз. Выясню, правда ли все это (но постараюсь избегать встреч с кошками). А потом — что? Окончательно свихнусь? Отпраздную? Заработаю себе нервный срыв? До, во время или после такого, конечно, логичнее всего немедленно положить этому конец — чтобы больше не было никаких до, во время и после. Но, понятное дело, на это я не согласна. Я должна попытаться попасть туда снова.

Когда я уселась обратно на диван с инструментами, необходимыми для моего нового увлечения, — карточкой с черным кругом и бутылочкой с жидкостью, в дверь постучали. Вольф? Я решила не обращать на стук внимания, опустила на диван и, успев подумать что-то о том, что я никогда не лежала на кушетке у психиатра, выпила еще немного микстуры и поднесла карточку к глазам.

Туннель.

Дорога.

Дисплей.

Глава четырнадцатая

У вас есть двадцать семь возможностей.

Почему на этот раз возможностей больше? Ну, по крайней мере, я в том же месте, на той же пустынной улице и смотрю на те же самые вывески. Все они, за исключением одной, по-прежнему написаны на непонятном мне языке. А одна на этот раз подсвечена изнутри, и к тому же я могу ее прочитать. «Мышь 1» — вот что на ней написано. Похоже, я и в самом деле схожу с ума. Но здесь, в тропосфере, безумие не кажется чем-то таким, из-за чего стоит сильно волноваться. Как и страх, который я испытала в прошлый раз, — страх, не похожий на страх, — волнение вроде как здесь, но я его не чувствую. Ни учащенного сердцебиения, ни потливости. Я снова всего-навсего наблюдаю за собой на экране в кино. Или играю в компьютерную игру, где главный персонаж — я сама. И у меня есть двадцать семь вариантов выбора. Я до сих пор не понимаю, что это значит. И честно говоря, меня бы вполне устроило просто остаться здесь, на этой дороге посреди небытия, в блаженстве отсутствия всяких чувств. Неужели можно быть счастливой, пребывая в неведении? Нет. Я должна разобраться, как это работает. Что такое тропосфера? Размытый дисплей — прозрачная карта, которая накладывается здесь на все, что я вижу, и указывает мне, какие места «живые» — то есть в какие места мне можно входить. По крайней мере, так мне показалось в прошлый раз. Тогда мне удалось проникнуть лишь в одну квартиру, и теперь она обозначена вывеской «Мышь 1». А еще на этот раз, кажется, освещено изнутри одно из заведений через несколько дверей от меня. Это маленький музыкальный магазин с фортепиано в витрине. Я мысленно прошу

дисплей закрыться, и он уплывает из поля зрения. Теперь я могу разглядеть магазин как следует. Вот фортепиано: небольшое черное пианино с раскрытыми на пюпитре нотами. Приглядевшись, я вижу, что название написано по-немецки. Табличка на двери тоже на немецком: *Offen*. Я открываю дверь, и тут же раздается звяканье колокольчика. Я думаю, что сейчас увижу внутреннее помещение магазина, но, конечно, его тут нет.

У вас есть одна возможность

У вас... Я кто-то другой: человек, мужчина. Я сижу в кафе и чего-то жду. Мысли этого человека мне переводить не приходится: странное ощущение — действительно быть кем-то другим, но именно так это и выглядит. Конечно, это намного проще, чем быть мышью или кошкой. Я могу... Могу говорить по-немецки. Да я даже думаю на немецком! И знаю ноты. Я... Ладно, Эриел, довольно.

Итак, я сижу в кафе и смотрю на дно белой чашки: кофейная гуща в ней смешалась с давнишней серой пеной от капучино, я пьян в стельку, но в этом нет ничего нового. Как же он мог опять так со мной поступить? Опять. От одного только этого слова мне хочется плакать. Я чувствую их на коже, на щеках и на груди — мелкие мурашки провала ползут по мне, и все они повторяют это слово: опять. Он говорил, что уже недолго ждать. Но теперь кажется, что этого не будет никогда. Наверное, я не сказал чего-то важного. Или, может быть, не сделал чего-то важного. Мысль о том, что это случилось бы в любом случае, несмотря ни на что, слишком ужасна. Наверное, все дело в этой рубашке. Он ведь говорил, что ему нравится голубая — так почему же на мне это безобразное красное дерьмо?

В этот момент ко мне подходит официантка, и, как и писал Люмас, над ее телом появляются слабые очертания другого магазина, и я понимаю, что могу войти в эту дверь вместо того, чтобы оставаться «здесь» — что бы в данной ситуации ни означало это «здесь». Может, попробовать? А как же тот случай с мистером У, когда он сделал это, а его отбросило обратно в тропосферу? Я пытаюсь вызвать дисплей, но он не появляется. Я не стану делать ничего без его руководства.

Я снова вызываю его.

Он не появляется.

Ну что ж, по крайней мере, я провел с ним лишних пятнадцать минут. Но что такое пятнадцать минут воспоминаний в сравнении с целой жизнью вместе? С будущим, которое могло бы у меня быть. Мне следовало сказать ему об этом. Я знаю, что он хочет этого не меньше, чем я, но он, как все же выясняется, трус. Возможно, нужно было ему и об этом сказать. Роберт, ты — трус. А может быть, трус — я. Я не смог бы сказать ему ничего такого. Он вышел бы из себя. Сказал бы, что это переходит всякие границы. Глупые английские выражения. Переходит границы. Какие границы? Границы чего? Ах да. Границы вроде той, которую ты прочертил между мной и всем, чем я хотел бы стать и о чем хотел бы говорить. Границы вроде той, что пролегает между «нормальной» жизнью и другой, которую мы могли бы выбрать. А ведь и ты мог бы перейти эту границу. Ты обещал перейти ее. Ты обещал мне. Ты обещал. Ты обещал. А я был с тобой таким мягким эти последние недели, говорил с тобой, лишь когда ты хотел разговаривать, слизывал слезы с твоих глаз, когда на самом-то деле мне хотелось сосать твой член. Я делал все, что ты хотел.

Я вижу, как он входит в кафе за час до этого, опоздав на десять минут, как будто бы у меня все равно не может быть занятий интереснее, чем ждать его (но это и в самом деле так, Роберт: единственное, чем я хочу заниматься, — это любить тебя).

— Никак не получалось уйти, — сказал он. — Детишки творили.

Еще одно идиотское английское слово. Творили что? Дерьмо? Произведения искусства? Или и то и другое сразу?

Его детишки. С ними вместе он за какой-то еще границей. Но я достаточно долго притворялся, будто бы они мне интересны. Ладно, ладно — мне и в самом деле было в каком-то смысле интересно. Я представлял себе выходные, которые мы будем проводить с ними вместе когда-нибудь в будущем, когда Эта-как-ее-там наконец от тебя отвяжется.

Прогулки в парке. Большие рожки мороженого. Не то чтобы я все рассчитал наперед, но я мог бы включить это в свою программу. Я сделал бы это ради тебя, Роберт.

Столик, за которым я сижу, — сам по себе небольшое произведение искусства. Надо бы придумать ему название. «После предательства». Хорошо. Или так: «Все, что осталось». Две чашки, два блюда, один человек. Достаточно одного взгляда, чтобы понять: недавно здесь было двое, потом один ушел. У одного — срочная встреча, планы, жизнь. А второй — это я, и у меня в целом свете нет ничего, кроме этой кофейной чашки. Возможно, вы даже видели, как он уходил, ну, такой, с редкими волосами и в черных джинсах. Когда он пришел сюда час назад, на столе не было ничего, кроме красно-белой клетчатой клеенки, заламинированного меню и перечницы (солонки не было). Он извинился и сел за стол, и было заметно, как он дрожит.

— Кофе? — спросил я. Мне захотелось вмазать этому трясущемуся месиву. Захотелось сказать ему: да будь ты мужчиной! Если бы мне хотелось всю оставшуюся жизнь трахать девок, как думаешь, стал бы я сейчас все это затевать?

К нам подошла официантка. Они тут все говорят на французском — или, по крайней мере, изображают убедительный французский акцент, и поэтому он сказал «Кафе о лэ» с дурацким англо-французским произношением и потом еще добавил: «Мерси».

Вот идиот! И что же теперь? Теперь я хочу насать ему в лицо. Хочу утопить его в своем дерьме. Хочу сфотографировать, как он тонет в моем дерьме, и отправить снимки его подружке. Хочу написать концерт для фортепиано о том, как он тонет в моем дерьме, и сыграть на его похоронах, а потом еще и пустить этот концерт через колонки вечной стереосистемы у него на могиле, чтобы его родственники слушали его до скончания времен.

Но у меня еще оставалась надежда, когда он сел напротив и посмотрел на меня.

— Ну, как ты? — спросил он так, будто бы у меня рак.

(Ты мой рак, Роберт, ты, маленькая мерзкая шишка. От тебя у меня рак сердца.)

— А как ты думаешь? — спросил я.

Думаю, на самом-то деле я хотел сказать вот что: «Чудесно. Прекрасно. Моя жизнь — праздник, полный розовых воздушных шариков».

Но вот не сказал, жаль — получилось бы куда красивее.

Трясущейся рукой он зажег сигарету. Конечно же, это я научил его курить. Научил курить, пить и трахаться со мной. И показал ему то, что сам давно подозревал: что двое мужчин — союз куда более мощный, чем уравнивающие друг друга инь и ян, член и влагалище. Мы вдвоем открыли для себя красоту мужского тела. Неужели ты забыл, Роберт? Я даже купил тебе репродукцию «Давида» Донателло, когда едва хватало денег на еду. А ты в ответ подарил мне бюст Александра Македонского.

И сказал, что переедешь ко мне.

Сидя за столом чуть больше часа назад, он не был похож на человека, который собирается оставить семью и переехать ко мне. Но, с другой стороны, он вполне мог сильно расстроиться, если только что расстался со своей девушкой (они не женаты, несмотря на то что у них двое детей). Может быть, вот в чем дело, подумал я. Возможно, он расстроен из-за того, что рассказал ей, и сегодня вечером он переберется ко мне, и я налью ему водки, чтобы легче перенести потрясение, и отсосу у него так круто, что он никогда больше от меня не уйдет. Мне просто нужен шанс убедить его в том, что выбирать следует именно меня. Роберт представляется мне рыбой с крючком во рту. Если она дернет как следует, он снова к ней вернется — теперь я знаю это наверняка.

Роберт сидит напротив с сигаретой, замерев, словно кто-то нажал на «паузу». Мое сознание не проигрывает это воспоминание как фильм — вместо этого оно таскает меня повсюду, как овчарку на поводке, и заставляет поворачивать то в одну сторону, то в другую... И я начинаю думать, что надо бы написать учебник для других людей, оказавшихся в таком же положении. Или... Ладно. Веб-сайт. А ей можно послать ссылку — чтобы была в курсе.

kakmnetrahalimozg.com

Такой уже, наверное, есть. Впрочем, это не совсем то.

robertskotina.com

Чересчур конкретно.

kogdageterosexualobeschaetstatgeemnopotomperedumyvaet.com

Он отхлебнул кофе. Я сидел лицом к двери — расположился как коврик с надписью «Добро пожаловать» (еще одно идиотское изобретение придурков-англичан), чтобы он вытер об меня ноги. И вот теперь он сидел передо мной, пил кофе и смотрел мимо меня на стену, увешанную открытками с видами Парижа, а я наблюдал за тем, как люди выходят из кафе, подобно бактериям, которые отправляются на поиски новой жертвы, которую можно заразить. В это время дня новые посетители уже не приходят — как будто заведение приняло антибиотик.

— Ты в порядке? — снова спросил меня Роберт.

— Сам не знаю.

Прошлой ночью он собирался прийти ко мне, чтобы отпраздновать начало нашей новой совместной жизни. Я порвал с Кэтрин, и теперь только оставалось ему разойтись со своей подружкой. Он не пришел. Но зато позвонил мне в полночь и идиотским шепотом пролопотал, что все слишком сложно и что нам надо встретиться завтра в этом кафе. Я сказал, что купил цветы. Он сказал, что ему пора. Я предложил встретиться лучше у меня — тем более что я живу буквально в двух шагах от этого кафе. Он сказал, что это не слишком удачная мысль.

Итак, теперь мы сидели в кафе. И я знал, что он этого не сделал.

— Ты не сказал ей, — начал я.

Его до сих пор трясло.

— Сказал, — возразил он мне. — Сказал вчера вечером.

— Черт, — выдохнул я. — Я не знал. Прости. Ч-ч-черт. Ты в порядке?

Я перегнулся через стол и дотронулся до его руки. Конечно, я все ему простил. Ведь он сделал это. Он ей сказал. Ну вот, именно этого я и хотел. Точнее, мы оба этого хотели. Но куда же он пошел вчера ночью? Я стал размышлять, куда бы он мог пойти, а он в это время убрал свою руку.

— Не надо.

— Почему?

— Я сказал ей. Сказал, что ухожу.

— Но это ведь прекрасно! Если только... Нет, нет, понятное дело, ты будешь переживать, но я постараюсь тебе помочь. Теперь все будет хорошо.

— Прости меня, Вольфганг. Я передумал.

А засунь-ка мой мозг в микроволновку, дружище!

— Я сказал ей. Сказал: «Я ухожу», а она мне ответила: «Нет, не уходишь». Вот так просто. Она знала, что что-то происходит. Она ведь не дура. Мы... О господи, я даже не знаю, что сказать, я так устал.

— Мы — что? — спросил я. — Ты не договорил. Мы...

— Мы хотим попробовать еще раз.

Для этого придурка отношения — это что-то вроде игры в волчок. Ой, не вышло, можно, я попробую еще раз? Я ничего ему не ответил, поэтому он просто сидел и говорил. Говорил о том, что вот он, мол, думал, что он гей или, возможно, хотя бы бисексуал, но что при этом он может продолжать жить со своей девушкой, и что ведь к тому же у них двое детей, и что она была права, когда сказала, что ему стоит подумать в первую очередь о них, а уже потом — о своем члене.

Дисплей!

Дисплей?

Дисплей?

Вот черт. Пора отсюда валить. Я понятия не имела, что это — разум Вольфа, хотя, наверное, мне бы следовало догадаться. Черт, черт, черт. Не могу поверить, что я вот так

ворвалась в его личную жизнь. Я не должна была ничего этого знать. Я и не подозревала. О, Вольф... пожалуйста, прости меня! Куда подевалась официантка? К сожалению, я не могу смотреть по сторонам — я вижу лишь то, что видит Вольф, а он смотрит на стол. Никаких дверей. Никаких полупрозрачных картинок.

Дисплей?

Но он не появляется. Я застряла.

Теперь он встает — собирается уходить. И по-прежнему ни на кого не смотрит.

И я узнаю его чувства. Со мной было такое — сколько? — семнадцать лет назад. О боже, какой же старой я себя чувствую. Я была влюблена, безумно и невинно, в первый и единственный раз в своей жизни, в парня, который писал диссертацию в то время, как я сдавала выпускные экзамены в школе. У него были темные волосы до плеч и маленькая голубая «мини». Стоило мне увидеть ее припаркованной на стоянке у университета, как по всему телу у меня пробежала дрожь — так бывает, когда дотронешься до сердца подставного парня (или дыры в форме этого парня) в этой их игре «Операция». Потом он бросил меня, потому что я была для него слишком молода, и я целый год чуть ли не преследовала его (однажды даже оставила у него на пороге кактус очень странной формы), пока наконец не решила раз и навсегда завязать с любовью.

Вольф, впрочем, не собирается никого преследовать. Лучше он пойдет напьется. Пойдем напьемся...

Пойду напьюсь.

За окном пошел снег. Люди-бактерии на тротуаре превращают снежные хлопья в растворимую кашу — точь-в-точь такой же консистенции, как у лимонада со льдом, который готовила для нас мать Хайке, когда мы заходили к ним после уроков прямо в школьной форме. Вот только эта дрянь на улице — коричневая и грязная. Вот тебе и пожалуйста: вся жизнь выражена в одном мгновении. Начинаешь с чистого льда в стакане с лимонадом, а заканчиваешь вот таким вот дерьмовым месивом. Вот чем ты стал. И я хорошо знаю, куда иду, поэтому на автопилоте пробираюсь через коричневую жижу и не плачу. Пока не плачу.

Но все будет хорошо. Если выпить достаточно бурбона, человеческие черты очень быстро стираются. К трем часам ночи мне будет на все наплевать. Может, даже уже через час анестезия подействует и я перестану думать о том, когда же наконец польются слезы. Дует ледяной ветер вперемешку с жидким снегом, но, пошло все к черту, я не буду застегивать пальто. Шарф я, кажется, оставил в кафе. Ну и отлично. Может, замерзну насмерть. Отличная будет картина: я — насмерть замерзший и с разбитым сердцем, на лавочке в парке. Роберт прочитает об этом в местной газете и... Хотя все может быть еще печальнее. Я все так же умираю на скамейке в парке, все такое, а этот пидор ничего не узнает. Я могу умереть, и никто даже не заметит. Ну, может, Эриел заметит через несколько дней. Кэтрин теперь, думаю, наплевать. Она ничего не сказала, когда я сообщил, что ухожу от нее. Даже не плакала. Не сказала, что я ошибаюсь. Не пыталась убедить меня перестать думать о мужчинах. Может, и правда, пойти в парк и растянуть все пуговицы на этой уродской красной рубашке? Но нет, что бы я там кому ни говорил, я не из тех, кто кончает с собой.

Какой-то деловой парень идет мне навстречу, прикрывая голову газеткой — чтобы снежинки не попадали на его лысый череп. Эй, придурок! Ты хоть раз кому-нибудь отсасывал? Вот, например, я — да!

Хотя, подумаешь, чего уж тут такого. Наверняка он тоже это делал.

(Над бизнесменом появляется иконка-дверь, но я не знаю, хочу ли я туда, а потом Вольф отворачивается, и дверь исчезает.)

Я хочу боли. Физической боли, а не этого дерьма в голове. Сейчас было бы в самый раз пойти к зубному. Здравствуйте, уважаемый Доктор. Делайте со мной все, что пожелаете...

Может, вмазаться башкой в фонарный столб? Или найти какого-нибудь чокнутого футбольного хулигана, чтобы тот попинал меня ногами, пока я бы лежал на земле, скрючившись в форме зародыша? Я направляюсь в сторону Вестгейт-тауэр, самой тесной

дыры в центре этого города. Помню, однажды я отозвался так об этом месте, и тот, с кем я разговаривал, аж глаза вытаращил от удивления. «Ну, вы, наверное, просто никогда не видели, как здесь пытается протиснуться автобус? — спросил я. — Этим улочкам всем нужен лубрикант». Ха-ха. Если мне хочется драки, я пришел не в тот район. Можно двинуть поближе к дому и пошататься у ларька с кебабами — дождаться какой-нибудь компашки «братанов». И что потом? А потом достаточно просто уставиться на одного из них. Можно даже ничего не говорить. А вообще-то знаете с кем мне хочется подраться? С какими-нибудь обдолбанными педиками, которые под конец еще и кулак засунут тебе в задницу. Мне хочется такой боли, которая была бы сильнее той, что у меня сейчас внутри.

Дисплей?

Дисплей?

Ничего. А Вольф смотрит только на тротуар.

Мы идем дальше, в сторону церкви Св. Дунстана, и наконец останавливаемся у какой-то двери, которой я никогда раньше не замечала. Точнее, я вроде как никогда не замечала ее и в то же время понимаю, что прихожу сюда довольно часто. За дверью — лестница вниз, в подземный бар. Я сижу здесь до самого закрытия и пью «Джек Дэниелс», пристально разглядывая каждого парня, который проходит мимо. Думаю, рано или поздно кто-нибудь из них на это отреагирует. Кто-нибудь из них захочет меня избить или засадить мне — но, слушайте, я вам что — невидимка? Может, правда? Может, я стал невидимым. Когда объявляют последние заказы, я подхожу к стойке еще за тремя рюмками.

— Вы меня видите? — спрашиваю я у бармена. — Я видимый?

Эти пидоры выкидывают меня на улицу. А я ведь еще даже не надрался как следует. Иду в отель.

Сегодня за старшего бывший вышибала по имени Уэсли.

— Эй... сегодня вроде не твой день, — говорит он мне.

— Выпить, — отвечаю я. — Я только выпить.

Внутри у меня все горит. Надо что-то с этим делать. Я собираюсь объяснить это Уэсли, но он говорит просто:

— Ладно. Но только не больше двух, брат.

Сегодня за фортепиано Мелисса. Я устраиваюсь в ближайшую кабинку и тарашусь на нее так нагло, что она ошибается три раза за такт. Ну, во всяком случае, мне эти три ноты показались неправильными. Мне сейчас весь мир кажется неправильным. Почему я здесь? Ах да. Этот ублюдок Роберт. Может, когда я вернусь домой, он будет ждать меня там с чемоданчиком, утирая слезы скомканным платком?

В моих мечтах. Или, как говорит Эриел, в другой вселенной — той, в которой я, возможно, еще и богач. Кстати о богатстве: когда я выйду отсюда сегодня, у меня не останется ни пенни. Интересно, она не одолжит мне денег? Нет. Она ведь рассказала, что все потратила на книгу. Что, если ее украсть? Она ведь говорила, что это одна из самых редких книг в мире... И как я это сделаю? Зайду выпить перед сном и, уходя, не стану захлопывать дверь. А чуть позже вернусь и...

Ты подонок, Вольфганг. Вы ведь друзья.

Пианино так сияет, но кажется, сейчас ухромает отсюда на своих четырех ногах. Меня сейчас стошнит... Та-ак, держись, держись. Надо сходить отлить — это поможет.

Я один в залитом флуоресцентным светом туалете, писаю в керамический писсуар, и тут входит этот парень. Думаю, его фоторобот выглядел бы более привлекательно, чем он сам. А может, он и есть фоторобот. Огромные брови как-то не очень хорошо сочетаются с крошечными, как у улитки, глазками. А может, все дело в носе, который как будто сняли с другого лица и прилепили сюда — или как будто ему только что кто-то хорошенько вмазал. Он подходит, встает рядом со мной, достает свой член, но отливать не начинает. Смотрит на меня, потом на мой член, потом — мне прямо в глаза. Я смотрю на его член. Он снова смотрит на мой. Это что — какой-то секретный код? Я не успеваю понять, что произошло, как мы оба оказываемся в одной из кабинок. Я стою на коленях на липком плиточном полу, а

он трахает меня в рот. Единственный вкус, который я чувствую, — это вкус холодной мочи.

Закончив дело, он обзывает меня сукой и уходит. Я снова думаю о «Давиде» Донателло, и только теперь наконец приходят слезы — после того, как меня вывернуло в унитаз — «Джеком Дэниелсом» вперемешку со спермой и одним лишь воспоминанием о кофе. С женщинами проще. Я найду себе женщину, которая мне поможет. Я... Вот черт. Не думаю, что мне когда-нибудь еще захочется заниматься сексом. Но ведь без секса в жизни ничего не добьешься, или хотя бы без обещания секса (если, конечно, я ничего не перепутал и не имею в виду на самом-то деле не секс, а жестокость, но все оттого, что я выпил). Может, попробовать повеситься — хотя бы пожалеет кто-нибудь. Здесь-то я уж точно ничего не перепутаю.

В следующие несколько минут происходит непонятное. Уэсли — я уверен, что это именно он, — входит в уборную в тот момент, когда я открываю дверцу кабинки. Он тащит меня по коридору на кухню, и там я ухитряюсь угодить локтем в вазочку с креветочным коктейлем, после чего он впечатывает меня лицом в рабочий стол из нержавеющей стали.

— Чтобы в моем отеле больше такого не повторялось, гребаный пидор! — говорит Уэсли. Я искренне не представляю, о чем это он. Не думаю, что он меня увольняет. Думаю, это что-то вроде первого формального предупреждения. Что-то у меня болит — ах да, заломленная за спину рука.

— Ну, давай сдачи, голубь, — говорит он, оттаскивая меня назад за воротник.

Я смеюсь, совсем забыв, что в данном контексте голубь — это отнюдь не ласковое обращение и не сравнение с птичкой.

— Это ты надо мной смеешься?

Я разворачиваюсь, вижу кулак — и наступает полная темнота.

Дисплей?

Ничего.

По дороге домой я пытаюсь попасть под машину. Даже прохожу через Уэстгейт-тауэр — шагаю прямо по шоссе, приговаривая: «Мать вашу, мать вашу», но машины просто сбавляют ход и едут за мной, словно перед ними похоронная процессия, а не надрвавшийся парень, которому надо как следует наподдать. В парке я пристаю к юной парочке, сидящей на скамейке, но они делают расстроенные лица и убегают. Мне кажется, я мог вообще-то и забыть, где живу, но потом оказываюсь здесь — и вот мой велосипед.

Прежде чем войти в дом, я дважды сплевываю. Двое парней в черной машине смотрят на меня как-то странно, после чего отъезжают немного вперед и останавливаются за углом. Может, они сейчас выйдут из машины и придут меня избить? Мне по-прежнему этого хочется? Но ничего не происходит — похоже, они там уснули.

Уснуть... Неплохая мысль. Может, сейчас пойду, лягу спать и уже не проснусь. Интересно, у Эриел есть снотворное? Вряд ли. Может, зайти к ней? Я не слишком взбудоражен? Если взглянуть правде в глаза, как я буду сейчас выглядеть, если постучусь к кому-нибудь в дверь? Вообще-то не думаю, что мне хватит сил даже на то, чтобы подняться по лестнице. По-моему, можно вполне уютненько устроиться и на асфальте. Пожалуй, сейчас я просто...

— О! Кхм... Прошу прощения.

Кто это сказал? А... Какой-то парень спускается по лестнице. Ого! Вы только посмотрите на его скулы. Но — черт. Он весь в синяках. Он что — спал с Эриел? Я бы на ее месте с ним переспал. Он выглядит так, как выглядела бы она, будь она высоким мужчиной с темными волосами. Это Эриел-мужчина, Эриел-он. Что он здесь делает? Может, это и в самом деле переодетая Эриел? С чего бы ей переодеваться и изображать чужой акцент? Он просит прощения. Просит прощения за то, что я укладываюсь спать там, куда он собрался поставить ногу. Не понимаю, что тут вообще происходит. Все слишком сложно. Пожалуй, надо просто пойти домой и лечь спать.

— Экскюзе муа, — говорю я по-французски, чтобы сбить его с толку. И начинаю подниматься.

— Вам помочь? — спрашивает он.

— Найн, данке.

Ну да, я — полиглот. Ха-ха, смешно.

(Мое сознание — в форме не лучшей, чем сознание Вольфа, такое впечатление, как будто бы то, что он выпил, действовало и на меня. И все-таки у меня хватает сил подумать: Адам. Что здесь делает Адам?)

— Вы — сосед Эриел?

— Си, — отвечаю я и глупо ржу. — Йа-йа.

Он проводит рукой по своим взъерошенным волосам и вздыхает:

— Мне нужно ее найти.

— Она живет наверху... на небе. — Я хотел сказать «на втором этаже». Ой, не могу, ну и ржач.

— Я знаю, где она живет, но она не открывает.

— Она ушла... У нее встреча с этими придурками... с пидорами то есть...

— С кем?

— Ужин. С людьми с работы. Или это было вчера. Извини... Я слегка перебрал. Понимаешь, со мной сегодня произошла такая дурацкая и трагическая история, и я...

— Послушай, мне очень жаль, друг. Но если ты не можешь мне помочь, не надо. Только не задерживай меня, хорошо? Дело очень серьезное. Ее жизнь в опасности, если ты сейчас понимаешь, что это значит.

— В опасности? Из-за члена?

— Что? Твою мать, да соберись же ты!

— Опасность. Опасность! Эриел в опасности? Мы должны ей помочь. Где огнетушители?

— Слушай, ладно, я пойду.

— Прости, что я в таком состоянии. Давай я тебе помогу, пожалуйста. Мы с ней друзья, понимаешь.

Он вздыхает.

— Значит, так: есть два человека. Один в черном костюме, другой — в сером. У обоих светлые волосы вроде твоих, только еще светлее. У одного из них борода. — Парень размахивает в воздухе руками, как будто бы надеется жестами нарисовать портреты этих двоих. — Думаю, они в черном седане. Ты их не видел?

— Кто? Они здесь? Нет. Не знаю. Там черная машина...

— Где?

— Что «где»?

— Ты сказал что-то про черную машину.

— Да? Извини, не помню...

— Слушай, я думаю, у этих ребят с собой пушки. Они очень опасны. Они были в книжной лавке и там получили информацию об Эриел. Она купила книгу, которая им нужна — пока я больше ничего не смог узнать.

— Ах вон оно что. Ну нет, Эриел не продаст эту книгу. Никогда.

— Что это за книга?

Не говори ему, Вольф. Не говори!

— Это... Ой, меня тут какой-то голос в голове просит, чтобы я тебе не говорил.

— Что это за книга?

Я мотаю головой:

— Нет, извини. Господин Доктор велел молчать.

Во всех этих голосах у меня в голове можно запутаться. Один просит ничего не объяснять, другой говорит, что надо пойти и немедленно забрать книгу. И — черт! — не продать ее, а отдать этому славному человеку, когда он меня об этом попросит...

Вокруг тела Адама мигает изображение двери — немного похожей на те, какие бывают в церквях.

«Переключайся! — команду я. — Переключайся!» Я должна выяснить, что здесь происходит. Я начинаю размыкаться, но вместо того, чтобы оказаться в сознании Адама, я, кажется, снова падаю, но не вниз. Еще даже не успев разобраться, как это можно падать в каком-то другом направлении, кроме как вниз, я приземляюсь рядом с музыкальным магазином. Я снова в тропосфере, лежу на щебенке, глядя на неоновые вывески и черное, беззвездное небо. Как будто бы кто-то нажал на кнопку и разом все отключил — пульсацию головы Вольфа, запах сырого асфальта, холод, шум машин, доносящийся с улицы. Как и раньше, в тропосфере стоит почти идеальная тишина. Никаких звуков — ни птиц, ни машин, ни людей. Единственный звук, который я здесь слышала, — это звук моих собственных шагов. А лифты здесь двигались бесшумно? Уже не помню.

Надо поскорее выбраться отсюда и найти Адама.

С чего это людям с пушками понадобилось разыскивать книгу? Я не очень хорошо знаю Адама, но очевидно, что он действительно верит в то, что говорит, и по-настоящему пытается мне помочь. Неужели он привел ко мне этих людей — людей на черной машине? Или мне вообще все это снится? Как-то тревожно то, что Адам сказал о девушке из книжной лавки. Судя по всему, он не знал, что произошло и почему, но я-то могу представить, как все было. Это ведь логично: если тебе нужно «Наваждение», ты ни за что не прекратишь его искать — уж мне-то это хорошо известно. Эти люди, должно быть, задали название в поисковике и нашли интересную новую ссылку — девушка писала, что продала книгу в букинистической лавке. Итак, они находят лавку, идут туда и спрашивают, кто купил книгу. Насколько я понимаю, она не может вспомнить ничего, кроме того, что я — молодая женщина, которая пишет диссертацию в университете. Что же происходит дальше? Эти люди заходят на университетский сайт и задают в поиске слово «Люмас». И обнаруживают его в списке моих научных интересов на странице «Наши сотрудники». И так они понимают, что книгу купила я. Они приезжают меня искать... А найти меня ничего не стоит. Всех, кто обитает в университете, найти ничего не стоит. С какой стороны ни начни копать, обязательно наткнешься на меня: Эриел Манто — мой псевдоним, мой никнейм, имя, которое я взяла себе в восемнадцать лет, когда мне хотелось перестать оставаться самой собой. Эриел Манто. Область исследовательских интересов — Деррида, естественные науки и литература, Томас Э. Люмас.

По крайней мере, часть про Эриел — настоящая. И кстати, новую фамилию я выбрала из чисто поэтических соображений, а не ради баловства.

Густая тишина тропосферы уберегает меня от паники, поэтому я спокойно поднимаюсь с земли и направляюсь к выходу, хотя какая-то часть меня хочет просто взять и остаться здесь, где они не смогут меня достать. Город, который целиком принадлежит мне одной, — это все же приятнее, чем люди с пистолетами. Но потом я представляю себе, как крепко отключилась там, на диване в реальном мире, если даже не слышу стука в дверь. Ну же, Эриел, давай. Выходи отсюда и беги. Поговори с Адамом, сделай все, что нужно, но если в дело включились парни с пушками, лучше все же беги. Выходи и беги. Выходи и беги. Выходи и...

У меня за спиной что-то звякает.

А затем раздается скрип: долгая, пронзительная дуга из звука. Я оборачиваюсь. Этого быть не должно. Я ведь должна быть здесь совсем одна. Я ведь должна...

Это дверь. Открывается какая-то дверь. Дверь музыкального магазина. О, черт. И из нее выходит мужчина — нет, двое мужчин. Они входят в тропосферу как инопланетяне из своего космического корабля. Они выглядят точь-в-точь как описал их Адам: один в сером костюме, другой — в черном. Оба — со светлыми волосами. Но в них есть что-то мультяшное. Как будто бы их изображения вырезали в каком-то другом месте и поместили на здешний фон. И у них с собой... хм... дети. Два маленьких мальчика с такими же светлыми волосами, как и у мужчин, ну, разве что чуть-чуть светлее.

— Вон она, — говорит один из них, тот, что в сером костюме, и движение его губ не вполне совпадает со звуком. — Уже научилась, как сюда попадать.

Американский акцент. Твою мать. Может, побежать и оторваться от них в переулках? Что-то подсказывает, что это не лучшая идея.

— Не волнуйся, — говорит второй. — С этой мы запросто справимся. — А потом он обращается ко мне: — Не мешай нам. Ну, давай. Волноваться незачем. Мы только позволим детишкам слегка порыться в твоих мозгах — посмотреть, куда ты спрятала книжку. Больно не будет.

Дети, танцуя, двигаются вперед, словно две марионетки. Кожа у них — цвета сырого мяса, только что из холодильника. Один одет в костюм ковбоя, второй — в голубой плащ с капюшоном.

— Дай войти, — напевает один из них, будто бы снимается в массовке в постановке Диккенса.

— Хотим играть, — подхватывает второй.

Глаза у обоих насмешливые и до того светлые — почти белые.

— Не мешай нам, — снова говорит черный костюм. — Дай детишкам поиграть.

Не мешать? Ну уж нет. Но и подпускать близко к себе этих странных уродцев — мужчин и детей — я не собираюсь. Я медленно пячусь подальше от них, но все четверо наступают. Вдруг я обо что-то спотыкаюсь — я было подумала, что это вывеска одного из магазинов, но, оказывается, это пачка газет и открыток. Я быстро нахожу равновесие и толкаю пачку им под ноги. Дети замечают стопку и перепрыгивают через нее. А вот мужчины, похоже, и вовсе не сообразили, что я такое сделала.

— Что бы ты там себе ни надумала, — говорит серый костюм, — этому конец. Так что давай. Пошевеливайся. Нам просто нужно пройти. Вот черт! Что это за хрень? Да прекрати же ты! Ну?! Ты только все испортишь. А ведь в этом нет ничего сложного, понимаешь?

Они хотят пробраться в мое сознание? Но как? Думай, Эриел, думай! Где же они сейчас? Ну, хорошо, сейчас они в тропосфере — как и я. Ну же, давай, придумай что-нибудь! Чтобы снова вернуться в себя реальную, я иду по дороге, которая сейчас лежит у меня за спиной, — до тех пор, пока не приду к туннелю. Значит, их нужно остановить прежде, чем они туда попадут. Возможно, это не самая правильная версия, но это лучшее, на что я способна.

Помоги мне, думаю я. Но ничего не происходит. Или все-таки происходит? На щебенке рядом со мной теперь лежит железный прут. Я наклоняюсь и поднимаю его.

— Кто вы такие? — спрашиваю я у них.

Они продолжают наступать, занимая почти всю ширину улицы.

— Мы всего лишь хотим получить книгу, — говорит серый.

— И надемся, что вы нам в этом поможете, — говорит второй.

— Впрочем, если нет... Что ж, вообще-то нам не важно, каким образом эта книга попадет к нам. Затаиться, как сделали вы, в сознании своего друга и просто тихо наблюдать оттуда за происходящим вокруг — это только первый уровень. А вот когда наши ребятишки заберутся в мозг к вам, они просто порвут его на спагетти!

Первый ребенок поет первую строчку детской песенки про макароны.

— Отвалите от меня, — предупреждаю я. — Отвалите, мать вашу!

Я замахваюсь железным прутом на мужика в сером костюме — того, что стоит ближе ко мне. Он не реагирует на мои телодвижения до тех пор, пока железяка с гулким звоном не опускается ему на голову — такое впечатление, будто он вовсе и не видит этого прута. Как бывает с газетными стойками в магазинах.

— Ах ты сучка! — говорит он мне, шатаясь и сжимая голову руками. И добавляет товарищу: — Мартин, у нее пушка.

— Ты ведь знаешь, что надо делать, — отвечает тот. — Можно покончить с ней прямо здесь и потом пойти в ее квартиру и забрать книгу. Она наверняка стоит себе преспокойно на полочке или где-нибудь вроде того.

Один из мальчиков ковыряется в носу и, по всей видимости, ждет, что же взрослые будут делать дальше. Второй, может совсем немного постарше, смотрит на меня.

— Когда я попаду в твой разум, — говорит он, — я пописаю на все твои воспоминания. А потом вывалю все остальные твои мысли через глазницы. И ты не сможешь мне помешать.

Я вижу себя в сумасшедшем доме, со слюной на подбородке. Так что там, говорите, с ней случилось? Ах, она сошла с ума. Сначала возомнила, что имеет способности к телепатии, а потом ни с того ни с сего ее мозг просто перестал работать. Превратился в спагетти — ну вот буквально в спагетти. Такая жалость. Она ведь писала диссертацию до того, как это произошло. И я никогда-никогда не смогу никому рассказать о том, что со мной случилось. У меня не будет памяти. Я останусь... Так, ладно. Теперь мне уже по-настоящему страшно.

Дисплей?

Наконец-то эта штукавина появляется. Все четверо — и мужчины и мальчики — выделены теперь красным цветом. Опасность. Ага, спасибо, я уже и сама догадалась. Узкая улочка у них за спиной почему-то выглядит на дисплее монохромной. Что-то новенькое.

Возможностей больше нет, — говорит голос женщины.

Как это — нет?

Все закрыто.

Хорошо. Тогда скажите мне, что делать. Какие варианты?

Вы можете выйти из тропосферы.

Я не хочу из нее выходить. Если я выйду, эти психи залезут мне в голову.

Возможностей больше нет.

Значит, все? Просто выходи и умирай?

Вы можете выбрать игру с карточкой Аполлона Сминфея.

Что?

Приближается опасность...

Дисплей знает, что говорит. Человек в черном костюме подходит ко мне с... А-а! О, черт! Я думала, здесь не бывает чувства боли. Ч-ч-черт. Боль как при месячных, только сейчас она в голове. Зубная боль мозга... Я падаю на колени. Ладно, говорю я дисплею. Я выбираю игру с карточкой Аполлона Сминфея. Немедленно. Сейчас же. О боже...

Глава пятнадцатая

Сколько прошло времени? Я не знаю. Но мужчины и двое ужасных мальчишек ни на шаг не продвинулись вперед, и теперь рядом со мной находится что-то (или кто-то?) еще. Я по-прежнему стою на коленях на черной щебенке и держусь руками за голову, изо всех сил сдавливая ее пальцами, чтобы прогнать боль. Я сильно ошибалась по поводу тропосферы, полагая, что здесь невозможно почувствовать боль. Оказалось, что боль здесь куда сильнее, чем мне доводилось испытать в реальной жизни. И она не просто сильная, но еще и самой ужасной формы, какую только можно себе вообразить: не острая, как при порезе ножом, или когда делают татуировку, или царапает кошка. В головной боли вообще мало приятного, но эта — худшая из всех, какие меня когда-нибудь терзали. Мозг словно выжимают, как мокрую посудную тряпку. Похоже, глаза закрыть не получается, хотя вообще-то меня мутит от мигающих неоновых ламп. И вообще, эти неоновые лампы начинают как-то распадаться на куски. И все вокруг тоже разваливается и превращается в какие-то серые телевизионные помехи: магазины, жилые дома, вся улица целиком. Тропосфера шипит и потрескивает, как будто ее транслируют не на той частоте.

Даже здешняя тишина стала для меня чересчур громкой — а теперь еще это шипение разрослось до невыносимого треска, будто бы горят сухие деревья в лесу, и двое в костюмах начинают говорить что-то вроде: «А это что еще за хрень?» — и мне хочется умереть, и как можно скорее — чтобы больше ничего этого не чувствовать. То, что стоит рядом со мной, одето в красную мантию и черные ботинки, но я вижу, что под мантией — животное: какой-то мышинный гибрид с мохнатыми серыми ногами. Я успеваю заметить лишь это — и тут его изображение начинает разваливаться, как и все остальное. Теперь я хочу только одного: чтобы это произошло как можно быстрее, чтобы все наконец выключилось и

оставило меня в покое.

Аполлон Сминфей, если это он, говорит что-то на языке, которого я не понимаю, и боль уходит, а вместе с ней уходят и помехи — как будто бы кто-то подрегулировал настройки и изображение опять стало отчетливым и ярким. Я встаю, немного пошатываясь. На задних лапах Аполлон Сминфей выше меня чуть ли не на несколько футов. На плече у него висит колчан со стрелами, его лицо, похожее на острую мышиную мордочку, покрыто серым мехом, и усы у него тоже мышинные. Пожалуй, никого более странного я в своей жизни еще не видела. Но когда он снова начинает говорить, это уже английский, хотя и с американским акцентом.

— Так-так, — говорит он. — Это что-то новенькое. Кто эти люди?

— Не знаю, — отвечаю я.

— Но это ведь плохие парни?

— Да. Если вы можете мне помочь... — Я чувствую, что вот-вот расплачусь. — Прошу вас...

— Ладно. Не беспокойтесь.

Он снова начинает говорить на том, другом языке. Одновременно он достает свой лук и заряжает его стрелой из колчана. Затем он выстреливает этой стрелой в парня в сером костюме, но тот, похоже, каким-то образом отводит ее от себя. Что происходит потом, я не очень хорошо понимаю. Дети прячутся за ногами мужчин, и на Аполлона Сминфея движется светящийся желтый шар, но он просто поднимает руку и отбивает шар обратно — в мужчину в черном. Тот падает на пол, хватаясь руками за голову, точь-в-точь как это делала я. Детишки смотрят на него, затем — друг на друга, а потом разворачиваются и бегут по улице. А Аполлон Сминфей заряжает лук еще одной стрелой и стреляет в мужчину в сером. Стрела застревает у него в шее, но никакой крови нет: он только слегка пошатывается, видит, что произошло, и, вцепившись в стрелу обеими руками, вытягивает ее, оставив на месте ранения зияющую дыру с болтающимися обрывками кожи, как в каком-нибудь тошнотворном порновидео в Сети.

Когда он начинает говорить, я вижу, как дергаются его голосовые связки.

— Слушай, ты! — говорит он каким-то простуженным голосом. — Какого черта ты занял ее сторону?

— Ну, она просто меня об этом попросила, — говорит Аполлон Сминфей.

— Что же она такое, мать ее, сделала, чтобы до нее снизошел Бог?

— Она поступила старомодно — выручила мышь, — говорит Аполлон Сминфей, перезаряжая свой лук. — А теперь, как говорят в Иллинойсе, катись ко всем чертям, придурок.

Иллинойс? Бог? Наверное, я все-таки сплю. Ничего подобного с мистером У не происходило. Наверное, все это — воздействие на мой слабый мозг телевидения, кино и — хоть я и нечасто в них играю — видеоигр. Вот это уже настоящее безумие. Но, должна признаться, я даже получаю удовольствие от того, как Аполлон Сминфей пускает стрелы в блондинов, как будто они — плоские картонные мишени в тире для лучников. Правда, они пока не умерли, но сломлены. Интересно, что здесь нужно сделать, чтобы кого-нибудь убить? Аполлон Сминфей подходит к ним и, вытащив из-под мантии моток веревки, крепко привязывает их друг к другу. А потом направляется ко мне, что-то тихонько приговаривая. И пока он приговаривает на своем странном языке, вокруг этих двоих выстраивается клетка в форме колокольчика — как клетка для птиц, сделанная из серебристой проволоки. Когда он возвращается ко мне и поворачивается посмотреть на свою работу, люди в костюмах уже за решеткой и без сознания — прямо как в сказке.

— Ну вот, — говорит он.

— Спасибо, — отвечаю я. — Большое спасибо. Я...

Я оглядываю улицу — вроде бы ни мальчика в капюшоне, ни мальчика-ковбоя нигде не видно.

— А что с этими детьми? — спрашиваю я.

— О них можете не волноваться. Кофе? Можем пойти ко мне, и я все объясню. Ох, простите мою бестактность — конечно, я могу принести свой дом сюда. Или, может, вы хотите вызвать свой?

Я не понимаю, о чем он, и просто киваю.

— Давайте у вас, — говорю я.

Аполлон Сминфей снова принимается произносить какие-то заклинания, и между музыкальным магазином и чем-то вроде здания бассейна (которого я прежде не замечала) открывается арка. Она похожа на взрослую, «настоящую» версию мышиной дыры в стене из мультфильмов про Тома и Джерри. Мне кажется, что больше я уже не вынесу. Если все это происходит в моем воображении, то я еще более чокнутая, чем могла себе представить. Наверное, мне пора к врачу...

— Сюда.

Мы проходим через арку и попадаем в нечто среднее между мышиным жилищем и минималистской манхэттенской квартирой — иначе, пожалуй, и не опишешь. Стены выкрашены в белое, и в доме, пожалуй, было бы светло и просторно, если бы здесь хоть иногда вставало солнце и если бы большие окна в дальней стене не были занавешены грубыми коричневыми одеялами. Вдоль стен стоят полки из соснового дерева, но на них ничего нет. На столах — тоже ничего. Пол покрыт чем-то вроде лакированных паркетных досок, но их едва можно разглядеть из-за опилок, которыми здесь все усыпано. В углу комнаты — гнездо: куча белого пуха, сваленная клубком. Аполлон Сминфей проводит меня через эту комнату в следующую. Эта больше напоминает гостиную восемнадцатого века — с открытым камином и двумя креслами-качалками.

— Пожалуйста, садитесь, — говорит он. — Я сварю кофе.

Я готовлюсь к тому, что сейчас он возьмет старомодный кофейник и повесит его над огнем, но ничего такого он не делает. И тем не менее, когда я бросаю взгляд на стол, там, на соломенной подставочке, стоит кружка с дымящимся черным кофе.

— Итак, — говорит он. — Вы — не бог.

— Думаю, нет, — отвечаю я. Мне хочется улыбнуться, но я все еще не пришла в себя после встречи с людьми в костюмах и их кошмарными детишками. — Эти парни... Они ведь не умерли, да?

— Нет. Здесь нельзя никого убить.

— Сколько они пробудут в этой клетке?

Аполлон Сминфей принимается раскачиваться в кресле.

— Столько, на сколько у меня хватит энергии. А еще — столько, сколько я захочу. Что они вам сделали? Из-за чего вы сражались?

— Они сказали, что проникнут в мой разум и все там перевернут вверх ногами, — говорю я. — Или, кажется, они собирались послать туда этих своих мальчишек.

— Какой ужас.

— Да уж. Я... Думаю, вы спасли мне жизнь.

— На самом-то деле здесь они ничего не могут с вами поделать, — говорит Аполлон Сминфей. — Но, полагаю, они были на пути к вашему... — И он снова произносит слово на странном языке.

— К моему чему?

— Как вы это называете? У моих друзей из Иллинойса для этого определенно нет слова. Портал в ваше сознание. У вас есть для этого особое слово?

Я мотаю головой.

— Нет. Я раньше вообще ни с чем таким не сталкивалась. И до сих пор не уверена, не сон ли все это.

— Ну, вы же представляете себе вещь, о которой я говорю.

— Да. И вот именно ее я и пыталась защитить. Думаю, что ее. Но вообще-то в голове полная неразбериха.

— Хорошо. И как же вы все здесь оказались? — спрашивает он. — Вам не положено

здесь быть.

— Не положено?

— Ну, вы ведь не бог. Вы — существо из плоти и крови. Как же вас угораздило сюда попасть?

— Я читала книгу. И в ней были инструкции. Кстати, именно поэтому я и понадобилась этим людям. Из-за книги.

Наверное, в этой комнате с камином тепло, но я не чувствую никакой другой температуры, кроме температуры собственного тела — ни выше, ни ниже. Я беру со стола чашку, и внешняя сторона чашки кажется мне горячей, но этот жар почему-то не передается моим рукам. Я отхлебываю глоток. Это самый вкусный кофе из всех, что я пробовала, но когда я его глотаю, он никуда не попадает. Я не чувствую, чтобы глоток добрался до моего желудка.

Аполлон Сминфей хмурится:

— Зачем им понадобилась эта книга?

Я еще раз отхлебываю из чашки.

— Не знаю. Если все дело в инструкциях, как попадать сюда, то они им уже и без того известны. Так что никакого смысла не вижу.

— Просто они не хотят, чтобы она была у вас. Хотят, чтобы люди перестали сюда приходить. Хмм... Думаю, дело в этом. Неплохая мысль. Вообще-то людям действительно лучше бы здесь не появляться. Вы — первая, кого я здесь вижу, но далеко не первая, о ком мне рассказывали. Но, конечно, я одобряю то, что вы приходите сюда и помогаете мышам. Поэтому-то вы и получили то, что позволило вам со мной связаться.

— Это была визитная карточка.

— Ах. — Он улыбается. — Высокий класс.

— И все-таки объясните мне, пожалуйста, почему людям нельзя сюда приходить?

— Это измерение... Думаю, я подобрал верное слово. Людям не дано его постичь. Вот что, например, вы видите сейчас перед собой?

— Ну... Стол, кресло и вас в нем. Огонь. И...

— Ничего этого здесь нет, — говорит он. — Кроме меня. И я не вижу ничего из того, что видите вы.

— Что же видите вы?

— Вещи, для которых у вас нет названий. И кстати, интересно, каким вы видите меня?

— Вы... — Как бы это сказать повежливее? — Вы — человек-мышь.

Он смеется.

— Человек-мышь! У меня что же, и мех есть?

— Да.

— Какого цвета?

— Серый.

— А лук со стрелами есть?

— Есть.

— А одежда?

— Есть. Красная мантия.

— Красная мантия? — Он опять смеется. — Интересно, откуда это? Вроде бы таким меня никогда не изображали.

— Где не изображали?

— Вы ведь, полагаю, знаете, кто я? Почитали где-нибудь?

— Да. Вы — Аполлон Сминфей. Бог мышей.

— А картинки там были?

— Да. Какая-то монета... Рисунок не очень разборчивый.

— Я, конечно же, никакая не мышь. Во всяком случае, этот облик мне непривычен.

— Ой... Прошу прощения. — Мне кажется, что прощения просить есть за что — кто бы сейчас ни сидел передо мной.

— Я — воплощение греческого бога Аполлона. Или, по меньшей мере, был им. С тех пор меня сильно улучшили. Или — как там говорят эти мальчишки? — проапгрейдили.

Я ставлю чашку обратно на стол. Пить что-то, чего на самом деле нет, это как-то странно — похоже на булимию. Не может быть, чтобы все это происходило со мной на самом деле. Все как-то уж чересчур странно.

— Не понимаю, — говорю я. — Вы утверждаете, что на самом деле вы не то, что я вижу перед собой?

— Именно так. Как и вообще все это место. Каждый видит его по-своему. Ну, каждый человек. Думаю, вам это известно.

— Боюсь, мне ничего не известно.

— Тогда почему же вы здесь?

— В книге...

Он мотает головой:

— Что вы надеялись здесь обрести? Деньги? Могущество?

— Нет. — На этот раз головой мотаю уже я. — Я вообще-то сама толком не понимаю, зачем сюда пришла. И ничего особенного здесь не искала — не считая знания. Думаю, мне просто хотелось узнать, действительно ли это место существует.

— Теперь вы знаете. И будете снова сюда возвращаться?

— Честно говоря, я не знаю, что буду делать дальше. Думаю, мне придется найти способ скрыться от этих людей. Если мне придется воспользоваться этим местом, то...

— Можете не сомневаться в том, что они воспользуются им для того, чтобы найти вас. А еще они воспользуются...

И снова — этот странный язык.

— Извините? — переспрашиваю я.

— Детьми, которых вы видели. Они воспользуются ими в качестве... Нет, не получается подобрать в вашем языке названия этому. Самые близкие — «попутчик», «прицеп» и «зараза». Эти дети — не проекция людей из вашего мира. Они относятся к тому, кто существует лишь в этом мире — как и я.

— Так, значит, они боги?

— Нет. Они нечто другое. — Он улыбается, и его усики мелко подрагивают. — Думаю, они прикреплены к этим мужчинам — так, как прикрепляются к людям попутчики, грузовые прицепы или зараза. К вам в сознание они сами по себе не проберутся. Они повсюду следуют за этими людьми.

— Вы уверены?

— Абсолютно. Я мог бы разузнать об этом побольше к вашему следующему визиту — если вы, конечно, не против.

— Так, значит, мне можно снова вернуться сюда?

Аполлон Сминфей улыбается:

— А кто может вам это запретить?

— Вы. Другие боги. Не знаю.

Он снова смеется:

— Ой, не могу. Насмешили...

— Почему? Не понимаю!

— Мы не можем вам ничего запрещать. Это ваш мир, а не наш. Мы — часть его, но придумали-то его люди. Я имею в виду лишь то, что мы свою работу лучше делаем здесь, а вам бы лучше оставаться в материальном мире. Но это не более чем совет. Вы вполне можете его проигнорировать.

— Если я его проигнорирую, со мной произойдет что-то плохое?

— Не думаю. Думаю, вам в любом случае понадобится это место, если вы хотите одолеть врага. Но вам придется ответить на один важный вопрос.

— Какой же?

— Ну, если они — плохие парни, то вы, получается, на стороне «хороших». А если так,

то за что вы боретесь? Если вы собираетесь с ними сражаться, необходимо сформулировать, из-за чего ведется это сражение.

— Не думаю, что у меня есть выбор. Они меня убьют.

Аполлон Сминфей на секунду отводит взгляд в сторону, словно размышляя, сказать мне или не сказать. Он делает глоток кофе и ставит чашку обратно на стол.

— Вы должны знать, что можете призывать меня на помощь лишь до тех пор, пока у вас есть моя карточка. И пока у меня есть на это силы.

— Как долго у меня пробудет карточка?

— Кто знает? Возможно, несколько дней, в пересчете на ваше время. А может, меньше.

— Ясно. Спасибо. А что значит: пока у вас есть силы?

— Если они молятся, я живу. Если нет, засыпаю. Это не совсем смерть, но ни на что особенно впечатляющее я тогда не способен.

— Они — это кто? Мыши?

— Ха-ха! Нет. Мыши не способны создавать божества. Да им это и не надо. Я о тех мальчиках в Иллинойсе. Это они наделяют меня силой. Там у них небольшой клуб. Что-то вроде... Что-то вроде культа — вот как вы бы это назвали. Культ Аполлона Сминфея. У них есть веб-сайт. — Он зеваает. — А теперь я что-то немного устал. Придется рассказать вам о них в следующий раз.

— Конечно. Извините. Мне пора идти. — Я встаю, и кресло еще несколько раз качается из стороны в сторону, как будто бы помнит, как я сидела на нем. — Я понимаю, что это ужасный вопрос...

— Давайте.

— Скажите... Вы не можете определить хотя бы приблизительно, как долго вы еще сможете их там продержат? Ведь, насколько я понимаю, пока они здесь, они не смогут преследовать меня в реальной жизни?

— Да, не смогут. Так... Если вы пойдете прямо сейчас, я могу сосредоточить на этом всю свою энергию и наверняка смогу продержать их здесь еще... — Он поднял глаза к потолку, подсчитывая. — Это куда более сложное вычисление, чем вы думаете... Ну, скажем, три-четыре часа — в вашем времени.

— Что значит «в моем времени»?

— Я объясню это, когда вы вернетесь. Мне нужно отдохнуть. Я далеко не самый могущественный бог из всех. Когда тебе молится всего шесть человек во всем мире... Сами понимаете.

— Еще раз спасибо, — говорю я. — Вы и в самом деле спасли мне жизнь.

Тем временем в тропосфере пошел дождь. Как странно. Раньше погода здесь никак себя не проявляла. Дождь стучит по щебенке легкими ударами перкуSSIONИСТА, а потом с радостным шуршанием срывается вниз по водосточным желобам. Двое в костюмах по-прежнему лежат без сознания в своей клетке, но я на всякий случай обхожу их на безопасном расстоянии. Я должна скрыться от них, во что бы то ни стало. Я видела, что они могут сделать со мной, и если им удастся запустить ко мне в разум этих чудовищных детишек — все, мне крышка. Смерть.

Мне кажется, что на этот раз путь через туннель тянется целую вечность — словно мне в лицо дует ветер, снижающий скорость падения. Что бы увидели эти люди, войди они в мое сознание? Думаю, по этому туннелю им бы лететь не пришлось — ведь это лишь вход и выход из тропосферы. Может, и у меня здесь тоже есть свой магазинчик? И что же у меня там в витрине? Это я решаю, что в ней, или они? И какой тропосфера представляется им? Из того, что сказал Аполлон Сминфей, выходит, что они видят не то, что вижу я, — вот почему они не заметили ни пачки газет, ни железного прута. Но вот мальчишки — они, похоже, видели то же, что и я. Он прав, разобраться во всем этом очень сложно. Но ведь не невозможно, правда?

Я пролетаю мимо волнистых линий и крошечных огоньков. Почти дома. Почти...

О, черт. Я очнулась у себя на диване, и все было как-то не так. Что со мной произошло?

Во рту так пересохло, что, если бы понадобилось заговорить, я бы не промолвила ни слова. Ч-ч-черт. Я попыталась сесть, но все тело ломило так, как будто у меня жесточайший грипп. Воды. Хочется много-много воды. Еле-еле я умудрилась встать и добраться до раковины. Я выпила три стакана воды, и меня немедленно ими вырвало. Я выпила еще два, и меня вырвало снова. Но мне была необходима жидкость, поэтому я заставила себя выпить еще один стакан — на этот раз маленькими глотками. Мамочки. Что со мной такое? Я-то думала, что тропосфера — это вымышленный мир, в котором тебе не могут причинить никакого вреда. В глазах ужасная резь. Свет из окна — яркий, как луч лазера. Я подошла к окнам и задернула шторы. Все крыши за окном были покрыты снегом, и в них яростно отражалось солнце. Но почему свет? Откуда солнце? Ведь ночь была не только в тропосфере (там-то всегда ночь), здесь тоже была ночь, когда я совсем недавно покинула сознание Вольфа.

Я взглянула на часы. Два часа. Видимо, дня, раз светло.

Но я приняла микстуру в пять часов вечера.

Я провела языком по пересохшему рту. Меня подташнивало. Понятно, откуда эта тошнота: я почти сутки не курила. Господи боже. Я что, пролежала на диване двадцать один час подряд? Немудрено, что теперь я чувствую себя больной. Может, это обезвоживание? А может, это часть моего безумия, в котором мне представляется, будто я могу путешествовать по сознанию других людей? Того самого безумия, в котором мне кажется, что меня преследуют двое вооруженных мужчин?

Вот только проблема в том, что я совсем не чувствую себя сумасшедшей.

Адам. Нужно найти Адама и выяснить, что произошло вчера (если что-нибудь вообще произошло и если это было вчера — черт его знает, какой сегодня день, с моими способностями я могла бы оказаться и в прошлом). А еще я сразу же заключила с собой соглашение: если эти парни действительно существуют, я уеду куда-нибудь, где они не смогут меня найти. Но если их нет, я отправлюсь прямиком в университетский медцентр и попытаюсь сдать в психушку. Думаю, что в любом случае мне придется взять с собой кое-какие вещи, поэтому, прихватив с каминной полки «Наваждение», я пошла в спальню и засунула книгу в старый рюкзак, завалив сверху одеждой. Что еще мне понадобится? Ноутбук. Большой нож — так, на всякий случай. Конечно же, то, что осталось от микстуры, и бутылочка с *Carbo-veg*, чтобы можно было приготовить еще. Никакой еды, пригодной для транспортировки, у меня нет, так что об этом побеспокоюсь потом. Упаковав сумку, я быстро помылась и собралась выходить из дома. У двери лежал конверт, на котором было написано только мое имя. Наверное, кто-то подsunул его под дверь, когда я лежала в отключке на диване. Письмо было от Адама. «Это очень важно, — писал он. — Мне нужно срочно с тобой поговорить». Хорошо. Ниже был приписан номер его телефона, но я теперь была настоящим параноиком и не собиралась говорить с кем-либо по телефону. Лучше уж просто пойду на работу в надежде, что Адам — там.

Моя машина, как и все вокруг, была завалена снегом. Большие белые хлопья и сейчас падали с неба, и улица наполнилась тем приглушенным, секретным звуком, какой бывает только после снегопада, — будто бы весь мир разговаривает шепотом. На мусорной урне рядом с моей машиной кто-то оставил старый кусок картона, и я воспользовалась им, чтобы очистить от снега лобовое стекло. Под снегом обнаружился еще и лед — это уже проблема посерьезнее. Специального скребка у меня нет, а картон промок и размяк. В результате я просто включила обогреватель на полную мощность и дала двигателю поработать несколько минут вхолостую — чтобы растопить лед. Когда я наконец тронулась, видимость все равно была так себе, но дольше оставаться здесь я не могла. Мне срочно требовалось выяснить, сошла ли я с ума или мне угрожает страшная опасность. Хотелось бы, конечно, иметь какой-нибудь третий вариант, но взаться ему, похоже, неоткуда.

Главная дорога проходит через всю территорию университета, случайным образом (во всяком случае, я всегда считала, что случайным) отделяя здания гуманитарных факультетов от научных лабораторий. Обычно в это время дня дорога свободна: лента черного щебня, по

которой катит одинокая машина или велосипедист — то ли кто-то ушел пораньше с работы, то ли едет из колледжа Шелли в самой дальней восточной части университетского городка в колледж Гарди в его западной части. Сегодня дорога черной не была — ее укрывали попеременно белый лед и серая жижа, и в этой смеси прочно застряли несколько машин: они стояли с включенными «дворниками», полностью застопорив движение. И по всему университетскому городку студенты, собравшись небольшими группками, лепили снеговиков. Что происходит? Куда все едут? А как же лекции и семинары? Я не могла позволить себе просидеть весь день в пробке, наблюдая за толстыми белыми комочками, которые (да-да, еще одно подтверждение моего предполагаемого безумия) летали как одержимые, как будто бы явились захватить наш мир. Только не сегодня, пожалуйста. Дайте мне увидеться с Адамом.

Я все шептала и шептала это себе под нос, много раз повторяя слово «пожалуйста», пока не задумалась наконец, кого это я, интересно, прошу, кому молюсь? Я думала, что мне уже лучше, но теперь вдруг почувствовала, что стало трудно дышать. Ну давайте же, давайте. Я несколько раз стукнула по рулю, а потом провела рукой по волосам. Они совсем промокли от пота, хотя на улице стоял настоящий мороз. Движение в эту сторону было намного хуже, чем в противоположном направлении. А если точнее, то после того, как мимо проехал белый университетский грузовик, на соседней полосе дороги вообще не осталось машин. Поворот к парковке у здания Рассела находился в пятидесяти ярдах от меня, справа. Да пошли вы все. Я завела мотор и принялась выруливать на встречную полосу. Люди с изумлением таращились на меня. Как только я подъехала к повороту, машины на этой полосе все-таки появились. Ну что ж, ничего, подождут. Правда, они почему-то так не считают. Хотя я и мигала поворотником, подавая ясный сигнал, первая же машина перла прямо на меня, и ее водитель отчаянно жестикулировал и мигал мне фарами, как будто бы ничего более возмутительного он в жизни не видел. Вот придурок. Двигаться вперед я теперь не могла, из-за того что он перегородил мне дорогу. А справа оказался треугольник травы, на котором стоял снеговик без лица. Студентов вокруг не было. Я завернула резко вправо и поехала прямо по траве, ударив снеговика в бок, отчего он опрокинулся и рассыпался. Должно быть, мой маневр здорово взбесил водителя той машины, но я не стала оборачиваться, чтобы на него посмотреть. И вообще, у меня экстренная ситуация. Теперь я ехала по дороге, ведущей к парковке, и моя полоса была совершенно пустая, а вот зато в противоположном направлении выстроилась целая очередь из машин. Некоторых людей я узнавала. Вон Лиза и Мэри. Они меня не видят. О, а вот и Макс. Я слегка сбавила скорость, когда моя машина поравнялась с его и опустила стекло. Он сделал то же самое.

— Что происходит? — спросила я.

— Университет закрывают на один день. Все получили письмо по электронной почте о том, что всем лучше расходиться по домам. А ты что, только едешь?

— Ага.

— Знаешь, я бы на твоём месте повернул обратно. Дальше будет только хуже.

Я припарковалась где получилось, потому что белых линий разметки было не разглядеть, а на то, что подумают люди о том, в каком положении находится капот моей машины относительно багажника, соседних зданий и пяти оставшихся на парковке машин, мне было глубоко наплевать. Да и кому вообще какое дело, насколько точно ты способен втиснуть машину в белую рамку, нарисованную на земле? На мой взгляд, автомобильные паркинги служат в том числе для выражения коллективного стремления к провозглашению здравого смысла. Я в своем уме: я не выступаю за рамки своего парковочного места! Я тоже! И я! А я больше не желаю уместиться в рамки. Я качусь по льду и влетаю в здание английского отделения, надеясь, что Адам еще не ушел.

Дверь в кабинет оказалась не заперта, но внутри, когда я вошла, никого не было. Я закрыла за собой дверь. Компьютер Хизер работал, и по монитору сыпались каскады цифр — модель ПУОП продолжала просчитывать варианты. Я и не думала, что настолько

взвинчена, но, когда дверь снова открылась, я подпрыгнула и испуганно вскрикнула.

— Эриел? — Это была Хизер, с чашкой кофе в руке.

— Извини, — сказала я. — Уф-ф. Просто не привыкла, что здесь бывает кто-то еще кроме меня. Э-ээ... — Следовало срочно придумать какую-нибудь нормальную реплику. — Кстати, спасибо за вчерашний ужин. Было здорово.

— Ну что ты, не за что, — ответила она. Но глаза ее говорили что-то еще. — У тебя все хорошо?

— Да, отлично.

— А эти... ну, эти парни тебя нашли?

— Какие парни?

— Американские полицейские.

Полицейские? Они что же — представители закона?

— Что-то не пойму, о чем речь, — сказала я, стараясь не выдать своей паники.

— Они тебя вчера искали. Вообще-то они толком не объяснили, кто они такие, просто я подумала, что, наверное, из полиции — судя по тому, как они себя вели. Я думала, Адам тебе расскажет — он вроде бы пошел к тебе. Они собрались конфисковать твой компьютер и забрать все твои файлы, в том числе с университетского сервера. Ивонна решила, что все это как-то слишком странно, и тогда они попытались устроить так, чтобы кто-то там из их американского офиса прислал факс на имя декана. Вроде бы раньше они уже расследовали дело кого-то из сотрудников отделения, но не смогли его разыскать, но все потому, что университет не поторопился предоставить им сведения об этом человеке — иначе они бы непременно его нашли. Ну и, короче, факс вчера все равно так и не пришел, и в конце концов они ушли и сказали, что вернутся сегодня. Вели они себя просто ужасно. Эриел, объясни, что случилось?!

— Я не знаю. Я... Я не видела Адама. И даже понятия не имела... А ты не знаешь, где он сейчас?

— Нет. Но он оставил тебе записку.

— Кто-нибудь еще ее читал?

— Нет. Он сказал, чтобы я ее спрятала — я так и сделала. Но все равно нервничала. И он вот еще номер своего телефона оставил.

Она порылась на столе и наконец нашла обрывок бумаги с накорябанными на нем цифрами 07792. Странно — никогда бы не подумала, что у Адама есть мобильный телефон. Впрочем, все равно я не стану ему звонить, мало ли кто захочет прослушать наш разговор? Если эти парни — представители власти, значит, я в еще большей заднице, чем предполагала. Теперь никаких телефонных звонков и никаких банкоматов (хотя мне все равно нечего с них снимать). Я достаточно насмотрелась фильмов и знаю, как надо себя вести в таких случаях. Вот только проблема в том, что, когда смотришь кино, волнение и страх испытываешь только лишь как зритель — на безопасном расстоянии. Герой вот-вот умрет, и ты, может, даже подумаешь: «Нет!» — но на самом-то деле тебе все равно. Это ведь всего лишь интересная история, а главные герои в историях все равно никогда не умирают. Вот только сейчас-то я отдаю себе отчет в том, что я ни в какой не в истории, что кто-то на самом деле хочет меня пристрелить или проникнуть в мой разум или что-нибудь еще — и нет у меня никакого сценариста, который взял бы и все исправил в Действии Третьем. Я вполне могу умереть в Действии Втором и не думаю, что после этого Аристотель и скажет, что так не бывает.

И кстати, похоже, я все-таки не сумасшедшая. Все это не только происходит со мной, но и с Берлемом было то же самое. Наверняка «кто-то из отделения» — это он и есть, и именно его приходили разыскивать эти люди. Он последний человек, у которого была книга до меня. Так что в медицинский центр я уже точно не иду. Зато мне необходимо поговорить с Адамом, а потом — найти Сола Берлема. Я обязательно найду его, выясню, знает ли он, что вообще такое происходит, а потом подумаю, что делать дальше. Думаю, он нашел какое-то замечательное место, чтобы спрятаться, раз его до сих пор не нашли. Правда, у него ведь

больше нет книги — а у меня есть.

— Так что там за записка? — спросила я у Хизер, стараясь унять дрожь в голосе.

— Ах да, сейчас. Она где-то здесь.

Наконец она находит маленький голубой конвертик и дает его мне.

— Спасибо.

— Эриел...

— Что?

— Думаешь, эти люди еще вернутся? Они меня сильно напугали.

— Не знаю.

— Ну, понимаешь... Конечно, мы в твоём кабинете гости, и то, что ты делаешь, никого не касается, и мне бы не хотелось ни во что вмешиваться, но...

— Что?

— Ну... Как-то не слишком приятно, когда к тебе заявляется полиция. Если у тебя какие-то неприятности, может, лучше бы поскорее с ними разобраться?

Иди ты в жопу, Хизер.

Но на самом деле я сказала:

— У меня нет никаких неприятностей. И к тому же я уезжаю к своей тете в Лидс, и ты меня довольно долго не увидишь. Попрощайся за меня с Адамом — наслаждайтесь офисным пространством.

Может, она даже отправит этих психопатов в Лидс — но особенно рассчитывать на это я бы не стала.

Глава шестнадцатая

Дорогая Эриел!

Я полночи барабанил в твою дверь, а потом все утро волновался, что привел этих людей прямо к тебе. Ты мне не позвонила. Надеюсь, у тебя все в порядке.

Если тебе до сих пор никто не рассказал, эти парни представились цээрзуиниками. Думаю, это фигня собачья, но кто их знает... Они спрашивали твой адрес, но я им не сказал. Теперь они мне снятся. Вообще-то вряд ли это что-то означает: несколько лет назад у меня был нервный срыв, и с тех пор я — человек странный, ранимый и склонный видеть ночные кошмары.

Я не очень хорошо себя чувствую и поэтому отправляюсь в усыпальницу — попробую там прийти в чувство. Если будет возможность, думаю, и тебе надо бы туда прийти. Всего сейчас рассказать не могу, порасскажу все, что знаю, при встрече.

Если тебе покажется, что все это бредни параноика, не обращай внимания. Иногда я становлюсь вот таким.

Твой друг Адам.

Пока я добралась до усыпальницы св. Иуды, почти совсем стемнело. Останавливаться, чтобы спросить дорогу, или как-то еще уточнить, правильно ли я еду, было некогда, поэтому я просто кружила по Фавершему и ждала чего-то — неизвестно чего. И в конце концов увидела-таки небольшую облезлую вывеску с надписью «Усыпальница св. Иуды», а через минуту уже стояла у входа в церковь Пресвятой Девы Марии с горы Кармель. Усыпальница, видимо, находилась внутри. Я прикинула, что лучше всего уехать отсюда не позже, чем через полчаса, и отправиться куда-нибудь совершенно наобум — чтобы собраться с мыслями. Словом, времени у меня было немного.

Когда я вошла в церковь, там не было ни души. Думаю, с этой своей потрепанной сумкой через плечо я выглядела совершенно безумно. Запах тут стоял какой-то пыльный — наверное, пахло ладаном. Слева я увидела купальню со святой водой, и, хотя она напомнила мне обо всем, что я сделала, и обо всем, что пошло не так, я все же окунула в нее палец и

дотронулась им до лба. Сделав так, я вспомнила вдруг, как в школе во время дождливых переменок мы иногда играли в «Драконов и подземелья». В одних версиях игры можно было отправиться в город и добыть святой воды, чтобы исцелить себя от всех недугов, кроме самых тяжелых, и тем самым повысить свой уровень здоровья. В других святую воду можно было использовать как оружие против злых духов или зомби. Но ни в одной из версий не говорилось, что ее можно выпить, чтобы отправиться в другой мир, или, напротив, что никогда и ни под каким предлогом пить ее нельзя. Я немного прошлась по церкви: она оказалась небольшой, от дубовых стен веяло холодом и покоем, а посередине рядами стояли жесткие деревянные скамьи. Тут я увидела табличку, сообщавшую, что усыпальница находится внизу.

И — слава богу! — на лестнице было намного теплее. Внизу горели сотни свечей — я увидела несколько стоек с маленькими свечками и еще целый стол, заставленный большими свечами в церковных — пластмассовых — подсвечниках голубого цвета, на каждом из которых что-то было нарисовано — правда, я не разглядела, что именно. В самой усыпальнице мне сделалось уже по-настоящему жарко, и я размотала шарф. Здесь я тоже была одна. Справа от меня в окружении еще большего количества свечей стояла статуя — по всей видимости, св. Иуды. Стена за ним была частично выложена мозаикой, а частично — вычерненным кирпичом. Сама же статуя была золотой и изображала бородатого мужчину с какими-то предметами в руках. От меня его отделяли прутья решетки, поэтому на мгновение мне показалось, будто он — заключенный. Хотя, конечно, если взглянуть на мир его глазами, получится, что заключенный — я. Я решила немного пройтись и на одной из стен увидела клейкие желтые бумажки с просьбами молящихся. Пожалуйста, помоги моей тете избавиться от боли. Святой Иуда, прошу, вступишь за моего сына Стефана, ведь ему всего девятнадцать. Не дай моему брату умереть. Прошу тебя, пусть мой брат вернется с войны. Записки подписаны прихожанами с Маврикия, из Польши, Испании, Бразилии... Со всего света. Табличка разъяснила мне, что св. Иуда — покровитель заблудших и потерявших надежду. Похоже, это такой святой, к которому приходишь за помощью, когда все остальные помочь не смогли. А на другой стороне комнаты висела распечатанная листовка, в которой говорилось, что Иуда — святой неоднозначный и что, возможно, его и вовсе никогда не существовало.

Прежде я никогда в жизни не молилась. А сейчас, поставив зажженную свечу на одну из залитых светом полочек, вернулась к статуе Иуды и опустилась перед ней на колени. Впрочем, что делать дальше, я не знала. Повторять про себя что-нибудь вроде: «О, святой Иуда, прошу тебя, не дай этим людям меня найти» — казалось глупым. Что-то подсказывало мне, что не следует молиться за себя — нужно просить за кого-нибудь другого. Но за кого же мне попросить? Даже последний человек, с которым я спала, мало что значит для меня. Меня куда больше волнует судьба незнакомого сына с желтой бумажки, которого ждут с войны. Вместо того чтобы молиться за кого-нибудь, я просто принялась, не отрывая глаз, смотреть на статую — до тех пор, пока ее очертания не стали расплываться у меня перед глазами. «Кто ты? — думала я. — Что делаешь со всей этой энергией, которая собирается здесь? Ведь здесь и в самом деле сосредоточена энергия — воздух настолько заряжен ею, что и миллиону свечей с этим не сравниться. Что это такое? Моя надежда? Или надежда других людей? Или, может, просто сила молитвы?» Я чувствовала на себе взгляд святого Иуды и думала, что, будь он здесь на самом деле, он бы попросил меня перестать рассуждать и не задавать вопросов, на которые нет ответа.

Но идей получше у меня все равно нет.

В конце концов я стала молиться о смысле. О том, чтобы границы реальности стали отчетливыми. О мире, существование в котором, равно как и сам мир, имело бы какое-то значение. О такой жизни после смерти, которая не похожа на эту. О том, чтобы больше не было тайн. Что станет с жизнью, когда все загадки будут решены? Если не останется вопросов, не будет и историй. Не будет историй — не станет языка. А без языка не будет... чего? Я вспомнила Адама и его слова о том, что правда существует за пределами языка, — и

в это самое мгновение на лестнице раздались голоса: один мужской и один женский. Я почувствовала себя неловко оттого, что стояла на коленях и молилась, поэтому я встала и сделала вид, что смотрю на свечи. Скоро пора идти. Я взглянула на часы — без четверти четыре. А я устала так, словно несколько суток не спала. И на улице холодно и темно...

— Да, нам удалось наконец-то снова открыть усыпальницу.

— Потрясающе. Если честно, после последнего пожара я думал, что все, ей конец.

Этот голос я узнала, но он показался мне измученным, каким-то даже надломленным.

— Святому Иуде конец не грозит. Ему предано так много людей.

Бедный Аполлон Сминфей — подумала я. С его шестью преданными приверженцами.

— Это... О, Эриел! С тобой все в порядке?

— Здравствуй, Адам.

— Мария, это Эриел Манто. Та, о которой я вам рассказывал.

Адам выглядел ужасно. Что случилось с его лицом? Правый глаз распух, и под ним синяк — как подгнивший бок у яблока. И одежда на нем та же, в которой я видела его во вторник. А сегодня у нас что? Четверг. Думаю, что четверг. Женщине, которая пришла с ним, под шестьдесят. На ней длинная коричневая юбка и блузка пурпурного цвета. Седые волосы почти полностью скрыты коричневым платком, но несколько седых прядей выбились из-под платка и спадают на лицо. А карие глаза удивительным образом выглядят моложе, чем его.

Она протянула мне руку.

— Здравствуйте, Эриел, — сказала она мягко. — Я рада, что вы добрались до нас в целости и сохранности. Адам рассказал нам о ваших злоключениях. Мы приготовили для вас постель в гостевом крыле монастыря на случай, если вы придете. Можете оставаться здесь столько, сколько потребуется.

Постель? В монастыре? Но я не могу здесь оставаться. Мне надо идти.

— Это очень любезно с вашей стороны, — сказала я, почему-то используя свой «вежливый» голос, которым разговариваю обычно со школьными учителями, дорожными инспекторами и прочими представителями власти. — Но, боюсь, я и в самом деле впуталась в большие неприятности, и мне бы не хотелось втягивать в них вас. — Взглянув на Адама, я слегка кивнула в сторону его избитого лица: — Все зашло слишком далеко. Это ведь они тебя так, да? — Адам кивнул, и я продолжила: — Эти люди... Я не очень хорошо понимаю, что происходит. Я просто пришла поблагодарить Адама. И попросить прощения.

— Может быть, чаю? — спросила Мария таким тоном, будто бы не слышала моего предупреждения о том, что все они в опасности до тех пор, пока я здесь. — Мы можем пойти в кухню монастыря.

Адам посмотрел на меня.

— Здесь они до тебя не доберутся, — сказал он.

Я вздохнула:

— Кто их знает, доберутся или нет.

Я теперь вообще ничего не знаю. Не знаю, например, стоит ли доверять Адаму. Что он такого сделал, чтобы я стала ему доверять? И вообще, есть на свете хоть кто-нибудь, кому я могла бы по-настоящему довериться? Я подумала о матери и о том, как пыталась рассказать ей, что режу себе руки. Я все тщательно спланировала. Сначала я собиралась признаться, что начала выщипывать брови, потому что все остальные девчонки в школе это делали, но обнаружила в этом такой кайф, что теперь не могла остановиться. И вот однажды вечером я сидела в ванной и вдруг поняла, что, если буду и дальше выщипывать брови, у меня их совсем не останется, но боли мне было еще недостаточно, недостаточно катарсиса. И тогда я взяла папину бритву и воткнула ее себе в ногу. «Не сейчас, Эриел, — сказала она, усаживаясь со своей портативной радиостанцией. — Мир не вращается вокруг тебя одной». Может быть, Берлем? Почему-то мне кажется, что ему я доверяю.

Мария стала подниматься по лестнице.

— Может быть, вы покажете ей секретный ход? — спросила она Адама. — Нет смысла

выходить отсюда, если опасные люди где-то рядом. Увидимся там. — И она повернулась ко мне: — Мы проходили и не через такое, моя дорогая.

Как только ее шаги стихли, я снова посмотрела на Адама. Тени сотен свечей отскакивали от острых частей его лица, но оставались лежать там, где его черты казались мягче.

— Я чувствую себя такой виноватой, — сказала я. — Мне нужно идти.

— Эриел...

— Если я расскажу тебе хотя бы половину из того, что происходит, ты мне не поверишь. Но если коротко — они могут достать меня где угодно. Я понимаю, что это звучит безумно. — Я вздохнула от отчаяния, что нет никакой возможности это объяснить. — Суть в том, что, если они ко мне приблизятся, мне от них уже не уйти. Им достаточно всего лишь приблизиться ко мне. Да, это похоже на бред, и я сама не понимаю, как все это происходит... Но, по-моему, моя единственная надежда на спасение — это уехать далеко-далеко, так далеко, как только можно.

— Я уверен, что здесь ты в безопасности. Хотя бы останься выпить чаю. Я объясню.

— У меня мало времени, скоро они будут здесь.

— Они знают, что ты здесь?

— Узнают. Хизер им расскажет.

— Я просил ее не читать мою записку.

— Но она наверняка прочитала. Мне не хочется рисковать.

Я почувствовала, что повышаю голос и повысила его уже настолько, что еще немного — и он перейдет в рыдания. Но мне нельзя плакать. Если я заплачу — все конечно. Слезы смывают весь адреналин, а он, пожалуй, единственное, что у меня осталось. У меня нет денег, и бензина в баке почти не осталось. Правда, бензин можно воровать, я уже делала так раньше. И денег у меня достаточно, чтобы прожить на жареной картошке несколько дней. Мне бы только убраться отсюда подальше, и тогда, может быть, все еще будет хорошо.

Я тоже стала подниматься по лестнице.

— Эриел? Эриел! Прошу тебя. Здесь безопаснее, поверь мне.

— Ты не можешь знать наверняка.

Но я все-таки засомневалась.

— Они не пошли за мной в университетскую часовню, — сказал он. — Думаю, они не могли этого сделать. И они перестали мне сниться с тех пор, как я здесь. Останься, пожалуйста. Я тебе объясню.

Он взял меня за руку и увел от статуи св. Иуды в комнатку, полную реликвий на тему усыпальницы. Не знаю, почему я решила его послушаться, но, честно говоря, я слишком ослабла, чтобы предпринять что-нибудь еще. В этой комнатке хранилось много больших голубых свечей, сейчас незажженных, а также открыток, подвесок, медальонов, молитвенников и коричневых горшочков с белыми крышками. Рука Адама казалась мне очень холодной. Он остановился и свободной рукой взял один из коричневых горшочков.

— Возьми, — сказал он. — Тебе это может пригодиться.

Я посмотрела на этикетку. «Масло, освященное в усыпальнице св. Иуды».

— И еще вот это. — Адам протянул мне маленькую голубую подвеску с изображением святого Иуды.

— Спасибо, — поблагодарила я. Конечно, в любой другой ситуации я бы сказала, что не верю в талисманы и магические снадобья, но, думаю, гомеопатические препараты и святая вода относились примерно к той же категории вещей, а вон до чего они меня довели. Теперь я согласна на любую помощь, какой бы странной она ни казалась. Я отпустила руку Адама и надела на шею амулет.

— За это нужно заплатить? — спросила я.

— Я заплачу позже. Не волнуйся. Я уже довольно давно не имею отношения к божьей экономике, но все равно понимаю, что держится она не на наших деньгах. Ладно. Подожди-ка секунду... Слушай, возьми, пожалуйста, вон там свечу и зажги ее.

Он нагнулся и сдвинул на полу щеколду, которой я раньше и не заметила. Потайной лаз. Я взяла большую свечу в голубом подсвечнике и зажгла ее от своей зажигалки. И только сейчас обнаружила, что руки у меня дрожат, а ноги вдруг стали ватными и непослушными, как будто сквозь них пропустили электрический разряд. Мне нехорошо. И голова...

Я инстинктивно попыталась ухватить Адама за плечо. Мне просто нужно на секунду опустить на него голову — думаю, от этого сразу станет легче. Но в голове вдруг что-то зашипело, как будто бы запенились маленькие пузырьки воздуха.

— Адам, — сказала я. Но не успел он ответить, как на меня обрушилась тишина: казалось, кто-то макнул меня вниз головой в гигантскую банку с черной краской.

Проснувшись, я обнаружила, что лежу на узкой и жесткой кровати, застеленной шершавым белым бельем и коричневыми одеялами. На полу у буфета я увидела свою сумку. На тумбочке рядом с кроватью лежала Библия, чуть дальше стоял один деревянный стул. Занавески на окне справа от меня были задернуты, так что понять, который час, я не могла. К тому же зимой вообще нелегко определить время, глядя на улицу. Что пять утра, что пять вечера — большой разницы нет.

В комнате кроме меня никого не было. Что со мной случилось? Я что, потеряла сознание? Сколько я не ела? Два дня? Тропосфера, похоже, высасывает из человека все соки. Все, кто читал «Наваждение», умерли. А сам мистер У довел себя до смертельного истощения. Теперь я понимаю, как это произошло. Но все это не производит ни малейшего впечатления на ту часть моего сознания, которая чуть ли не в ультимативной форме требует, чтобы ее немедленно отправили обратно.

На мне по-прежнему старые серые джинсы и черный свитер — та же одежда, в которой я пришла. Переодеться бы, но во что? А, ладно, не стоит суетиться. Вместо этого я принялась за волосы: сидела и расчесывала их, стараясь распутать колтуны. На это ушло минут пятнадцать. Потом я осмотрела ссадины у себя на запястьях — подсохнув, они приобрели серебристо-красную окраску, и я еле удержалась, чтобы их не сковырнуть. Никто не приходил. Кто вообще бывает в монастыре? Монахи, наверное. Не думаю, чтобы монахам вздумалось сюда войти. Но Мария и Адам? Они-то где? Где-то прозвенел колокол. Один, два, три, четыре, пять, шесть, СЕМЬ часов. О господи. Теперь-то эти парни в тропосфере уж точно выбрались из клетки. Но у меня в сознании их нет. Пока. По крайней мере, я их не чувствую. А так — почему мне знать. Я заплела волосы в косичку, которую, как мне показалось, одобрили бы религиозные люди, и умылась из рукомойника. Зеркала в комнате не было. Интересно, доживу я до завтра? Кто знает. Надо бы найти Адама и Марию. Я тихонько открыла дверь и вышла в темный коридор. В конце коридора виднелся желтоватый свет, оттуда раздавался женский смех и звон кастрюль. И запах еды до меня тоже донесся: чего-то горячего и острого. Наверное, там кухня. Видимо, как раз туда мы шли пить чай, когда я потеряла сознание — ну, или что там со мной произошло.

Ноги до сих пор дрожали от слабости. Что же я — опять грохнусь в обморок? Да ладно, что за ерунда! Ради бога, Эриел, тебе нужно идти! Э, нет, лучше я все-таки передохну. Я на секунду прислонилась к стене, тяжело дыша, будто после марафонского забега, а не каких-то пятнадцати шагов. Да что со мной такое? Прикрою-ка я глаза на минуточку.

— Эриел?

Я почему-то лежала на полу, а надо мной стояла Мария с клетчатым голубым полотенцем. Ее маленькое лицо тревожно хмурилось.

— Думаю, вам лучше вернуться в постель.

— Извините, — сказала я. — Не знаю, что это со мной.

Эти люди могли бы прийти сейчас и сделать со мной все что угодно. Я была бы не в силах им помешать. Может, оно бы и к лучшему — разом покончить со всем этим. Где бы я предпочла, чтобы меня прикончили — в тропосфере или здесь? Аполлон Сминфей сказал, что в тропосфере нельзя умереть, но, может, есть вещи и похуже смерти? Тогда лучше остаться здесь и умереть по-человечески. Но они ведь не говорили, что собираются меня

убить. Они хотят всего лишь свести меня с ума и забрать книгу.

Мария помогла мне встать, и через несколько минут я снова очутилась у себя в комнате.

— Может, вам переодеться? — предложила Мария. — В ночную рубашку?

— Все в порядке. Думаю, мне просто нужно на минутку прилечь.

Вообще-то никакой ночной рубашки у меня с собой не было. Собираясь, я совсем не подумала про сон — как можно в моем положении думать про сон? Я думала только о том, чтобы убежать.

— Нехорошо спать в одежде, — настаивала Мария. — Сейчас я вам что-нибудь принесу.

Полчаса спустя я лежала в постели в длинной белой хлопковой ночнушке и думала о том, не вернуться ли обратно в тропосферу. Я прикидывала, есть ли смертельная опасность в том, чтобы заглянуть туда ненадолго и попытаться отыскать Аполлона Сминфея. Прежде чем лечь в постель, я отдернула занавески и некоторое время смотрела на небо. Оно было черным, как монитор, а снежинки падали с тем же ритмом, что и сыплющиеся цифры в программе Хизер. Интересно, скоро она узнает, где я? И скажет ли этим двоим?

Когда церковный колокол пробил восемь, в дверь постучали.

— Войдите, — откликнулась я.

На пороге стояла Мария. В руках она держала толстый коричневый халат.

— У вас хватит сил поужинать? — спросила она.

— Да, спасибо. Вы очень добры.

Если я поем, то уж точно можно будет отправиться в тропосферу.

— Не нужно одеваться. Можете пойти вот в этом.

Хотелось бы одеться, но нет сил. Зато после еды я наверняка почувствую себя лучше. Окрепну и смогу вернуться в тропосферу. Или, может, нужно для начала уйти отсюда? Припарковаться в каком-нибудь пустынном пригороде, прилечь на заднем сиденье и закинуться микстурой. И что тогда со мной будет? Замерзну насмерть? Нет, пожалуй, все-таки лучше остаться на ночь здесь. Постель такая теплая и чистая, что мне и сейчас-то не хочется из нее выбираться. Но надо пойти поесть.

Кухня оказалась длинной узкой комнатой с большой фаянсовой раковиной в дальнем конце, столом для готовки вдоль правой стены и длинным дубовым столом посередине. Слева располагался камин — пожалуй, самый большой из всех, что мне доводилось видеть. Огонь в нем, впрочем, не горел. Зато здесь же имелась приличных размеров печь, на которой стояли две большие сверкающие сковороды, и из обеих валил пар, исчезая в серой каменной трубе.

Я подошла к столу, и деревянный пол отозвался на мои шаги скрипом.

— Садитесь, моя дорогая, — сказала Мария. — Адам сейчас подойдет.

Я выдвинула стул и грохнулась на него. Ну и хреново же мне.

— Я так понимаю, никто меня не искал? — спросила я.

— Нет. — Мария улыбнулась совсем молодой улыбкой. — А мы на всякий случай установили пост наблюдения.

Я представила себе монаха с подзорной трубой. Но на самом деле вахту, наверное, несла одна из женщин с кухни, состоящая в какой-нибудь нелепой организации вроде «Соседского дозора». Оба образа показались мне невероятно смешными. Здесь я чувствовала себя в достаточной безопасности, чтобы улыбнуться в ответ.

— Спасибо, — сказала я.

Мария подошла к плите:

— Как насчет овощного жаркого с клецками?

— С удовольствием, большое спасибо.

Я уже приступила к еде, когда в кухню вошел Адам и сел напротив меня. Мария поставила перед ним тарелку с тем же блюдом, но я заметила, что ему она положила на две

клетки больше, чем мне. На столе стоял кувшин с водой, и я налила себе второй стакан и выпила. Мне нужна жидкость и калории — тогда я смогу, если понадобится, провести в тропосфере хоть всю ночь. Правда, тогда непонятно, когда же мне спать. Может, стоит разделить ночь пополам — половину на сон, половину на тропосферу? Но я так до сих пор и не разобралась, как движется время, когда находишься там.

— Здравствуй, — сказал Адам. — Как ты себя чувствуешь?

— Все в порядке. Извини, я свалилась в обморок прямо на тебя.

— Я пытался тебя удержать, но ты просто упала, и все, — сказал он. — Но головой ты не ударилась, ничего такого.

Мария сняла фартук.

— Если вам что-нибудь понадобится, я в соседней комнате.

Та часть лица Адама, на которую пришелся синяк, по цвету точь-в-точь напоминала ежевичную подливку. Глаз с этой стороны заплыл и почти совсем не открывался.

— По сравнению с твоими синяками мой обморок — ерунда, — сказала я. — Мне ужасно неудобно, что так произошло.

— Да ладно. — Он пожал плечами. — Бывает.

— Ну, вообще-то нет, не бывает. На самом деле — нет. — Я глубоко вздохнула и сделала еще один глоток воды. — Во всяком случае, не должно быть. Хотя бы в реальной жизни.

— Знал бы еще кто-нибудь, что такое реальная жизнь. Да нет, правда. Все хорошо. Все позади.

— А если они придут сюда? Ведь нам тогда п...ц. — Я не сразу сообразила, что выругалась в монастырских стенах. — То есть... Извини, вырвалось. Но ты ведь понимаешь, о чем я.

Адам улыбнулся.

— Это ведь всего лишь слово, — сказал он. — Только при монахинях ничего такого не говори, хорошо? Это их смутит.

Улыбка явно причинила ему боль. Он зажмурился и еле слышно вскрикнул.

— Так что же все-таки произошло? — спросила я. — Ну, то есть понятно, что тебя избили. Но почему?

— За то, что не сказал им, где ты живешь.

Черт. Есть вообще предел чувству вины?

— Но почему они вообще тебя спрашивали? Никак не могу понять.

— Они уже успели расспросить Хизер, но она не смогла им ответить и сказала, что лучше спросить у меня. Они, похоже, решили, что мы много чего о тебе знаем, хотя Хизер и объяснила им несколько раз, что мы работаем в одном кабинете всего два дня. Ну и вот — она сказала им, что я показываю университет новому приглашенному преподавателю, и они застали меня в часовне. А женщина, которую я водил по университету... Ей позвонили из школы, в которой учатся ее дети, и сказали, что из-за снега школа закрывается раньше, и она уехала минут за пять до того. Я выходил из часовни и тут же наткнулся на этих двух блондинов. Спросил их, могу ли я чем-нибудь помочь, а они спросили, как меня зовут, и я им ответил. Тогда один из них сказал: «Мы хотим задать вам несколько вопросов». Я, конечно, согласился — не видел причин отказываться — и пригласил их пройти в часовню. На улице было ужасно холодно, и у них уже волосы и брови все были в снегу. Я хотел предложить им выпить чего-нибудь горячего — в часовне есть кухня. Один из них огляделся, как будто надеялся найти какое-нибудь другое здание, в которое можно зайти, но, как ты знаешь, рядом с часовней построек больше нет. Тогда они сказали, что лучше поговорят со мной на улице. Я еще подумал — чем им, интересно, не угодил часовня? Почему-то мне в голову пришли бомбы и террористы, и я решил, может, эти парни пришли эвакуировать здание или что-нибудь вроде того. Я спросил у них, все ли в порядке. И тут началось....

«Поскольку мы вынуждены беседовать с вами на морозе, перейдем сразу к делу, — сказал один из них. — Где Эриел Манто?»

«Понятия не имею, — ответил я. — А что?»

«Нам необходимо ее найти. Это вопрос международной безопасности», — сказал второй.

Пока Адам рассказывал, я ела. Конечно, с учетом того, о чем он мне рассказывал, это было не слишком вежливо, но мне во что бы то ни стало требовалось подкрепить организм. И только в этом месте рассказа я перестала есть и наморщила лоб.

— Международной безопасности? Это еще что такое?

Адам отпил воды из стакана.

— Не знаю, — ответил он. — Мне не представилось случая спросить. Я попытался снова пригласить их в часовню, и это, похоже, их разозлило. Они выругались и потребовали, чтобы я немедленно ответил им, где ты, иначе со мной произойдет нечто ужасное. Они закричали: «Ты с ней трахался и не знаешь, где она живет?» И я подумал: «Что?» А потом сообразил, что, видимо, Хизер решила, что накануне мы с тобой переспали. В общем, они стали задавать мне по-настоящему грубые вопросы и обзывать тебя грязными словами, и тогда я понял, что они опасны, и решил ничего им не говорить. К тому же я сразу сообразил, что им нет никакой необходимости выпрашивать у меня твой адрес, — они ведь могли просто пойти и посмотреть его в журнале преподавательского состава. Ну, и сказал им опять, что ничего не знаю. И тогда они начали мне угрожать. «Отвечай, а не то не поздоровится!» — Адам пожал плечами. — Я подумал, что они не могут сделать мне ничего хуже, чем причинить боль, и просто приготовился к тому, что будет. — Он указал на лицо. — Ну и вот результат.

— Мне ужасно стыдно... — начала я.

Адам улыбнулся, правда, в основном — нижней половиной лица.

— Вообще-то это еще не самое странное из того, что произошло. Во-первых, они действительно начали меня бить. Один схватил меня, завел руки за спину и держал, а второй тем временем бил меня в лицо — ударил, кажется, раза три, не помню. Может, четыре. Мне это напомнило школьные годы, когда мы метелили друг друга на переменах, а этот парень явно думал, что в его распоряжении все время мира — знай только колоти меня. Он бил меня, потом дул на руку, ведь было очень холодно, и бил меня снова.

— Господи, — вырвалось у меня.

— А потом тот, который меня держал, сказал: «Не действует. Он сдвинулся на религии, ясное дело. Возомнил себя Иисусом или вроде того. Такого хоть распни, все равно не расколется, мать его». Тогда второй сказал: «Просто у римлян вот чего не было» — и достал пушку. Вынужден признаться, он был прав: теперь я и в самом деле испугался куда больше. Я стал вырываться, но тут тот, который меня держал, поскользнулся на льду и выпустил меня. Я из последних сил ввалился в часовню и захлопнул за собой дверь. Я все думал про святого Фому и пытался примириться с мыслью о смерти. Оказалось, это проще, чем я думал. Я понимал, что, наверное, вот-вот умру, но признавал весь абсурд ситуации — быть застреленным в университетской часовне! Инстинкт загнал меня под скамью, хотя разум твердил: вот сейчас откроется дверь, они войдут и пристрелят меня. Бежать мне некуда.

Я давно перестала жевать. Это какое-то безумие.

— И что потом?

— Дверь открылась — думаю, они вышибли ее ногой, — но внутрь они не вошли. Они минут пять стояли там и орала. Ругались матом и пытались заставить меня выйти. Подробно рассказывали, что сделают с тобой, если я не выйду, но я просто отгородился от их слов и — впервые за долгие годы — молился. Я слышал, как они спорили о своих пушках и о том, как им теперь быть. В какой-то момент один из них сказал другому: «Да просто пойди туда и прикончи его!» Но тот ответил, что первый, видимо, совсем двинулся, если думает, что он пойдет туда и лишится чего-то... чего-то там, я не понял чего. — Адам отпил еще немного воды. — Вот поэтому я и подумал, что здесь ты будешь в безопасности. Мне показалось, что они не могут входить в освященные места.

— Ну а потом-то что? Они просто ушли?

— Да. Ну, в конце концов. Мне показалось, что прошел не один час, хотя, возможно, промелькнуло всего каких-то пять минут. Ни один из них не желал войти в часовню, а я не собирался из нее выходить. Не думаю, чтобы им улыбалось устроить мне осаду: они сутками торчат в снегу, а я сижу под крышей, ем облатки и пью причастное вино.

— По-моему, я о такой храбрости еще никогда... — начала я.

— Не льсти мне, — сказал он, подняв вверх ладони. — Когда они ушли, меня трясло так, что я минут двадцать не мог подняться. А когда наконец встал, выпил все причастное вино, какое нашел. Так что какая уж там храбрость...

Ты не прав, хотелось мне сказать ему, но меня беспокоило еще кое-что.

— Эта вещь, про которую ты сказал. Ну, то, чего ты не понял. Что это было?

Адам взял вилку и теперь ел свое жаркое с таким умиротворенным видом, как будто бы только что поведал мне о результатах футбольного матча, а не о том, как его едва не убили.

— Извини, что? — переспросил он.

— Ты сказал, что когда один из них велел другому войти в часовню, тот ответил, что в таком случае он что-то там потеряет. Ты не помнишь, что именно? Как это звучало?

— М-м... да. Думаю, это была какая-то аббревиатура. Четыре буквы.

— Извини. Я понимаю, что ты вряд ли их запомнил.

— Да нет, я помню. Это были буквы ДИТЯ. «Я ведь потеряю свое ДИТЯ» — вот как он сказал. Но мне это абсолютно ни о чем не говорит. А тебе?

Я помотала головой:

— Тоже нет. Не знаю, с чего я решила, что смогу что-нибудь понять.

Глава семнадцатая

Когда с ужином было покончено, Адам отвел меня во внутренний двор покурить. Двор представлял собой небольшой квадратный газон, сейчас припорошенный снегом, окруженный четырьмя дорожками из серого камня. Адам объяснил, что, хотя мы и вышли сейчас на свежий воздух, на самом деле вроде как монастыря и не покидали. Когда я спросила, можно ли тут курить, он сказал, что точно не знает, но что к гостям здесь уж точно придираться не станут. И вот теперь я стояла и втягивала в легкие токсичный дым, размышляя о внутренних дворах в колледже Рассела и о том, что люди используют их только для того, чтобы покурить, — и большинство студентов понятия не имеет, что эти дворы могли быть задуманы для чего-то другого.

— Что-то ты притихла, — сказал Адам, прислонившись к каменной колонне.

— Чувствую себя не в своей тарелке, — ответила я. — Кажется, что меня вот-вот поразит молнией за то, что я курю и ругаюсь. Или еще хуже — за то, что я беспокоюсь из-за такой ерунды, как перспектива быть сраженной молнией за то, что курю и ругаюсь, когда на самом деле должна чувствовать себя виноватой из-за того, что случилось с тобой, и еще из-за того, что теперь я всех вас подвергаю опасности... И помимо всего прочего, мне нужно придумать, как от них скрыться и куда поехать.

— Ты могла бы просто остаться здесь, — сказал Адам.

— Не могу, — ответила я. — Мне нужно найти одного человека.

Но я не стала говорить ему, кого именно, и не стала говорить ему, каким образом я собираюсь его искать.

— Это связано с книгой? — спросил он.

Я кивнула.

— Если я правильно понимаю, о книге тебя лучше не спрашивать?

— Да. Думаю, тебе лучше вообще забыть о ее существовании.

Адам пожал плечами:

— А. Ну что ж, я рад, что, по крайней мере, увидел тебя снова.

— Да уж, радость та еще, — ответила я. — Посмотри, что с тобой уже случилось.

— Это пустяки, — сказал он, глядя в сторону. — Боль хотя бы реальна.

— Я знаю, о чем ты, — сказала я после короткой паузы.

— Правда? — удивился он.

— Ну, может, и нет, — ответила я, выдохнув дым в холодный воздух. — Но у меня... Не знаю. У меня странный взгляд на вещи. Еще и поэтому я чувствую себя здесь лишней... И вообще-то с тобой — тоже. — Я откашлялась — казалось, я проглатываю слова вместе со слюной и никотином. Все, что я хотела сказать (и чего не хотела — тоже), сократилось до одного-единственного предложения. — Я совершила много плохих поступков.

— Все мы совершаем много плохих поступков.

— Да, но одно дело — забыть поздравить бабушку с днем рождения и совсем другое — то, что делаю я. Я...

— Что бы ты ни делала, для меня это не имеет никакого значения.

Я не могла рассказать Адаму о своей извращенной сексуальности, поэтому просто бросила окурки в снег на газон, и он немедленно провалился в этом месте, мигнув на прощанье, словно глаз чудовища.

— У меня склонность к саморазрушению, — сказала я. — По крайней мере, так это называют в журналах.

— Саморазрушение, — повторил Адам. — Любопытный термин. Думаю, у меня такая же склонность, но в более буквальном смысле. Это то, о чем просит Дао: отречься от себя самого и избавиться от своего эго.

— Так, значит, в каком-то смысле саморазрушение — это хорошо? Интересная мысль.

— Ну, с тех пор, как я потерял Бога...

— Потерял? — переспросила я, едва заметно улыбнувшись. — Какая небрежность!

Черт. Нашла когда шутить. Эриел, ради бога, перестань издеваться над людьми. Но Адам посмотрел на меня ровно одну секунду, а потом, совершенно неожиданно, сделал несколько шагов в мою сторону, прижался ко мне и страстно поцеловал. Я ответила на его поцелуй, хотя понимала, что здесь для этого не место. Его губы прижимались ко мне с какой-то холодной настойчивостью, и в какой-то момент он пустил в ход и зубы — стал кусать мои губы, чуть ли не вгрызаясь в них по-настоящему. Я отстранилась:

— Адам...

— Прости. Но ты меня возбуждаешь.

Я опустила глаза:

— Я не нарочно.

— Неправда.

— Да нет же. Послушай... Я знаю, о чем ты. Мне действительно нравится мужское возбуждение, но ты — совсем другое дело.

— Потому что я умудрился потерять Бога? Или потому что он вообще у меня когда-то был?

— Извини, я тебя перебила. Что ты хотел сказать?

Он вздохнул, выпустив в воздух облачко неуверенности.

— Я хотел сказать, что я потерял Бога, а затем потерял и себя тоже. Я знаю, что религия помогает людям обрести себя, но обрести Бога? Я умудрился потерять вообще все, что имел. Думаю, вот в чем дело. Сколько книг я перечитал — про то, как потерять желания и эго... Все это в буквальном смысле означало умерщвление души. А я оказался к этому не готов. Не готов размышлять о религии и при этом не считать себя ее частью. Библия стала для меня всего лишь обыкновенной книгой, такой же, как любая другая. Я по-прежнему мог читать ее и составлять собственное мнение о том или ином отрывке из нее, но верить в нее больше не мог.

— Уничтожение души. Не лучше, чем саморазрушение.

— Да. На какое-то время мне удалось полностью отречься от себя самого, и это было просто... Но страшно.

— Адам...

— Связываться с другими людьми, терять в них себя самого, становиться с ними

«заодно». Это настоящий ад. Кто написал, что ад — это другие?

— Сартр.

— Он прав. Я не понимал, что вырвать из собственной груди душу и начать делиться ею со всеми направо и налево — это совсем не то же самое, что раздавать причастные облатки или сдавать старую одежду в благотворительный магазин. Это скорее то же самое, что пойти ночью в парк, раздеться и ждать, пока кто-нибудь придет и станет на тебя мочиться.

Я подумала о Вольфе и о его тщетных попытках попроситься, чтобы его избили.

— Но ведь не может быть, чтобы все люди были плохими, — сказала я.

— Я не об этом. Я... Я не знаю, о чем я вообще. Я именно это хотел объяснить тебе в ту ночь, но понимаю, что и сегодня у меня выходит не лучше. Я говорил тебе, что у меня был нервный срыв?

— Да. Мне очень жаль. Я...

— Это часть того же самого. Когда разрушаешь свое «я», оно не выдерживает и «срывается». Ты как будто бы подрываешь себя до тех пор, пока совсем ничего не останется. Но я не смог это сделать. Потерпел фиаско. Да, я подорвал себя самого, но потом, еще не успев даже заглянуть в бездну, чтобы увидеть, каково это — не иметь себя, я стал собирать себя обратно. Попытался быть «нормальным» — стал пить и ругаться матом. Было довольно весело. Но теперь я уже не уверен, кто я такой. Я пользуюсь этим словом — «я», но толком не понимаю, что оно означает. Не знаю, где оно начинается и где заканчивается. Не знаю даже, из чего оно вообще состоит.

— Ох. Ну, с этим я могу тебе помочь, — сказала я. — Все в известной нам вселенной состоит из кварков и электронов. Ты сделан из того же, из чего сделана я, — и из того же, из чего сделан снег и камни. Просто комбинации разные.

— Какая красивая гипотеза.

— Так ведь это же правда, — засмеялась я. — Я редко об этом говорю, но это самая что ни на есть чистая правда.

Однажды я вела занятие, на котором рассказывала студентам, как работать со смыслом. Это что-то вроде такого вводного урока, который я провожу, чтобы подвести их к мыслям о Деррида. Мы проходим Соссюра и прочие необходимые вещи, а потом я показываю им «Фонтан» Дюшана — писсуар, который был большинством голосов признан самым важным произведением искусства двадцатого века, — и спрашиваю их, искусство это или нет. В последней группе большинство студентов настаивали на том, что писсуар не может быть искусством — двое или трое даже всерьез рассердились и принялись рассуждать о Пикассо и о том, что их дети и те рисуют лучше, чем он, и еще — о недавней инсталляции, завоевавшей приз Тернера, — пустой комнате, в которой то гас, то загорался свет... А я-то думала, что это будет совсем несложное занятие. Ведь мне всего-навсего хотелось показать им, что вещь под названием «писсуар», под которой все мы понимаем то, во что писают мужчины, отличается от вещи под названием «картина» лишь тем, что в языке она обозначена другим именем. И ответ на вопрос, относится ли что-нибудь из них к категории «искусство», зависит от того, каким образом мы определяем искусство. Но студенты все никак не могли понять, о чем это я, и, помню, я была страшно разочарована. Я подумала: «Да пошли вы. Сидела бы я лучше сейчас дома и пила кофе». Я объяснила им, что все на свете состоит из одних и тех же кварков и электронов. Атомы — разные. Понятное дело, есть атомы гелия, а есть — водорода и все остальные, но они отличаются друг от друга лишь количеством кварков и электронов, из которых состоят, и в случае с кварками — еще тем, верхние они или нижние. Я объяснила, что, таким образом, писсуар вполне можно сравнить с той же «Моной Лизой». То, что они привыкли считать реальностью, является реальностью лишь с привычной им точки зрения. А под мощным микроскопом писсуар и «Мона Лиза» будут выглядеть совершенно одинаково.

Полнейшая неразбериха творится не только со временем и пространством. Вещество — это энергия, но и не только: оно давно превратилось в серое месиво, просто нам не видно.

Интересно, из чего сделана тропосфера? А если она существует лишь в моем воображении, то из чего сделано мое воображение?

Адам вернулся ко мне в комнату вместе со мной. Я тут же забралась на кровать, а он еще какое-то время ходил туда-сюда, выглядывая из-за занавески, поднимая со столика Библию и снова укладывая ее обратно. Я думала, что он усядется на деревянный стул, но он в конце концов все-таки подошел и сел на кровати рядом со мной, опустив голову на изголовье дюймах в двух от меня.

— Так вот, если все мы кварки и электроны... — начал он.

— То что?

— Получается, что, если мы займемся любовью, это всего лишь кварки и электроны будут тереться друг о друга?

— Даже лучше, — сказала я. — В микроскопическом мире никто ни о кого не трется. В действительности одно вещество никогда не соприкасается с другим веществом, поэтому мы можем заняться любовью, и наши атомы даже не будут друг друга касаться. Ты ведь помнишь, что электроны находятся снаружи атомов и отталкивают другие электроны. Поэтому мы можем заняться любовью и в то же время отталкивать друг друга.

Я услышала, как изменился ритм его дыхания, когда он положил руку мне на ногу — туда, где полы халата немного приоткрылись.

— И как же тогда это называть? Ну, в смысле, если это всего лишь атомы, которые отталкивают друг друга, тогда тут и говорить особенно не о чем. Я хочу сказать, какое тогда кому дело, сделаем мы это или нет?

— Адам...

— Где вообще начинается реальность?

На секунду я снова подумала о боли: трение через силу, обмен электронами через силу, возвращение в реальность через силу. Но о чем это я? Явно о чем-то другом, о чем-то не отсюда.

— В языке, — ответила я. — Во всем, начиная с существования слов «реальность» и «охрнительно» и заканчивая существованием слова «нельзя».

Я сделала упор на слово «нельзя» достаточно убедительно — и он убрал руку с моей ноги. Я прикрыла прореху, образованную полами халата, и скрестила ноги. Я знала, почему делать этого нельзя, но доводы — это одно, а желание — совсем другое, и поэтому я так и чувствовала, как все тело пульсирует с одной целью — готовит меня к тому, чего я не могу допустить: губы Адама — на моих губах; его темная, покрытая волосами грудь — прижата к моей, мягкой и гладкой; проникновение; забытие. Это похоже на то, как голодный человек понимает, что должен поесть. Голодный человек — это я, и вот кто-то протягивает мне тарелку с едой и говорит, что есть это мне нельзя, что еда, возможно, отравлена.

Адам поднялся с кровати и подошел к окну. Занавески по-прежнему были задернуты, но он не стал их открывать, а просто стоял и смотрел на их бежевую ткань. Он вздохнул:

— Все эти вещи про язык — это ведь как раз твоя специальность, да?

— Ага.

— Как далеко от теологии.

— Разве далеко? Из того, что ты говорил тогда у Хизер... Я подумала о Бодрийяре и его симулякрах — о мире, состоящем из иллюзий, из копий вещей, которые перестали существовать, — копий, не имеющих оригинала. А «различие» Деррида и то, как мы принимаем на веру значение различных вещей, вместо того чтобы самим по-настоящему его испытать. Деррида часто говорит о вере. Он очень много написал о религии.

— Но все равно ведь это не весело, правда? Тебе все равно говорят, что делать. Ну, типа: да, ни в чем нет никакого смысла, но все равно ты должен следовать правилам. А мне хочется чего-то такого, что говорило бы мне, что я не должен следовать никаким правилам.

— А, ну что ж, возможно, в таком случае тебе надо к экзистенциалистам. Думаю, вот у них — веселье. Вот только проблема в том, что они сами не догадываются о том, что

веселятся.

Я подумала о Камю и «Постороннем». О той сцене, где Мерсо пьет кофе в похоронном зале, и о том, как позже это используют в качестве доказательства того, что он плохой человек. Интересно, каким же тогда человеком будет тот, кто занимается сексом в монастыре?

— Так Деррида — не экзистенциалист?

— Нет. Но у них у всех общие корни — Хайдеггер, феноменология.

— А там что говорится про жизнь?

— Где, в феноменологии?

— Ага.

— Ну... Я пока еще продолжаю обдумывать все эти вещи и, возможно, еще не все правильно понимаю, но в целом тут речь идет о мире вещей — феноменах.

Мне снова пришел на ум рассказ Люмаса «Голубая комната» о философах, которые пытаются определиться с вопросом, существуют ли духи. Это очень похоже на то, как я в первый раз попыталась разобраться с тем, что такое феноменология (я, кстати, все еще в процессе). Я читала тогда «Открывая существование с Гуссерлем и Хайдеггером» Левинаса (Гуссерль был наставником Хайдеггера) и пыталась постичь, о чем же таком он говорит, но это было очень трудно. Я лежала в ванной, стараясь не намочить книгу, и в качестве мысленного эксперимента задавала себе старый как мир вопрос: «Есть ли в этой комнате призраки?» Я напомнила себе, что, будь я рационалисткой, я могла бы с полной уверенностью ответить «нет», если прежде уже успела определить с помощью логических и умозрительных заключений, что призраков не существует. Если ты рационалист, то можно вообще сидеть с закрытыми глазами. Я знаю, что призраков не существует, значит, в комнате нет никаких призраков. Если ты рационалист и твой мир построен на логике, которая утверждает, что вещи, которые умерли, мертвы, и точка, тогда, будь ты даже в комнате, полной орущих вурдалаков, ты все равно придешь к выводу, что никаких призраков тут нет. Будь я эмпириком, я бы стала искать доказательств в своих ощущениях. Увидев, что в комнате нет призраков, я бы заключила, что, раз я их не вижу и не слышу, значит, их нет. Все это я поняла. Но, по-моему, феноменологии неинтересно, существуют ли призраки. По-моему, она задает вопрос: «И кстати, что это вообще за хрень — призраки?»

Я попыталась кратко изложить все это Адаму:

— Ну, в общем, феноменология утверждает, что да, мол, ты существуешь, и мир существует, но вот отношения между тобой и миром — это уже сложнее. Как мы вообще даем чему-нибудь определение? Где заканчивается одно и начинается другое? Структурализм вроде как утверждал, что объекты — это всего лишь объекты и их можно называть как угодно. Но мне куда интереснее вопросы о том, что становится объектом. И как может объект иметь значение за пределами языка, с помощью которого мы дали ему определение.

— Выходит, в конечном итоге все сводится лишь к языку. Есть только слова, а за ними — больше ничего. Главная мысль — в этом?

— Ну, примерно. Хотя дело тут не только в словах. Возможно, «язык» — не то слово, которое требуется в этом контексте. Может, правильнее было бы говорить «информация». — Я вздохнула. — Все это так трудно выразить словами. Возможно, Бодрийяру это удастся лучше, когда он говорит о копии без оригинала — симулякре. Типа, как у Платона — знаешь? Он ведь считал, что на земле все — копия (или тени) Идеи. Ну, а что, если мы создали такой мир, где даже тот уровень реальности, в котором за правду принимают тени, еще не последняя копия? Вдруг в нашем мире не осталось ничего из того, что раньше считалось реальным, а отсылающие к вещам копии — то есть язык и знаки — больше ни к чему не отсылают? Что, если все наши идиотские картинки и знаки больше не отображают никакой реальности? Что, если они вообще ничего не отображают и отсылают лишь внутрь себя самих или к другим знакам? Это гиперреальность. Если воспользоваться терминами Деррида, это мир, в котором реальность от нас постоянно скрыта. Причем скрыта с помощью

языка. Он обещает нам стол, призраков или камень, но дать нам всего этого на самом деле не может.

— Довольно депрессивная теория, — заметил Адам.

Я засмеялась, но смех здесь прозвучал как-то глухо.

— Не более депрессивная, чем твоя мысль о том, что все — иллюзия.

— Но я-то говорил об иллюзии, которая скрывает за собой что-то. Какую-то действительно существующую реальность. А ты говоришь о мире, в котором нет ничего, что не было бы иллюзией.

— Ну, возможно, мне и хочется верить в то, что за пределами симулякра что-то есть. Не знаю. Но меня все это так будоражит. Как, например, открытие того, что все состоит из кварков и электронов. Мне все это кажется восхитительным, потому что, когда узнаешь что-нибудь об основных единицах вещей — языка, атомов, не важно чего, понимаешь, что они абсурдны. Вот то, например, что я рассказывала вам вчера про квантовую физику, — ну ведь это же безумие, такого просто не может быть. А то, что ты говорил о правде, которая существует только за пределами реальности? Это, по-моему, тоже восхитительно. Всегда есть какой-то следующий уровень, о котором нам ничего не известно. Ученые дошли до кварков и электронов — и до разных их нелепых сочетаний, которые образуют космические лучи и все такое, но они ведь не знают, конец ли это, удалось ли им найти то самое неделимое, которое греки называли «атомос»? А может, делить материю можно вообще бесконечно? И по-прежнему остаются большие вопросы, на которые никто не может найти ответ: что было до начала и что придет после конца? Уже одно то, что эти вопросы до сих пор существуют, заставляет подпрыгивать на месте от возбуждения. Никто до сих пор не знает ничего по-настоящему важного — и есть еще столько неизвестного.

— Выходит, мы снова вернулись к религии.

— Ты ведь, кажется, сам сказал, что религия — часть иллюзии. Ну, в смысле, она ведь тоже состоит из слов — как и все остальное...

— Да, но вера... Из чего состоит вера? — Адам прикоснулся к занавеске, но не стал ее открывать. — На нее ведь нельзя полагаться. Все, что основано на вере, ложно.

— Разве? Но ведь в каком-то смысле вера есть у всех. Например, мы верим в слова.

— Но вера не всегда оплачивает нам той же монетой. Не всегда получаешь взамен то, во что так искренне верил.

Он обернулся и посмотрел на меня. Его лицо было очень бледным, и я вспомнила, что он ведь говорил о своем «не слишком хорошем» самочувствии. И все равно это, пожалуй, самый красивый человек из всех, кто встречался мне в жизни, и на секунду мне показалось невероятным, что он находится здесь, в одной комнате со мной — с этими его немытыми волосами, в темной одежде, и — нет-нет, он не просто тело, состоящее из атомов, он намного больше этого. Как просто было бы просто закрыть глаза и пустить его к себе. Но ведь потом он снова уйдет, а я останусь один на один с тем, что наделала. Я не хочу, чтобы он уходил. Раз мне нельзя заниматься с ним сексом, я буду говорить с ним, говорить, говорить... И тогда потом мы, может быть, просто уснем в объятиях друг друга? Не будь душой, Эриел. Здесь это ничем не лучше, чем секс.

— Можно ведь сказать, что все мы верим в коллективную культуру, — сказала я.

— Это как?

— Ну, в коллективный язык. Понимаешь, ведь у нас у всех и в самом деле одна общая культура, состоящая из вещей, которые мы сами разбили на части и на каждую повесили ярлык — как ученые девятнадцатого века, которые все классифицировали. Конечно, люди по-прежнему продолжают спорить из-за этих классификаций. Две похожие рыбы — это один сорт рыбы или два разных? Отличается ли все от всего остального, или никаких различий нет?

Адам смотрел на меня с таким мрачным видом — мрачнее я никогда не видела, и все его лицо, включая взгляд, сползло куда-то вниз и уставилось в пол. Но мне все равно хотелось в нем утонуть — утонуть в море мрачного, злого Адама. Теперь я хотела его еще

больше, и он был сердит на меня за то, что я отказалась с ним переспать. Казалось, силовые линии между нами стали эластичными и теперь пытаются сжаться. Мы отличаемся друг от друга, или никаких различий нет?

Он ничего не сказал, поэтому я продолжала:

— Какими критериями ты пользуешься, чтобы сказать, что вот эта вещь заканчивается здесь, а вот тут начинается другая? И что это вообще такое — «быть»? Пока не доберешься до атомарного уровня, между вещами, похоже, вообще нет промежутков. Даже пустое пространство кишмя кишит частицами. Но если взглянуть на атомы, то становится понятно, что кроме пустого пространства вообще ничего не существует. Ты ведь, наверное, слышал про такую аналогию: атом — это спортзал, в середине которого лежит теннисный мячик. В действительности ничто не связано ни с чем. Но мы создаем эти связи между вещами — с помощью языка. И с помощью такой классификации и с помощью промежутков между этими вещами создаем культуру вроде той, в которой живем сейчас, в которой мы оба понимаем, что было бы неправильно переспать в монастыре, который меня приютил.

Глаза Адама по-прежнему были колючими, но в голосе появилась мягкость.

— Почему неправильно?

— Перестань, ты сам знаешь почему. Мы оскорбили бы всех здесь, узнай они, что происходит.

— Но ведь они сами виноваты в том, что ничего не понимают про атомы?

— Думаешь? А вот культура утверждает обратное. Ведь так можно оправдаться и за совершенное преступление. «Но, господин судья, ведь на самом-то деле я не пырнул ее ножом, потому что атомы ножа не прикоснулись к атомам ее тела». Нельзя просто взять и выйти из этой культуры только потому, что она нам не подходит. Ну, то есть можно, конечно, и выйти или хотя бы сказать себе, что вот, мол, мы вышли — но ведь чувство вины все равно у нас останется. — Я вздохнула. Говорить об этом очень просто, но нелегко объяснить, что я чувствую на самом деле. Как это сказать? Адам, я хочу увидеть тебя раздетым. Хочу сосать твой член, а потом лечь на спину и позволить тебе трахнуть меня, но не в монастыре, потому что от этого я бы чувствовала себя грязной и злой, а я, наверное, скоро умру, и хотя я не уверена, что верю в рай, я недавно видела существо, которое утверждало, что оно — бог, поэтому мне бы не хотелось в самый последний момент испортить себе всю картину.

Тут я снова вспомнила о Деррида. Я как будто бы на аукционе, и последняя цена, которую я могу предложить за свою непорочность, такова: я представляю себе его член у меня во рту, но не говорю об этом и не делаю этого. Не позволяю атомам сблизиться слишком сильно.

Адам снова повернулся к окну. На этот раз он открыл занавески и выглянул наружу.

— Снег все идет? — спросила я. Где-то я встречала эту фразу: «Не идет ли снег, дорогой?» Не помню только где. Хотя, может быть, там говорилось не про снег. Возможно, про дождь.

— Нет. — Он вздохнул. — Надо было мне остаться у тебя во вторник.

— Я бы и тогда не стала с тобой спать.

Бог, ты слушаешь?

Он кивнул:

— Я тебе не нравлюсь.

— Дело не в этом. Скорее дело в том, что я сама себе не нравлюсь.

— Это уж, извини, какая-то хрень.

— Прости, пожалуйста. Ты прав. Но я просто не могу. Хочу — но не могу.

Он снова обернулся. Но на меня он больше не смотрел. Связи не было — уж как бы там ни называлось то, что возникает, когда кто-то смотрит тебе в глаза, а ты смотришь в его, и на секунду кажется, что вы — две машины, включенные в одну и ту же розетку, или даже нет, не так: один из вас — машина, а другой — розетка. Машины, розетки, электричество, силовые линии... Возможно, наши взгляды и не соединились, но другие силовые линии все

еще здесь, и они притягивают меня к нему.

— Но ты ведь хочешь этого? Хочешь меня? — Он говорил так, как будто бы ему сообщили о том, что он смертельно болен и проживет от силы год. Неужели можно относиться к сексу настолько серьезно? Неужели можно относиться настолько серьезно к сексу со мной? Патрик говорит, что я его «завожу», но я ничего для этого не делаю — просто он всегда заранее знает, что получит от меня то, что получает всегда: грязный, ни к чему не обязывающий секс. Но если он больше никогда не увидит меня, думаю, он не очень-то огорчится. Хочу ли я Адама? Ну, тут и думать нечего.

— Да. Но не могу сделать этого с тобой. Я тебя недостойна.

— Ты же знаешь, что я никогда... — Он бросил фразу, и она полетела вниз, как снежинка, которая тает прежде, чем упадет на землю.

— Знаю. Еще и поэтому. Проблема в том, что я-то — как раз наоборот. Тысячи раз, с сотнями людей.

— Эриел, ради бога.

— Что?

— Зачем ты так об этом говоришь?

— Как «так»?

— Так, как будто бы хочешь казаться... Не знаю.

— Куском дерьма?

— Ну, я бы выразился иначе.

— Конечно. Ты ведь такой правильный. — Я прикусила губу.

— Слушай, да пошла ты! Ты думаешь, что я правильный, просто потому, что я был священником. Я не хочу быть правильным. Я хочу...

— Чего? Быть таким, как я? НЕправильным? Грязным? Ну что ж, давай. — Я начала расстегивать халат. — Давай трахнемся в монастыре. Пожалуйста, бери — уж чем богаты. Смотри: вот, например, что я могу тебе предложить. — Я вытянула вперед руки, развернув их запястьями кверху, — казалось, я толкаю что-то вверх. — Вот что случилось в последний раз, когда меня трахали.

Адам сделал шаг вперед, и на секунду я представила себе, что сейчас он разорвет на мне ночную рубашку и опрокинет на кровать. Я этого от него хочу? Или я хочу, чтобы он пожалел меня — с этими моими изуродованными запястьями и с сотнями сексуальных завоеваний? Но его глаза были мертвы, как древние окаменелости, он прошел мимо меня и вышел из комнаты. Чего бы я там ни хотела, я этого не получу. Он ушел.

Полчаса спустя я по-прежнему сидела одна в холодной комнате и забралась под одеяло, чтобы согреться. Потом проглотила немного раствора из своей бутылочки и поставила ее на стул рядом с кроватью. Опустилась на подушку и смотрела на черный круг до тех пор, пока одна реальность не стала превращаться в другую — ту, которая начинала нравиться мне больше этой.

На этот раз путь через туннель был совсем недолгим. Но когда я оказалась снаружи, все изменилось. Улицы, к которой я уже так привыкла, больше не было. Вместо нее вокруг раскинулась тесная городская площадь с серой мостовой — совершенно крошечная по сравнению с особняками и замками, которые толпились вокруг. Казалось, зданий тут было несколько сотен, хотя, рассуждая логически, я понимала, конечно, что столько здесь просто не уместилось бы. И тем не менее они здесь были. Одни — из светлого камня, другие — из темного, будто ржавого, кирпича и с готическими шпилями и башенками, которые, казалось, доставали до облаков, пытаясь пробить себе путь на небеса. Облака. Как странно. Раньше в тропосфере не замечалось никаких облаков. Но здесь по-прежнему ночь, и, возможно, облака видны из-за того, что сегодня полная луна. Только ведь раньше-то здесь и луны не было...

Посреди площади стояла статуя, озаренная лунным светом. Мне показалось, что это копия роденовского «Мыслителя»: мужчина сидит на камне, подперев рукой подбородок. Однако, подойдя поближе, я увидела, что у мужчины мышинная мордочка. Это был Аполлон

Сминфей, только без мантии. Вдруг раздался крик совы, и я подпрыгнула от неожиданности. В прошлый раз, когда я слышала звук в тропосфере, ни к чему хорошему это не привело. Но больше ничего не произошло, и я решила, что это всего лишь сова. Сколько же здесь зданий? Какое-то невероятное множество. Трудно описать то, что я видела перед собой, но общее ощущение было такое, что вокруг просто слишком много всего — слишком большое количество информации втиснуто в слишком тесное пространство. Помимо толчеи башенок и шпилей перед моим взором теснились разводные мосты и крепостные рвы, курганы, дым костров, радужный мост и различные флаги, а позади строений высились горы, и утесы, и озера, наползающие друг на друга, будто открытки с видами, внахлест покрывающие стену. Среди внушительных построек обнаружились и другие, более знакомые места: несколько кофеен, книжная лавка и магазинчик, торгующий реквизитом для фокусников. Впрочем, все они, похоже, были закрыты. Одно место показалось мне особенно восхитительным, но не здание, а заброшенный сад с высокими стенами и коваными воротами. Внутри стояла скамейка и несколько деревьев. Я хотела войти, но ворота оказались заперты. Впрочем, как и все двери вокруг. Повсюду мерцали розовым светом старые неоновые вывески: «Закрыто», «Fermé», «Закрыто на ремонт», «Закрыто», «Мест нет». Ну и местечко — готические замки и башни, и повсюду — розовый неон.

Дисплей?

Тут как тут.

Возможностей больше нет, — произнес женский голос.

А, ну отлично. Приехали. У них тут что, все сломалось? Может, эти парни сделали с тропосферой что-то такое, что теперь у меня здесь ни к чему нет доступа?

«У вас одно новое сообщение».

Что?

«У вас одно новое сообщение».

Можно мне его получить? Ответа нет. Где же маленький конвертик, на который можно нажать, чтобы открыть? Как здесь выглядит его эквивалент? Как получают сообщения в тропосфере? И вообще — кто мог оставить для меня сообщение? На мгновение я представила себе конверт из коричневой бумаги с торчащими из него красным, зеленым и черным проводом — бомба от моих врагов. Но это не вызвало у меня никаких ощущений, и я вспомнила, что именно это-то мне здесь и нравится: ни жары, ни холода, ни страха.

Теперь на моем дисплее что-то мерцает, и, приглядевшись, я вижу, что это мышиная нора Аполлона Сминфея. Раньше я ее не замечала, но теперь она тут: втиснутая между чем-то, напоминающим Валгаллу, и заведением с вывеской «Кафе „Первоцвет“». Надо туда пойти? Вообще-то мне хотелось бы увидеть Аполлона Сминфея. Я выключила дисплей и через белую арку прошла в уже знакомую мне комнату — пустые столы и полки и гнездо в углу. Аполлона Сминфея нигде не видно. Я прохожу в следующую комнату. Огонь в камине не горит, и в комнате никого нет. Но зато на столе лежит брошюра.

«Путеводитель по тропосфере», — написано на обложке. Автор — Аполлон Сминфей.

Может, это и есть мое сообщение? Я открываю брошюру.

«У вас нет новых сообщений», — говорит голос.

Значит, брошюра — действительно сообщение. Ладно. Я сажусь в кресло-качалку и начинаю читать. Все послание занимает от силы три страницы, напечатанные очень крупным шрифтом.

Тропосфера — это не место.

Тропосфера создана мыслью.

(Я создан молитвой.)

Тропосфера растет.

Тропосфера находится как внутри твоей вселенной, так и за ее пределами.

Тропосфера может разрушиться, превратившись в точку.

В тропосфере больше, чем три измерения, и больше, чем одно «время».

Сейчас вы находитесь в тропосфере, но можете назвать это и как угодно

иначе.

Мысль — это все, что было подумано.

Разум — это все разумы.

Это измерение отлично от других.

Ваша тропосфера отличается от тропосфер других.

Педезиса можно достичь благодаря приближению:

географическому (в мире);

тропографическому (в тропосфере);

наследственному (в мыслях).

Возможность выбора, которую предоставляет вам тропосфера, касается лишь приближения.

(За исключением тех случаев, когда информация зашифрована).

Вы можете перепрыгивать из одного разума в другой в физическом мире (но только при условии, что этот человек в настоящий момент уязвим и доступен миру всеобщего разума).

Вы можете также перепрыгивать из разума одного человека в разум его предка в мире воспоминаний.

Все это — воспоминания.

Тропосфера имеет иную природу, нежели физический мир, с которым она (в свободной форме) перекликается. В связи с этим в одних случаях бывает эффективнее путешествовать в тропосфере, а в других — в физическом мире (см. график).



Оговорка: данный график — упрощенная версия более сложных вычислений. Он справедлив по отношению к самым простым путешествиям или к путешествиям на короткий срок. Педезис на много поколений назад по родословной (весьма вероятно) приведет к неточностям восприятия.

Примечание. Единицы расстояния/времени в тропосфере приблизительно в 1,6 раза больше своих эквивалентов в физическом мире. «Час» в тропосфере длится 1,6 часа в физическом мире, т. е. 96 минут.

Вычислять по времени расстояние следует обычным способом.

В тропосфере расстояние — это время.

В тропосфере нельзя умереть.

В реальном мире можно умереть.

«Ты» — это то, чем ты себя считаешь.

Материя — это мысль.

Расстояние — это бытие.
Ничто не покидает тропосферы.
Пожалуй, тропосферу можно считать текстом.
Тропосферу, которую видите вы, можно считать метафорой.
Тропосфера, в определенном смысле, всего лишь метафорический мир.
Хотя я и предпринял здесь попытку, описать настоящую тропосферу невозможно.
На любом языке, состоящем из цифр или букв, ее можно описать только как часть *existentielle-аналитики* (см. *Хайдеггер*).
Последний пункт мог бы получиться и попонятнее. Я хотел сказать, что, чтобы по-настоящему испытать тропосферу, ее необходимо еще и выразить.
Конец.

Глава восемнадцатая

Я снова лежала у себя в постели, хотя часы показывали всего лишь полночь. Я попыталась, пока не забыла, записать как можно больше из того, что прочитала в послании Аполлона Сминфея. Обязательно нужно будет это как следует обдумать в реальном мире. Что все это значит? Мысль — это все, что было подумано. Разум — это все разумы. Может, это и есть тропосфера? Все разумы? Возможно, я даже когда-то это знала. Или подозревала. И если это так, неужели город в моем сознании так велик, что в нем есть лавочка, или дом, или даже замок для каждого сознания в мире? Что означали все эти замки и почему все они были заперты? Что такое сознание? У червей оно есть? Должно быть, ведь у мышей-то есть. И если мне захочется попасть в сознание червя где-нибудь в Африке, как с этим быть?

Ясно только одно. Время в тропосфере и в самом деле движется по-другому. Я не вполне понимаю эту штуку про расстояние в тропосфере, равное проведенному в пути времени, но очевидно то, что, когда оттуда возвращаешься, оказывается, что в реальном мире времени прошло больше, чем тебе показалось, пока ты был там. Первым делом я, как смогла, зарисовала по памяти график. По большому счету это была теорема Пифагора. Теорема Пифагора применительно к пространству и времени. Я попыталась вспомнить все научно-популярные книги, которые читала в последние годы. Притяжение ведь действует точно так же, да? Но у Аполлона Сминфея нет ни слова о массе. Только о расстоянии и времени. Он вообще, похоже, уверен, будто в тропосфере расстояние и время — суть одно и то же. Я знаю, что и в «реальной» вселенной это так же. Категория пространство-время. Просто в обыденной жизни этого не замечаешь. Не будешь ведь заикливаться на теме времени, когда собираешься пройтись по магазинам или даже слетать на Луну. Если тебе хочется заиклиться на теме времени, нужно улететь с Земли на космическом корабле и продолжать двигаться со скоростью, близкой к скорости света, не снижая ее и не увеличивая. И тогда, вернувшись обратно, ты обнаружишь, что на Земле прошло времени «больше», чем у тебя на корабле. В тропосфере, видимо, происходит обратное. Или как раз то же самое? У меня урчит в желудке. Придется опять поесть.

Но замки и башни с их витиеватыми шпилями и тяжелыми разводными мостами все никак не шли у меня из головы. Я писала: «Тропосферу, которую видите вы, можно считать метафорой. Тропосфера, в определенном смысле, всего лишь метафорический мир» — и думала о том, что же представляют собой эти замки, если все они — метафоры. И еще интересно: отправляясь в тропосферу, ты немедленно получаешь доступ к сознаниям, которые в реальном мире расположены к тебе «ближе других»? И если дело в этом, не означает ли, что все эти замки представляли собой сознания верующих людей, с которыми я на этот раз оказалась под одной крышей? И кто решил, что они должны выглядеть как замки? Они — или я?

Я закончила записывать послание. Кажется, я все запомнила правильно. Даже странно — я боялась, что многое забуду. Но потом мне пришли в голову слова Аполлона Сминфея, и

я поняла, что моя тропосфера (которая отличается от тропосфер других людей) находится у меня в сознании. А значит, этот документ — теперь одно из моих воспоминаний. Хотя память уже потихоньку его стирает. Я посмотрела на одну из строчек, которые записала: «Вы можете перепрыгивать из одного разума в другой в физическом мире». Кажется, что-то не так. Я что-нибудь пропустила? Я потерла лоб, как будто пыталась собрать все свои воспоминания в Кучку и трением высечь что-то вроде искры припоминания. Сработало! «Вы можете перепрыгивать из одного разума в другой в физическом мире (но только при условии, что этот человек в настоящий момент уязвим и доступен миру всеобщего разума)». Вот. Не знаю, что это значит, но, по крайней мере, теперь у меня это записано.

Я зевнула. Тело хотело спать — и есть, — но разум никак не мог остановиться и желал все того же: отвечать на вопросы до тех пор, пока вопросов совсем не останется. Я снова взглянула на свой список. Невозможно без улыбки смотреть на мелькнувшее имя Хайдеггера. Какого черта Аполлону Сминфейю думать про Хайдеггера? Но какой-то инстинкт подсказывал мне, что Аполлон Сминфей умеет объяснять людям сложные вещи на их собственном языке, а в моем языке содержатся такие термины, как *existentielle* и оптический, и их более прославленные двойники — экзистенциальный и онтологический. Я не забыла того, что читала в книге «Бытие и время», хотя то, что я не дочитала ее до конца, одно из самых больших сожалений в моей жизни. А эти термины я помню из-за того, что именно в связи с ними сделала так много заметок на полях.

Когда я читала «Бытие и время», про себя я называла ее «Бытие и обеденное время» — так я шутила сама над собой, потому что на первые сто страниц у меня ушел целый месяц. Дело двигалось так медленно, потому что читала я только во время обеденного перерыва, за супом и булочкой в дешевой кафешке недалеко от того места в Оксфорде, где я тогда жила. В доме у меня совсем не было отопления, и там стояла ужасная сырость. Все зимы напролет я не вылезала из бронхитов, а летом не знала, куда деваться от насекомых. Поэтому я старалась бывать дома как можно реже и каждый день ходила в это кафе и сидела там час или два за «Бытием и временем». В день я осиливала не больше трех-четырёх страниц. Вспомнив сейчас то время, я подумала: неужели Аполлон Сминфей и про это знает? Может, он знает и о том, что потом кафе закрыли на ремонт и я перестала туда ходить? Или даже о том, что у меня тогда начался роман с одним парнем, который хотел встречаться со мной в обеденные перерывы, и я оставила Хайдеггера ему?

Надо было все-таки дочитать книгу. Надо было принести ее сюда. Но кто берет с собой «Бытие и время» в качестве предмета первой необходимости, спасаясь от вооруженных головорезов? Я выбралась из постели. У стены стоял старинный книжный шкаф со стеклянными дверцами и маленьким серебряным ключиком. Я посмотрела через стекло и увидела множество сочинений папы Иоанна Павла Второго, включая книжку его стихов. Еще имелись толстые коричневые Библии и тоненькие белые комментарии к Библии — все покрытые слоем пыли. Никаких толстых синих книг. Никакого «Пространства и времени». Странно, если бы она тут оказалась. Желудок издал очередной характерный звук, как будто у меня внутри кто-то надувал воздушный шар. Если я собираюсь снова возвращаться в тропосферу, надо все-таки поесть. А потом нужно будет подумать над тем, как найти Берлема.

В коридоре было темно и холодно. Я сама не могла в это поверить: я иду воровать еду из монастырской кухни! Или это не называется «воровать»? Я уверена, что если бы хоть кто-нибудь сейчас здесь не спал и я могла бы попросить, мне бы предложили чувствовать себя как дома и угощаться. Ведь именно так обычно говорят гостям. По крайней мере, заниматься в монастыре сексом с бывшим священником я не стала.

Интересно, где Адам. В одной из гостевых комнат? Хорошо бы столкнуться с ним в коридоре и взять все свои слова обратно. Но не знаю, можно ли взять обратно то, что я сказала. Внутри у меня все свернулось узлом, когда я на мгновение представила себе, будто прикасаюсь к нему — просто прикасаюсь, где угодно. Сначала в этой мысли не было ни

намека на секс, но вскоре он все-таки появился. Я представляла себе, как лижу ему ноги и чешу спину. Узел внутри завязался еще туже, и все вокруг потеряло смысл. Нет никаких головорезов с оружием, нет никакого монастыря. В невозможные полчаса с Адамом, полчаса вне всякого контекста, чем бы я хотела заняться? Мы можем делать все, что захотим. Насколько далеко я бы зашла? Насколько далеко понадобилось бы зайти, чтобы утолить эту жажду? В моем сознании замесились, как осколки стекла, битые, жесткие образы, и мне оставалось лишь вздохнуть, когда фантазия закончилась. Похоже, мне вообще никогда не испытать настоящего удовлетворения.

Дверь кухни оказалась закрыта, но не заперта. Внутри было темно, но от плиты по-прежнему исходило тепло, и в ней еще теплился огонь. Я не стала зажигать свет — хватило и бликов, отбрасываемых печью. Запах жаркого, такой острый и горячий днем, стал намного слабее и теперь превратился скорее в воспоминание о еде: пластиковый запах пищи, каким веет в столовых при учреждениях. Я приоткрыла дверцы нескольких шкафчиков, пока не нашла наконец кладовку. Там стояли, одна на другой, большие жестяные банки с печеньем, красные и серебристые. Еще — штук двадцать огромных банок-тушеных бобов. Сухое молоко, сгущенное молоко. Несколько буханок хлеба. Чего бы такого съесть, чтобы набраться энергии для путешествия по тропосфере? Я попыталась вспомнить советы из женских журналов, которые несколько лет подряд читали мои бывшие соседки. Сложные углеводы. Вот что мне нужно. Макароны из твердых сортов пшеницы, дикий рис. Но я ведь не могу ничего приготовить. Ящик с фруктами. Я точно помню, что бананы — богатый источник чего-то там. Я взяла три штуки, а потом, подумав, поменяла их на целую связку. Надо будет перед уходом прихватить с собой несколько штук. Небольшая буханка нарезанного черного хлеба. Банка пасты «Мармайт». Бутылка лимонада. Господи боже. Я собираюсь отправиться в мир иной, подкрепившись бутербродами с «Мармайтом», бананами и лимонадом. Какой-то абсурд. Я уже собиралась закрыть дверцу кладовки, как вдруг заметила несколько приличного размера бочонков с заменителем еды «Хай-ЭнерДжи». И забрала одну — на всякий случай. Это была коричневая банка цилиндрической формы с розовыми веселыми буквами. Я подумала о дурацкой моде на заглавные буквы посреди названий продуктов и сразу же вслед за этим подумала об айпode. А потом — о Берлеме. Я ведь скопировала все его документы себе в айпод.

Ну конечно.

Вернувшись в комнату, я быстренько включила свой ноутбук и подключила к нему айпод. Затем перенесла все файлы Берлема на свой жесткий диск, отключила айпод и убрала его на дно сумки. Было слышно, как снаружи поднимается ветер, и мне представилась настоящая метель, как будто с неба сыплются сбесившиеся номера модели ПУОП, хотя Адам ведь сказал, что снег уже не идет. Я съела три банана, обернув вокруг каждого ломоть хлеба. Потом отхлебнула лимонаду. И стала рыться в файлах. Я обнаружила, что резюме Берлема устарело, хотя, похоже, года три назад он активно искал себе новую работу в Штатах. Еще я выяснила, что к моменту своего исчезновения Берлем успел написать половину романа (интересно, имелась ли у него с собой копия файла? Дописал ли он книгу?). Первая глава довольно интересная, но в ней определенно нет ничего такого, что помогло бы мне его найти. Я не удержалась и, прежде чем перейти к другим файлам, прочитала также краткий план романа. Небольшой — всего на страницу. В романе говорилось о преподавателе, который закрутил роман с коллегой, и та от него забеременела. Его жена узнает об их связи (но ничего не знает о ребенке) и разводится с мужем, а вот зато муж коллеги считает, что ребенок — от него. Когда он умирает, девочке рассказывают, кто на самом деле ее отец, и у нее начинается что-то вроде романа с собственным биологическим родителем. Рассказчик живет один среди своих книг и мечтает чаще видеться с дочерью. Закрыв план, я перешла к другим папкам. Нашла все письма, отправленные им в период соискания профессорской должности, нашла его письма в банк. Но нигде ни намека на то, что он собирался исчезнуть, оставить работу в университете и никогда больше сюда не возвращаться. Вот еще какие-то письма. Одно — в воскресную газету, с жалобой на высмеивание Деррида в мультфильме,

который показали в первые же выходные после его смерти. Я улыбнулась, прочитав это, потому что помню, как сама, увидев этот мультфильм, была возмущена и понадеялась, что кто-нибудь им напишет. Еще мне попало письмо к кому-то, чье имя ничего мне не говорило. Молли. Фамилии нет. Оно было написано странным стилем — обычно так разговаривают с маленькими детьми. Потом мне стало понятно, что письмо и в самом деле было адресовано маленькой девочке — возможно, подростку — в школу-интернат. Берлем обещал вскоре ее навестить и привезти ей денег. Что может быть общего у Берлема и девочки-подростка? В голову мне полезли нехорошие мысли.

Я снова открыла файл с романом. Ребенка в книге звали Полли.

Я перечитала письмо. Это была дочь Берлема, ну конечно. Вот черт. Он никогда мне об этом не говорил. Я думала, что имею дело с холостым — ну, или, возможно, разведенным — мужчиной пятидесяти лет. Мне и в голову не приходило, что у него может быть непростое прошлое — хотя вообще-то мне следовало догадаться. Ведь он и в самом деле выглядел как человек с непростым прошлым.

На письме не значилось другого адреса — только адрес Берлема. Но потом мне попались и другие письма — целый список писем, следующий за его письмом в банк. Все они адресовались некоему доктору Митчеллу, и речь в них шла о таких вещах, как плата за учебу, а также неофициальные расходы на обучение и наем репетиторов. Потом я заглянула в письма от менеджера из банка и обнаружила в них инструкции, как можно напрямую переводить деньги в школу в Хертфордшире. Платеж оформляется на имя Молли Дэвис. Теперь все ясно. Берлем платит за обучение дочери в школе. На этих письмах есть почтовый адрес. Адрес школы.

В голове у меня беспокойно закружилось. Может быть, мне удастся найти Берлема через нее?

Тогда для начала мне понадобится Аполлон Сминфей.

Вернувшись обратно в тропосферу, я обнаружила, что у городской площади не четыре угла, а больше. Вокруг стоят все те же замки с теми же розовыми неоновыми вывесками, и они по-прежнему производят впечатление чего-то совершенно невозможного. Снова где-то прокричала сова.

— Аполлон Сминфей? — позвала я.

Ничего.

Я вызвала дисплей.

«Возможностей больше нет», — сообщил он женским голосом.

Я могу воспользоваться карточкой Аполлона Сминфея?

«Срок действия карточки Аполлона Сминфея истек».

Твою мать. Он ведь, кажется, говорил, что у меня еще будет несколько дней.

Я прошла взад-вперед по площади, но все и в самом деле было закрыто. С площади вела одна улица, и я двинулась по ней. Шагая, я размышляла о «приблизительных» подсчетах Аполлона Сминфея, согласно которым каждая единица расстояния/ времени в тропосфере длится в 1,6 раза дольше, чем в «реальном» мире. Что же тогда такое шаг? Сколько времени уходит у меня на то, чтобы его сделать? Если я сделаю, скажем, сто шагов и это займет у меня приблизительно две минуты, когда я проснусь в монастыре? Как далеко мне нужно уйти, чтобы остаться без завтрака? Как далеко мне нужно уйти, чтобы меня сочли мертвой? Я шла дальше, миновала нескольких парковок и джаз-клуб. На другой стороне улицы располагался какой-то захудалый стрип-клуб с черными масляными полосками по белому фасаду, как будто недавно там случился пожар. У этих заведений не было названий, но на стрип-клубе красовались силуэты девушек на шестах, а на джаз-клубе — изображение саксофона. Джаз-клуб находился на углу улицы, вниз от него начинался небольшой переулок, упиравшийся в кинотеатр и еще одну автомобильную стоянку. Здесь, похоже, все работало. Во всяком случае, никаких розовых неоновых вывесок я не увидела. Особенно не задумываясь над тем, что делаю, я вошла в джаз-клуб. Ни музыки, ни сигаретного дыма...

Вам остается только одно.

Вам... Мне холодно и срочно надо посрать. Но, похоже, мы тут зависли на всю ночь. Эд врубил отопление на полную, но ноги у меня все равно до сих пор как кирпичи. На улице снег валит, и ветер еще к тому же поднялся. Табличка на церкви напротив болтается туда-сюда, гремит. Что еще за Мария с горы Кармель? Кармель-карамель, Мария с карамельной горы или вроде того. В машине воняет кофе и дерьмовой едой. По всему полу коробки из-под сэндвичей. Ну-ка пну одну из них. Взлетела с пластмассовым треском.

— Что это? — спрашивает Эд.

— Коробка из-под сэндвича, извини.

Эд ничего не отвечает. Его глаза — одни сплошные зрачки.

— Может, она и не там, — говорю я.

— Слушай, этот святоша знает про церкви, а она с ним спит, правильно?

— Ну да, но...

— И он «приходит сюда, когда все идет не так». Почему бы ему и ее с собой не взять, а? Они ведь наверняка скоро поймут, что, пока они там, мы ничего им не сделаем. А может, уже поняли. Кто знает, сколько времени у нее книга. Она, может, уже не первый год серфит по «Майндспейсу».

— Говорю тебе, книга уже едет в Лидс.

— И где тут этот Лидс?

Я пожал плечами.

— На северо-западе? Не очень-то близко.

— Черт.

— Мы ее добудем.

— В прошлый раз ведь не добыли.

— А теперь добудем.

Я... Господи боже, я в голове одного из блондинов. Мартин. Мартин Роуз. Спокойно, Эриел. Не дай ему понять, что ты здесь. Но как можно ходить на цыпочках по чьему-нибудь сознанию? Ш-ш-ш... Что делать — выйти или остаться? Дисплей? Штуковина накладывается на изображение, и теперь я/Мартин смотрю на Эда через целый калейдоскоп разных картинок. Кто-то что-то печет, кто-то едет по шоссе, а еще кто-то смотрит в синее небо. Что это за картинки? Я вспоминаю брошюру Аполлона Сминфея:

Педезиса можно достичь благодаря приближению:
географическому (в мире);
тропографическому (в тропосфере);
наследственному (в мыслях).

Хорошо. Итак, если ты находишься рядом с кем-то в физическом мире, ты можешь попасть в его сознание через тропосферу. Этот тип педезиса кажется мне логичным. Эти парни сидят прямо за стенами монастыря, и мне пришлось пройти по одной метафорической улице, чтобы их найти. Я не понимаю, что значит тропография. Но наследственность... Может быть, это то, что я вижу сейчас? Возможно, эти изображения имеют какое-то отношение к родителям Мартина или его дедушке и бабушке? Возможно, я вижу эти картинки их глазами? Их всего три. Не такое уж и богатое наследство. В сознании мыши были сотни таких картинок. Ну же, Эриел. Думай... Но я не хочу думать слишком громко — вдруг Мартин заметит, что я здесь? Я заинтригована настолько, что меня так и подмывает попробовать одну из этих иконок на дисплее, чтобы посмотреть, что будет, но что-то мне подсказывает, что это будет большой ошибкой. Когда я сделала это в прошлый раз, с мышью, я умудрилась перепрыгнуть из ящика под раковиной на задний двор — в разум мыши у мусорных баков, которая, видимо, приходилась этой первой мыши — кем? — отцом? дедушкой? Кто знает, куда бы меня занесло, прыгни я сейчас в один из этих порталов. Может, куда-нибудь в Америку. Как это, интересно, происходит в тропосфере?

- Эд?
- Что?
- Если она останется там, мы вряд ли сможем что-нибудь сделать.
- Понимаю.
- Она это знает?

Эд пожал плечами. Над его головой все время блекло маячит окошко, но сейчас я вижу на дисплее уже другое изображение. Я в машине, и передо мной какой-то блондин... Это же я. Мартин. Значит, сейчас я могу выбрать сознание Эда? Может, так и сделать? Прыгнуть? Нет, пожалуй, не буду. Останусь в безопасности. Я пытаюсь расслабиться и уложить свое «я» поудобнее, чтобы как следует вжиться в сознание Мартина и пробраться в него поглубже, а не болтаться на поверхности его мыслей, как сейчас. И вот — я словно надеваю новый костюм, слишком теплый, как свитер посреди жаркого дня, — мое сознание замедляется, и «я» во мне уже не мое, а Мартина.

— Можно поджечь эту их лачужку, — говорю я, конечно не всерьез. Я приехал сюда не для того, чтобы поджигать старые церкви — или отстреливать священников. Нам дали еще одну возможность добыть книгу и — ну да, мы слегка обезумели. Но, с другой стороны, состав у нас кончается, и дело становится вроде как срочным. Наши карточки ЦРУ пока что нас выручали, но долго ли это продлится? Стоит кому-нибудь действительно попробовать набрать телефон нашего бывшего босса — и все, привет. Что он им скажет? Нет, я не видел этих парней с тех пор, как они связались с проектом «Звездный свет». Не видел с тех пор, как лично освободил их от занимаемых должностей. ЦРУ? Нет-нет, в ЦРУ они больше не работают.

- Неплохая мысль, — говорит Эд. — Хотя бы согреемся.
- Это плохая мысль. Забудь, что я это сказал.
- Да почему же? Выкурим их оттуда. Отличная мысль!

Я смотрю через лобовое стекло. Думаю, пристрелить священника мне не по зубам, но вот с ней я бы вполне справился — с Эриел Манто. Думаю, она будет к этому готова. Так проще. В первый раз было нелегко — помню, как меня тогда рвало в туалете какой-то паршивой забегаловки где-то на Западе. Я держался за раковину, и потом на ней была кровь — кровь с моих рук. Следующий парень, которого я убил, все равно был куском дерьма и к тому же готов к тому, что произойдет. Я тогда понял, что такие вещи Можно делать анонимно, и с тех пор научился решать вопросы так, чтобы в действительности там и не присутствовать. Ты вроде как тут, и в то же время тебя тут нет. Всего лишь небольшой туман в голове — но его потом можно раз! — и стереть. В этом «Майндспейсе» еще к тому же, как назло, проникаешься сочувствием к людям. Но все равно необходимо избавляться от тех, кто узнал секрет — теперь, когда и мы его знаем. Я снова поддаю ногой по коробке из-под сэндвича, и Эд злобно на меня таращится. Время от времени «дворники» проезжают по лобовому стеклу, и по бокам собирается все больше и больше снега. Справа, прямо рядом с нами, стоит монастырь — невысокое здание из красного кирпича. Интересно, я смогу выйти из машины и поджечь его? Как вообще устраивают поджоги? Это ведь, наверное, не так-то просто, тем более в снегопад. Видимо, тут нужен бензин, какие-нибудь щепки и зажигалка.

- Думаю, это не так-то просто — поджечь какое-нибудь здание, — говорю я.
 - А как еще, твою мать, нам их оттуда выкурить?
 - Не знаю.
- Долгая пауза.
- Черт, ну и холод.
 - Ага.

Разум Мартина — по крайней мере, те мысли, что лежат на поверхности, — утихомиривается и наполняется гудением физических ощущений, отчего мое сознание само по себе автоматически выбирается из его тесноты. Мое «я» снова здесь. Итак, каким образом можно попасть в воспоминания Мартина? Дисплей по-прежнему передо мной, и я вижу

«кнопку» с надписью «Выйти». Я выключаю дисплей, просто представив себе его выключенным. И теперь просто сижу тут в присутствии сознания Мартина и присматриваю за ним, а он даже не догадывается об этом. Нельзя, чтобы он понял, что я здесь. Но мне нужны его воспоминания. Я хочу знать то, что знает он. Мистер У в книге так делал, значит, и я наверняка тоже смогу — ведь вымысел, похоже, уже стал реальностью.

«Детство!» — пробую я в качестве эксперимента. Я думаю это слово как можно энергичнее, будто бы в конце стоит восклицательный знак — примерно так же, как думаю слово «Дисплей!». Но ничего не происходит. Я пытаюсь как можно глубже проникнуть в сознание Мартина. Я заглушаю себя в нем, насколько это вообще возможно. Я чувствую то, что чувствует он. Я больше не пытаюсь быть одновременно и собой и им. Я сосредотачиваюсь на дерьме в своем кишечнике и на том, что пропади он пропадом — этот состав, а мне бы сейчас оказаться в чистом, обработанном освежителем воздуха туалете, чтобы можно было поставить голые пятки на кремовый мохнатый коврик и как следует просрать, очистив организм от отходов... Еще одна попытка. «Детство!» И вдруг — да, вот оно: передо мной пластмассовая игрушка, такая штуковина, которая превращается из робота в машину и потом обратно. И я испытываю по отношению к этому куску пластмассы несколько чувств одновременно: желание, надежду, что-то похожее на победу... «Проект „Звездный свет“!» — думаю я. И у меня снова получается: я задыхаюсь в нем, мое «я» почти перестает существовать, я — Мартин, в прошлом... В бе...

...белой комнате, с электродами на голове и на груди. Как странно. Совсем не похоже на начальные стадии исследования, когда от меня всего-то и требовалось, что держать перед собой картинку с изображением треугольников, кругов и квадратов и пытаться передать их Эду в соседнюю комнату. Это больше походило на эксперимент по удаленному видению — как бы плохо мне ни удавались подобные вещи. Другие парни мысленно переносились в Ирак и зарисовывали оружейные склады и биотехнические лаборатории, расположенные глубоко под землей. Лично я, когда туда перемещался, ничего такого там не обнаружил. Только пару верблюдов — да и то, говорят, я их себе придумал. А на этот раз тут что-то совсем другое. Они дали мне выпить какой-то дряни из прозрачной лабораторной колбы и подключили к этой машине. Я сижу на какой-то штуковине, похожей на электрический стул, скрепленный с зубоврачебным креслом. Но... и вот я в другом мире.

Когда я выхожу оттуда и заканчиваю заполнять вопросник, они говорят мне, что я побывал в месте под названием «Майндспейс». «Че это за фигня — этот ваш „Майндспейс“?» — спросил я, но мне никто не ответил. Скоро я уже выполняю для них разные поручения — переносюсь в Ирак, но на этот раз не для того, чтобы найти оружие. Да его там и нет — так, во всяком случае, говорит Эш, парень, ответственный за эту часть программы. Помню, он как-то сказал мне, что мастерство удаленного видения бывает двух видов: 1) ты находишь то, что там есть; 2) ты находишь то, что тебе велели найти. В общем, оружие я в Ираке не ищу. Я читаю мысли людей. Правда, к Саддаму меня и близко не подпускают. Для этого я недостаточно крут. К тому же с уровнем благонадежности у меня не все в порядке. Ведь вообще-то нас с Эдом отправили сюда после того, как в Новом Орлеане ситуация вышла из-под контроля и мы прямиком загремели на верхнюю строчку в списке кадровых перемещений. Но перемещение в какой-то двинутый паранормальный проект? Лучшего способа избавиться от пары хреновых агентов и не придумаешь. Короче, когда проект заработал на полную катушку, мне стали поручать разбираться со всякой мелкотой. Двойка бубен, тройка пик. Я отправляюсь туда, возвращаюсь, а потом приходит какой-нибудь парень из военных и допрашивает меня. Такая у меня теперь работа. Мы с Эдом шутим, что нам теперь нужны новые звания — «агент Мозг» или что-нибудь вроде того.

Когда работаешь в «Майндспейс», важно научиться планировать свои путешествия. Это оказалось очень приятно — суметь так разработать маршрут, чтобы попасть в Ирак и обратно и при этом обойти кругом весь этот долбаный «Майндспейс». Конечно же, проект осуществлялся в обстановке строгой секретности, и никто ничего мне не объяснял — ни что

я делаю, ни как это все работает. Но путешествия по чужим мозгам круто щекочат нервы: скачешь по воспоминаниям других людей до полного одурения, а потом возвращаешься обратно. Было бы здорово рассказать про это друзьям, но когда попадаешь в такой вот проект, о разговорах с друзьями можно забыть — какое там, тебе даже с матерью запрещено общаться. Эд подходит к этому более философски, чем я, в этом ему не откажешь. У меня, конечно, тоже возникали вопросы по поводу реальности, снов, прошлого, будущего. Но мы на этом не очень заикливаемся. Говорим в основном о девочках. Ага — как, например, в тот раз, когда я оказался в голове у одной дамочки, в самолете, летящем в Багдад (это так чудно: тебе дана способность путешествовать по всему свету в сознаниях людей, но при этом самолет все равно кажется тебе наиболее удобным средством передвижения), и она вдруг пошла в туалет и доставила себе там удовольствие. Сначала, если мне самому предоставляли решить, в чье сознание влезать, я все время выбирал себе женщин, но со временем это стало нравиться мне все меньше. Однажды у меня был рак груди, и я знал, что скоро умру. Вот это снос башки... В другой раз я оказался в голове какой-то репортерши, добывающей информацию о банде, которая ее похитила. Ну и кончилось все тем, что трое из них меня изнасиловали. Первое время, выйдя из транса, я сразу рассказывал Эду о своих последних приключениях в стиле «сиськи и жопа». А потом мне это стало приедаться, и я стал путешествовать в сознаниях мужиков, а Эду продолжал рассказывать, что вот, мол, опять был женщиной и гладил сам себя между ног, или засовывал себе искусственный член, или что-нибудь еще такое. Может, он и сам к тому времени занимался тем же. Кто его знает.

Думаю, проект уже начал приносить реальную пользу, когда они ввели в дело ДИТЯ. А ведь он мог продолжаться и дальше, и кто знает, чем бы это кончилось для нас для всех? Хотя, если честно, я уверен, что он до сих пор где-нибудь продолжается — у кого-нибудь в голове. К тому времени, как проект закрыли, о составе знали уже достаточно многие. Но ДИТЯ оказалось дерьмовой идеей (расшифровывается как Дискретное Интегрально-Терминальное Ядро, но говорят, это полная херня, просто им нужно было придумать что-нибудь этакое с аббревиатурой «ДИТЯ»). Все началось с того, что руководитель исследования отправил в «Майндспейс» своего отпрыска, страдающего слабо выраженным аутизмом. Ребенку было семь лет, и он пробрался туда куда быстрее, чем большинство из нас. Потом они обнаружили, что этот парень может мысленно заставить шимпанзе перестать есть мороженое. Тогда они стали проводить эксперименты над другими детьми-аутистами. Они одолжили нескольких таких ребят у Агентства национальной безопасности — их сняли с эксперимента по простым числам. И выяснилось, что эти детишки могут влиять на мысли других людей. То есть они вообще могут эти мысли изменять. Тогда детей набрали целую кучу и приставили по одному к каждому из нас — теперь мы работали парами: взрослый сотрудник и ДИТЯ.

Схема работы довольно проста. Сначала ребенок забирается к тебе в сознание. Потом вы отправляетесь в «Майндспейс», и ребенок следует за тобой повсюду. Можно было даже по реальному миру шататься с этим тоненьким голоском у себя в голове, который мог напомнить тебе пин-код для банкомата, или когда день рождения твоей мамы, или слово в слово повторить какой-нибудь документ, который ты видел лет пять назад. Эти дети зачитывали тебе твои же собственные воспоминания — чем не телесуфлер? Но когда ты брал с собой в «Майндспейс» ДИТЯ, начинало твориться что-то совсем уж странное. Ну, в каком-то смысле это было, конечно, прикольно — ходить по этим безумным местам не одному, а в компании мелкого... Но стоило забраться к кому-нибудь в сознание, ты чувствовал, будто сидишь внутри матрешки. ДИТЯ, самая маленькая матрешечка, говорил одновременно и в твоей голове, и в голове того, к кому ты забрался, и нужно было научиться отключаться, пока ДИТЯ велел человеку делать то, что нужно. Потому что все ДИТЯ могли по-настоящему манипулировать реальностью или, по меньшей мере, изменять сознания людей.

Уходя из проекта, мы захватили своих ДИТЯ с собой. Никто этого не знал. Они, конечно же, мертвы. Все ДИТЯ умерли. Вот почему проект закрыли. Ни один проект, в

котором погибла сотня детей, не может продолжаться, независимо от того, финансировало его государство или нет. ДИТЯ оставались в «Майндспейсе» слишком долго. Никто не думал, что, потерявшись в нем, можно умереть. Никто не знал, как разбудить бедных маленьких ублюдков.

Теперь из двадцати бутылочек состава, которые мы захватили на складе перед уходом, у нас осталась только одна. И что же делать? Ведь мы уже не можем обходиться без путешествий по «Майндспейсу», ежу понятно. Поэтому теперь нам нужен рецепт, а рецепт — в книге. Конечно, состав нам нужен не только для себя. Представляете, сколько бабла можно на этом срубить? Добудь мы рецепт, могли бы продать состава столько, что легко сшибли бы бабок в тысячи раз больше, чем собираются драть с бизнесменов за полеты на Луну. Я никогда еще не приближался так близко к чему-нибудь ценному. Я должен достать книгу. Я должен достать книгу...

Я... Черт, мне надо пострать. Больше не могу терпеть — уже даже какие-то голоса в голове стали мерещиться.

— Эд?

— Че.

— Мне надо пострать.

— Ты че, охренел? Не можешь потерпеть??

— Я уже несколько часов терплю, еще чуть-чуть — и навалю прямо в штаны. И сколько мы тут еще будем сидеть? Уже почти три часа ночи.

— Вот дерьмо. — Руки Эда лежат на руле, хотя мы уже несколько часов стоим на месте. Он несколько раз поворачивает его туда-сюда, как будто бы что-то происходит, как будто мы не просто так сидим на месте. Щелкает блокиратор руля, и Эд чертыхается.

— Извини, но ты же понимаешь... Проторчим здесь целую вечность, а она, может, вообще оттуда не выйдет.

У Эда бессильно опускаются плечи.

— Если она вообще там, — говорит он.

— Ага. Если она вообще там. Я вот все думаю, может, попробовать Лидс?

— Нельзя потерять книгу.

— Понимаю. Она нужна мне не меньше, чем тебе.

Эд трет лицо.

— Ладно, — говорит он. — Новый план.

Мое дыхание вырывается наружу все какое-то рваное, как будто изодранный в клочья призрак.

— Какой?

— Что, если нам сейчас уехать? Поспать немного. Но мы поручим это ребятам. Отправим их следить за ней.

Я собираюсь спросить, как он это себе представляет, но мне очень нужно, чтобы он согласился сейчас же отсюда свалить, поэтому я просто говорю: «О'кей». Я думаю о светлом мохнатом коврике из моего воображения и ободранном линолеуме в мотеле, который ждет меня в действительности. Но, так или иначе, пора нам отсюда сваливать. Мне пора сваливать. Что-то так и подмывает меня свалить отсюда как можно скорее.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Присутствие в своем фактичном бытии есть всегда, «как» и что оно уже было. Явно или нет, оно есть свое прошлое. И это не только так, что его прошлое тянется как бы «за» ним и оно обладает прошлым как еще наличным свойством, порой продолжающим в нем действовать. Присутствие «есть» свое прошлое по способу своего бытия, которое, говоря вчерне, всякий раз

«сбывается» из его будущего.¹⁷

Хайдеггер. Бытие и время

Целое есть то, что имеет начало, середину и конец. Начало — то, что само не следует по необходимости за другим, а напротив, за ним существует и происходит по закону природы нечто другое; наоборот, конец — то, что само по необходимости или по обыкновению следует непременно за другим, после же него нет ничего другого, а середина — то, что и само следует за другим и за ним другое.¹⁸

Аристотель. Поэтика

Глава девятнадцатая

Итак, сколько у меня времени? Меньше, чем хотелось бы. Я оделась, сложила монастырскую рубашку и оставила ее на постели. Руки у меня немного дрожали. Они знают, что я здесь. И первым делом, конечно же, пошлют сюда своих ДИТЯ. А они, интересно, могут входить в освященные места? Впрочем, если эти парни готовы на все... Я просто не слишком хорошо понимаю эту систему, чтобы уразуметь, что они станут делать, а чего не станут. Нужно просто поехать куда-то, где они не догадаются меня искать. Поехать туда, где Берлем. Где бы это ни было, он прячется там уже больше года.

Если, конечно, он не умер так же, как те бедные дети.

Собравшись, я достала «Наваждение» из сумки и прикоснулась к нему — возможно, в последний раз. Брать его с собой я не могу, велика вероятность, что они меня настигнут. Нет. Она останется здесь — там, куда они не могут войти. И возможно, когда-нибудь я вернусь за ней.

Правильно ли я поступаю?

Я провела своей бледной рукой по кремовой ткани переплета. Нет, я не могу взять ее с собой.

Но что, если кто-нибудь ее найдет?

Я посмотрела на книжный шкаф. Пыль лежала даже на серебряном ключике: никто не читает этих книг, они здесь всего лишь декорация. Помню, кто-то рассказывал мне литературный анекдот о том, как легко живется студентам-теологам, чья специализация — Ветхий или Новый Завет. Весь анекдот я уже не вспомню, но заканчивался он так: «...потому что им по программе нужно прочесть всего одну книгу». Не знаю, правда ли это, но мы все тогда в пабе здорово смеялись. Так что же, рискнуть и оставить «Наваждение» здесь, рядом со стихами Папы Римского? Других вариантов у меня все равно нет, поэтому я открыла шкаф и поставила книгу на полку. Ну вот, там ее и в самом деле вряд ли кто-нибудь заметит. Я закрыла дверцу и заперла на ключ. А как быть с ключом — забрать с собой? Нет, они будут раздевать меня и найдут его — когда я умру. Лучше уж я оставлю его здесь. Но где? Больше в комнате нет ни одного подходящего места, чтобы можно было что-нибудь спрятать. Пора было бежать, поэтому в итоге я просто забросила ключ под книжный шкаф.

Когда я вышла на улицу, черной машины там не было. Морозный воздух тысячей ножей царапал мне лицо, и я не сразу поняла, откуда взялись слезы у меня на щеках. Уже почти рассвело, и мне так захотелось быть сейчас в постели, в тепле, с Адамом. А я что делаю вместо всего этого? Бросаюсь в бега. Нужно отыскать Берлема и придумать что-нибудь такое, что остановило бы этих мальчишек и не позволило им разворошить мне мозг. И... Мысли у меня были такие четкие и собранные, что я даже испугалась. Я

¹⁷ Перевод В. Бибихина.

¹⁸ Перевод В. Аппельрота.

посмотрела на монастырь и на секунду представила себе, что было бы, если бы это было обыкновенное, нерелигиозное здание — здание, которого я бы не боялась и в котором могла бы заняться сексом с Адамом. Но если бы это было обычное, нерелигиозное здание... Я что, так круто провалилась в свои фантазии, что уже не соображаю, что вообще происходит? И может ли на самом деле быть такое, что эти блондинистые парни и в самом деле не смогли войти в монастырь и я заставила их уйти? Во всяком случае, я старалась изо всех сил. Я просто сосредоточилась на Мартине и его несчастном кишечнике и все повторяла ему, что он должен немедленно уйти и найти туалет. Так просто? Почему же тогда они сами так не делают? Ведь, кажется, одни только ДИТЯ должны уметь так делать? Тогда почему же и я тоже сумела?

Аполлон Сминфей, почему ты меня покинул?

На трассе A2, сразу за Медуэем, есть такой отрезок, на котором кажется, будто бы едешь прямо в небо. Большинство дорог в Британии устроены по одному и тому же принципу: их непременно что-нибудь должно огораживать — изгороди, поля, дома. Но эта дорога прорезает пейзаж как широкий мазок компьютерного «ластика», как будто бы число пикселей было задано слишком большое и стерлось больше, чем было задумано. Дорога здесь серая, шириной в четыре полосы. Небо по-прежнему было черным, и все, кроме дороги и неба, было покрыто снегом, сверкающим в белом искусственном свете фонарей. Уже во второй раз за эту неделю я почувствовала себя частью черно-белой фотоконии. Было шесть утра, и кроме двух грузовиков для разбрасывания песка по дороге ехала только я одна — ехала в сторону школы дочери Берлема, не очень представляя себе, что буду делать, когда туда доберусь. Аполлона Сминфея мне бы тоже надо найти: у меня слишком много вопросов.

Я включила печку на полную мощность и наконец-то начала согреваться. Но снаружи стоял лютый холод, а я понятия не имела, где буду сегодня ночевать. Я не знала ни того, как исполнить свой план, ни даже того, возможно ли вообще его исполнить. Как мне теперь попасть в тропосферу? У меня нет ни дивана, ни кровати. У Мартина и Эдда есть комната в мотеле и двое мальчишек в придачу. И я знаю, что они непременно причинят мне зло — что они ХОТЯТ причинить мне зло. А все, что есть у меня, — это машина и девять с половиной фунтов. Возвращаться в университет мне нельзя. Возвращаться домой — тоже. Я подумала о своей квартире, убогом жилище, которое по крайней мере было моим собственным, и снова почувствовала, как слезы начинают наворачиваться на глаза. Я увидела лицо Адама, когда он выходил из моей квартиры, и еще — когда уходил от меня вчера. Я ведь тогда ни капли не сомневалась, что поступаю правильно. А теперь я совершенно одна и, возможно, останусь одна до самой смерти.

Вдохни поглубже. Не реви. Следи за дорогой.

Автомобильной печке не справиться с ощущением холода... Я на секунду отрубилась — или больше, чем на секунду. А когда пришла в себя, увидела на дороге знак, которого раньше не было. «Ненавижу, когда такое происходит на трассе», — мелькнула совершенно четкая мысль, как будто бы мне сейчас и в самом деле может быть дело до каких-то там знаков.

Кстати, я все еще не разревелась.

Знак сообщал, что, если продолжать ехать прямо, в конечном итоге я окажусь в Лондоне. Вот и хорошо. А вот еще один знак — он указывает на повороты, ведущие в разные города Медуэя. Я живу здесь недавно, и все эти названия мне мало что говорят. Хотя... Одно из них мне знакомо. Это город, в котором живет Патрик. Может, он одолжит мне еще немного денег? Или он еще спит? Мой мозг производит сложнейшие расчеты, за которыми сознание едва поспевает. И вот, в самую последнюю секунду, я включаю поворотник и сворачиваю.

Через пять минут я стояла на парковке у заведения под названием «Поваренок», приткнувшегося сразу за раздолбанной кольцевой развязкой. Вокруг росли

деревья-полутрупы и кусты с запутавшимися в ветках пивными банками и пластиковыми лотками из-под картошки фри. В целом это местечко походило на часть города в компьютерной игре, где надо самому заниматься дизайном и строительством — заброшенный уголок, который ты забыл удалить или, на худой конец, привести в порядок. Полседьмого. Интересно, Патрик уже проснулся? Звонок может разозлить его или его жену, поэтому я отправляю эсмэску: «Согласна на все ради денег». Вписываю название городка и ставлю три кокетливые скобки. Надо, чтобы выглядело весело, иначе он не поведется.

Я вышла из машины и, уворачиваясь от ледяного ветра, направилась к «Поваренку». Открывается в семь. Я вернулась в машину и включила печку на полную мощность. Интересно, можно умереть, если сидеть в машине с включенной печкой? Или для этого обязательно завести мотор и просунуть в окно шланг, надетый на выхлопную трубу? Согреться никак не получалось, даже с включенной печкой. Я закрыла глаза. «Аполлон Сминфей...» — подумала я. Интересно, как можно молиться кому-то, с кем лично знаком? Такое вообще возможно? «Аполлон Сминфей. Пожалуйста, пусть с тобой все будет в порядке. Прошу тебя, помоги мне, если можешь. Я поступаю плохо, делаю такое, о чем никому никогда не расскажу. Но мне непременно нужно вернуться в тропосферу, чтобы увидеться с тобой, а для этого мне нужна теплая комната». Неужели подействует? Ведь, кажется, приблизительно так люди молятся? Я не знаю никаких классических молитв. Правда, раньше я умела медитировать. Может, попробовать сейчас? Следующие десять минут я сидела с закрытыми глазами и под гудение печки, словно мантру, повторяла про себя: «Аполлон Сминфей... Аполлон Сминфей...» Не знаю, сработал ли этот прием, но, когда я открыла глаза, снег на автостоянке искрился в тысячу раз ярче, чем прежде. А потом мир снова потускнел. «Маленький повар» открылся. Мне срочно надо выпить кофе.

Я допивала вторую чашку эспрессо, когда телефон завибрировал.

Патрик. «А ты ранняя пташка».

Я начала набирать ответ: «Знаю». Потом задумалась, как бы вернуть шутку насчет того, что ранней пташке вроде бы положен первый червячок, но так, чтобы это его не напрягло. Никаких идей. В итоге я просто написала: «И?»

«Где ты?»

«Поваренок. У А2».

«ОК. Через 10 мин».

Неужели я на это способна? Но ведь другого выхода нет.

Я глотнула кофе и принялась ждать.

Вскоре он появился, одетый в свою рабочую одежду — черные джинсы и темно-красную рубашку.

— Ого, — сказал он. — Вот так сюрприз.

— Кофе хочешь? — спросила я.

— Хочу кое-чего другого, — сказал он, приподняв одну бровь.

— А, ну это-то тебе точно достанется.

— Где?

— Когда-нибудь занимался этим в общественном туалете?

Он улыбнулся и тряхнул головой:

— Господи боже, какая грязная мысль!

Я тоже улыбнулась:

— Да, грязная.

— Я никогда раньше...

— Никогда раньше что?

Подошла официантка. Патрик прикусил губу.

— Еще два кофе, — сказал он.

— Никогда раньше что? — повторила я, пока официантка шла к прилавку, снимала с подноса две белые чашки и по очереди подставляла их под струю кофеварки.

— Ну...

Говорить необязательно. Ему кажется, что наш роман развивается в обратном направлении и что у него есть своя извращенная логика. Мы начали с отелей, а заканчиваем в придорожной забегаловке — пьем дерьмовый кофе и планируем заняться сексом в туалете. Для него это целая пьеса: действие первое — роскошный секс. Действие второе — жестокий секс. Действие третье — мы отправимся в паршивую туалетную кабинку, и он мне за это заплатит. Надеюсь, он догадывается, что это — финал? Акт третий, он же последний. Конечно, будут кульминация и катарсис — все как положено. А потом — конец, занавес. Конечно же, в моем мире никакой логики в этой истории нет. Для меня наш роман — всего лишь случайный эпизод, и наша встреча здесь совершенно ничего не значит. Нет никакой игры. Мне просто нужны деньги. Но если кому-то нужна пьеса — пожалуйста, будет ему пьеса.

Десять минут спустя мы уже стояли в туалетной кабинке для инвалидов — в ней пахло розовым жидким мылом и отсыревшими бумажными полотенцами. Патрик вцепился мне в сосок и через ткань свитера сильно ущипнул его. А потом прижал меня к стене.

— Черт, — сказал он. — Поверить не могу, что я это делаю. Сними свитер.

— Подожди, — сказала я. — Надо, чтобы все было по-настоящему.

— По-настоящему?

— Ты разве не хочешь узнать, сколько я беру?

Он наклонился к моему лицу и укусил меня за мочку уха:

— Грязная шлюха. Ну, так сколько же?

— Сто.

— А ты подорожала. И что я за это получу?

— За это ты сможешь меня отыметь. По полной программе — как только захочешь.

— В прошлый раз это стоило двадцать.

— Хорошо. Тогда чего бы ты хотел за сотню?

— Ты знаешь чего.

Ага, догадываюсь. В прошлый раз это было бесплатно.

— Деньги вперед, — сказала я.

Он достал пять двадцаток — новеньких, только что из банкомата, и протянул их мне.

— Теперь сними свитер и спусти джинсы, — скомандовал он.

Я это сделала.

— Руки за спину.

Он достал что-то из кармана и связал мне руки. Я подумала: что бы он теперь ни сделал, мне нет до этого никакого дела. Это всего лишь мое тело. Пускай с телом делают что хотят, главное — не трогайте мой мозг. К тому же тело не особенно возражает. Как бы напугана я ни была, как бы сильно ни хотела поскорее уехать подальше от блондинов и их мальчишек — мое тело обрадовалось знакомому ощущению и хочет еще и еще. И ждет привычной боли, которая вот-вот наступит.

— Нагнись, — велел Патрик. Он выдал себе в руку немного розового мыла и намазал им свой член.

На то, чтобы кончить, ему потребовалось полторы минуты.

В Хертфордшир я приехала около одиннадцати. У меня сложилось что-то вроде плана. Единственный способ добраться до Берлема, прикинула я, — через его дочь. Ведь он — ее отец, а Аполлон Сминфей в своих инструкциях утверждает, что педезис можно совершать по наследственной линии. Поэтому мне нужно остановиться в гостинице рядом с ее школой и оттуда отправиться в тропосферу, попробовать разыскать Аполлона Сминфея и спросить у него, как все это можно устроить. Ведь если я буду рядом со школой, значит — буду рядом с ней. А если я буду рядом с ней, значит, ее легко будет найти в тропосфере. Но это лишь мои догадки.

Школа располагалась в крошечной деревне в нескольких милях от Хитчина.

Обнаружив ее, я минут пять кружила по соседним улицам, тщетно пытаюсь найти отель или общежитие. Я приготовилась сделать еще один круг — и тут увидела большой паб. Остановила машину и вошла. Внутри никого не было — только тощий тип мерзкого вида вытирал за прилавком стаканы.

— Привет, — поздоровалась я.

— Здравствуйте, — ответил он. — В бегах, а?

— Что?

— Вы не из школы?

Я что — на столько выгляжу?

— Нет, — ответила я. — Лет двадцать назад, может, была... Вы сдаете комнаты?

— Только с завтраком.

— Хорошо.

— Подождите, я посмотрю в журнале, есть ли места.

С тех пор, как я въехала в деревню, мне не встретилось ни одной живой души. Не может быть, чтобы у них не было мест! Но я послушно стояла и ждала, пока он долистает до нужной страницы и проведет ногтем до последней строчки.

— Ага. На сегодня комната есть. Вам для одной?

— Да.

— Семьдесят фунтов.

Мамочки. За комнату в пабе?!

— А подешевле нет?

— Не-а. Кроме этой есть только еще апартаменты. Восемьдесят пять. Так что выбирайте.

Я вздохнула.

— А поблизости тут ничего дешевле не найдется?

— Поезжайте обратно в Хитчин, — предложил он. — Может, там что-нибудь и сыщете.

До Хитчина десять миль. А мне нужно быть рядом со школой.

— Ладно, спасибо. Беру. А кстати, курить там можно?

— Да делайте все, что душе угодно. Рассчитаетесь сразу?

Ну конечно, он мне не доверяет.

— Да, — сказала я и протянула ему деньги.

Комната оказалась лучше, чем я ожидала. Постель — мягкая и прыгучая, с красным стеганым одеялом. По сторонам — тумбочки, на каждой — по антикварной лампе. В номере обнаружился даже туалет с мягкими, хоть и выдавшими виды белыми полотенцами. Мне ужасно хотелось принять ванну, но времени на это не было. А если отправиться в тропосферу прямо из ванны? Или так можно утонуть? Надо поточнее прикинуть, как много у меня времени. Определить приоритеты. Поест, потом — тропосфера. Может, позвонить и заказать еду в номер, а пока несут, принять ванну? По-быстрому, только чтобы согреться. Интересно, тут вообще еду в номер приносят? Да, вот на тумбочке меню. Похоже, в основном тут кормят мертвечиной и жареной картошкой. В итоге заказала тарелку фасолевого супа и две порции картошки. И тут же полезла в ванну. После ванны надела чистые трусы, чистые джинсы, толстую черную термо-футболку с длинным рукавом и сверху свитер. Тут тепло, теплее, чем в монастыре. Я макала картофельные ломтики в суп и перечитывала то, что записала ночью. Мне по-прежнему нужно о многом спросить Аполлона Сминфея.

Я скучаю по своей книге. Скучаю по «Наваждению».

Я полезла в сумку за бутылочкой с микстурой, но ее там не оказалось. Я вывалила на кровать все свои вещи — микстуры нет. Все, что у меня есть, — это черный кружок на белой картонке. Как же теперь я попаду в тропосферу? Ну что, может, все-таки заплакать? А что,

если просто лечь на кровать, смотреть на точку и сосредоточиться на ощущении, будто вокруг мигают огни и будто бы я в туннеле... Может, микстура больше не нужна? Наверняка ее в моем организме уже предостаточно, потому что туннель вдруг действительно появляется, и...

Тропосфера выглядит примерно так же, как в первый раз. Я стою на очередной тесной улочке. Тут, как обычно, ночь.

Здесь что, вообще нет солнца? Я оглядываюсь по сторонам — снова неоновые вывески и разбитые витрины. Это что же, изнутри мое сознание примерно так и выглядит? Интересно, почему? Я прохожу мимо секс-шопа с выставленными в витрине огромными красными резиновыми членами. Опять секс-шоп? Тут я догадываюсь, что, видимо, с ними у меня ассоциируются скользкие мужики — в моем сознании это место означает того парня из паба, который дал мне комнату. Значит, мое сознание само создает все эти образы? Похоже, так и есть. Сразу за секс-шопом — парикмахерская для домашних животных с голубой дверью. А это еще у меня в голове откуда? Дальше — овощной магазин с выставленными снаружи лотками с фруктами, на вид совершенно пластмассовыми.

Дисплей?

Вот он. «У вас есть тридцать возможностей», — слышу я.

Ладно. Маловато для населения школы-интерната. Видимо, я еще недостаточно приблизилась к цели.

Можно выбрать игру с карточкой Аполлона Сминфея?

«Срок действия карточки Аполлона Сминфея истек».

Аполлон Сминфей?

Ничего.

Иду дальше. Видимо, все-таки придется справляться с этим самостоятельно. Как же, интересно, добраться до школы? В физическом мире она находится ярдах в ста от паба. Но в мире сознаний? Иду дальше. Как тут вообще обстоит дело с направлением? Чтобы найти что-нибудь, мне нужно идти «в ту же сторону», что и в физическом мире? Как все сложно... Мне вспоминается рассказ Люмаса «Синяя комната». А что, если я зайду в такую часть своего сознания, где не действуют измерения пространства-времени? Что, если я застряну там и не смогу выбраться?

Эта улица какая-то бессмысленная. Толчея маленьких лавочек вдруг превратилась в бульвар изысканных универмагов и ювелирных магазинов. Витрины кажутся мне отвратительными. В одной из них, залитой флуоресцентным светом, выставлены манекены в блестящих вечерних платьях, не обращающие друг на друга никакого внимания. В следующей манекен выгуливает металлическую собачку. В третьей два манекена-мужчины трахают худенький и хрупкий на вид женский манекен. Эта мне нравится больше всего — по крайней мере, неожиданно. Я иду дальше, мимо высокой зеркальной постройки справа и офисного здания слева. Потом дорога снова сужается, и теперь вокруг меня — жилые дома. Но не обычные дома, а кукольные домики размером с настоящие. Передние стены со всех домиков сняты и стоят, прислоненные, сбоку, а наверху, там, где фасады должны крепиться к дому, болтаются шарниры. Раскрашены все они в пастельные тона — лиловый, нежно-голубой, лимонный, розовый. Это, очевидно, школа для девочек. Иначе и быть не может.

Дисплей?

«У вас есть четыреста пятьдесят одна возможность».

Отлично. Я пока не очень представляю, как все это будет происходить, но подхожу к одному из ближайших кукольных домиков и вхожу внутрь: с улицы сразу в гостиную.

«У вас есть одна возможность».

У вас... Мне пятнадцать, я курю два месяца, и у меня уже появилась зависимость. От коки у меня тоже зависимость, и еще от тех булочек из деревенской лавки. Моя самая большая мечта — развить такую зависимость от всего, чтобы люди начали говорить обо мне

шепотом. А еще я хочу, чтобы моя дурацкая челка наконец отросла, и хочу сидеть посреди Хэмпстедской пустоши вместе с Хизер и Джо и с ребятами из Хайгейта¹⁹ и разговаривать о том, как все мы вышли из-под контроля, правда, теперь-то я в этом немного сомневаюсь, ведь они-то все уже курят траву, а я не хочу. Но зато собираюсь во время следующего бала заняться сексом. Надо срочно это сделать, а то народ мне вообще верить перестанет. Пока что я еще врала, но теперь им, видите ли, нужны подробности. На днях Джули на уроке математики попросила меня нарисовать пенис!

Я еще раз затягиваюсь.

— Ты уже чувствуешь зависимость? — спрашиваю я у Никки.

— Ага, — говорит она. — Полнейшую. И голос у меня убился.

Никки поет в хоре. Но на самом-то деле она хочет петь в инди-группе. А для этого нужно убить голос. Вот почему она начала курить со мной и с остальными. Где, кстати, остальные? У Софи занятия в театральной студии, а где же Ханна и Джули? Джули я вообще с утра не видела — с тех пор, как она за завтраком сердито на меня посмотрела. Не знаю, что я сделала не так. Джули, миленькая, пожалуйста, не переставай меня любить!

Подумай о чем-нибудь другом!

— Как ты думаешь, Джим не растреплет, типа, всей деревне, что мы пользовались машинкой для самокруток? — спрашиваю я.

— Софи над ним работает. Без паники. Она держит его в руках, в буквальном смысле слова!

— Ты же не хочешь сказать, что она?.. Ну, не могла же она?..

— Лучше тебе самой у нее спросить. Но... — Она хихикает. — Вот черт, она запретила мне рассказывать!

— То есть все-таки да?

— Да!

— Фу-у!!

Софи уж точно вышла из-под контроля!

Откуда-то мне в голову лезет имя Молли. Ох. Ну чего она мне сейчас сдалась-то, эта Молли Дэвис? Ладно. Эта девчонка вышла из-под контроля как никто другой. Софи, может, и потискалась немного с Дэвисом за сигареты, но у Молли репутация прямо, типа, легендарная. Я-то к ней и близко не подойду, я от нее вообще в шоке. Дело не в том, что она не девственница. В смысле, ну да, здесь уже никто не девственница (ну, кроме меня, но об этом — ни гу-гу!), но Молли самая-пресамая недевственница, какие только бывают на свете. В прошлом году, когда они спали в нашей общей спальне наверху, а мы — в хреновой комнатке в подвале, она взяла и ОТСОСАЛА ДП. ДП = Деревенский Парень. А они ведь там все как один недоразвитые придурки. Как подумаю, что он заляпал нам своей спермой диван... Да у нас тут все девочки в шоке от одной только этой мысли!

— Эй, чего это ты притихла? Все в порядке, подружка?

— Да. Задумалась про Молли и всех остальных.

— Не забивай себе голову этими шестиклассниками. Они того не стоят!

— Ну да, наверное.

— У тебя еще остался тот дезик?

— Ага.

Мы брызгаемся дезодорантом и, жуя мятные конфеты без сахара, идем в сторону школы. Софи такие конфеты не ест — говорит, от них бывает рак. Однажды как начала орать: «Идиотка, от них бывает рак у крыс!» Джули — это, конечно, сплошной ржач.

А вон Элен идет к общежитию — француженка, глазки строит всем подряд. Не смотри на нее, не смотри. Фу-ты, блин. Ну зачем я посмотрела? Теперь она подумает, что я лесбиянка, и это фигово, потому что все говорят, что она сама лесбиянка — ну, в те дни,

¹⁹ *Хайгейт* — одна из старейших частных школ в Англии.

когда не строит из себя шлюху.

Фасад большого кукольного домика захлопывается за Элен. Но я не пытаюсь прыгнуть. Я помню, что было в прошлый раз, когда меня отбросило обратно в тропосферу. Надо действовать по-другому.

Дисплей!

Штуковина тут как тут. Экран весь усеян картинками, и я ничего не могу разобрать. Вот рабочий стол, вот — что-то вроде спортзала. Тут — белый потрескавшийся потолок... Но всего их штук десять разных, и я никак не могу решить, какую выбрать. Француженка ушла. Я иду по коридору с Табитой Янг, она же Табс, девочкой, которая хочет быть зависимой от всего. Пока она идет вместе со своей подругой Никки, ее мозг не переставая выдает информацию о людях, мимо которых мы проходим, о ее носках (слишком короткие), о ее юбке (слишком длинная), о ее дыхании (пахнет от нее сигаретами или не пахнет), и она постоянно боится сказать или сделать что-нибудь не то. При этом она умудряется отвечать «Угу» и «Вот-вот!» каждый раз, когда Никки ей что-нибудь говорит.

Я оставляю дисплей включенным. Интересно: то, что изображено на этих картинках, видят сейчас предки Табс? И опять же, настоящих предков я что-то здесь не вижу. На экране нет ничего такого, что было бы мне незнакомо. Никаких пещерных людей или римских настенных рисунков. Но, по-моему, мистер У использовал педезис для путешествий во времени. Или, может, я просто невнимательно прочитала эту часть книги? Вот бы разобраться. Немного информации я получила, пока находилась в сознании Мартина, но этого явно недостаточно.

Мимо проходит еще одна девочка, Табс узнает в ней шестиклассницу по имени Максин и судорожно придумывает что-нибудь крутое и остроумное, на случай, если девочка с ней заговорит. На этот раз, когда открывается дверь над изображением этой девочки, на экране моего дисплея появляется новая картинка. Ну, это мне уже знакомо: это я/Табс, из чего следует — или должно следовать, — что я могу перепрыгнуть отсюда туда, точь-в-точь как я перепрыгнула тогда из мыши в кота. Ну что ж. Попробуем. Скрестили пальцы: вперед. Ну же, давай! И — есть! — меня слегка размывает, но, надеюсь, не обратно в тропосферу.

«У вас есть одна возможность».

У вас... От меня пахнет. Воняет. Те девочки из одиннадцатого наверняка это почувствовали, когда проходили мимо. Под мышками намокло и между бедер — тоже. Между моих огромных, слоновьих, супергигантских, уродских бедер. Когда я в колготках, ноги не трутся так сильно друг о друга и кожа на них не краснеет, но зато в них жарко, а когда мне жарко, я воняю, как животное. Но животным-то положено вонять. Никто не имеет ничего против того, что животные воняют. Похоже, кроме меня, это больше никого не беспокоит. Не представляю, как я проживу целую жизнь с такой проблемой. А если я умру, кто-нибудь вообще заметит? Никто не захочет со мной переспать, никогда. Мне самой противно смотреть на себя голую, Клер, Молли и Эстер наверняка это замечают, но ничего не говорят. Ну, то есть ничего не говорят мне, но, думаю, когда меня нет рядом, они об этом разговаривают. Ох, только бы они не собрались устроить мне эту свою идиотскую «интервенцию»! В прошлом семестре они проделали это с Ники Мартин. Набросились на нее, когда та только легла в постель, и сообщили ей, что у нее плохо пахнет изо рта. Конечно, они были при этом супермилыми. Тут вообще все и всегда супермилые. «Мы подумали, что тебе лучше быть в курсе...» Улыбка, улыбка, идеальные зубки. «Ты тоже должна нас предупредить, если у нас, ну, знаешь, что-нибудь не так». Если они устроят интервенцию мне, я себя убью. Пока не знаю как. Я не терплю вида крови и петли вязать не умею. Черт. Эстер. Надо пойти переодеться, но теперь нельзя, раз и Эстер туда направляется. Просто прекрасно.

«У вас есть одна возможность».

У вас... Я теперь намного стройнее, чем Максин. Эта диета просто чудо.

— Хей, Максин!

Мне нравится говорить «Хей» вместо «Привет». Звучит очень по-американски.

— Ой, привет, Эстер.

Но она не останавливается, чтобы поговорить, а чуть ли не бегом удирает в обратном направлении. Что я ей сделала? Ишь, возомнила о себе! Ладно, ну ее. Лучше подумаю, что делать, если мисс Гудбоди («Зовите меня Изобел!») ко мне подкатит? Я так долго сходила по ней с ума, что мне и в голову не пришло, что она может чувствовать ко мне то же самое. Но ведь это же она предложила проводить дополнительные занятия в театральной студии, и это она вошла вчера в раздевалку, когда я там переодевалась, и это она похвалила мою грудь. Честное слово. Я уверена, что мне не показалось! Сначала раздалось «Ооооой!», когда она отдернула не ту занавеску. А потом слишком длинная пауза. Быстрая улыбка. И затем — я на девяносто девять процентов уверена, что это действительно произошло! — она сказала: «Классная грудь» — и только после этого отошла. Должно ведь это что-то значить! Она ведь не просто пытается быть молодой, крутой и все такое. Она, наверное, хочет мне что-то сказать. Но слова прозвучали так тихо, что я не уверена, что именно она произнесла.

Ведь то, что я ее хочу, еще не означает, что я лесбиянка?

Я не лесбиянка.

Я не лесбиянка.

Но я хочу, чтобы она меня поцеловала.

Я сворачиваю за угол и поднимаюсь по лестнице общежития шестого класса. Обычно я избегаю через ступеньку, но сегодня мне как-то трудно дышать. А где, интересно, мой ингалятор? Вот черт. Кажется, он остался в сумке с формой в раздевалке. Ну нет, возвращаться неохота. Все будет хорошо. У меня уже больше года не было настоящих приступов. Если бы только разобраться, что делать с этим чувством, которое охватывает меня при мысли об Изобел Гудбоди. У меня как будто... Как будто бы желудок — это аквариум с тысячами рыбок, но вода в нем высохла и рыбки хлопают хвостиками и плавниками, как в том ужасном документальном фильме, который нам показывали на биологии. Как отключить это чувство? Думаю, если бы мне удалось ее поцеловать, стало бы легче, но когда же мне представится такая возможность? И стоит ли это того, чтобы вылететь из школы? Что, если все об этом узнают и решат, что я лесбиянка? Надеюсь, у нас в спальне никого нет. Вот черт. Кто-нибудь там всегда есть. Это Молли, и видок у нее тот еще. Куда столько черной подводки?? И у нее разве сейчас нет урока? Кажется, она должна быть на философии.

Когда Молли попадает в рамку кукольного домика, на дисплее ничего не меняется. Ну же, ну. Я практически в двух шагах от Берлема. Ну, если, конечно, это сработает. Почему ничего не происходит? Почему на дисплее не появляется картинка, которая говорила бы, что я могу переключиться на Молли?

Я думаю о послании Аполлона Сминфея — о том его кусочке, который не сразу вспомнила.

«Вы можете перепрыгивать из одного разума в другой в физическом мире (но только при условии, что этот человек в настоящий момент уязвим и доступен миру всеобщего разума)».

В каком смысле уязвим? Не понимаю. Я остаюсь в сознании Эстер, но дисплей по-прежнему у меня перед глазами. Стоит картинке мелькнуть хоть на мгновение, и я немедленно переметнусь к Молли.

— Хей, — говорю я Молли.

— Хей, — отвечает она.

— Философию что, отменили?

— Да ну ее.

Я подхожу к своей кровати и сажусь на нее. Эх, так хотелось спокойно подумать об Изобел. И вот пожалуйста — теперь тут сидит эта дура Молли и пыхтит. Красится. Я

смотрю, как она накладывает розовые румяна и черную тушь. А теперь — снова черный карандаш вокруг глаз, все больше и больше, как будто бы она собралась поступить в труппу мимов, которые в свободное время поклоняются дьяволу.

— Куда-то идешь? — спрашиваю я.

— Ага.

— Куда?

— Далеко.

— Молли.

— Чего? Сегодня пятница, я не собираюсь сидеть в этой вонючей дыре.

— Но...

— Ты только меня прикрой, Эстер, ладно?

— Ладно. — Я пожимаю плечами. — Прикрою.

В конце концов, чем быстрее она свалит, тем быстрее я останусь одна. Если, конечно, и Максин тоже не припрется. Не знаю, куда она направлялась. Шла вроде бы в сторону раздевалок — но ведь она не занимается спортом. Надо было попросить ее захватить ингалятор. Я вздыхаю. Здесь, конечно, можно получить хорошее образование, но никакого личного пространства. Ну, хотя бы на будущий год у меня наконец-то будет собственная комната. У меня уже и в этом году должна быть своя комната или, в крайнем случае, комната с одной-единственной соседкой. Но в школе «кризис свободного пространства» и мыши в старом крыле шестого корпуса. Так что вот вам, пожалуйста, — как будто снова в одиннадцатом классе.

— Хей, Молл?

— А?

— А с кем ты идешь?

Может, с Максина? Хотя Максин в последнее время со всеми ведет себя как-то странно. Но все равно есть надежда, что сегодня вся наша комната разбредется и меня оставят наконец в покое. Представляю: сижу здесь совершенно одна — и вдруг входит мисс Гудбоди и... нет, я бы не смогла называть ее мисс Гудбоди, если бы собиралась ее поцеловать. О, Изобел... Черт, как же глупо звучит.

— Ни с кем. Поеду в город, а там пошатаюсь с Хью.

И вот тут-то это происходит: дисплей мигает. Я прыгаю. Получилось...

«У вас есть одна возможность».

У вас... Я страшно хочу Хью. Кто-то сказал на днях, что он один из самых опасных парней во всем Хитчине. Прекрасно. А я, возможно, самая опасная девчонка. Он-то, понятно, видит не это. Он видит что? Девочку из элитной школы, у которой есть все, чего у него никогда не было. Подростка, неразумное дитя. Но что-то ведь он должен во мне видеть, иначе зачем бы ему проводить со мной целую ночь в прошлую субботу?

Но на мои звонки он с тех пор не отвечает. И на записки — тоже. Значит, буду снова ночь напролет скитаться в одиночку из паба в бар, из бара в клуб и притворяться, будто занята чем-то поинтереснее, чем поисками Хью. Вот только чем же? Я взглянула на Эстер. Она в последнее время стала совсем скелетом. Лишний повод не просить ее поехать со мной. Может, она ему как раз больше понравится — натуральная блондинка с огромными сиськами на малюсеньком тельце. Сука. Нет, не буду звать ее с собой. Мне непременно нужно снова быть с Хью. Мне нет дела до его глупых соседей, и до матраса на полу, и до того, что он любит пить водку прямо из бутылки, пока трахает меня. И плевать, что, когда я шептала ему на ухо: «Хью, Хью», он прорывал в ответ какое-то имя, совсем непохожее на мое, и что, когда я крикнула: «Да! Да! Сильнее!» (как в том порнорассказе, который Клер распечатала из интернета в прошлом семестре), он ухмыльнулся и назвал меня потаскушкой. Мне даже не хочется, чтобы он менялся. Если кому и стоит измениться, так это мне.

Или я уже и так сильно изменилась? Как это называется, когда бабочки выбираются из своих коконов? Как бы это ни называлось, это не про меня. Из меня вышла бы ужасная бабочка. Не важно, кем я была до того, как вылупиться, — главное, что теперь я вылупилась

и стала кем-то совсем другим. Да и вообще, меня ведь действительно нельзя назвать типичной богатой девочкой-выпендрейницей. Все знают про случай с «оральным сексом на диване» — даже учителя, хотя у них и нет доказательств. Ну да, да, на самом деле ничего не было. Я увидела хрен этого парня, но в рот я его не брала. Ну, понятно ведь... фу! Но мне нравится репутация, которую мне этот случай обеспечил, хотя в классе со мной многие так до сих пор и не разговаривают. Можно, пожалуй, сказать Хью, что меня собираются отчислить за то, что я слишком много занимаюсь сексом. Это должно его впечатлить. Ведь в прошлый раз, когда мы виделись, он мне сказал, что нам не следует больше встречаться, как раз потому, что у него, мол, опыта в этих делах в сто раз больше, чем у меня. «Я такое видел и делал, что у тебя бы челюсть отвисла, детка». Вот как он сказал. Так как тебе это, Хью? Я тоже много занимаюсь сексом. Мы оба испорченные. Оба грустные, одинокие люди, и поэтому мы должны быть вместе. Как в той песне Тома Уэйтса, которую ты мне играл.

Ну да, у него было трагическое прошлое и все такое, но ведь и у меня тоже. Как насчет того, что мой папа умер, когда мне было девять, и тогда я узнала, что моим настоящим отцом был кто-то другой — какой-то мамин коллега? Или это какая-то слишком буржуазная проблема? На такое, наверное, не пойдешь жаловаться в службу социальной защиты, да? Я не видела своего отца — того, который настоящий, — уже больше года. Его никто не видел уже больше года. Еще немного подводки вот сюда. Но мою учебу в школе кто-то загадочным образом продолжает оплачивать. Так что я не могу даже сказать, что он умер. Хотя, может, и скажу. Я бы могла сказать, что у меня было два отца и они оба умерли, так что, возможно, на мне лежит проклятие. Правда, это все равно не так круто, как алкоголизм или торговля наркотиками. Ну, еще я бы могла сказать, что меня бьет мать, но это неправда. Она ударила меня только однажды — когда я сказала, что это хорошо, что папа умер.

Дисплей все это время здесь, и я время от времени посматриваю на картинки, плавающие вокруг. Их здесь пять, но я не знаю, какая мне нужна. Пока Молли думает про Хью, я все рассматриваю и рассматриваю их. Возможно, это первый случай, когда я, оказавшись в чьем-то сознании, чувствую, что меня связывает с этим человеком нечто большее, чем просто то, что вот я здесь и понимаю тебя просто потому, что оказалась у тебя в голове. Молли я понимаю на гораздо более глубоком уровне. Но мне нельзя с ней оставаться, надо понять, куда прыгать дальше.

Вот варианты:

- вид на рабочий стол в кабинете;
- вид (глазами водителя) из машины, которая едет по узкой дороге;
- вид на старушку, которая что-то жует;
- на старика, который читает газету;
- на еще одну старушку, но на этот раз — с розовыми прядями в волосах.

Я знаю, что, прыгнув в одну из этих картинок, могу оказаться где угодно. Мне во что бы то ни стало надо оказаться именно у Сола Берлема, потому что я понятия не имею, как вернуться на эту точку, если я заблужусь. Я еще раз изучаю картинки. На рабочем столе сидит мягкая игрушка. Руки на руле в машине — женские, с перламутровым розовым лаком на ногтях. Эти люди определенно не мужчины. Итак, остается выбрать из троих стариков. Может, все это — точки зрения дедушек и бабушек Молли, которые смотрят друг на друга или на своих знакомых? А где же тогда Сол Берлем? Где же его точка зрения? Я снова рассматриваю картинки — и никак не могу выбрать. Ни одна не кажется подходящей. Может, он умер. Но меня так и тянет остановиться на женщине с розовыми прядями. Точнее, я просто смотрю на нее и думаю, что она выглядит необычно, а сознание, быстренько распознав в этой мысли слово «интересно», уже хочешь не хочешь начинает переносить меня туда. Вот черт. Меня размыкает... Я покидаю Молли. Но, прежде чем совсем исчезнуть, я пытаюсь заронить в ее сознание мысль: «Забудь Хью. Забудь его...»

Глава двадцатая

У ВАС ЕСТЬ ОДНА ВОЗМОЖНОСТЬ.

У вас... Я в темноте спускаюсь с холма, и огни города внизу сверкают, как отражение в воде. Планк, мой пес, не захотел подниматься выше — он словно ощущает здесь присутствие чего-то такого, чего не чувствую я. Похоже, это место ему не нравится как раз по той причине, по которой мне оно нравится. Он терпеть не может... что? Историю? Призраков? Меня уже ничем не удивишь. Итак, мы спускаемся. Прочь от древних, нависающих темной тенью воротных столбов, прочь от обсыпавшейся стены из серого камня. Когда я здесь, я представляю себе, как перемещались и путешествовали люди верхом в те времена, когда не было машин, и понимаю, что тогда сюда не доносилось этого далекого вибрирующего звука: гудения электричества, которое вырабатывают и расходуют, рычания автомобилей и шума поп-музыки. Но я пойду туда, куда желает собака, — так проще. И я доволен собой, доволен, что могу вот так запросто отказаться от контроля. Но быть довольным собой не годится. Я не хочу испытывать по отношению к себе никаких эмоций. Хочу пустоты. Вот идиот: хотеть пустоты невозможно. Ее нужно просто к себе подпустить. Позволить ей медленно обволакивать меня всякий раз, когда я ни о чем не думаю.

Я теперь знаю, как выглядят мысли, но думать все равно сложнее, чем не думать.

Собака всерьез решила отсюда выбираться. Мы уже почти бежим по замерзшей, твердой грязи. Мороз. Плохо для растений — так всегда говорила моя мать. И конечно, скоро Рождество. Когда мы наконец спускаемся, я вижу огни вблизи: сотни белых, изготовленных с большим вкусом звездочек висят над дорогой, и до каждой можно дотянуться. Дерево у кольцевой развязки тоже украшено лампочками. Что теперь значит Рождество? Видимо, не больше и не меньше, чем и раньше. Лура вегетарианка, но она наверняка заставит нас устроить праздник. Она любит ритуалы. Елку мы уже поставили, но еще не нарядили. Лура не хочет звезд и мишуры — ей хочется украсить елку черными дырами, червоточинами и кварками. Хочет обернуть ее полотном пространства и времени. Я рассмеялся, когда она мне об этом рассказывала. Обещал посмотреть, что есть в магазинах. По крайней мере, я теперь хожу по магазинам. Хожу по магазинам и выгуливаю собаку. И ничего ужасного пока не произошло. Так все-таки лучше, чем все время сидеть взаперти.

Дисплей?

Он появляется. В центре экрана только одна полупрозрачная иконка: размытое изображение кучи зеленых листьев. Я прошу убрать картинку, и она исчезает.

Кто я?

Я — Сол Берлем.

Слава богу. Где я?

Иду по Фор-стрит. Я иду по Фор-стрит, но Планк хочет свернуть налево, мимо сырной лавки и оттуда — направо, домой. Ему уже не терпится попасть домой. А впрочем, нет. Он пробегает мимо нашей входной двери и бежит дальше, и его нос, словно стрелка, указывает на то место, где стена соприкасается с тротуаром. Ах да, это второе мое любимое место в городе.

Где я?

Пока я стою здесь, собака нюхает какую-то траву, пробивающуюся сквозь асфальт. Да, вот пространство, которое мне нравится. Это действительно настоящее пространство, пустота, обнесенная четырьмя стенами. В последнее время здесь понавешали разных табличек, поясняющих, что здесь ведется строительство по заказу тех-то и тех-то, и рассказывающих о том, какие неприятности с тобой произойдут, если ты осмелишься сюда сунуться. Это как-то все портит. Без знаков было лучше. Пустое пространство, окруженное стеной: дом без комнат и крыши, а под ногами — розовая почва Девоншира. Мне это нравится. Напоминает о моем самом любимом месте в городе — замке. Замок — это ведь, по сути, то же самое: стены, вознесенные вокруг пустоты. У меня над рабочим столом висит открытка с замком. Это аэроснимок, фотография, сделанная с одного из вертолетов, которые в ясную погоду вечно тарахтят у нас над головой. Сверху замок похож на серое каменное кольцо, забытое кем-то на холме, — сорванное, вероятно, с пальца какого-то местного

великана. Туда, кстати, можно сходить: заплатить за билет и войти в круг пустого пространства, обнесенного стеной. По-моему, это здорово. Смотришь на эту пустоту и стену вокруг нее и думаешь: «И на что же тут смотреть? Интересно, стены здесь — для того, чтобы не выпустить наружу пустоту или чтобы не впустить внутрь город?»

Теперь я удивительным образом знаю, из чего состоит камень. Но до сих пор ничего не знаю о том, кто придумал пространства. Кто изобрел пустоту? И кому взбрело в голову чествовать ее здесь? Ну конечно, люди не знают, что чествуют пустоту (хотя могли бы знать, ну правда, грех не знать!). Они-то думают, что пришли осматривать нечто, нечто осязаемое — но ведь на самом деле его здесь уже давно нет. Они думают, что, если побывать в пустом пространстве, обнесенном стеной, можно совершить путешествие во времени. Но я и в этом тоже кое-что смыслю.

Почему он никак не подумает о названии города, в котором находится?

Где я?

Я перешел через улицу и теперь стою у входа в церковь — в ту церковь, куда мы ходим каждый вечер, просто так, на всякий случай. Мы не молимся, но, возможно, в том, что мы делаем, есть что-то от молитвы. Мы входим внутрь и сразу выходим — на всякий случай. Я даже не знаю, какая именно это церковь, хоть и хожу туда каждый вечер. Я предположил однажды, что это, вероятнее всего, англиканская или католическая церковь, но у нее нет названия — никакого конкретного святого или чего-нибудь в этом роде. Но каждый четверг сюда приходят веселые люди в самодельной одежде и затевают там внутри что-то очень радостное. Ну, во всяком случае, они всегда выглядят очень радостно, когда выходят после этого на улицу. По-моему, в остальные вечера они обходят дома и торгуют чем-то невидимым типа надежды или спасения. Лура раздобыла ключи от церкви, и никто не возражает, чтобы мы ходили туда каждый вечер. Верю ли я в то, чем они там внутри занимаются? Да. Теперь мне не остается ничего другого. Вот только интересно, а они бы сами верили в это, если бы знали то, что знаю я?

Где я живу?

На улице Святого Августина.

Ну нет, это я знаю — это его старый дом. Почему он не думает про свой теперешний адрес?

Где я сейчас?

Теперь я иду в гору: дорога на холме заворачивается вопросительным знаком, и, если быть невнимательным, можно попасть под машину. Наверху указатель — Торки: стрелка показывает вправо.

Выходит, он где-то рядом с Торки, но я даже не знаю, где это. Этого недостаточно.

Что заставило меня покинуть дом?

Ох. С чего же начать? И чего это мне вдруг вздумалось сейчас об этом вспоминать? Собака, принюхиваясь, бежит вперед, прямо через рыночную площадь, но я этого уже не вижу. А вижу я... что? Насколько глубоко в прошлое готово вернуться мое сознание? Сцены проносятся передо мной на быстрой перемотке: первая — это, конечно, доклад, который я сделал в Гринвиче по поводу проклятия мистера У. Лура там тоже была. И люди из проекта «Звездный свет». Конечно, тогда я понятия не имел, кто это вообще такие. Единственным по-настоящему невинным слушателем была Эриел Манто, и я все смотрел и смотрел на нее — девушку в тесном сером джемпере и с рыжими волосами. Помню, как Лура после моего доклада встала и, не сказав ни слова, присоединилась к толпе слушателей Лахири. Дальше вот что: я выпиваю лишнего вместе с Эриел и представляю себе, как мы с ней занимаемся сексом, а потом — катастрофа! — мне приходит в голову, что, возможно, она и в самом деле согласилась бы со мной переспать. Конечно же, я ушел как можно скорее — чтобы не допустить ничего подобного.

Затем, пару недель спустя — или, может, немного больше, — я получил по электронной почте письмо от Луры. В нем говорилось, что она — ученый и работает в том же университете, что Лахири. Но ее заинтриговало название моего доклада. И сам доклад

очень понравился. Теперь она хочет со мной встретиться.

Я тогда подумал: две возможности заняться сексом за один месяц?

А потом понял, что, как обычно, одна из этих возможностей — моя аспирантка (пусть пока только потенциальная), а вторая — немолодая женщина.

Или нет, не так: немолодой тут как раз я. И отдаю себе отчет в том, что они не могут на самом деле хотеть меня — теперь-то уж точно не могут. Хотя ведь Дани-то хотела. Блэнд Дани меня хотела. Мы виделись тогда в последний раз: я стоял без рубашки, с седыми волосами, нелепо сверкающими в свете ярких офисных ламп, а Блэнд Дани, самая слабая студентка курса, говорила мне: «Я хочу увидеть вас» — и затуманенными глазами смотрела вниз, на мои брюки. Конечно, говоря «вас», она имела в виду мой член. Что это, интересно, за манера такая у женщин? «Я хочу, чтобы ты вошел в меня». Да нет же. Ты хочешь, чтобы в тебя вошел только мой член, и тебе, в общем-то, нет дела до прикрепленного к нему куску плоти — мужчины с мозгами, который никогда в тебя не «войдет» и которого ты никогда не сможешь понять. Вообще-то предполагалось, что это будет дополнительное занятие. Я предложил завязать ей глаза — не потому, что меня это заводит, а потому, что не хотел, чтобы она меня видела. Конечно же, ничем хорошим это не кончилось. Хотя что плохого в том, чтобы не видеть? Ведь тогда все это — почти то же самое, что фантазия, и, возможно, даже не противоречит университетскому уставу. Но она тем не менее пригрозила подать на меня жалобу после того, как я (в буквальном смысле) перестал ее видеть. Ведь я ее даже не хотел: она была похожа на большой кусок подтаявшего масла.

Я назначил Луре встречу в кафе одной из лондонских галерей. Она сказала нечто такое, от чего я едва не лишился дара речи. У нее был экземпляр «Наваждения» — возможно, единственный экземпляр, о существовании которого известно, то есть тот, который хранился в Германии. Вот, собственно, из-за чего она пришла послушать мое выступление. Книга принадлежала раньше ее отцу. Она рассказала, что его одним из первых ученых привлекли к разработке теории квантовой механики. Она определенно не хотела говорить о нем слишком много, рассказала только самое важное: что он был современником Эрвина Шрёдингера и Нильса Бора, но отказался последовать за многочисленными еврейскими физиками, которые отправились из Европы в Америку конструировать атомную бомбу и участвовать в других не менее дьявольских проектах. Вместо этого он остался в своем университете и продолжил возводить свою сногшибательную теорию, подробности которой ныне утеряны. За неделю до того, как его отправили в концлагерь, отец Луры сделал заметку в своем дневнике о «Наваждении». Он был чрезвычайно взволнован тем, что заказал себе в Лондоне эту книгу, так как, по его предположениям, речь шла чуть ли не о последнем из сохранившихся экземпляров. В одной из его последних дневниковых записей говорится о предположительном «Проклятии Мистера У». Лура была потрясена — и вместе с тем заинтригована, — когда увидела название моего доклада. Она рассказала, что больше никогда и нигде, кроме дневника отца, не встречала этой фразы.

Все это она рассказала мне, ни разу не изменившись в лице. Правда, она беспрестанно поправляла рукой волосы и делала долгие перерывы между отдельными частями рассказа. Затем, когда нам наконец принесли кофе, она оставила волосы в покое и принялась за ручку чашки, вертя ее взад и вперед и просовывая внутрь свой тонкий палец.

— Вот так, — сказала она. — Я подумала, что вам будет интересно узнать кое-какие подробности из жизни книги — или, по крайней мере, этого конкретного экземпляра.

— Я вам очень благодарен, — ответил я. — Большое спасибо, что не пожалели времени, чтобы прийти и рассказать мне все это.

По ее глазам можно было подумать, что сейчас она улыбнется, но нет, улыбки не последовало.

— Эта книга очень много значила для моего отца, — сказала она.

Я не знал, что на это ответить, и поэтому просто спросил:

— А вы ее прочли?

— Нет. — Она помотала головой. — Но знаю, что она очень ценная — не зря ведь меня

уговаривают ее продать.

— А вы не продаете?

— Нет.

— Почему?

Она вздохнула:

— Я ненавижу ее от всей души, но продать не могу. Я не продала ни одной из папиных книг. К тому же мне не слишком нравятся люди, которые хотят ее купить. В последнее время они ведут себя несколько угрожающе. Но только что они могут поделаться, если книга хранится в банковской ячейке? Может, конечно, они планируют ограбление? — На этот раз она все-таки улыбнулась. — Если честно, боюсь, у них ничего не получится.

— Кто они такие?

Она пожала плечами и отхлебнула из чашки *café crème*.

— Американцы.

Повисла долгая пауза, после которой она сказала:

— В общем... Мне кажется, вам было бы интересно на нее взглянуть. Я угадала?

— Вы серьезно? — Думаю, я был похож на мальчишку, которому предложили полистать чужую коллекцию редких комиксов. Но я ничего не мог с собой поделаться. — В том смысле, что...

— Ну конечно серьезно. Ведь для вас она представляет интеллектуальную ценность — это очевидно. Отец наверняка одобрил бы такое мое решение — уже хотя бы из-за этого я хочу ее вам показать.

— Вы показывали ее кому-нибудь еще?

— Нет. Я сама видела ее несколько раз, но не смогла к ней даже прикоснуться...

— Почему?

Она посмотрела на скатерть. Рядом с ее блюдцем лежала крошечная крупинка коричневого сахара, и она раздавила ее пальцем. А потом снова посмотрела на меня и слабо рассмеялась.

— Видно, дело в семейном суеверии? — Смех сжался до вздоха. — Я занимаюсь наукой и, конечно, понимаю, что отца убил Гитлер, а не какая-то там проклятая книга. И все же... Они схватили его ровно на следующий день после того, как она оказалась у него. Последнее, что он сделал, находясь на свободе, — это положил ее в банковское хранилище.

Мы поговорили еще немного. Она рассказала, что через месяц собирается в Германию, и пригласила меня съездить с ней туда на несколько дней. Конечно же, мне хотелось поехать: увидеть книгу, прикоснуться к книге. Но я придумал какие-то вежливые возражения — ведь не хочет же она снова ворошить в памяти все эти воспоминания? И чтобы совершенно чужой человек вмешивался в их семейные дела, и так далее, и тому подобное, — но она вежливо отмела все мои возражения, на что я, собственно, и надеялся. И вот я поехал с ней. Неделя, как начался семестр, и я радовался, что можно провести несколько дней подальше от всех этих административных хлопот, электронных писем и собраний. Дома я только и делаю, что работаю, и давным-давно не устраивал себе нормальных каникул. В четверг вечером мы посмотрели какую-то абсурдную пьесу, а в пятницу отправились в банк. Лето еще не кончилось, но в воздухе витала какая-то серая сырость, и казалось, дома и деревья вокруг нас мягко обволакивают друг друга. Едва я взял книгу в руки, Лура отвела глаза в сторону и почти сразу сказала:

— Я хочу, чтобы вы взяли ее себе. Заберите ее отсюда.

— Вы ее продаете? — удивился я.

— Нет. Просто заберите ее.

В последнюю ночь, которую я провел вместе с ней, мы печально занимались сексом. Казалось, это какая-то обыденная неизбежность — вроде гриппа среди зимы. Я не думал, что увижу ее еще когда-нибудь. Она ненавидела эту книгу и отдала ее мне. Я даже не уверен, хочет ли она, чтобы я когда-нибудь ее вернул. Я не слишком хорошо понимал, что вообще происходит, но лишних вопросов задавать не стал. Мне была нужна эта книга. Я еще никогда

и ни в чем не испытывал такой нестерпимой потребности.

Затем последовали странные события, которые тогда я списал на рассеянность. Сначала я забыл положить книгу в сумку; потом забыл забрать сумку с багажного транспортера в аэропорту. Я чудом довез ее до дому, не потеряв. В тот день я вынужден был присутствовать на каком-то мероприятии в университете — и даже не заметил, как оно пролетело. Рядом со мной сидела моя аспирантка, Эриел Манто, и, кажется, я даже умудрился немного с ней пофлиртовать (совершенно безобидно!), но очень скоро я извинился и со всех ног бросился домой. Я устроился в своей старой оранжерее и, пока за окнами село и снова встало солнце, дочитал книгу. После этого я все никак не мог уснуть и поэтому выпил бутылку старого дорогого вина и несколько раз расплакался — просто потому, что это было так прекрасно: обладать этой книгой, наконец-то иметь возможность ее прочитать. Никто мне не мешал, и единственными звуками, которые до меня доносились, было пение птиц.

Я сразу же решил, что приготовлю микстуру, о которой говорится в книге, и попробую сам отправиться в тропосферу. Я провел небольшое исследование и выяснил, что *Carbo-veg* в нужной потенции можно купить в одном магазинчике в Брайтоне. Я, не откладывая, съездил туда, затем добыл в церкви Св. Томаса святой воды и в тот же вечер впервые побывал в тропосфере. Воспоминания о моих первых попытках путешествия в мире сознаний уже немного размылись. Но я помню, как впервые двигался по туннелю, с которым теперь так хорошо знаком, и как очутился в странном месте, похожем на старинную открытку с изображением Лондона девятнадцатого столетия: темные трущобы, туман и заброшенные двухколесные экипажи. Я, конечно же, немедленно принялся исследовать все вокруг и вскоре начал понимать кое-какие правила этого места. Я испытал педезис на молочнике. А потом попробовал — безуспешно — пробраться в сознание ректора университета.

Первое электронное письмо пришло вечером в субботу. Вроде бы отправил его студент Йельского университета, но в строке обратного адреса значился ящик на *Yahoo*. Корреспондент спрашивал, не желаю ли я вступить в электронную переписку по поводу «Наваждения». Я вежливо отказался. Письмо было написано весьма коряво, да и к тому же мои собственные студенты отнимали у меня уйму времени. Я подумал тогда, что это удивительное совпадение — то, что этот человек написал мне как раз тогда, когда у меня появилась книга, но никакого подвоха в этом я тогда не почувствовал. Второе письмо пришло в следующую субботу — приблизительно в то же время.

Прошу прощения за вторжение. Я директор проекта «Звездный свет», важного междисциплинарного исследования в области потенциала человеческого разума. И последнее время мы занимались изучением метода, описанного в книге «Наваждения». Вернее сказать, этим занимался мой предшественник. Теперь, когда проект перешел под мое руководство, я намерен продолжить работу, но, к сожалению, все наши системы вышли из строя, и мы потеряли все данные, включая инструкции по приготовлению состава. И почтовый ящик на Hotmail мне пришлось завести по той же причине! Наши системы заработают только через неделю, а рецепт состава нужен нам срочно. Поскольку в вашем распоряжении имеется книга, я надеюсь, что вас не затруднит потратить несколько минут своего времени и прислать нам рецепт.

В понедельник я позвонил Луре.

— Проект «Звездный свет»? — переспросила она, после того как я все рассказал.

— Да.

— Это те же люди, которые хотели купить у меня книгу.

— Ты что-нибудь о них знаешь?

Она задумалась.

— Ну, я попыталась кое-что о них разузнать.

— И?

— Проект «Звездный свет» закрылся почти год назад. Никакого проекта «Звездный свет» больше нет.

— А что это вообще такое?

Она вздохнула.

— Это был американский проект повышенной секретности. Я узнала о нем от знакомого одной моей подруги — физика в Массачусетском технологическом университете. Он слышал только какие-то разговоры об этом проекте — что якобы начинался он как обыкновенное исследование в области телепатии, а затем переродился во что-то другое. Он говорил что-то про сверхсекретный завод посреди пустыни, про отдаленное видение, игру в «гляделки» с участием коз и поиски «совершенного оружия». Он вроде бы слышал, что произошла какая-то ужасная трагедия, из-за чего проект пришлось свернуть, и предупредил меня, что лучше никого об этом не расспрашивать. В общем, выглядело все очень мрачно.

— Но если проект закрыт, почему какие-то люди пишут мне и рассказывают, что они — его участники?

— Не знаю. Кажется, я уже говорила тебе, что в какой-то момент они стали вести себя совсем неприветливо.

— А откуда им известно, что книга теперь у меня? — Я не стал спрашивать, не она ли им рассказала.

— Не знаю, — ответила она.

Я задумался.

— Думаешь, они и в самом деле опасны? — спросил я.

— Честное слово, я понятия не имею. Ты не знаешь, зачем им книга? Ты ведь, наверное, уже прочитал ее?

— Да. Прочитал.

— И?..

— Понятия не имею, зачем она им.

Зачем я солгал? Конечно же, я знал, что им нужен рецепт, и почему он им нужен, я тоже знал: потому что он действительно работает. Единственное, что я мог предположить, это что эти люди — какая-то отколовшаяся группа, которой дали состав, но не рассказали, из чего он приготовлен. А потребность снова и снова возвращаться в тропосферу я уже испытал на себе. Я попробовал представить себе, каково это: мечтать снова там оказаться и не иметь такой возможности. Должно быть, похожее ощущение испытывает наркоман без своего наркотика.

— Ну что ж, — протянула она.

— Лура, я думаю...

— Что?

— Думаю, мне нужно вернуть тебе книгу. Давай снова отправим ее в банковское хранилище, где никто не сможет до нее добраться.

— Но если в ней нет ничего такого, что может показаться им полезным...

— Я думаю, лучше вернуть ее на место.

Сразу после этого разговора я вошел в оранжерею и посмотрел на свое отражение в оконном стекле. На улице стояла тьма, и на небе виднелось только несколько звезд — они висели там как вялая попытка праздничной декорации. «Совершенное оружие». Все это очень напоминало язык военных. Я вернулся в дом и взял в руки книгу. Я непременно верну ее Луре — завтра же. С другой стороны, нет сомнения в том, что люди из проекта «Звездный свет» — или кто-нибудь еще вроде них — в конце концов ее найдут. И что тогда? В голову полезли неприятные мысли о господстве над миром и контроле над мыслями. Ведь если этот состав попадет в руки репрессивных властей — ну, или любых других, — тогда что? Оказывается, я мог вполне отчетливо представить себе, что это будет за «совершенное оружие». Я отправил ответ на hotmail-адрес автора последнего письма: написал, что, хотя я и видел книгу, она уже отправлена обратно владельцу в Германию. Я извинился и заверил его, что он, вероятно, ошибается: никакого рецепта в книге нет. И, покончив с этим, я положил

книгу на стол, подготовившись назавтра с нею расстаться.

Но на самом-то деле мне не хотелось посылать ее по почте. А что, если она потеряется? Или в пути испортится? С другой стороны, времени на то, чтобы поехать в Лондон и встретиться с Лурой и передать ей книгу лично в руки, у меня не будет до самых выходных. И что, если она не пожелает ее видеть? Может быть, она попросит отправить книгу прямоком в банк с просьбой убрать ее обратно в ячейку? Вероятностей просматривалось слишком много, а электронных писем я больше не получал. И пока ничего не предпринимал. Вторник и среду я провел за встречами — в том числе и по поводу ежегодного выступления Макса Трумана на тему безопасности жизнедеятельности (обязательное посещение — впрочем, Эриел Манто просто взяла и не пошла). Вообще-то мне доставляют удовольствие ежегодные эксцентричные выступления Макса Трумана. «Когда все идет не так» — такую тему он выбрал на этот раз. Макс шутливо изложил историю старого железнодорожного туннеля под университетским городком и завершил ее драматическим описанием обвала, произошедшего в 1974 году. Макс подготовил целый ворох слайдов с ужасными снимками рушащегося здания Ньютона и в растерянности снующих туда-суда людей. Он привел несколько фактов, подтверждающих связь между разрушением университета и разрушением отношений студент — преподаватель, пик которого пришелся на середину 70-х. Пока рушилось здание, сказал он, студенты-демонстранты ворвались в ректорат и принялись глушить портвейн ректора. Из лекции мы также узнали, что здание, в котором работаем мы, было построено в 1975-м — прямо поверх заново укрепленного туннеля. Макс рассказал, что из нашего здания в туннель до сих пор можно добраться по техническому лазу. Он сказал, что всем нам следует об этом знать, чтобы принять необходимые меры предосторожности. И тогда Мэри спросила, о каких таких мерах идет речь.

— Ну, просто не свалитесь в него, — ответил Макс.

— Как же можно туда свалиться? — удивилась Мэри.

— Ну, вообще-то никак нельзя, — сказал Макс. — Но, согласно новым правилам безопасности жизнедеятельности, я все равно обязан вас об этом предупредить.

— Но ведь ему уже тридцать лет, этому переходу, — сказал кто-то еще. — И до сих пор в него никто так и не упал...

— И где он вообще? — спросила Мэри.

— В комнате с ксероксом, — ответил Макс. — Прямо рядом с ним.

— Это та самая штука, похожая на люк, на которой мы стоим, когда что-нибудь копируем? — спросила Лиза Хоббс.

— Именно!

— И туда что же, правда можно провалиться?

— Да ну ладно тебе, не говори ерунды! Это же тебе не какая-нибудь Алиса в Стране чудес, тут все под контролем!

— А что там, в этом туннеле? — спросила Лора, руководитель творческой мастерской по литературе.

— Даже не думай, Лора, — возмутилась Мэри.

— Почему? Давайте заберемся туда и исследуем?

Собравшиеся застонали.

— Ну ладно, ладно, шучу.

В прошлом году Лора уже схлопотала неприятности, когда снарядила всех своих студентов на какой-то психогеографический проект, в рамках которого им велели ходить по центру города, ориентируясь по карте Берлина. Трое из них в результате двинулись прямо вдоль автомобильной трассы и загремели под арест.

Вопросы и ответы продолжались, а я тем временем сидел и думал о тропосфере. Я думал о том, что у меня есть уже вполне отчетливое представление о том, как она устроена. Вообще-то в последние несколько дней я из-за нее почти не спал, и, пока остальные разговаривали о железнодорожном туннеле и о том, ползет поисковая группа во главе с Лорой в люк или не ползет, глаза мои начали слипаться. Мне приснился мир, в котором

каждый человек имел доступ к сознанию остальных — до тех пор, пока какое-то правительство не поручило людям в темно-синей форме заходить ко всем в сознание и промывать мозги, чтобы положить конец этой способности. Когда я проснулся, в зале уже никого не осталось. И очень кстати: во сне я вспотел, и рубашка на мне насквозь промокла. Хотя я был один, мне казалось, будто на меня кто-то смотрит. Я знал, что должен вернуть книгу Луре, поэтому сразу же отправился домой — позвонить ей и договориться о встрече в выходные. И потом, пока стоял в пробках, думал, не лучше ли просто взять и сжечь книгу целиком — или хотя бы уничтожить страницу с рецептом.

Но ведь я — профессор английской литературы. Я бы не смог уничтожить книгу, даже если бы от этого зависела моя жизнь. Во всяком случае, так я думал тогда.

Мне досталось последнее свободное место для парковки на всей нашей улице, и оставшиеся двадцать ярдов до дома я прошел пешком. Войдя в дом, я стал продумывать свои дальнейшие действия. У меня уже сложился четкий план: я решил вырвать из книги страницу с инструкциями по приготовлению микстуры — но уничтожать ее я, конечно, не стану. Я ее сохранию или спрячу... Пока еще я не очень хорошо представлял себе, как именно поступлю с ней. Возможно, я понимал, что в какой-то момент мне все же придется уничтожить эту страницу, но на сегодняшний день казалось, что вполне достаточно вырвать ее из книги. Я вырву страницу, отдам книгу Луре, а если она меня когда-нибудь об этом спросит, изображаю неведение.

В то самое мгновение, когда я раскрыл книгу на нужной странице, за окном взметнулись фары автомобиля, после чего послышалось мерное постукивание дизельного двигателя, и я просто подумал, что кто-то вызвал такси. Но я находился в таком взвинченном состоянии, что замечал каждый пустяк, поэтому подошел к окну и, не выпуская из рук книги, посмотрел на улицу. И там я увидел их: тех двоих мужчин со светлыми волосами, которые сидели в зале в Гринвиче, когда я читал свой доклад. Они искали, где бы припарковаться.

Они приехали за книгой. Так вот кто мне писал.

И еще ужаснее было то, что один из них сидел за рулем (и искал место для парковки), но вот что делал второй? Второй, похоже, спал.

Думать, думать быстрее. Если один из них в тропосфере, то сейчас он в каких-нибудь двух-трех прыжках от моего сознания и всего того, что я знаю о «Наваждении». Я посмотрел на книгу и быстро вырвал страницу. После этого мои мысли будто отрубил, и все же действовал я теперь с такой четкостью, будто выполнял тщательным образом составленный план. Книгу нужно оставить здесь, а страницу забрать с собой. Не успел я додумать эту мысль, руки уже сами сложили страницу вдвое и спрятали в ботинок. Нужно успеть убраться отсюда, твердил я себе, до того, как эти типы либо ворвутся сюда и изобьют меня, либо — что еще хуже — запрыгнут в мое сознание и заберут оттуда все, что я знаю. Они по-прежнему искали, где поставить машину. Я спрятал книгу за пианино, схватил пальто, бумажник и ключи и вышел через заднюю дверь. Через забор соседей, через их сад, до конца переулка — и в машину. Сердце колотилось как сумасшедшее — не схлопотать бы инфаркт. Мужчина, который сидел за рулем, даже не взглянул в мою сторону, когда я захлопнул за собой дверцу. Я представлял себе автомобильную погоню, но, когда проезжал мимо них, никто не обратил на меня внимания. И тогда я поехал — быстрее, чем когда-либо еще, — в сторону университета. Мысли летели впереди меня — с такой скоростью, какая мне не снилась. Планы, страх, попытки предугадать дальнейший ход событий — все смешалось в кучу, но надо всем доминировала простая очевидность. Эти люди уже никогда не оставят меня в покое и, пока у меня есть память, будут преследовать меня повсюду. Я могу уничтожить «Наваждение». Могу разорвать на мелкие клочки страницу, спрятанную в ботинке. Но если им удастся попасть в мое сознание, они получат инструкции по приготовлению микстуры точно так же, как мистер У узнал секреты шоу призраков Уилла Гарди. Раз — и готово. От Луры они ничего не узнают, ведь она не читала книгу. Но от меня — пока я жив и не потерял способности мыслить — они всегда смогут получить то, что им нужно.

Я остановил машину на стоянке у здания Рассела, чувствуя себя так, будто меня только что приговорили к пожизненному заключению. Подростком я в своих фантазиях часто видел себя трагическим героем. Участь Гамлета или Лира представлялась мне очень романтической. Но теперь смерть реально замаячила у меня перед глазами и казалась более неизбежной, чем завтрашний день. Мне вспомнилась одна диссертация, которую я рецензировал несколько лет назад. В ней аспирант утверждал, что американские гангстерские фильмы восьмидесятых и девяностых представляют собой постмодернистские трагедии. Он уделил особое внимание одной подробности: в этих фильмах никто никогда не уходит от расплаты. В нашем обществе, где все повязаны битами и байтами, больше нельзя раствориться в толпе. И тогда я понял, что эти люди из проекта «Звездный свет» найдут меня, куда бы я ни отправился, и заберут у меня все, что я знаю. Они расхитят мой разум, и я против них бессилен. И все-таки у меня есть шанс не допустить этого. Я должен исчезнуть прямо сейчас. Но времени на это почти не остается. Из дома они поедут прямо сюда — в этом я не сомневался.

Ждать практического подтверждения догадки чересчур опасно. Действовать следовало исходя из теоретических предположений, а именно:

Этим людям необходимо мое знание об ингредиентах препарата.

Они могут добыть это знание тремя разными способами:

с помощью пытки;

путем педезиса;

силой отняв у меня листок из книги.

Допустим, листок можно съесть, а пытку выдержать и ничего им не рассказать — но противостоять педезису невозможно. Из того, что я знал об устройстве тропосферы, следовало, что, для того чтобы попасть ко мне в сознание, человеку, который принял микстуру, достаточно было прыгнуть в сознание кого-то находящегося рядом со мной или того, кто вероятнее всего скоро меня увидит, и в тот момент, когда мы с ним встретимся, совершить финальный прыжок в мой разум, а значит, и в мои знания вместе с воспоминаниями. Теоретически спящий мужчина может просто-напросто забраться в мозг своего коллеги и отправить его на встречу со мной.

Следовательно, меня никто не должен видеть. У себя в кабинете я закрыл жалюзи, задернул шторы и запер дверь. Я не курил уже двадцать лет, но, увидев, что Эриел оставила на столе пачку сигарет, достал одну и зажег. Я умолял себя поскорее что-нибудь придумать. Есть где-нибудь такое место, где меня никто не увидит? Я представил себе дороги, универмаги и супермаркеты. Сколько человек увидит меня за самый обычный день? Сотни? Тысячи? Всюду, куда бы я ни направил свой мысленный взор, мерцали огоньки плоти и сознания — деталь, которую никогда не отмечают на картах. Даже если я вернусь в машину и поеду, я буду проезжать мимо людей. И как только мне могло прийти в голову поехать сейчас именно в университет — и попытаться спрятаться в кабинете, на двери которого висит табличка с моим именем, в кабинете, расположение которого можно найти на веб-сайте университета, оснащенного также удобными картами: как добраться до здания английского и американского отделения из любой части университетского городка, как доехать до университета на машине или на поезде, как долететь на самолете или доплыть на пароме. Я курил и ходил взад-вперед по кабинету. В университете я чувствовал себя в безопасности. Вот в чем дело. Вот почему я приехал сюда. Потому, что здесь всегда так много людей. В университете никогда не чувствуешь себя одиноким, а в опасных ситуациях всегда хочется быть там, где люди. Правда, не в этот раз.

Прошло три или четыре минуты. Я услышал в коридоре смех — Макс и все остальные возвращались из бара. Теперь не важно, что я запер входную дверь — вернувшись, они наверняка оставили ее открытой. Я посмотрел на тяжелое пресс-папье, стоящее у меня на столе. Может, их удастся остановить силой? Нет. Против телепатии на расстоянии сила не поможет. Быстрее, быстрее, нужно что-то придумать. Как быть со страницей, которая лежит у меня в ботинке? Уничтожить? Нет, не могу. Не могу этого сделать. Ну почему я не уехал куда-нибудь еще — туда, где у меня еще оставался бы шанс? Мысли путались и толкали друг

друга, как ошалевшие покупатели рождественских подарков, и мне пришлось напомнить себе, что принять надо всего два решения: что делать со страницей и куда бежать. Даже не успев понять, что делаю, я потянулся к верхней книжной полке за четвертым томом «Зоономии», в котором когда-то давно, будучи еще аспирантом, прятал деньги: дверь у меня тогда была хлипкая, и любой мог открыть ее с помощью кредитки. Я тогда убеждал себя в том, что книги воров не интересуют, к тому же книги тяжелые. Мелкий воришка не сможет уволочь тысячу книг, поэтому он просто не станет на них смотреть — ведь не придет же ему в голову выбрать штук десять. Уж лучше он махнет на книги рукой и предпочтет видеомagneфон или микроволновку. Поэтому я всегда что-нибудь прятал в книгах. Любовные письма, порнографию, кредитные карточки... Может, это сработает и на этот раз? Эти типы из проекта «Звездный свет» определенно знают цену книгам. Ага, но вот тут-то как раз мне и поможет университет. Я могу спрятать страницу и запереть дверь, и тогда никто чужой не сможет войти сюда и рыться в моих вещах. А если даже у кого-нибудь это и получится, то нужной ему книги здесь и не окажется.

Интересно, надолго мне придется исчезнуть?

Понятия не имею.

Но, по крайней мере, у меня с собой будет лишь одна копия той информации, которой я располагаю, — копия, отпечатанная у меня в сознании. Да, я могу струсить, но всегда остается вариант убить себя, если они подойдут ко мне слишком близко. На худой конец сойдет и такое. Я взял стул, чтобы избавиться от второй копии — страницы, спрятанной в ботинке.

Возможно, я поступал глупо и недостаточно внимательно все обдумал, но я не мог себе представить, чтобы кому-нибудь пришло в голову перебрать все книги на моих полках и трясти каждую до тех пор, пока из одной наконец-то не выпадет какая-то странная страница. Почему именно «Зоономия»? Этого я точно не знал, но что-то подсказывало мне, что прятать нужно именно там. Эриел Манто пользоваться ею не будет, я сам велел ей этого не делать. А кому еще может понадобиться «Зоономия»? Я засунул страницу приблизительно в середину четвертого тома и поставил книгу на место.

Я знал, что поступил неправильно, но все равно уж лучше так, чем уничтожить страницу. Возможно, я совершил роковую ошибку. Ведь тот, кто знаком с «Зоономией», — человек бесспорно образованный и может догадаться, из какой книги она вырвана... Ну что ж, удачи ему. Возможно, я именно тем и оправдывал свое решение. Знай я тогда то, что знаю теперь, я бы ни за что не оставил страницу в старинном томе. Но теперь мне ее уже не достать. Остается только надеяться, что она уничтожена.

Моей следующей задачей было исчезнуть. Но как можно исчезнуть из многолюдного здания, расположенного в многолюдном университетском городке, находящемся в многолюдном мире? Куда мне деваться? Как найти такое место, в котором буду только я один? Место, где меня никто не увидит?

Железнодорожный туннель.

Через две минуты я уже покинул свой кабинет и заперся в комнатке с ксероксом. Люк открылся на удивление легко — а где его искать, я знал. Фонарика у меня не было, только крошечная лампочка на брелоке с ключами. Но и ее света хватило, чтобы разглядеть тонкие прутья металлической лестницы. Может, я сошел с ума? Я допускал и такое. Но стоило мне опуститься в темноту лаза и опустить за собой крышку люка, как сверху раздался яростный грохот, и мужской голос с американским акцентом прокричал: «Профессор Берлем!» Они стояли у двери в мой кабинет на противоположной стороне коридора. Только меня там уже не было. Никто не видел, как я вхожу в комнату с ксероксом. Казалось, будто я прервал какую-то цепь — последовательность причины и следствия. Если сейчас я не покажусь никому на глаза, никто никогда не узнает, где я. И существую ли я, если меня никто не видит?

В туннеле было темно и холодно, и раздавалось назойливое «кап-кап-кап». Он оказался намного просторнее, чем я себе представлял, хотя вообще-то железнодорожный туннель и

должен быть большим — чтобы по нему могли проехать два поезда. Разглядеть в такой темноте какие-нибудь детали я не мог, но представление о размерах получил, прислушавшись к распространению звуков. Я двинулся в южном направлении, к зданию Ньютона — во всяком случае, полагал, что иду к нему. Под ногами у меня скрипело что-то вроде щебенки, хотя, что там такое, я не видел. Чтобы не сбиться с пути, я держался стены. И надеялся, что меня и мужчин из «Звездного света» разделяет достаточное расстояние, и тот, спящий, не наткнется на меня в тропосфере. Я представил себе что-то вроде «утренней облавы»: если они знают, что я в университете, то спящий может просто врываться подряд во все двери тропосферы до тех пор, пока не найдет меня. Вот что беспокоило меня больше всего, пока я шел по туннелю. Я уже знал, что для педезиса имеет значение физическое сближение. Но, с другой стороны, в университете так много других сознаний, а эти люди не уверены, что я в здании. Но что делать дальше, я не знал. И тут будто какой-то мстительный бог решил сыграть со мной шутку: размышляя над тем, что делать, я наткнулся на затор: на ощупь это походило на кучу кирпичей и мусора. Чтобы пройти к выходу, придется расчистить завал. А хочу ли я идти к выходу? Я опустился на пол и принялся размышлять.

Ох. Довольно воспоминаний. Вот уже и церковь. Привяжу Планка у входа.

Я...

Вот черт! Все. Я выброшена в тропосферу: Берлем вошел в церковь, и меня отбросило сюда. Выходит, Адам был прав.

Глава двадцать первая

Я стою на длинном металлическом мосту, а подо мной стремительно бежит широкая река. Здесь по-прежнему ночь, но на всем поцелуем смерти лежит серебристое сияние, похожее на лунный свет (хотя никакой луны я не вижу), и кажется, что все конструкции здесь, включая этот мост, скреплены огнями, которые отражаются в бурных черных водах реки, чтобы тут же разлететься в щепки. В реальном мире у меня бы сейчас непременно закружилась голова, но в тропосфере я опять чувствую лишь тягучее отсутствие ощущений. В тропосфере (или «Майндспейсе», как ее, похоже, называют в проекте «Звездный свет») возможно испытывать эмоции, но только очень сильные. И все-таки кое-что я чувствую. Я расстроена тем, что меня вышвырнуло сюда в тот момент, когда мне вот-вот открылось бы, куда отправился Берлем, выйдя из туннеля. Но только и всего: лишь слабое огорчение. Снаружи я бы расстроилась куда больше.

Снаружи. Как мне теперь отсюда выбираться? Вероятно, нужно найти дорогу к тому месту, с которого я начала: к концу улицы с кукольными домиками и безумными манекенами: тропосферическое (можно это так назвать? Ну, теперь можно) изображение деревни Хертфордшир, в пабе которого лежит в отключке мое тело.

Интересно, сколько я здесь пробыла?

Дисплей?

Вот он. Где я?

«Ваши главные координаты 14, 12, 5, -2, 9 и 400,340».

Да пошли бы вы! Что это значит? Что еще за главные координаты?

«Координаты говорят о вашем местоположении в тропосфере».

Да, но... что они означают?

«Каждая точка в тропосфере рассчитывается относительно положения вашего живого сознания в реальном мире. Если требуется, я могу предоставить ваши координаты в двоичном исчислении».

Нет, спасибо. Хорошо. Так значит, я недалеко от того места, где должна быть? Или далеко?

«Расстояние — это время, как вы уже знаете».

У меня такое ощущение, что эта штукавина говорит мне только то, что я уже и так знаю. Но ничего не поделаешь.

И что же?

«Вы переместились на большое расстояние по сравнению со своими предыдущими путешествиями».

И как мне вернуться?

«Возвращайтесь на координаты 0, 0, 0, 0, 0 и 1».

Как это сделать?

«Двигайтесь по тропосфере».

А какую-нибудь еще информацию вы мне можете предоставить?

«У вас есть триста возможностей».

Отлично. А в какую сторону идти, не подскажете?

Экран мигает. Передо мной появляется что-то, напоминающее круглый пончик, развернутый в гигантскую спираль, увешанную веревками и кубиками. Но не проходит и одной секунды, как она исчезает и на ее месте появляется нечто вроде военной карты, на которой стоит отметка в виде синего кружочка с подписью: «Вы находитесь здесь». Я прошу дисплей показать мое место назначения, и на карте появляется красный кружок — в многих милях отсюда.

Хотя кто его знает, в чем тут нужно измерять расстояние — может, и не в милях.

И еще кое-что. Когда я покинула Хертфордшир, на дворе стоял январь. Но в сознании Берлема еще даже Рождество не настало. Я что же, переместилась назад во времени, чтобы увидеть Берлема? Но почему? И как такое вообще могло получиться? Я иду через мост, и влажный серый ветер развеивает мои волосы. Только не это. Не надо погоды — я вполне могу обойтись без погоды. Кажется, здесь это плохой знак.

Аполлон Сминфей?

Ничего.

На то, чтобы дойти до конца моста, у меня уходит минут десять (или в чем тут они измеряют время). Я оглядываюсь и вижу целый веер из мостов, сияющих в серебристом свете. Но они немедленно растворяются, и на их месте снова остается всего один мост. Десять минут, не меньше. Если умножить десять минут на 1,6, получится шестнадцать минут. Так, что ли? Чтобы перейти через мост, я потратила шестнадцать здешних минут? Надо поскорее отсюда выбраться. Мое тело все лежит там и лежит. Давай, Эриел. Шевелись.

Я стою на широкой улице, которая чем-то напоминает мне набережную Темзы в Лондоне, только здесь она, похоже, тянется бесконечно в обе стороны. Другая странность — то, что здесь нет больших домов и отелей. Вместо этого тут все уставлено маленькими коттеджами, разбросанными словно наугад: одни стоят друг на дружке, у других углы сразу в трех измерениях. Что? Эриел, что ты мелешь: трехмерных углов не бывает. Если, конечно, ты не находишься в четырехмерном пространстве, подсказывает мне память. О боже. Я сворачиваю влево и иду. Из некоторых труб валит дым, но он не поднимается вверх, как это обычно происходит с дымом. Он не только распространяется во все три измерения, но еще и, по-моему, закручивается сам в себя, и раскручивается из себя, и движется в каких-то других измерениях, которых я не знаю. Набережная сворачивает и невероятным образом превращается в пыльную дорогу, заставленную трейлерами и картонными курицами. Постой-ка. Картонные курицы? Что со мной происходит? В небе что-то вспыхивает — похоже на молнию, и начинает рассветать, но намного быстрее, чем нужно. Я очень устала. Может, зайти в один из этих трейлеров и немножко вздремнуть? Эриел, не глупи: если ты войдешь в какой-нибудь из этих домиков, там будет всего лишь очередное сознание со всеми его мыслями и воспоминаниями. Понимание этого впервые заставляет меня поежиться от усталости. Солнце взошло, и теперь я шагаю по ярко-желтой пустыне, и вокруг меня то тут, то там появляются гигантские песочные замки, которые тут же снова исчезают. Это-то что означает? Ведь все здесь — метафора, правильно? И какую же такую хреновую реальность все это отображает? И где я вообще?

Кажется, я иду по пустыне уже несколько часов, хотя вообще-то настоящего ощущения времени у меня нет здесь. Десять минут, которые, как мне показалось, я провела на мосту,

вполне могли оказаться тремя, или одной, или двадцатью. Я знаю только, что каждый шаг может равняться сдвигу секундной стрелки на каких-то там космических часах, и чем ближе я к себе физической, тем меньше у меня остается шансов все это пережить. Пустыня заканчивается, и начинается еще одна пыльная дорога, вдоль которой стоят забегаловки с неоновыми вывесками голубого и розового цвета. Интересно, неон — это хороший знак? Надо ли мне радоваться тому, что я снова его вижу? Солнце снова садится, слишком быстро — как будто бы в последний раз. На одной стороне улицы стоит запыленная заправочная станция — эх, если бы и мне можно было там подзаправиться. Воздух все такой же влажный, и молния просверкала впустую — ни грозы, ни даже простого дождя так и не случилось. И вот я иду, и этот мир вокруг, вероятно, — мое собственное сознание, и я плутаю в своих собственных мыслях и предположениях о том, что представляют собой другие люди. Где «я», я не знаю. И красная точка на дисплее едва ли становится ближе.

Аполлон Сминфей?

Ничего.

Аполлон Сминфей? Я сделаю все что угодно... Пожалуйста, помогите мне.

Еще одна беззвучная вспышка в небе. Теперь я, кажется, понимаю, что такое молитва. Я делаю еще два или три шага, но, кажется, я растворяюсь. Думаю, дальше я идти не смогу. Вдалеке что-то грохочет. Гром? Я падаю на колени.

Аполлон Сминфей?

И гут он появляется передо мной подобно миражу. Миражу на... красном мотороллере?

— Ну что ж, — говорит он, притормозив рядом со мной.

Облачко бледно-коричневой пыли поднимается и снова опускается.

— Я думала, вы уже не вернетесь, — говорю я.

— Я и не собирался.

— Но вы вернулись. Вы здесь. Мне ведь это не мерещится?

Аполлон Сминфей улыбается:

— Конечно мерещится. Но это не значит, что меня здесь нет. — Он смотрит на часы. — Вы в беде. Давайте выпьем кофе.

Он бросает свой мотороллер посреди пыльной дороги и идет к одному из кафе с неоновыми вывесками. Я следую за ним, но каждый шаг дается мне с трудом, как будто бы я, не сняв одежды, иду под водой. Когда мы подходим ближе, я вижу, что кафе называется «Мус Мускулус»²⁰ и вместо двери здесь такая же арка, как в доме у Аполлона Сминфея. Изнутри кафе представляет собой коктейль из всех американских фильмов о путешествиях, какие я когда-либо смотрела: красные кабинки из кожзаменителя, заламинированные меню, большие стеклянные сахарницы с серебряным наконечником, через который, если его перевернуть, высыпается ровно одна чайная ложечка сахара. Столы, покрытые белым ламинатом. В одном из углов — то самое гнездо, которое я видела в том месте рядом с бассейном, где-то, кажется, на другой стороне тропосферы.

— Ну что ж, — снова говорит Аполлон Сминфей.

Я смотрю на барную стойку. За ней никого нет. Слева над стойкой висит телеэкран, прикрепленный к стене с помощью кронштейна. Он выключен. На стене сразу над стойкой — большие белые электронные часы, но время, которое они показывают, мне незнакомо. Сначала на них высвечивается «82,5», потом — «90,1», потом — «85,5», а дальше — «89,7». Числа сменяют друг друга без определенного ритма, из чего я делаю вывод, что это вовсе и не часы. Когда я снова смотрю на стол, передо мной уже стоит белая чашка, наполненная коричневой жидкостью. Ну что ж, если я все равно вот-вот умру, можно хотя бы выпить перед этим тропосферного кофе. К тому же у меня все равно не хватит сил ни на что другое. Мне хочется как можно дольше откладывать предстоящее путешествие через тропосферу.

²⁰ Mus Musculus (лат.) — мышь домовая.

Ну как же можно быть такой идиоткой? Заблудиться в собственном сознании — это же надо! Может быть, безумие именно так и выглядит? Пожалуй, надо поменьше об этом думать.

— Спасибо, — говорю я Аполлону Сминфею. — Ну, то есть...

За что я его благодарю? За кофе? За то, что он здесь? За то, что он, возможно, меня спасет?

— Хмм, — говорит Аполлон Сминфей.

— Вы здесь, потому что я молилась?

Он отхлебывает кофе. Его серая лапа похожа на увиденный мною однажды брелок из кроличьей лапки, которая якобы приносит удачу: она была такая же твердая, серая и мертвая. Зато все остальное в нем кажется настолько живым, что просто с ума можно сойти. В конце концов, ведь мышей-богов ростом в восемь футов на самом деле не бывает. Но дышит он совсем как человек, и его длинный серый нос наверняка оказался бы твердым и теплым, если бы я когда-нибудь к нему прикоснулась. Только я, конечно, этого не сделаю. Потому что вот еще какая странная штука с Аполлоном Сминфеем: когда я сижу перед ним, у меня такое ощущение, будто бы я сижу перед выдающимся профессором.

— Не совсем.

— Тогда почему же вы здесь?

— Потому что вы для меня кое-что сделаете. Или... возможно, правильное было бы сказать — уже сделали для меня кое-что. Но еще не знаете, что это было.

— Я не понимаю, о чем вы.

— Знаю.

— Послушайте. Можно, я просто задам вам несколько вопросов? Очень быстро! Мне кажется, я в беде, и мне нужно пройти через половину тропосферы, чтобы...

— Вы в беде.

Я в отчаянии роняю плечи.

— Я знаю. Я думаю, что, возможно, уже не смогу вернуться к себе вовремя. Точнее, я уже почти не сомневаюсь, что мне это не под силу.

— Согласен.

— И по-моему, есть вероятность, что я умру.

— Да, только ведь...

— Только ведь что?

— То, что вы находитесь в тропосфере, как вы ее называете... Если вы здесь, значит, вы уже умерли.

Мое тело пытается выбросить адреналин, но здесь это не срабатывает. Изображение у меня перед глазами размывается, но потом снова становится четким.

— Черт! Черт! — Я хватаюсь руками за край стола. — Так, значит, я опоздала?

— Опоздала куда?

— К себе. И Берлема найти не успела.

— Вы можете вернуться к себе.

— Но... вы сказали... раз я здесь, значит... — Я закрываю глаза и тут же открываю их снова. — Я умерла?

— Этот мир, мир сознаний, — он ведет к смерти. И вы это знаете.

— Разве?

— Если хорошенько подумаете, поймете. — Он смеется, и кажется, будто передо мной персонаж трехмерного мультфильма, — вот только когда он выдыхает, я чувствую, как теплый и влажный воздух вокруг нас меняется.

— Прошу меня извинить. Вы вызвали меня не для того, чтобы я загадывал загадки. Почему бы вам просто не начать задавать мне вопросы?

— Ладно.

— Но поторопитесь, потому что нам еще предстоит обсудить то маленькое задание, которое я хочу вам дать, а еще нам надо придумать, как вас отсюда вытащить. Вообще-то это задача не из легких.

— Хорошо. Ну, я тогда совсем быстро. Я... я пока в безопасности?

Аполлон Сминфей жестом указывает на экран телевизора. Тот, замерцав, включается. В черно-белом зернистом изображении я вижу больничную палату. Камера сфокусирована на кровати, на которой лежит девушка без сознания. К ее руке подключена капельница.

— Это я? — спрашиваю я. Но уже и так знаю, что да.

— Хозяин паба насторожился, когда вы не спустились к завтраку и в положенный час не освободили комнату. Он поднялся к вам и обнаружил, что вы без сознания. А когда так и не смог вас разбудить, вызвал «скорую». Официально вы сейчас в коме.

— О господи.

— Вы прошли здесь очень большое расстояние. На это требуется много времени.

— Аполлон Сминфей! — Я все еще смотрю на экран.

— Да?

— Я сошла с ума?

— Нет. Во всяком случае, не в том смысле, в каком вы понимаете это слово.

— Но это ведь не какая-нибудь фантазия, вызванная комой? Не сон?

— Ну, на сон это немного похоже, но вообще-то это сон наоборот. Почему вы не задаете своих вопросов?

Я наконец отрываюсь от экрана телевизора и смотрю на него.

— Каждый раз, когда вы что-нибудь говорите, у меня появляются новые вопросы, — говорю я.

— Какие, например?

— Ну, например, что такое сон наоборот?

— Сон переносит в область бессознательного. А вы сейчас не там.

Вдруг в голове у меня словно запускается какой-то механизм. Я до сих пор так и не нашла возможности как следует поразмыслить над брошюрой Аполлона Сминфея, но, похоже, успела ее впитать, потому что теперь вдруг начинаю видеть связь...

— Так это и есть сознание, — говорю я.

— Безусловно.

— Мысли всех людей, их сознания. Но только в виде тщательно разработанной метафоры, по которой я могу путешествовать. Это место на самом деле выглядит не так — вы говорили об этом раньше. Тут нет ни кофе, ни стола, ни телевизора. А из чего тут все на самом деле, я не узнаю... и... в сознания других людей я могу прыгать, потому что все они связаны между собой. Они все сделаны из одного и того же.

— Очень хорошо. И из чего же они сделаны?

— Разве я знаю?

— Да. Должны знать.

Я вспоминаю все, что мне известно о сознании. Начинаю с Сэмюэла Батлера и его идеи о том, что сознание — это нечто такое, что эволюционирует, и машинам — кускам пластика или чего-нибудь еще — нет никаких причин обзаводиться собственным сознанием, ведь им вполне хватает и нашего. Сами мы эволюционировали из растений — я помню, он об этом писал, — а растения сознания не имеют. Получается, что сознание может эволюционировать вообще из ничего — точь-в-точь как когда-то из ничего появилась жизнь. Мы можем слиться с машинами и стать киборгами, и тогда то, что в нас от машин, тоже обретет сознание. Но как это произойдет? И как это произошло с животными, которым сознание досталось еще до нас? Ведь должен же был наступить момент, когда произошла первая вспышка сознания. Что дало толчок этому резкому прыжку из бессознательного в сознательное? Такие вопросы мне всегда особенно нравились в работах Батлера, но здесь, боюсь, они мне не помогут. Что еще мне известно о сознании? Я знаю, что мне не нравится идея о коллективном бессознательном. И идея о древних символах, которые существуют за пределами более произвольной системы означающих и означаемых, — тоже. Мне куда ближе мысль Деррида о том, что реальность и присутствие создаются зияющим отсутствием, а вовсе не странным интерфейсом малобюджетных фильмов о змеях, ведьмах и жутковатых клоунах.

Я снова думаю о Хайдеггере и понимаю, что еще очень многого не знаю. Я помню, что для обозначения сознания у Хайдеггера было специальное слово — *Dasein*,²¹ то есть буквально существо человека, способное задаваться вопросами о собственном бытии. Для Хайдеггера бытие не может рассматриваться вне категории времени: быть можно лишь в настоящем, и, следовательно, существовать можно только в том смысле, что существуешь ты во времени. *Dasein* может осознавать и теоретизировать о собственном бытии. Может задаться вопросом: «Почему я здесь? Почему существую? И вообще, что это значит — существовать?» *Dasein*, таким образом, строится из языка — *logos*, — то есть из того, что служит для обозначения.

Лакан приводит психоаналитический аргумент в пользу того, что сознание напрямую связано с языком, указывая, что из бессознательно агукающих младенцев мы превращаемся в часть так называемого «символического порядка» (то есть открываем для себя сознательный мир) в тот самый момент, когда приобретаем язык. В тот же самый момент мы осознаем, что представляем собой самостоятельное существо. Мы — не то же самое, что наши матери (слава богу!). Мы становимся чем-то, что называется «я» и может существовать лишь потому, что существуют другие.

Но мир построен из слов (по крайней мере, мой мир — точно), и все мы знаем, какой ненадежный это материал. Это настоящий симулякр — закрытая система, точь-в-точь такая же, как математика, в которой все имеет смысл лишь потому, что не является чем-то другим. Число 2 означает что-то потому, что оно не 1 и не 3. Дом существует только потому, что он не лодка и не улица. Я — это я, и только я, потому что я не кто-нибудь другой. Это система существования без означаемых — с одними только означающими. Вся система существования — это закрытая система, зависшая на одном месте, словно судно в шлюзе.

Думай, Эриел, это ведь тебе не сочинение!

Конечно нет. Я заблудилась у себя в сознании и пытаюсь разобраться, что это, мать его, вообще такое.

И это напоминает мне об одной вещи...

— У нас не слишком много времени, — напоминает мне Аполлон Сминфей.

Я смотрю на экран. Я по-прежнему лежу там, все такая же бесчувственная.

— Все это место сделано из языка, — говорю я. — Вот почему я попадаю сюда по туннелю, сделанному из языка — из всех языков, какие существовали с начала времен. Мысли всех людей каким-то образом складываются здесь...

— Прекрасно.

— А вы сделаны из специального языка — из языка молитвы.

— Да.

— Но я не понимаю. Почему я не вижу настоящей тропосферы? Она ведь вся состоит из цифр и букв? Ну, то есть если это слова, они ведь должны быть понятными.

— Слова, написанные на чем?

Яжимаю плечами:

— Не знаю.

Я почему-то представляю себе огромную доску, висящую в небе, подобно космической версии Розеттского камня. Всякий раз, когда люди что-нибудь думают, говорят или делают, это записывается на доске. Но ведь тогда бы я ее видела. Да и все остальные видели бы в небе у себя над головой гигантскую каменную дощечку. Да, пожалуй, я что-то расфантазировалась.

— Вам придется еще немного подумать над этим, — говорит Аполлон Сминфей.

— Да... — начинаю я.

— Но не сейчас. Сейчас нам нужно вытащить вас отсюда.

— Я... — снова пытаюсь я что-то сказать.

²¹ Букв.: «здесь бытие», «вот-бытие» (нем.).

Аполлон Сминфей смотрит на часы:

— Что?

— Почему вы мне помогаете?

— Ну, потому что вы кое-что для меня сделаете.

— И что же это?

— Расскажу по дороге.

Мы выходим из пустыни и оказываемся в загородной местности, где повсюду стоят белые домики с голубыми дверями. Здесь снова ночь, но и серебристый свет тоже никуда не пропал. У всех домиков к окнам приделаны ящики с голубыми цветами, и перед входом разбит аккуратный садик. Трава в садиках покрыта каплями росы и сверкающими паутинками. Аполлон Сминфей объясняет мне, что я должна для него сделать, и это какая-то чушь.

— Вы хотите, чтобы я переместилась в 1900 год?

— Да. И спорить на эту тему бессмысленно, потому что в каком-то смысле вы уже это сделали. Вот почему я здесь и помогаю вам.

Я стараюсь пропустить мимо ушей как можно больше из того, что он говорит.

— Вы хотите, чтобы я отправилась в 1900-й и вмешалась в мысли пенсионерки, бывшей школьной учительницы, которая вывела декоративных мышей?

— Именно. Мисс Эбби Лэтроп. Как я уже сказал, она фактически изобрела лабораторную мышь. Зайдите в любую лабораторию — и увидите там мышей, произошедших от ее первого выводка. Я приведу пример. C56/BL6/Bkl. Этот сорт мыши можно купить у любого распространителя. Они все черные, все рождены от родственного спаривания, и все являются потомками выводка мисс Эбби Лэтроп, полученного, если говорить точными цифрами, от 52 особей мужского и 57 особей женского пола.

— Но зачем? — спрашиваю я, так и не дождавшись, чтобы мой мозг обработал эту информацию. — Зачем вам это?

— Мальчики из Иллинойса молятся, чтобы я вмешался в нелегкую судьбу лабораторных мышей. Ну и что еще тут можно придумать, кроме как стереть сознание той женщины, которая их изобрела?

— Но я не могу стирать сознания!

— Да что вы говорите! То есть вы хотите сказать, что, пока находились здесь, ни разу не заставляли людей передумать? Не заставляли их сделать то, чего без вас они делать не стали бы? И разве не это помогло вам сбежать от тех людей в машине?

— Но... — Я в растерянности и не знаю, как объяснить. — Но это ведь происходило в реальном времени. А прошлое менять нельзя. Вы ведь знаете про временные парадоксы?

— Все, что происходит в тропосфере, происходит в прошлом — в вашем понимании.

— А как же парадоксы?

— Да бросьте вы, в настоящий момент парадоксально все. Хуже не будет.

У меня перед глазами появляется изображение людей в белых халатах, склонившихся над лотками с мышами. Вот они исследуют какое-то создание, у которого на спине выросло ухо, вот — мышку с опухолью, а вот лоток пуст, в нем больше никого нет. Но если бы в начале двадцатого века женщину, которая вывела эти мышей, остановили, мышей в лотке и вовсе никогда не появилось бы. И этих людей в халатах — тоже. Весь мир был бы другим. Я пытаюсь объяснить это Аполлону Сминфею.

— Да нет же, нет, — мягко возражает он мне. — С этим нет никаких проблем. Думаю, мыши просто растворились бы в воздухе — вот и все. Мир не стал бы другим. Никто бы даже не заметил.

— Но...

— Вы уже сделали это, так что тут даже и спорить не о чем.

— Если я уже это сделала, то почему же в лабораториях до сих пор полные клетки мышей?

— Разве? Что-то я их там не вижу.

— А как же вы? Если бы не было лабораторных мышей, возможно, культа Аполлона Сминфея в Иллинойсе никогда бы не возникло и вас бы тоже не существовало...

— Да что вы, я появился еще при древних греках. Да и вообще, всякий бог вынужден делать вещи, которые приводят к его исчезновению. В этом мы с людьми похожи. Мы заложники одной и той же экономии.

В нашем разговоре так много парадоксов, что у меня начинает болеть голова. Ну, по крайней мере, энергии у меня прибавилось — видимо, это от капельницы, подключенной к моему физическому телу в больнице.

— Ее зовут мисс Эбби Лэтроп, — повторяет он. — Она живет на ферме в Массачусетсе. Вам следует оказаться у нее приблизительно в конце 1899-го. Я оставлю для вас сообщение с подробными инструкциями, когда вы вернетесь сюда снова.

Ну, по крайней мере, он не требует, чтобы я сделала это немедленно.

— Но...

— Что?

— У меня есть еще один, очень важный вопрос.

— Какой же?

— Это меня не убьет? Ну... ведь когда я переместилась всего на месяц назад, это чуть меня не угробило — и угробило бы, если бы не появились вы. И вы уж меня извините, но я так до сих пор и не знаю, удастся ли мне когда-нибудь отсюда выбраться.

— Не знаю, что вы такого нашли в этой «жизни». — Аполлон Сминфей вздыхает. — Но не беспокойтесь. Я покажу вам кое-что — думаю, вам это пригодится.

— Что это?

— Метрополитен. Думаю, это довольно близкий перевод.

— Метрополитен? Это в смысле — поезда?

— Да. Так это будет выглядеть для вас. Да, думаю, в вашем представлении это будут поезда.

Домов вокруг становится все больше. Мы идем вниз по крутому холму, и где-то внизу я вижу огни шоссе. Конечно, никаких машин там по-прежнему нет. Ни машин, ни мусора, ни людей. Оказавшись на дороге, мы сворачиваем вправо и идем вдоль ряда ярко освещенных универмагов, среди которых там и тут встречаются большие серые офисные здания. Мы проходим еще немного, и мне снова начинает казаться, будто у предметов вокруг меня больше углов, чем следовало бы. Я вижу большие грязно-белые многоквартирные дома с пристроенными к ним многомерными прачечными и джаз-барами. Здесь всего чересчур много, и я почти физически ощущаю, как на меня давит перегруженность пространства. И в то самое мгновение, когда мне кажется, что больше я не выдержу, Аполлон Сминфей показывает на какие-то ступеньки, ведущие вниз, под улицу. Когда мы подходим ближе, я понимаю, что это очень сильно напоминает вход в лондонское метро.

— Вот мы и пришли, — говорит он. — Это не самый легкий способ перемещения по тропосфере, но самый легкий способ вернуться к себе.

Я начинаю спускаться по ступенькам, но понимаю, что он за мной не идет, и останавливаюсь.

— Разве вы не идете? — спрашиваю я.

— Нет-нет, мне туда нельзя.

— А я там без вас разберусь?

— У вас должно быть расписание, на этой вашей штуке... На устройстве...

— У меня на дисплее?

— Ну да, на нем, если вы его так называете.

— И куда мне отсюда ехать?

— К себе. Я бы посоветовал вам высадиться у себя до того, как вы отправились в тропосферу в этот раз. Тогда вы избежите массы неприятных вещей — не попадете в больницу, там вас не настигнут эти люди, и все такое прочее.

— Вы хотите сказать, что там будет станция под названием «Эриел Манто, паб в Хертфордшире, за пять минут до того, как она отправилась в путешествие, в котором узнала, каким образом можно вернуться»? Ведь вы же понимаете, парадоксы...

— Да когда вы наконец перестанете говорить про парадоксы! Весь ваш мир — один сплошной парадокс. Официально он не имеет ни начала, ни конца. В нем нет ничего, что имело бы смысл, и тем не менее вы, похоже, создали его именно таким.

Но я уже его не слушаю. Я думаю. Так, значит, они все-таки настигают меня в том варианте развития событий, в котором я попала в больницу. Надо поскорее выбраться отсюда. Интересно, сработает? Не знаю. Но я больше не могу оставаться в этом месте, здесь слишком темно, и вокруг слишком много всего — в этом ночном городе, который я, получается, придумала сама и который каким-то образом отражает сознания людей «вовне». Сколько мы шли, чтобы попасть сюда? В тропосферном времени, наверное, минут десять? Трудно сказать.

И вдруг — какой-то звук. Скрип колес. Аполлон Сминфей тоже слышит его. Его серое лицо нахмуривается, уши настороженно вздрагивают.

— Вам лучше уйти, — говорит он.

— Что это? — спрашиваю я.

Но тут мне становится ясно, что это. С холма спускаются двое белобрых мальчишек: один на скейтборде, второй — на ржавом велосипеде. Они еще довольно далеко отсюда, проехали, может, только четверть спуска.

— Ступайте, — говорит Аполлон Сминфей. — Я что-нибудь придумаю.

— А что, если они меня догонят?

— Они не смогут туда спуститься. Ну, идите же, скорее. Нельзя, чтобы они вас здесь увидели.

— Но они ведь, очевидно, уже и так знают, где я. Ну, они ведь...

— Они едут не за вами. Вас пока так и не нашли. Они едут за мной. Но я с ними справлюсь. Идите, пока они вас не увидели.

Он уходит в сторону детей. Интересно, что он с ними сделает.

— Аполлон Сминфей?

— Увидимся, когда вы вернетесь, — кидает он через свое костлявое плечо.

Небо здесь по-прежнему темное, и, пока я бегу вниз по лестнице, над головой у меня снова вспыхивает что-то, похожее на молнию. Теперь я в безопасности? Думаю, да. Но ведь они едва не успели! Я не слышу собственных шагов — слышу только эхо капающей где-то воды. Видимость здесь не очень хорошая, из освещения — только тусклые оранжевые лампочки, прикрученные то тут то там к бетонному потолку. Перейдя наконец с бега на ходьбу, я решаю оглянуться — но ничего не вижу. Теней тут больше, чем света. А ведь это я сама создала такое пространство — говорю я себе. Почему было не придумать побольше света? Я пытаюсь усилием мысли сделать это место посветлее, но ничего не происходит. Похоже, мне именно так представляется станция метро — и это мое представление невозможно изменить. Я двигаюсь по туннелю, временами переходя на бег, и спускаюсь все глубже и глубже под землю. Но за спиной у меня по-прежнему тишина, и вскоре я заключаю, что опасность миновала — во всяком случае, пока. Теперь я начинаю бояться другого: что этот длинный бетонный туннель никогда не кончится — и никогда не изменится. И тут вдруг повсюду появляются указатели и тусклые черно-белые экраны, на которых, видимо, высвечивается информация о прибытиях и отправлениях. А еще я вижу лестницу по обеим сторонам туннеля. Она ведет вниз. Слева на указателе написано: «Платформа 365», справа — «Платформа 17». Ну что за бессмыслица! И как прикажете мне разобраться, как попасть отсюда к себе?

— Дисплей?

Дисплей появляется.

— Что мне делать? — спрашиваю я.

«Почитайте доску „Отправление“».

Это называется, у него есть расписание!

Похоже, здесь на всех табло высвечиваются одни только отправления. А прибытий тут что, вообще не бывает? Я подхожу к одному из них и читаю, что там написано. И теперь не знаю, что и думать. Похоже, здесь не указано никакого времени отправления — только много-много номеров платформ. А линии, по которым ходят поезда, называются Страх, Любовь, Злость, Разочарование, Отвращение, Боль, Экстаз, Надежда, Комфорт... Здесь есть любая абстрактная эмоция, о которой только можно подумать. И удивительным образом все они уместились на экранчике размером с переносной телевизор.

— Как этим пользуются? — спрашиваю я у дисплея.

«Вы находите платформу и садитесь на поезд».

Да, но какая платформа мне нужна?

«А куда вам нужно попасть?»

К себе. А... может, мне нужны координаты?

«Нет. Координаты описывают только ваше положение в тропосфере. А вы, полагаю, пытаетесь из тропосферы выбраться».

И... все-таки, что же мне делать?

«Садитесь на поезд мыслей, который соответствует состоянию сознания человека, с которым вы пытаетесь слиться, в данном случае — с вами самой. И выходите, когда поймете, что приехали».

Этот дисплей начинает меня раздражать, поэтому я его закрываю. Поезда мысли. Это кажется таким очевидным и в то же время как-то разочаровывает. Кто придумал эту странную подземку? А, ну конечно, ведь ее придумала я. Я все здесь придумала сама. Вот только... Аполлона Сминфея я не придумывала, и страшных ДИТЯ — тоже. Я вздыхаю и снова смотрю на табло. Если я хочу вернуться к себе, похоже, мне нужно определить эмоцию, которую я испытывала в тот момент, в который хочу вернуться.

Хм, путешествие назад во времени при помощи эмоций? Эйнштейн этого не одобрил бы. Да мне и самой это кажется каким-то странным. И к тому же я не очень-то понимаю, как можно отличить одну эмоцию от другой. Я и между обычными-то предметами с трудом могу определить разницу (не хватает интеллекта). Но эмоции — это ведь даже не вещи! Вне сознания их и вовсе не существует. Но все равно другого выхода у меня нет — придется что-то придумывать. Так. Что я чувствовала, когда находилась в комнате в пабе? Надежду? Ну, что-то вроде того. Я надеялась с помощью Молли найти Берлема. Но это не было сильное чувство. Ведь, наверное, нужно, чтобы чувство было сильным?

У меня перед глазами открывается дисплей, хотя я его и не вызывала.

«У вас одно новое сообщение», — говорит он мне и снова закрывается. Я прошу его открыться.

Где сообщение? — спрашиваю я.

На экране появляется мерцание, и я иду туда, откуда оно исходит, — это газетный киоск за табло с расписанием отправлений. На небольшой стойке для газет рядом с киоском лежит одна-единственная газета, и я ее беру. Это никакая не газета.

«Путеводитель по Метрополитену» — написано на обложке. Автор — Аполлон Сминфей.

Я раскрываю газету.

«У вас нет новых сообщений», — говорит дисплей.

«В своей предыдущей работе я говорил о том, что сознание может быть уязвимо и доступно миру всеобщего разума. Мне кажется, что теперь я должен пояснить это отдельно. Как вы уже знаете, сознание само по себе — это некий ландшафт, в котором находится множество дверей, ведущих из одного разума в другой. Ландшафт этот и двери — метафоры. В мысли других людей с таким же успехом могли бы вести туннели в коралловых рифах или червоточина в космосе. В большинстве случаев информация в тропосфере хранится там же, где создается, — в „мысленном пространстве“ индивидуума. Однако иногда информация

бывает более динамична и, как вы бы сказали, „глобальна“ (хотя тропосфера, конечно, никакой не глобус). То, что вы называете „эмоциями“, представляет собой такие типы информации, которые являются общими для всех сознаний тропосферы. Человека, испытывающего эмоцию, можно сравнить с ветром, дующим по бескрайней пустыне, или с планетой, вращающейся вокруг Солнца. (Но всего лишь „сравнить“, потому что невозможно сказать, что это на самом деле такое — испытывать эмоцию. Эмоция — сама по себе целый метафорический мир и проявляет себя лишь тем, что себя не проявляет. Она всегда лишь симптом, и никогда не явление само по себе.) Вы предпочитаете „видеть“ ее в образе поезда подземки, который движется по бесконечному извилистому пути. Разумы разных людей не являются пассажирами этих поездов, они — станции: некоторые открытые, некоторые — закрытые. Когда станция открыта, поезд эмоции может промчаться мимо. А еще, когда станция открыта, она открыта и для других вещей: других открытых сознаний или, возможно, для людей, пытающихся совершить педезис.

Эмоцию можно назвать и по-другому — „моцию“. Ведь я помню, что когда-то это слово как раз и означало „моцию“, движение, перемещение от одного к другому. В этом мире, созданном из языка, значение никогда не стирается полностью. В данном случае подразумевается движение чего-то, не имеющего массы (движение в чистом виде), и поэтому значение, которым оно наделено, может перемещаться с непостижимой скоростью: со скоростью, которая велика настолько, что может доставить вас в обратном направлении. От вас требуется лишь сесть в поезд и найти нужную станцию».

Я снова смотрю на табло «Отправления». И снова мысленно возвращаюсь в гостиничную комнату. Я вспоминаю, как только что приняла ванну, пытаюсь смыть с себя отвратительную похоть Патрика. Я старалась забыть, что только что занималась сексом за деньги. Мне было... что? Конечно, мне было страшно — хотя, думаю, я знала, что на некоторое время оторвалась от людей из проекта «Звездный свет». Что еще? Еще мне было грустно, потому что я понимала, что больше никогда не увижу Адама. Но я так привыкла к грусти и разочарованиям, что, боюсь, за сильные эмоции они уже и не сойдут.

Какой же поезд?

Платформа «Грусть» — под номером 1225. Платформа «Отвращение» — 69. Что-то мне не хочется садиться на поезд грусти или поезд отвращения. А как насчет боли? Но нет, боли я тогда тоже толком не испытывала.

Я вспоминаю моменты, когда мне удавалось попасть в сознания других людей. С Молли я оказалась в ту секунду — в тот внезапный болезненный момент, — когда она думала о Хью и о том, как ужасно будет ходить по всему городу, разыскивая его повсюду. С Максин все было проще некуда: она постоянно беспокоилась о том, какая она жирная и вонючая. Пожалуй, теперь я понимаю, что значит «быть уязвимым и доступным миру всеобщего разума». Когда человек переживает сильную эмоцию, что-то в его сознании приоткрывается, и в эмоциональное мгновение сознание этого человека подсоединяется к сознаниям других людей, испытывающих в эту секунду ту же эмоцию. Хотя, возможно, я и не права. Вообще-то да, похоже на бред. На идею не тянет — не хватает жестких линий, как у Деррида или Хайдеггера. Ладно. Я думаю напряженнее, но не уверена, что чувствовала в той комнате что-то очень определенное. Но... Секунду. Ведь наверняка не важно, насколько отдаленным будет момент в прошлом, главное — оказаться в какой-нибудь точке до того, как я отправилась в тропосферу. Так когда же я в последний раз испытывала сильную эмоцию? Как насчет страха, который я чувствовала, когда отъезжала от монастыря? Выворачивающее наизнанку чувство, с которым я ждала, что сейчас из-за поворота выползет черная машина и начнет меня преследовать. Я снова смотрю на доску с расписанием поездов. «Страх»: платформа номер 7. Не понимаю, как это может сработать, но попробую.

Я иду по бесконечному бетонному туннелю, мимо платформ номер 31, 57, 99. Они расположены без всякого порядка. Наконец вот она, платформа номер 7. Я преодолеваю несколько алюминиевых ступенек и вижу, что поезд уже здесь — старая ржавая штуковина,

которая напоминает мне о самых старых и отвратительных поездах Северного направления, которые, кажется, всякий раз с лязгом останавливаются, слегка не доехав до Кэмдена. Вот только не слишком ли это удачное совпадение, что поезд уже стоит на платформе? Но отсюда мне видны все остальные платформы, и, оказывается, на каждой стоят, в ожидании, поезда. Значит, мониторы наверху были правы: здесь нет никаких прибытий — одни отправления. А потом я понимаю, что на самом-то деле никакого поезда здесь и нет. Поезд — это только метафора, как и все здесь. Я поворачиваю потускневшую серебряную ручку и тяну на себя дверь. Что бы ни скрывалось за этой метафорой — и что бы ни представляло собой «в действительности» то, что я собираюсь сделать, — у меня не остается сомнений в том, что в эту самую секунду я забираюсь внутрь самого страха — страха как он есть.

Глава двадцать вторая

Пока же страх выглядит как самый обыкновенный старый вагон лондонского метро. Сиденья покрыты облезлым зеленым вельветом с повторяющимся оранжевым узором. На полу слой грязи такой толстый, что сам пол может спокойно отвалиться — и никто даже не заметит. Если выглянуть в окно двери, ведущей в другой вагон, видны (или мне это только кажется?) скрипучие механизмы, с помощью которых вагоны крепятся друг к другу. Я сажусь, и тут же раздается свисток. Поезд трогается. Он со скрипом дотягивается до конца платформы и после этого вдруг набирает скорость, кажется, не меньше трехсот миль в час, и, миновав длинный туннель, несется дальше по незнакомой мне местности. В голову лезет полная дичь: «Наверное, это кольцевая, раз мы уже выехали на улицу», но я быстро понимаю, что это абсурд, и перестаю думать.

Эта местность мне не по душе. Совсем. Приторной расслабленности, свойственной тропосфере, здесь больше нет, и теперь я чувствую себя не просто замерзшей и усталой: я чувствую себя полностью опустошенной — как будто бы от меня осталась одна только кожа. Поезд еще больше разгоняется, и я помимо своей воли смотрю в окно. Смотреть в это окно — то же самое, что рыскать в интернете, пытаюсь определить, означают ли твои симптомы смертельную болезнь: ты знаешь, что наверняка означают, знаешь, что лучше бы ничего об этом не читать, но все равно ищешь и читаешь. За этим окном — одно большое поле. Но это не зеленое, внушающее надежду поле, а почти одна сплошная грязь. И в этой грязи стоят горящие дома. Мне бы чувствовать себя при этом так, как бывает, когда смотришь телевизор — с гиперреальным ощущением того, что всех этих плоских вещей, которые показывают по телевизору, никогда не произойдет в действительности. Вот только сейчас мне совсем не кажется, что я смотрю телевизор. Дома, которые горят там, снаружи, не просто какие-то неизвестные мне пригородные развалюхи из новостей: это все дома, в которых я когда-либо жила. И я — внутри этих домов и не могу оттуда выбраться, и мои родители — внутри этих домов и не могут оттуда выбраться. Я знаю, что моя сестра уже умерла. И даже это еще не все. Это страх безо всякой надежды: я вижу себя спящей в своей холодной спальне в Кенте, в толстой пижаме, которую подарила мне мама, когда мы еще праздновали Рождество вместе. И я не просто сплю — дым от огня меня уже вырубил, и теперь я вижу, как вспыхивает штанина моей пижамы и кожа на щиколотке начинает таять. Я уже никогда не проснусь. Я просто растаю и даже ничего об этом не узнаю.

На смену пожарам приходят наводнения: вода поднимается все выше и выше вдоль стен тех же самых домов — моих домов, — пока наконец не накрывает их полностью и пока не умирают даже те, кто спасался на крышах или забрался в поисках укрытия на чердак. Вся моя семья, все, кого я когда-либо знала. С одной стороны, я понимаю, что семья мне не слишком-то и дорога — в конце-то концов, когда я в последний раз их всех видела? Но с другой стороны, я сейчас — там, с ними, мы все вместе ждем помощи, которая никак не приходит, и все вместе в какой-то момент признаем, что вода поднялась слишком высоко, и падаем в нее. Кругом одна только вода, ничего больше: она черная, холодная и воняет смертью. Я прыгаю первой — чтобы перестать наконец задерживать дыхание и начать

вдыхать в себя черную воду. Вот и все. Чернота. Мое ни на что не годное тело идет ко дну — туда, где раньше была улица. И в этом поезде страха я покрываюсь холодным потом и сердце колотится так быстро, что можно подумать, будто это один сплошной длинный удар — или что, наоборот, нет вообще никаких ударов.

Самое ужасное в образах за окном то, что кроме них там больше совсем ничего нет. И дело не в том, что я не вижу ничего за этими домами и грязью: я совершенно уверена в том, что здесь есть только то, что я вижу, а дальше — уже ничего. Нет никакой меня, никакого поезда. Я умру во всех этих домах, и бежать мне некуда. У меня нет ощущения, что от этого можно отмахнуться, что такое бывает только в телевизоре, что это может произойти с кем угодно, но не со мной. Так вот, наверное, каково это: открыть дверь и увидеть на пороге человека с мертвым взглядом и топором в руках. Вот, наверное, каково это: не суметь от него отбиться (да и как от такого отбиться?) и лежать связанным, понимая, что теперь ты умрешь. И это происходит не с вымышленным героем, ты испытываешь это на самом деле: это я, и мне — конец. Или еще хуже: ты — как вымышленный герой, но не один из главных, а просто одна из жертв, которые происходят по ходу фильма.

А поезд едет все дальше. Теперь передо мной переулки, в которые я никогда не захожу в темное время суток: целый мир тупиков и закоулков, в которых поджидают свою жертву насильники, подобно призракам в игре «Пак-ман». Меня тысячу раз пыряют ножом люди, которые не знают моего имени, не знают, какие книги я читаю, не знают, что, не будь моя жизнь такая безумная, я бы хотела завести себе кота. Я смотрю на себя, истекающую кровью, подобно животному на бойне, а части моего тела тем временем валяются вокруг, отрубленные и выброшенные за ненадобностью. Я молю о забвении, но оно все никак не наступает. О боже. Я больше этого не вынесу. Я поняла, на что все это похоже: мне делают операцию, но врачи не знают, что я еще в сознании. Я попадаю в аварию на шоссе — сталкивается сразу много машин. Я вижу, как Адам умирает тысячей разных способов. Потом я убиваю Адама: убиваю его всеми возможными способами, и всех остальных я тоже убиваю. Я в тюрьме и никогда отсюда не выйду. Возможностей больше нет.

Возможностей больше нет.

Возможностей больше нет.

Каждая миллисекунда этого ужасного путешествия — прозрение, во время которого я осознаю, что это конец. Это самое последнее мгновение в моей жизни, и изменить что-то или как-то повлиять на развитие событий я уже давно не могу. И каждое такое прозрение — в тот момент, когда я его переживаю, — кажется мне совершенно необратимым. Это не такой момент, в который ты думаешь: «Черт! Еле пронесло!» Это момент, который наступает после — в мире, в котором ты — самый невезучий человек на Земле, и нет никого, кто бы тебе помог или кому было бы дело до тебя — тем более что все, кого ты знал, уже умерли...

Я больше не могу.

Дисплей? — выдавливаю я, хотя слабо надеюсь на то, что подобная вещь еще может существовать.

Он появляется.

Где мне сходить? — спрашиваю я.

«На своей станции».

Где это?

«Вы должны увидеть ее сами».

Что?

Возможностей больше нет.

Кто бы сомневался.

Мне хочется встать и пойти к машинисту — попросить, чтобы он остановил поезд, но я понимаю, что никакого машиниста тут нет и что на самом деле это никакой и не поезд. Я лечу на волне страха, которая движется быстрее, чем... Что там говорил Аполлон Сминфей? Двигается с непостижимой скоростью. Думай, думай. Не смотри в окно. Не смотри... Я смотрю в окно.

И понимаю, что я здесь не одна. Оказывается, бывают вещи похуже, чем остаться один на один со своими самыми большими страхами, и теперь я начинаю понимать, что это такое. Я различаю теперь — не сверху и не снизу, не ближе и не дальше, чем картинки моего страха, а в каком-то другом отношении к ним — слабый вой чего-то еще: наложенных друг на друга слоями страхов других людей. Я вижу, немного смутно, как горят деньги, кого-то насилует родной отец, игрушки говорят «пошел на х...» и раздирают владельцу глотку, выясняется, что реальности не существует, кого-то похищают инопланетяне и привязывают к столу в белой лаборатории, начинается ядерная война, тонет ребенок, тонут сотни детей, и все это ИЗ-ЗА ТЕБЯ, кто-то давится рыбьими костями, и вот еще рак легких, рак толстой кишки, опухоль мозга, пауки — тысячи и тысячи пауков, выпадение матки, ночное удушье, слишком много еды, секс всех видов, крысы, тараканы, полиэтиленовые пакеты, высота, самолеты, Бермудский треугольник, поезда, сходящие с рельсов, привидения, терроризм, официальные приемы, толпы, зубной врач, собственный язык, которым можно подавиться, собственные ступни, сны, взрослые, кубики льда, зубные протезы, Дед Мороз, старость, смерть родителей, зло, которое ты можешь причинить сам себе, гробы, алкоголь, самоубийство, кровь, больше никогда не будет героина, та вещь за занавесками, сажа, космические корабли, тромбоз, лошади, быстрее машины, люди, бумага, ножи, собаки, сокращение штатов, опять опоздаю, только бы меня не увидели голым, чесотка, високосные годы, НЛО, драконы, яд, аккордеон, пытки, власть, кого-то бьют по голове, и он лежит на земле и пытается защитить голову, но вскоре теряет сознание и больше не может себя защищать.

Эй, ты — почему бы тебе не выглянуть ненадолго в окно?

Мои глаза закрыты. Непостижимые скорости. Что это значит?

Я не могу дышать. Человек с пистолетом...

Нет никакого человека с пистолетом, Эриел.

Есть. Весь мир состоит из людей с пистолетами. Во всем мире нет больше никого — только я и миллиарды людей с пистолетами. Меня сейчас стошнит.

Непостижимые скорости. Я способна постичь скорость света. Я способна постичь скорость в десять раз больше скорости света. Единственное, чего я не способна постичь, — это скорость, у которой нет конца... Ведь вот о чем говорил Аполлон Сминфей, да? Или он говорил только о бесконечности железнодорожных путей? Но все равно — что, если мы движемся с бесконечной скоростью? Хотя я и не могу этого постичь (а ведь именно это, кажется, подразумевает слово «непостижимый»), то, что движется с бесконечной скоростью, будет казаться неподвижным с каждой точки, мимо которой оно проезжает. Ведь то, что перемещается с бесконечной скоростью, движется петлей и способно находиться везде одновременно, так? И это одновременно — оно, может быть, вообще всегда? И тогда, возможно, мне и не нужно ждать своей станции? Может быть, моя станция прямо там, вон она, просто мне нужно ее найти.

Я не хочу смотреть в окно, но смотрю. Теперь в фокусе снова мои собственные страхи. Все, что я когда-либо написала, горит. Кто-то стирает мое имя со всех документов, на которых оно когда-либо появлялось. Не знаю, откуда я все это беру. Кажется, тут нет никакой логики, но может быть... Я пытаюсь снова подумать об Адаме, и, словно я заказала себе это воспоминание в здешнем эквиваленте самого расторопного в мире фастфуда, Адам немедленно появляется за окном: он трахает мою маму. Он трахает мою маму и говорит ей: «Какая еще Эриел? Я даже имени такого никогда не слышал». А потом он, кажется, оборачивается и видит, что я на них смотрю. И смеется. А потом тыкает ее в ребра и показывает на меня, и они смеются вдвоем. «Не сейчас, Эриел, — говорит моя мама. — Мир не вращается вокруг тебя одной».

Машины, думаю я. Я за рулем. Я еду из Фавершема в Лондон. Ну же. Я убегая из монастыря, от людей из проекта «Звездный свет». И вот я это вижу, чувствую. Я у себя в машине, и я въезжаю в зону страха. Через окно поезда я вижу, как двое мужчин преследуют меня в своей черной машине, на шоссе кроме нас почти никого, над нами — серое небо, а

вокруг лежит снег — на полях, на крышах и на изгибах аварийной полосы. Я вижу их за собой и знаю, что это конец. Если бы это было кино, я бы от них оторвалась. Но они вышвырнут меня с дороги, и с какой бы бешеной скоростью я ни мчалась и как бы усиленно ни работала головой, ничто мне уже не поможет. Моей жизни суждено закончиться грудой помятого металла и брызгами крови на лобовом стекле. Я не хочу туда, но придется. Придется перебраться отсюда туда. Мой разум открыт — я чувствую это инстинктивно. И этих людей там на самом деле нет, они — всего лишь мой страх.

По крайней мере, я надеюсь, что это всего лишь страх.

Как мне выйти? Ничего другого мне в голову не приходит, и я подхожу к дверям.

За окнами все та же сцена. Я сосредотачиваюсь на ней и нажимаю на кнопку открытия дверей. Поезд продолжает движение, но двери открываются, и...

Шесть утра, я на шоссе A2. На знаке написано, что если продолжать ехать прямо, в конечном итоге я окажусь в Лондоне. Но мне туда не надо. Или, может, надо? Нет. Мне нужно на M25, а оттуда — поворот на Торки, где бы он ни был. Я смотрю в зеркало заднего вида: черной машины по-прежнему нет. А вот еще один знак — он указывает на разные съезды с дороги, по которым можно попасть в разные города Медуэя. Я живу здесь недавно, и все эти названия мало что значат для меня. Вот только... Один из них мне знаком. Это город, в котором живет Патрик. Но — что за черт! У меня дежавю. Я уже была здесь и сворачивала вот на этом повороте, и сюда ко мне приезжал Патрик и трахал меня в туалете за сотню.

Только это никакое не дежавю. Это было со мной на самом деле. Сначала было это, а потом я поехала в школу к Молли, и заблудилась в тропосфере, и, чтобы попасть сюда, переместилась во времени на поезде, полном страха и... Ладно, довольно о парадоксах. Я сворачиваю на аварийную полосу и достаю сигарету. Одновременно я открываю кошелек, чтобы посмотреть, есть ли у меня по-прежнему то, что осталось от денег Патрика. Нет. У меня только £9.50, с которыми я выехала из дома, и бензин почти закончился. Я зажигаю сигарету и возвращаюсь на дорогу. Я еду в Торки. И не могу сдержать улыбки. Не знаю, где я на самом деле побывала, но почему-то впервые с тех пор, как я попала в тропосферу, я совсем не чувствую себя сумасшедшей. Все, что произошло, меня нисколько не тревожит. И я все-таки не проститутка, думаю я, снова пускаясь в путь. Я сделала то, чего хотела, и при этом, в общем-то, ничего и не делала. Или я все-таки сделала это, а потом записала поверх этого что-то еще? Впрочем, не так уж и важно. Выбрасываю из головы все мысли об Эбби Лэтроп — и о ДИТЯ — и, приближаясь к дороге M25, пытаюсь уговорить себя поклясться, что я больше никогда не стану совершать педезиса.

В полдень я въехала на большую безымянную парковку рядом с библиотекой Торки, милях в двухстах пятидесяти от усыпальницы св. Иуды в Фавершеме. На юго-западе снега не было, но солнце выглядело таким же серым и плоским, как дома, — можно подумать, будто январь перекодировали в двухмерный формат и передают по дешевому черно-белому портативному телевизору. Мне и тропосфера всегда кажется какой-то плоской, но тут ощущение хуже: я не уверена, что мне хочется жить в этом реальном мире, с его грязью и людьми. Впрочем, в том, что мне больше подходит тропосфера, я тоже не уверена. У меня оставалось полбака бензина, за который я «забыла» заплатить, но теперь мне нужны еда и кофе. Через дорогу от библиотеки я увидела кафе, примостившееся у большой, похожей на каменную плиту церкви незнакомой мне конфессии. Я решила для начала зайти в кафе, а уж потом воспользоваться бесплатным интернетом, который наверняка должен быть в публичной библиотеке. Поищу там местные замки, посмотрю что к чему. В памяти Берлема я видела замок, который находится в его городе, — он сравнивал его стены с кольцом великана, сорванным с пальца и брошенным на холме. Если это мне не поможет, поищу как-нибудь еще, но пока не знаю как.

Хотя теперь у меня и был план, я еще минут пять просидела в машине, собираясь с

мыслями. Ну и поездочка. Я проехала миль двести, прежде чем перестать наконец постоянно смотреть в зеркало заднего вида в ожидании полицейских машин (я полагала, что полицию может заинтересовать, почему я не заплатила за бензин) и автомобиля типов из «Звездного света». Вскоре я поняла, что не знаю, где я. Я свернула в какой-то город, думая, что это Торки, но здесь не было ничего, что помогло бы отличить его от всех остальных британских городов, в которых я бывала, и оставалось только догадываться, добралась я до цели или нет. Указатели на большой кольцевой развязке утверждали, что гут поблизости одни только заводы и фабрики, но, если поехать направо, можно встретить супермаркеты «Сейнсбери». Остановившись на парковке супермаркета, я вышла из машины — я не делала этого с самой заправочной станции на M25. Ноги у меня дрожали. Я вошла в магазин и прямоком направилась к табачному киоску — купила себе дешевую пачку табака.

— Где я нахожусь, не подскажете? — спросила я у женщины из киоска, когда она дала мне сдачу.

Я произнесла это как можно обыденнее — ну а что, совершенно нормальный вопрос, — но женщина посмотрела на меня так, как будто я совсем не в себе.

— Вы в «Сейнсбери», дорогая, — ответила она мне.

Но, перекинувшись с ней еще парой фраз, я выяснила, что нахожусь не в Торки, и получила очень подробные инструкции, как попасть прямоком в библиотеку.

И вот теперь я сидела на автомобильной парковке, которую совершенно невозможно отличить от любой другой автомобильной парковки в любом другом городе, и смотрела, как люди выгружают из машин коляски и маленьких детей или заталкивают в багажник большущие блестящие пакеты с надписью «Распродажа». Мимо меня проехали две женщины на новомодных трехколесных мини-скутерах, немного похожих на электромобили из парка аттракционов, — казалось, по дороге они о чем-то спорили. Серый бетон вокруг усыпали старые окурки, знакомые обертки от фастфуда и пластиковые стаканчики из-под кофе. Я посмотрела поверх всего этого вдаль, на тоненькую линию растущих на пригорке деревьев с голыми ветками, отделяющих автостоянку от дороги. Деревья — единственное, что бросалось в глаза на мрачном сероватом фоне офисных зданий и такого же неба. И вдруг я кое-что увидела на этих деревьях: шесть или семь белок одновременно скакали по веткам — может, мне только показалось, но на каждом дереве все время оставалось по одной белке: они без остановки прыгали, сменяя друг друга и беспрестанно перемещаясь по деревьям, как пиксели на экране. Их силуэты отчетливо вырисовывались на фоне бледного неба. Зима, и одному Богу известно, чем они умудряются питаться в местечке вроде этого. Разве белки не должны впадать в спячку? Интересно, есть у них бог, который за ними присматривает, или за белок никто не молится? По спине пробежала дрожь. Что, если Берлем уже не там, где я его встретила, или же мне так и не удастся выяснить, где это? Я попыталась представить себе, каково это — быть белкой или каким-нибудь другим животным в бетонном урбанистическом пространстве, где за все нужно расплачиваться деньгами. Что я стану делать, если не найду Берлема? Домой возвращаться нельзя — думаю, правильнее будет сказать, что никакого дома у меня больше нет.

Интересно, как там книга — никто ее не нашел?

Интересно, как там Адам — они уже до него добрались?

Я почувствовала, как пульсирует кровь, кулаком ударяя меня сначала между ног, а потом где-то в районе живота. Может ли такое случиться, что когда-нибудь я его еще увижу?

Я бросила думать и вышла из машины. Ограда вокруг парковки была обклеена раскисшими от дождя, отслаивающимися по краям плакатами, большинство из них зазывали на представление с участием звезды австралийской мыльной оперы, о которой я в жизни не слышала. Сверху над плакатами висела табличка с надписью: «Ночевать на автостоянке запрещено». Вот дерьмо. Никогда не думала, что человеку могут запретить остановить где-нибудь собственную машину и поспать в ней. Я пошла в сторону автомата для оплаты парковки, и холодный ветер хлестал меня по щекам так, будто я у него что-то украла. Как я и опасалась, цены здесь были грабительские: почти фунт в час. Я оплатила полчаса, потом

поцарапала время на билетике ногтем и вернулась к машине. Там я прикрепила билет к самому краю лобового стекла — в таком месте, где его едва можно разглядеть, и то только число, но не час, закрыла машину и, перейдя через дорогу, открыла отозвавшуюся колокольчиком дверь кафе.

В кафе пахло супом и еще чем-то кислым — я не поняла чем. Почти все столики были заняты, но я нашла себе местечко в углу у стойки с поздравительными открытками, украшениями и мюсли со значком «Справедливая торговля». На стенах висели разные картинки, на которых стройные белые женщины дирижировали в Африке хором маленьких, одетых в разноцветную одежду детей или помогали одетым в такую же разноцветную одежду женщинам вытаскивать воду из колодца. Я успела подумать, что это, должно быть, христианское кафе, и тут ко мне подошла принять заказ женщина в желтом костюме. Я заказала себе суп из моркови и пастернака и черный кофе и только сейчас заметила, что тут повсюду разбросаны листовки с расписанием служб в церкви — видимо, той, что находится рядом с кафе — и на стене висит большой плакат с той же информацией. Я тогда подумала: интересно, какого бога создали и теперь поддерживают сотни людей, которые, вероятно, молятся в этой церкви? Аполлон Сминфей — результат молитв всего шестерых человек, а ведь даже он кажется вполне реальным. Что же бывает, если молящихся намного больше? Какой бог от этого получается? И этот бог — тот, которого создали местные жители, — он тот же, которого создали люди в церкви рядом с домом Берлема? И тот же, который создали люди в монастыре в Фавершеме? Как же он выглядит — такой бог? Думаю, встретить я его в тропосфере, он был бы таким, каким мне хочется его видеть: стариком с белой бородой — именно такое имеют атеисты христианское представление о Боге. И что он делает для всех этих людей? Каково это, интересно, когда миллионы людей говорят тебе, что нужно делать? И еще интересно, чего он просит у них взамен.

Дожидаюсь супа, я изучила одну из листовок. В ней несколько невнятно говорилось о «радости». Но с тех пор как я сюда приехала, ничего радостного мне не попадалось. Да мне вообще уже давно не попадалось ничего радостного — еще с тех пор, как... Я даже вспомнить не могу, когда в последний раз радовалась. Вот поэтому-то мне и нравится читать Хайдеггера, Деррида и Бодрийяра. В их мире жизнь не представляет собой матрицу из плохого и хорошего, счастливого и грустного, радости и неспособности испытывать радость. Невозможность радости и грусть они разгадывают, словно ребус, и этот ребус доступен всем. Не важно, со сколькими мужчинами ты переспала, куришь ты или нет и получаешь ли удовольствие, причиняя себе боль. Ты все равно можешь попробовать разгадать этот ребус, который предполагает, что человек несовершенен, и никогда ни о чем тебя не спрашивает.

Я посмотрела на свои запястья с красноватыми и блестящими шрамами от веревки и затем обвела глазами кафе. В основном здесь сидели люди средних лет, одетые в респектабельно безвкусную одежду, заказанную по каталогу. Я побаиваюсь таких людей — и не потому, что они могут причинить мне зло (эти люди никогда ничего не сделают, они безвредны), а потому, что они обо мне думают. Это не те женщины средних лет, которые жили с нами по соседству, когда я была маленькой, — те хохотали и курили и говорили о том, насколько удобнее делать минет, если у тебя вставная челюсть. Это и не те социальные работницы, которые заходили к нам, чтобы удостовериться, что нас не подвергают сексуальным домогательствам мужа соседских женщин (обычно это были сыновья). Нет. Эти скорее из тех женщин, которых я помню по булочной и магазину на углу: таких, кто не удосуживается прервать разговор о твоей сумасшедшей матери, когда ты появляешься в дверях, потому что считает, что ты тупая и все равно ничего не поймешь. Они — из школьных секретарш, которые могли бы просто сказать мне, что одежду надо стирать почаще, вместо того чтобы обсуждать это у меня за спиной и в итоге сообщить об этом директору школы. Они — из тех женщин, которые никогда не носят красивой одежды (и не надевают ничего черного), потому что привлекательность — это то же самое, что секс. Во всем кафе был только один человек, близкий мне по возрасту, — светловолосый парень в поношенной одежде, похожий на преподавателя Закона Божьего, который на занятиях много

говорит о мировых религиях и совсем немного — о христианстве. На мгновение он задержал на мне взгляд, и я узнала в его глазах знакомое желание. Это не романтическое желание, а всего лишь секс, секс ради секса — и все потому, что у меня такой вид, будто бы я не прочь. По сравнению со всеми остальными в этом кафе я выгляжу проституткой. Ну конечно, именно так все эти женщины обо мне и подумали. Становясь такими, какие они есть, они заставляют тебя выглядеть на их фоне плохим человеком — уже хотя бы просто потому, что у тебя накрашены губы. Я попыталась ответить ему взглядом: «Не сегодня, спасибо», а потом взяла листовку и сделала вид, что читаю ее, до тех пор, пока не пришла женщина в желтом костюме с моим супом.

Доев суп, я порылась в сумке в поисках блокнота — составить список вещей, которые мне нужно поискать в библиотеке. Заодно достала и табак. Я свернула папиросу и положила ее на край стола. Женщина вернулась забрать пустую тарелку, я допила кофе, чтобы сразу отдать ей и чашку.

— Здесь нельзя курить, — сказала она.

— А, да, я знаю. Я не собиралась, не беспокойтесь, — ответила я, улыбаясь.

— Ну, просто чтобы вы знали.

— Ваш бог — он что делает? — спросила я, прежде чем успела велеть себе заткнуться.

— Что делает Господь Бог? — переспросила она.

И зачем я только спросила!

— Да, — кивнула я.

— Он заботится о людях, которые в него верят, — сказала она.

И ушла.

Выйдя из кафе, я зажгла папиросу и села на забор покурить, вспоминая о разных моментах в своей жизни, когда я пыталась разобраться в том, что такое религия. Начинается все всегда с одной вполне логичной мысли: раз на свете так много людей, верящих в бога или в определенный образ жизни, значит, хотя бы в одном из этих верований должен все-таки быть смысл. Задавшись этим вопросом, я иду в местную библиотеку или в библиотеку при университете, и всегда наступает такой момент — немного похожий на момент, когда выбираешь себе в булочной хлеб, — когда кажется, что перед тобой столько возможностей. Так много книг, так много «правды». Ведь не может же быть, чтобы все эти книги оказались фальшивкой? Ведь не может быть, чтобы в разных книгах было написано одно и то же? Но оказывается, может. Все они кажутся мне совершенно одинаковыми. Во всех — одни и те же иерархии. У каждой церкви — глава. Даже в буддизме есть правила, согласно которым одни люди более достойные, а другие — менее. И во всех религиях главы — мужчины.

Помню, одно время я увлекалась римским католицизмом — я тогда встречалась с парнем, который в детстве пел в церковном хоре и, похоже, видел во всем этом какой-то смысл (и был таким изворотливым верующим, что, по его словам, выходило, что настоящему католику ничто не мешает заниматься грязным сексом). Я тогда набрала себе в местной церкви книг и журналов и стала восполнять прореху в образовании. И даже в каком-то смысле купилась на всю эту историю про Деву Марию, и уже начала было убеждать себя в том, что религия, которая так серьезно относится к женщине, чего-нибудь да стоит. А потом в одном из журналов я прочитала веселую историю о том, как однажды Иоанн Павел II прибыл с визитом в небольшой городок и монахини, которые готовили для него еду, напортачили с обедом и вынуждены были накормить высокого гостя рыбными палочками. Очевидно, суть этой истории в том, что Папа съел рыбных палочек, но меня куда больше впечатлило то, что монахини считали себя обязанными готовить для Папы. Разве религиозные лидеры не должны быть мудрее всех остальных? Впрочем, я тогда пришла к выводу, что вся эта их система ничем не отличается от того, что происходит в человеческом обществе в целом. В религии нет ничего сверхъестественного и необычного. Если человек, посвятивший всю свою жизнь размышлениям о добре, справедливости и истине, все равно ждет, что монахини станут жарить для него рыбные палочки (ведь, в конце концов, чем еще

заняться монахиням, раз они никогда не станут священниками и не будут избраны Папой, потому что женщины на эти роли не годятся), значит, что-то тут не так. Неужели он не заметил тех строчек в Библии, где сказано, что все мы равны перед Господом? И если это — мудрейший из католиков, то не хотелось бы мне встретиться с глупейшим из них.

Возможно, логика тут та же, что и у принципа антропоморфности, но я — женщина и за время эксперимента длиной в собственную жизнь пришла к выводу, что способна делать все, что могут делать мужчины, кроме тех вещей, для которых необходимо наличие пениса (например, я не могу писать стоя). Да господи боже мой, все это настолько очевидно, что глупо даже повторять это снова и снова — все равно что говорить: «У всех людей есть голова». Так что же такое религия знает обо мне, что я за свою жизнь как-то упустила? Или я просто хуже мужчины а priori? Но это ведь какая-то нелепость. Как же может быть, чтобы религия, которая претендует на звание самой мудрой формы представления о мире, разбиралась в роде людском хуже, чем любой отдел кадров в нашей стране?

И не только у христианства такие проблемы — буддизм вон тоже, похоже, не в ладах с собственными принципами. Их учение предполагает свободу от желания, а большинство из них, похоже, только и делают, что желают для себя хорошей следующей реинкарнации — причем по возможности в следующей жизни они хотят стать мужчиной, чтобы к ним обращались «Почтенный Учитель» и чтобы можно было говорить другим людям, как поступать. Ну почему религия — это одно сплошное разочарование? От нее все время ждешь какого-то нового знания, а она говорит тебе только то, о чем ты и без нее знаешь уже много лет и в чем уже давным-давно успел разувериться.

Слева от меня возвышалась серая стена церкви.

«Мы существуем потому, что о нас думает Бог?» — вопрошал плакат на стене.

Нет, подумала я. Как раз наоборот.

Я погасила папиросу и перестала думать.

Библиотека оказалась просторным квадратным помещением в два этажа. В середине первого этажа стоял конторский стол, а вокруг все было заставлено книжными шкафами. Второй этаж фактически представлял собой галерею с большой дырой посередине — можно стоять и наблюдать за тем, что происходит внизу, а можно сесть за один из маленьких столиков и попытаться поработать, если вам, конечно, наплевать на шум. Я вспомнила библиотеку, в которую ходила в детстве. Там всегда стояла гробовая тишина, и все там (во всяком случае, так мне запомнилось) было оранжевого цвета, включая углубление в детской части библиотеки, которая мне казалась настоящей бездной и в которую я всегда умоляла маму меня отпустить — забиралась туда и сидела часами.

Я подошла к библиотечной стойке.

— Здравствуйте, — сказала я, когда ко мне вышел бородатый библиотекарь. — Я могу воспользоваться интернетом?

— Вы записаны?

— Нет, к сожалению...

— И не иностранный студент?

— Нет.

Он улыбнулся.

— Тогда я дам вам дневной абонемент. Заполните, пожалуйста, вот эту анкету.

Он протянул мне карточку. Я задумалась, стоит ли мне вписать туда вымышленное имя, и если да, то не смогут ли они как-нибудь это проверить. Оставлять за собой письменные следы мне сейчас совсем ни к чему.

— Может быть, я для начала попробую найти нужную информацию в книгах? — сказала я. — А уж если не получится, воспользуюсь интернетом.

Мне, конечно, хотелось найти веб-сайт культа Аполлона Сминфея и заодно поискать информацию о замке, но, может, не стоит докучать людям по такому поводу. Я уже и без того задолжала городу за бензин.

— Как вам будет угодно, — сказал он. — Помочь вам найти книгу?

Думаю, это самый приветливый библиотекарь из всех, какие мне когда-либо встречались. Университетские библиотекари всегда ведут тебя так, как будто бы ты им мешаешь. Правда, это вовсе не означает, что я не скучаю по университету, — не знаю, есть ли где-нибудь еще на свете места, в которых была бы такая же зеленая трава, не заваленная картонками из-под фастфуда... Уже приблизительно в тысячный раз за сегодняшний день я чувствую внезапную боль в груди: я больше туда не вернусь, я больше туда не вернусь.

— Эмм... Меня интересуют местные замки, — сказала я.

— Ах вот как? Какой-нибудь определенный замок?

Я улыбнулась:

— Нет. Замки вообще. А если точнее — мне нужно взглянуть на их форму. — Сейчас он подумает, что я чокнутая. — Я собираю информацию для своей книги.

Похоже, это его заинтересовало.

— И вам нужны замки Девона?

— Да. Думаю, они мне пригодятся.

— Ну, в таком случае вам нужна наша историческая библиотека.

Вот черт.

— А где она?

— Это маленькая комнатка вон там. — И он указал на дверь в углу. — Вообще-то, если вы у нас не записаны, в нее входить не разрешается, но думаю, ничего страшного. Конечно, выносить оттуда книги нельзя. И боюсь, сумку вам придется оставить здесь.

Он записал в журнал мое имя и взял у меня сумку. А потом протянул мне заламинированную карточку.

— Можете идти, там открыто, — сказал он.

Историческая библиотека представляла собой пыльную комнату с низким потолком, которая положением полок, столов и аппарата для чтения микрофиш условно делилась на три части. Я сразу почувствовала себя уютно в знакомом затхлом запахе книг. В комнате больше никого не было, и я подумала: интересно, арестуют ли меня, если к концу дня я вырублюсь здесь прямо на столе? Наверное, да.

Я стала обходить полки, рассматривая потускневшие корешки приходских летописей и биографий, и поняла, что без компьютерного каталога я ничего не найду. Компьютер стоял в углу, прямо под монитором видеонаблюдения, на который транслировалось все, что происходит в комнате. Я села за компьютер, но было очень странно видеть себя на телеэкране — я вбивала в строку поиска слова «замки» и «Девон», а где-то рядом все время маячила моя собственная невнятная тень.

Книг о девонских замках оказалось несколько, я выбрала себе две с картинками и отнесла на один из столов. Для начала я принялась листать большую книгу, в которой были представлены графические изображения всех главных замков этой местности. Замки в Эксетере и в Паудерхэме слишком роскошные и к тому же прямоугольные, замки в Бери Померой и в Бикли — тоже. Замки в Гидли и Лидфорде — оба чересчур квадратные. Есть несколько замков на берегу моря. Но замок, о котором думал Берлем, находился на холме. Я нашла два замка, расположенных на холмах. Они оба круглые. Мое сердце колотилось так, будто это машина, разогнанная до предела своих возможностей. Остается выбрать из этих двух. Я почти нашла Берлема. Нужно только заглянуть в еще одну книгу — ту, где есть недавние фотографии замков. В ней я увидела, что один из круглых замков почти полностью разрушен и похож скорее на последний испорченный зуб во рту у великана.

Зато второй выглядит точь-в-точь, как описывал Берлем: гигантское кольцо, забытое на вершине холма. И еще мне сразу стало понятно, что он имел в виду, когда говорил о пустоте. На фотографии в книге, сделанной с помощью аэросъемки, было отчетливо видно, что пустота — то, чего нет, — здесь куда важнее стен — того, что есть. Если смотреть на замок достаточно долго, стены начинают размываться и кажется, что в них нет больше никакого

другого смысла, кроме как удерживать внутри всю эту пустоту.

Глава двадцать третья

К четырем часам я уже стояла у дверей дома из воспоминаний Берлема — того дома, в котором он живет вместе с Лурой (или, по крайней мере, жил в декабре): чтобы сюда попасть, нужно пройти мимо сырного магазина, а дальше — направо и вперед по узкой мощеной улице. Это высокий и узкий дом из серого камня с зелеными деревянными ставнями. Выглядел он уютно, но в то же время производил впечатление крепости. То ли дело в закрытых ставнях, то ли просто в моей паранойе. Возможно, напрасно я сюда приехала, но, с другой стороны, за мной совершенно точно не увязалось никакого хвоста. Ну, по крайней мере, в физическом мире. Мне только сейчас пришло в голову, что, пожалуй, следовало зайти в церковь, на случай, если один из преследователей из «Звездного света» (или мертвых ДИТЯ) забрался ко мне в голову. Впрочем, теперь уже поздно. Наверное, сегодня утром, когда я только сюда направилась, уже было поздно. Если они настигли меня в какой-то момент сегодняшнего дня, они уже знают, куда я еду. Но с другой стороны, если они меня настигли, то им уже не должно быть дела до того, куда я еду — рецепт у них уже есть.

Но нет, не думаю, что они здесь. Думаю, я одна.

Точнее, я ни капли не сомневалась в том, что я одна. Я, кажется, еще никогда в жизни не чувствовала себя такой одинокой. Я не сразу решилась поднять тяжелый медный молоток на двери. Я чувствовала, как на глаза наворачиваются слезы, а мне совсем не хотелось выглядеть расклеенной, когда мне откроют дверь (если, конечно, вообще откроют). Когда я в последний раз плакала? Я не плакала, когда Патрик трахал меня в университете и в туалете грязной забегаловки, не плакала, когда родители окончательно отказались иметь со мной дело, не плакала, даже когда уходила из монастыря, от Адама — зная, что он теперь, наверное, меня ненавидит и что мы вряд ли еще когда-нибудь встретимся. Но теперь, стоя здесь в ранних сумерках, ежась от холода, слушая крики чаек и глядя на звезды, которые только-только начинали пронзать небосвод, мне хотелось плакать, как никогда раньше. Я сглотнула слезы. Если мне сейчас не откроют, я в полном дерьме. Ни дома. Ни денег. Ни семьи.

Я подняла молоток и дважды стукнула им в дверь.

Пожалуйста, откройте. Пожалуйста, откройте. Пожалуйста, откройте.

Из трубы шел дым — значит, кто-то там был.

Приблизительно через две минуты я собиралась уже постучать еще раз, но в этот момент дверь открыла женщина. Лура. Я все в ней узнала — и одежду воздушного покроя, и седые волосы до плеч с розовыми прядями. Только сейчас мне стало понятно, что я не продумала хорошенько, как мне себя вести. Я знала, каково заниматься любовью с этой женщиной, каково ей лгать и жить с ней. Но ведь сейчас мне, пожалуй, лучше сделать вид, будто я вижу ее впервые. И если я буду помнить о том, что я — это я, то это даже не будет ложью.

Она смотрела на меня молча.

— Здравствуйте, — сказала я. — Я бы хотела...

— Простите? — перебила меня Лура. — Кто вы такая?

Я все равно не смогла бы не узнать этот голос: низкий, интеллигентный и лишь с небольшим намеком на немецкий акцент.

— Извините меня, пожалуйста, за вторжение, но...

— Да? — Она торопила меня. Может быть, она вообще не любит, когда люди вот так сваливаются ей на голову и заставляют ее тратить время. Да и то, что я собираюсь ей сказать, тоже вряд ли ей понравится. Ничего не поделаешь, ей все-таки придется это услышать. Придется, потому что мне больше некуда идти.

— Я ищу Сола Берлема, — сказала я.

Лицо Луры стало как в кадре фильма, снятом с таким спецэффектом, когда предмет замирает, а весь остальной мир продолжает двигаться вокруг него как ни в чем не бывало. Потом она пришла в себя — только в глазах ее теперь появился страх, похожий на начало бури.

— Кого вы ищете? — переспросила она.

— Сола Берлема, — ответила я. — Мне необходимо его увидеть. Прошу вас, передайте ему, что пришла Эриел Манто. Скажите, что я нашла страницу и мне нужно с ним поговорить.

Пока я говорила это, страх в глазах Луры вырвался наружу, и теперь она поднесла к лицу руку, словно желая удержать его на месте — и прекратить все это, убедиться, например, в том, что ей все это только кажется. Наверное, визит вроде моего — последнее, чего можно пожелать, когда находишься в бегах. Наверное, когда ты в бегах, это — твой самый главный кошмар.

— Кто вы такая? — снова спросила она.

— Я аспирантка Сола.

— Вы... Нет. Я знаю, откуда вы.

— Я не с ними. Я не из «Звездного света».

— Тогда откуда вы про него знаете? Если вы не с ними, какого черта вы здесь делаете? — Она глубоко вздохнула и прикоснулась рукой к волосам. — Сола все равно здесь нет. Он уехал отсюда, около двух месяцев назад. Он поехал...

— Эриел?

Это был Берлем. Он стоял за спиной у Луры.

— Сол, — сказала я. — Можно мне...

— Впусти ее, Лура, — сказал он своим хриловатым голосом. А потом прислонился к стене в коридоре и, пока я входила внутрь, произнес: «Черт».

Первый этаж в их доме представлял собой открытое пространство с деревянным полом и дубовыми балками, в которое вы попадали, пройдя через широкую прихожую и арку. В дальнем углу большой комнаты горел огонь, и повсюду лежали коврики — красные, коричневые и темно-желтые. В левой части комнаты стоял большой обеденный стол. На нем лежала раскрытая газета и стоял на соломенной подстилке недопитый кофе. Позади стола в плетеной корзине спала черно-белая собака, а в конце комнаты за тяжелыми портьерами располагались, вероятно, двери в зимний сад. Собака, почувствовав, что я на нее смотрю, тоже взглянула на меня и немедленно снова уснула. Каминная полка была уставлена самыми разными предметами: пара наград с каких-то конкурсов, черно-белая фотография мужчины и женщины в рамке, щетка для волос, набор вязальных спиц и ваза с голубыми цветами. Ближе всего к огню стояло кресло с вязаньем, оставленным на подлокотнике. Еще в комнате имелось два дивана — больших, широких и желтых, они стояли по обе стороны от камина лицом друг к другу, немного дальше от огня, чем кресло. Одним из них, похоже, пользовались чаще, чем другим, и он был весь завален книгами и листами бумаги. Между диванами стоял журнальный столик — пенек с отполированной поверхностью, и на нем тоже лежали книги, старые кроссворды и шариковые ручки. Книги громоздились высокими стопками на всех доступных поверхностях, и всю правую стену покрывали добротные сосновые полки, немного похожие на те, что я видела в квартире у Аполлона Сминфея, но заставленные сотнями и сотнями книг. Телевизора в комнате не было.

Я не знала, как себя чувствовать. Я ожидала испытать облегчение, что-то, равное по эмоциям возвращению домой после долгого утомительного путешествия или глотку воды в момент невыносимой жажды. Но сейчас я чувствовала себя так, будто заявила домой к одному из своих университетских преподавателей, в выходной день, когда его жена дома. И что еще хуже, я знала, и Берлем наверняка догадывался, что, чтобы попасть сюда, я прочитала его мысли. То, что раньше казалось мне необходимостью, теперь выглядело недопустимым бесстыдством. Я пришла сюда не ради него, а ради себя. Но ведь он должен

понимать, что у меня нет выбора. Вот только — да, теперь я знаю о нем слишком многое, и мы оба об этом знаем.

Кухня находилась слева и примыкала к прихожей.

— Я поставлю чайник, — сказала Лура и пошла на кухню. Раздался звук бегущей из крана воды, и щелкнула кнопка.

Берлем показал мне на большой обеденный стол, приглашая сесть. Он сложил газету и отодвинул ее в сторону. Вошла Лура, взяла его кружку и снова вышла из комнаты. Две или три минуты никто ничего не говорил.

— Простите... — начала я.

— Как вы меня нашли? — спросил Берлем.

— Через Молли, — ответила я.

— Молли не знает, где я, — возразил Берлем. — Никто во всей моей чертовой семье не знает, где я. Когда пускаешься в бега, как я, о семье приходится забыть раз и навсегда. И не только о семье.

— Педезис, — сказала я. — Я воспользовалась педезисом. Простите. Я нашла книгу.

— Черт, — снова сказал он.

— Пожалуйста, простите меня... — повторила я. Повисла пауза. — Они пришли за мной, и я не знала, что делать. Я понимала, что то же самое, должно быть, произошло и с вами, и логически предположила, что, если я приду туда, где вы, я буду в безопасности.

— Проклятие, — сказал Берлем.

— Да, — кивнула я.

Думаю, в этот момент он, как и я, вспомнил свой доклад в Гринвиче, после которого мы оба признались, что прочитали бы книгу, если бы представилась возможность, — и не посмотрели бы на то, что она проклята. Я-то и сейчас поступила бы так же, не знаю, как он. С тех пор как мы виделись в последний раз, его лицо стало каким-то более жестким и морщин на нем поприбавилось, а еще в волосах появилось несколько белых прядей. Хотя, возможно, раньше он их подкрашивал, а теперь ему нет до этого дела. Как же, должно быть, тяжело — оставить вот так работу... Оставить дочь.

— Как Молли? — спросил он.

— Как все подростки, — ответила я.

— Но с ней все в порядке?

Я взвесила этот вопрос. Ну, как вам сказать. Она спит с не тем парнем, но, с другой стороны, все мы так делаем. Когда я была у нее в голове, я не обнаружила там явных признаков анорексии, или страсти к саморазрушению, или наркозависимости. Но, конечно, у нее есть ко всему этому предрасположенность: судя по тому, какую тесную связь с ней я почувствовала.

— У нее все хорошо, — сказала я.

Берлем вздохнул.

— Вы все еще курите? — спросил он.

— Да, а что?

— Угостите сигареткой.

— А, пожалуйста. — Я достала из сумки табак. — Самокрутки. Я на мели.

— Не свернете для меня? — попросил он. — Я потерял сноровку.

И к тому же у вас руки дрожат, — подумала я. Я свернула две папиросы и протянула одну ему. Мы оба закурили.

— Вот, так намного лучше, — сказал он. — Странно, как черт знает что, но лучше. Может, переберемся к огню? Вы должны рассказать мне, что происходит. Я ведь должен знать, насколько все ужасно.

Мы встали и подошли к диванам. Он сел на тот, который был завален книгами, а я — на второй. Это было все-таки восхитительное ощущение — сидеть в теплой, удобной комнате после всего, что произошло. Вот только до конца расслабиться мне все же не удавалось. Я не могла взять и откинуться на спинку дивана, как бы властно ни манила она

своим уютом. Я уселась на краешек, как будто бы пришла устраиваться на работу. Пепельниц тут не было, но я заметила, что Берлем стряхивает пепел в камин, и последовала его примеру.

— Вам не следовало приезжать сюда, — сказал он.

Мне показалось, что сейчас я снова заплачу.

— Я знаю... Но я... Мне...

— Но я очень рад видеть вас снова. — Он улыбнулся — в первый раз за всю нашу беседу.

— Спасибо... я...

— И прошу меня простить за книгу. — Он вздохнул. — Я чувствую на себе ответственность за все, что произошло.

— Ну что вы, не стоит, — сказала я. — Это вы меня простите за то, что свалилась вам на голову. Но я, честное слово, не смогла придумать ничего лучше. Ну, понимаете... Находиться в одной комнате с кем-то, кто пережил то же самое, — это уже...

Берлем перебил меня.

— Насколько вы уверены, что за вами не было хвоста? — спросил он.

— На сто процентов, — ответила я. — Ну, хорошо, может быть, на девяносто девять. Но ведь им нужен только рецепт, правильно? А его они могут получить теперь и от меня — и им не понадобится искать через меня вас. Достаточно оказаться у меня в голове — там есть вся информация, которая им нужна. И уж можете мне поверить: с тех пор как я в последний раз встретила их в тропосфере — или в «Майндспейсе», как они это называют, — у меня нет ни малейшего желания подпускать их к себе, к моему сознанию или физическому телу. Вот почему я сбежала. И вот почему пришла к вам. Больше мне идти некуда. Домой я вернуться не могу. На работу — тоже...

— Железная логика, — сказал он. — Ваши слова про то, что они всего лишь заглянут в ваше сознание, чтобы получить рецепт. Они ведь хотят нашей смерти. Это вы, надеюсь, понимаете?

— Нет. Я этого не знала. Ну, я хочу сказать, что да, они, конечно, жестоки и готовы применить силу, чтобы добыть рецепт... Ну, или просто чтобы поразвлечься. Но я думала, что, когда рецепт будет у них, они оставят нас в покое.

Берлем откашлялся и снова затянулся самокруткой.

— Когда они продадут патент на этот препарат — или начнут сами нелегально его производить, — не знаю, какие там у них планы, — вряд ли им захочется, чтобы появились какие-то люди, которые стали бы сбивать им цену. Они, конечно же, захотят избавиться от всех конкурентов. Я, конечно, не знаю наверняка, но полагаю, они намерены продавать препарат — это кажется мне вполне логичным.

— Да, действительно намерены, — ответила я.

— Откуда вы знаете?

— Я...

В комнату вошла Лура с желтым подносом, на котором стояли чайник и чайные кружки. Берлем быстро отодвинул в сторону несколько газет и журналов, и она поставила поднос на журнальный столик между двух стопок книг. Она села в кресло и посмотрела на меня.

— Вы в порядке? — спросила она, глядя на меня поверх серебряной оправы очков.

— Да, спасибо, — ответила я. — Все хорошо.

— Эриел известно о проекте «Звездный свет», — сказал Берлем Луре. — Она знает, что им нужно.

— Да, я это услышала, — сказала Лура. — Откуда вы можете это знать? Мне не удалось выяснить о них ничего, когда я пыталась это сделать. Ну, кроме, конечно, самых основных вещей.

— Я побывала в сознании одного из них, — сказала я. — Мартина Роуза.

Берлем издал какой-то звук, похожий то ли на смешок, то ли на фырканье.

— Как, черт возьми, вам это удалось?

— Они ждали меня в машине. Я была в монастыре, и они, понятное дело, не могли войти внутрь и поэтому подкарауливали меня на улице. Я вышла в тропосферу прямо из монастыря и совершенно случайно оказалась в голове у одного из них. До этого я даже не знала, что они там.

— Что вы делали в монастыре?

— Пряталась от них. Это долгая история.

Берлем налил чай, пролив на поднос чуть ли не полчашки.

— Думаю, пора вам рассказать нам всю эту историю, если вы не возражаете, — сказал он. — Как книга оказалась у вас, что случилось потом, ну, и так далее.

— Конечно, — сказала я. — Но вы позволите мне остаться у вас, хотя бы на эту ночь? Мне очень неловко, но...

— Все в порядке, Эриел, — сказала Лура, но вид у нее был при этом не самый счастливый.

— Да уж, — сказал Берлем. — Во внешнем мире вы теперь в такой же жопе, как и я.

Лура покачала головой.

— Сколько это будет продолжаться? — мягко проговорила она. И посмотрела на меня. — Конечно же вы можете оставаться у нас, сколько потребуется. У нас есть для вас свободная комната. — Потом она посмотрела на Берлема. — Но надо положить всему этому конец прежде, чем мы проснемся и обнаружим, что нас уже десять, а потом двадцать, и вот уже весь мир знает о тропосфере.

— Не волнуйся, — сказал Берлем. — Эриел наверняка никому больше не сказала.

— Нет, никому, — сказала я. Но умолчала о том, что оставила книгу — в которой опять все страницы были на месте — в монастыре. Пожалуй, будет лучше, если сначала они услышат все остальное.

Я откинулась на диване и начала рассказывать им про тот день, когда обвалился университетский корпус, про то, как я попала в букинистическую лавку, и про все, что за этим последовало. Я говорила, говорила и только теперь начала осознавать, что все это произошло со мной на самом деле: если и существует на свете что-нибудь реальное, то это — как раз оно.

Мой рассказ затянулся на несколько часов. Сначала Берлем то и дело перебивал меня, задавая вопросы, но после того как мы полчаса проговорили про университет и про то, каким образом книги Берлема оказались в букинистической лавке (он предположил, что бывшая жена предъявила права на его пустующий дом), Лура нас перебила и запретила Берлему задавать мне вопросы до тех пор, пока я не закончу свой рассказ. В какой-то момент она достала тетрадь формата А4 и принялась делать в ней записи. У меня создалось впечатление, что, хотя Берлем и провел в тропосфере больше времени, она явно куда лучше понимала, как и что там устроено. А значит, у меня и к ней будет уйма вопросов. Она стала записывать особенно рьяно (и вынуждена была несколько раз цыкнуть на Берлема), когда я начала говорить об Аполлоне Сминфее, а еще когда я описывала устройство тропосферного метрополитена и рассказывала о том, как я ехала на поезде страха к себе самой и затем совершила ошибку, которая определенно окажется роковой. Когда я упомянула свою способность менять ход мыслей других людей, они оба словно замерли и переглянулись, но ни один из них ничего не сказал, и Лура не стала ничего записывать.

Около одиннадцати я наконец-то закончила. От бесконечного разговора и табака у меня разболелось горло. Во рту пересохло, как бывает по утрам, когда удалось поспать всего несколько часов. С тех пор как я пришла сюда, мы выпили чайника четыре чая, но я так до сих пор ничего и не ела с самого обеда, и мой желудок громко завывал, хотя сама я голода не чувствовала.

— Надо поесть, — сказала Лура, после того как мой желудок снова подал голос.

— Я закажу карри, — отозвался Берлем.

Но он подождал окончания моего рассказа и только потом встал с дивана. Я рассказала не все. Я, конечно же, не сказала ничего о том, как трахалась с Патриком в туалете «Поваренка». Но и о том, что книга осталась в монастыре, я тоже умолчала. Поэтому неудивительно, что первый вопрос, который он задал, был о книге.

— Где она теперь? — спросил он. — Я полагаю, вы ее уничтожили?

Я помотала головой.

— Я сделала с ней то же, что и вы, — сказала я.

— То же, что и я?

— Да. Не стала брать ее с собой, полагая, что так она будет в большей безопасности.

— Черт, — только и промолвил Берлем, прежде чем уйти за карри.

Пока его не было, я осталась наедине с Лурой и собакой, которая теперь окончательно проснулась, потянулась, похлебала воды и забралась ко мне на диван. Лура не сказала ни слова с тех пор, как Берлем вышел, и я почувствовала, что должна начать первая.

— Как его зовут? — спросила я.

Но я и так это знала — его зовут Планк, видимо, в честь основателя квантовой теории.

— Его зовут Планк, — сказала она. Она вздохнула и покачала головой. — Вы чудом остались в живых. Просто невозможно поверить...

— Во что?

— Нет-нет, это я так. Похоже, тропосфера куда сложнее, чем я думала. Хотя, конечно, все очень логично.

— Логично? — Я засмеялась. — Что же вы в этом видите логичного?

— Мы вам обязательно расскажем, — сказала она. — Но не сейчас. Уже поздно.

Несколько секунд мы обе молчали. Думаю, я ей не понравилась. Я почесала собаку между ушами и попыталась придумать, что бы такое сказать, что не сводилось бы только к «Расскажите мне все, чего я не знаю — и чего не знает никто — о том, как устроен мир, сейчас же! Расскажите мне, в чем смысл всего, что со мной произошло, потому что лично я понятия не имею, в чем он!»

— Как вы здесь оказались? — спросила я в конце концов. — Как вам удалось сделать так, чтобы они вас не нашли?

Когда Берлем выбросил меня из своей головы, войдя в церковь, он все еще был в железнодорожном туннеле. И я понятия не имела, как он оказался здесь, с Лурой, и как им удалось так долго оставаться незамеченными.

— И как вообще Сол выбрался из туннеля?

— Он отодвинул гору мусора, — сказала она. — Перетащил ее по кирпичику. Судя по тому, что вы рассказали, туннель все равно держался на честном слове, так что удивительно, что он простоял еще целый год после того, как Сол убрал эту сомнительную подпорку.

— Ой... вы думаете, это из-за него обрушился туннель? Как странно, — сказала я и задумалась о том, что ведь именно из-за обрушившегося туннеля все и началось: если бы не это, у меня бы не появилась книга, и страницы я бы тоже не нашла. А может, и нашла бы — кто знает, как бы еще сложились обстоятельства.

И в этот момент мне стало ясно, что и в монастыре книгу в конечном итоге тоже кто-нибудь найдет.

— Словом, — продолжила она. — Он выбрался из туннеля, сел на автобус и поехал куда глаза глядят. Сначала оказался в Шотландии и там некоторое время жил в гостинице, исследуя тропосферу, и уцелел лишь по счастливой случайности. Он прислал мне мобильный телефон, попросил прийти в церковь в условленный день и час и сказал, что позвонит мне. — Она улыбнулась. — Все было как в кино. У него началась настоящая паранойя, и первое время он мне совершенно не доверял, и мы продолжали разговаривать по телефону в церкви и говорили на каком-то зашифрованном языке, и все это, конечно, совсем не нравилось служителям церкви. Но потом это кончилось. Я теперь на пенсии, как вы, наверное, уже знаете, поэтому, когда все это произошло, мне совсем не обязательно было

оставаться в Лондоне. Мы приехали сюда — сначала на время, а потом решили тут остаться. Вообще-то это дом моего брата, но у нас с ним договор. Ему нужно жилье в Лондоне, и мы так оформили бумаги, что получается, будто теперь мы снимаем этот дом у кого-то другого, под вымышленными именами. Все очень сложно, но нам казалось, что теперь нас действительно будет трудно найти.

— Можно, я задам вопрос? — спросила я. — Почему церковь помогает? Ну, в смысле, почему никто не может пробраться к вам в голову, если вы находитесь в церкви?

— А вы не знаете?

— Я вообще не знаю почти ничего кроме того, до чего дошла своим умом, и того, что мне рассказал Аполлон Сминфей. — Я пожала плечами. — Конечно, у меня есть догадки, но...

— И какие же они?

— Что молитвы, которые произносятся в церкви — мысли и надежды со слишком большим зарядом энергии, — каким-то образом глушат сигнал, если, конечно, такое возможно. Ну, знаете, как помехи...

Она улыбнулась:

— Очень хорошо. Мое предположение — точно такое же. — Тут улыбка исчезла с ее лица. — Полагаю, вам известно о моей книге?

— Нет. — Я помотала головой. Но по тому, как она это сказала, я поняла — вот почему я ей не нравлюсь. Она думает, что ее я знаю так же близко, как и Берлема, раз я побывала в его сознании. Она думает, что, возможно, мне известно о ней все. Я уже во второй раз испытала чувство, как будто бы она — жена, а я — любовница, и она знает, что ее муж не только спал со мной, но еще и рассказывал мне о ней. Мне вспомнилось то время, когда я встречалась с женатыми мужчинами, и их жены об этом не знали, а если бы знали, этого не одобрили бы, и в их семейной жизни обязательно случился бы кризис. Кончалось все тем, что очередной из них принимался рассказывать мне о своей жене такое, чего мне совсем не хотелось знать — да и не было у меня никакого права знать подобные вещи. О романтическом ужине, который она организовала, чтобы попытаться наладить их отношения (и во время которого он звонил мне из туалета по мобильному), об особенном платье, которое она купила, чтобы произвести на него впечатление (и в котором, как он рассказал мне, она выглядела старой и толстой). Я содрогаюсь от одних только воспоминаний об этом. Думаю, никогда в жизни я не чувствовала себя так паршиво, как тогда, когда мне приходилось все это выслушивать, и я перестала спать с такими мужчинами, потому что мне не хотелось иметь отношение к чему-то настолько печальному.

Нужно было сказать что-нибудь, сказать, что она ошибается, но я не знала как.

— Хм, — вот и все, что она ответила на мои слова о том, что я ничего не знаю о ее книге.

Через несколько секунд собака подняла уши и стала изображать волнение. Спустя две или три минуты я услышала, как поворачивается в замке ключ Берлема, и внутрь через открывшуюся входную дверь ворвался холодный воздух.

Собака знала. Знала, что Берлем вот-вот вернется.

Как это происходит?

Впервые с тех пор, как закрутилась вся эта история, я вдруг почувствовала, что мое представление о мире начинает меняться, как будто бы только сейчас — теперь, когда мне известно, что все это — правда, — я могла позволить себе задать все вопросы, которые у меня накопились, и сложить вместе разрозненные обрывки информации. Я вдруг поняла, что собака знала о приходе Берлема потому, что все мы теоретически знаем о том, что делают или обдумывают другие люди. Все мы теоретически имеем доступ к мыслям друг друга. Остается только разобраться, где же находится тропосфера и что это вообще такое, раз теперь я убедилась в том, что она не является всего лишь плодом моего воображения. Находится ли она где-то совсем рядом, в частице пространства от нас — возможно, в другом измерении, доступ в который открывается нам только иногда? Или она устроена совсем

по-другому? Но я вдруг стала совершенно убеждена в том, что, когда мы ловим на себе чей-то взгляд или думаем, что кто-то на нас смотрит, или думаем о ком-то и этот кто-то тут же нам звонит, или когда мы вдруг теряемся в знакомом здании просто потому, что в нем теряются все остальные, — это происходит не случайно. Все это имеет какое-то отношение к устройству физического мира, к тому факту, что наши сознания соединены друг с другом точно так же, как и все остальное в физическом мире.

Интересно, о чем книга Луры? Конечно, я солгала, когда сказала, что ничего о ней не знаю. Пока я была в мыслях у Берлема, он все время помнил о ней. Книга Луры. Книга Луры. Для меня это очень важно, и сейчас настала удачная возможность, но она не воспользовалась ею, чтобы что-нибудь мне рассказать. Что же должно произойти, чтобы она стала мне доверять?

Мы сидели за столом и ели овощное карри с белым вином из холодильника. Планк вернулся к себе в корзинку и уснул, а мы тем временем начали задавать друг другу вопросы о тропосфере — я надеялась увидеть наконец смысл во всех своих приключениях.

— Меня очень заинтриговал этот бог — Аполлон Сминфей, — сказал Берлем.

— Да уж, — ответила я. — Я думала, что схожу с ума.

— Может, вы и не ошибались, — сказал он. — Я никогда не встречал в тропосфере никаких богов. По правде говоря, я там вообще никого не встречал. И не предполагал, что такое вообще возможно.

Мы еще немного поговорили об Аполлоне Сминфее и обсудили мои недавние мысли о религии. Похоже, ни Берлем, ни Лура не думали о тропосфере в религиозном смысле, если не считать того, что они заметили способность церкви прерывать процесс педезиса. Я, кажется, немного впечатлила Луру (но только совсем немного!) своим феминистским анализом всех главных религий, но Берлем был не согласен с тем, что я свалила в общую кучу и буддизм.

— Дзен, — сказал он мрачно, — Дзен — это совсем другое. И Дао.

И я вспомнила, как страстно он желал пустоты, подгоняемый потребностью избавиться от каких-либо желаний. Это напомнило мне об Адаме и обо всем, что с ним случилось. Ведь я едва его знаю, но скучаю по нему куда сильнее, чем могла предположить.

— Все мы по-своему стремимся к просветлению, — сказала Лура. — Я пишу книгу, а он все время медитирует, пытаюсь заглянуть за пределы всего, что нам уже известно. Ведь есть еще столько... — Но она не закончила фразу. Вместо этого зевнула. — Ох. Ну и денек.

Мы уже о чем только не переговорили. Обсудили педезис, возможность путешествовать во времени с помощью предков разных людей, и Берлем подтвердил мою догадку о том, что полупрозрачные картинки, которые появляются на дисплее, когда ты находишься у кого-то в сознании, означают лишь их живущих предков — вот почему у мышей их были сотни, а у него — всего один (его мать). Чтобы переместиться в прошлое, нужно использовать живущих предков до тех пор, пока их линия не прервется (например, у матери Берлема не осталось ни одного живого предка, и, значит, оказавшись у нее в сознании, придется перепрыгнуть в сознание другого человека, вместо того чтобы выбирать другую картинку на дисплее, и из сознания этого другого человека снова пробраться как можно дальше, используя его живых предков). Мы еще немного поговорили об этом, потому что я все никак не могла понять, как перемещаться дальше, ведь рано или поздно все живые предки закончатся. Но потом Лура напомнила мне, что расстояние в тропосфере равно времени и, перемещаясь по миру с помощью предков, ты одновременно с этим перемещаешься и назад во времени — иногда даже не только на несколько месяцев, но и на несколько лет. Когда я перепрыгнула из сознания Молли в разум Берлема, я прыгала из Хертфордшира в Девон и поэтому оказалась у него еще до Рождества. Если бы Берлем был в Шотландии, я могла и вовсе очутиться в августе или сентябре, а будь он в Австралии, я бы перенеслась на три или четыре года назад. Если повезет (или если удастся как следует спланировать перемещение), можно отыскать живущих предков, которые были уже мертвы в

тот момент, когда ты начал перемещение, и с каждым следующим прыжком ты будешь переноситься все дальше и дальше в прошлое. Похоже, процесс этот очень небыстрый, но Берлем напомнил мне о том, что на сами-то прыжки много времени не уходит. А еще он обратил мое внимание на то, что, очевидно, именно этим занимался мистер У перед смертью. Мистер У — персонаж вымышленный, но Люмас — нет. Берлем заметил, что, видимо, точно так же умер и сам Люмас, и все остальные, кто подвергся «проклятию» книги. Педезис опасен — в чем я и сама успела убедиться, когда воспользовалась им, чтобы попасть к Берлему.

А еще я узнала, что тропосфера Берлема и в самом деле представляет собой викторианский город, о котором он думал, когда я была у него в сознании. Когда мы стали сравнивать свои тропосферы, Лура, похоже, почувствовала себя неуютно. Когда я спросила ее, как выглядит ее тропосфера, она заправила волосы за ухо и сказала просто: «А, так, научная мешанина. Ничего такого, что могло бы привидеться кому-нибудь другому». И она бросила на Берлема многозначительный взгляд.

— Пожалуй, пора на сегодня заканчивать и ложиться спать, — сказал Берлем. — Продолжим утром — нам еще о многом нужно поговорить. И, Лура, почему бы тебе не воспользоваться Эриел? Она могла бы очень тебе пригодиться. С естественными науками у нее куда лучше, чем у меня.

— Ничего подобного, — возразила я.

А Лура смерила меня оценивающим взглядом и быстро опустила глаза, потому что я явно не казалась ей достойной помощницей. Что бы там ни думал Берлем, нам не удастся дружно и мирно заняться разработкой теории тропосферы — или какой-либо другой. Если только мне не удастся заставить ее относиться ко мне лучше.

Всю ночь мне снился Адам. Во сне он говорил, что любит меня и никогда меня не оставит. Сны порой бывают так жестоки. У меня никогда не будет такой жизни. И вообще неизвестно, смогу ли я собрать себе хоть какую-то жизнь из тех ее обрывков, что у меня остались.

Глава двадцать четвертая

Суббота и воскресенье прошли точно так же — в сумбурных разговорах, благодаря которым во мне росло ощущение, что я еще очень многого не знаю и что Лура и Берлем пытаются мне что-то сказать, но никак не выберут подходящий момент. Мы разделяли дни перерывами на чай, кофе и бутерброды, как будто бы наша жизнь превратилась в одну большую конференцию. Каждый вечер мы шли в церковь через дорогу, а перед сном еще раз пили чай. Мне казалось, что Берлем и Лура говорят обо мне, когда меня нет рядом, и что Берлем все пытается уговорить ее начать мне доверять. Они определенно до сих пор были встревожены моим появлением и фактически держали меня под домашним арестом — мне позволялось только ежевечернее посещение церкви. Берлем рассказывал мне о своей медитации, а Лура большую часть времени меня избегала. По вечерам я сидела с Берлемом и старалась с ним не флиртовать. Я не очень понимала, какие между ними отношения, но в любом случае не хотела становиться им помехой. Время от времени звонил телефон, но право отвечать на звонки Лура всегда предоставляла автоответчику. У меня сложилось впечатление, что у них есть друг, с которым они недавно поссорились, но больше я ничего понять не могла.

Мне выделили маленькую комнату, белую и уютную, с выступающими балками и низкой широкой кроватью со столбиками до потолка и розовым покрывалом поверх белого хлопкового одеяла. Большую часть времени я сидела на кровати, делая заметки о тропосфере — в основном для того, чтобы побороть отчаянное желание снова туда попасть. Берлем и Лура строго-настрого запретили мне туда возвращаться — во всяком случае, пока. Оба беспокоились из-за задания, которое придумал для меня Аполлон Сминфей, — да меня и саму оно тревожило. Очевидно, выполняя его, мне ничего не стоило заблудиться, хотя

теперь я точно знала, что в любой момент могу вернуться к себе через метрополитен. Но Лура и Берлем отнеслись к рассказу о метрополитене с опаской, хотя и признали, что он наверняка существует. Эх, уж лучше бы они обо всем говорили мне прямо, а не шептались на кухне, тут же умолкая, как только я входила, чтобы сварить кофе. Я знала, что им хочется забрать книгу из Фавершема, но не представляла, как это сделать.

И вообще я теперь даже в самой себе не могла разобраться. Меня окружали тепло и комфорт, и впервые за долгие годы я ела досыта, но в каком-то другом смысле моя жизнь окончилась. Ну, может быть, не окончилась — это звучит как-то уж слишком драматично, но все, что я «имела», — работа, диссертация, несколько друзей, квартира, вещи, книги, — всего этого я наверняка лишилась. И здесь тоже нельзя оставаться вечно — если Лура не изменит своего отношения ко мне.

В воскресенье ночью мне приснился тот же самый сон, что снился с тех пор, как я сюда приехала: Аполлон Сминфей стоит передо мной и говорит: «Долги надо отдавать». Я проснулась оттого, что в мансардное окно барабанил дождь — как будто работал промышленный станок, а часы показывали всего четыре утра. В понедельник небо налилось серым свинцом, и утро прорывалось в нем внезапными толчками желтого света. Около полудня раздался один-единственный раскат грома, и дождь прекратился. Берлем ненадолго включил радио, и оно предупредило нас о приближении сильной грозы с ветром до восьмидесяти миль в час. Но гроза что-то медлила.

Во вторник утром небо было голубым и ясным, как отражение на металле. Я смотрела на него и думала: «Это что, затишье перед бурей?» Лура решила поработать в саду, а я просто сидела за обеденным столом и курила. Она отыскала свои садовые перчатки и вышла из дома, ни слова мне не сказав. Через окно я увидела, что на одном из телеграфных столбов за домом сидит птица, кажется сокол. Интересно, заметила ли его Лура. Он был такой красивый — как будто нарисованный в книге, а не настоящий. И я подумала тогда: неужели язык так сильно отдаляет нас от предметов, что мы перестаем верить в их существование? Или все дело в том, что я так долго была в тропосфере, что теперь у меня привычка смотреть на предметы вроде вот этого сокола и считать, что я их придумала и что на самом деле они — метафора чего-то другого? Я погасила сигарету. Может, стоит пойти и попытаться помириться с Лурой. К тому же я уже несколько дней не выходила на свежий воздух.

Лура стояла на коленях рядом с одной из клумб и разрыхляла землю.

— Привет, — сказала я, подойдя поближе. — Можно, я вам помогу?

— Нет, спасибо, — ответила она, не оборачиваясь.

Мне бы следовало просто уйти, но я решила не сдаваться.

— Пожалуйста, позвольте мне хотя бы немного помочь.

Она вздохнула:

— Лопаты в сарае.

Я взяла себе садовую лопатку и кусок брезента — такой же, что подложила себе под колени Лура. Подошла к ней, расстелила свой брезент и стала делать то же, что она. Минут пять мы молча рыхлили землю, и я поняла, что если собираюсь с ней поговорить, то пора начинать.

— Мне очень жаль, что пришлось вот так свалиться вам на голову, — сказала я.

— Хм, — ответила она. Этим звуком она обрывала все наши разговоры.

— И... Послушайте. Я уже несколько дней собираюсь это сказать. Мне в самом деле очень неловко из-за того, что, чтобы попасть сюда, мне пришлось побывать в голове у Берлема. Я действительно знаю о вас такие вещи, которых мне бы не следовало знать, и прошу вас меня за это простить. — Я остановилась перевести дух. — Это как раз и есть одна из тех проблем тропосферы, о которых спохватываешься, только когда уже слишком поздно и ты уже успел что-то сделать. Я хочу сказать, что все, что я там испытала, носило чисто экспериментальный характер. — Я снова задумалась: это было не совсем так, и она это знала. Мне придется быть предельно откровенной, если я хочу наладить с ней контакт. — Ну да, однажды я все-таки сделала это не ради эксперимента, а для того, чтобы найти Сола...

— Почему вы иногда называете его Берлем? — спросила она меня, не переставая взрыхлять землю.

— Эм-м... Просто так, — ответила я — Думаю, это из-за университета. Там многие называют его Берлем, а не Сол.

— Думаю, они называют его профессор Берлем, — сказала она, нахмурившись.

— Те, кто там работает, — нет. — Я пожалала плечами. — Вам это неприятно?

— Да. Даже не знаю почему.

— Хорошо, я больше не буду так его называть. Простите меня, пожалуйста.

Мы продолжали рыхлить землю. Я нашла земляного червя и, аккуратно подняв его с земли, перенесла в более безопасное место. Лура наблюдала, как я это делаю, но неизвестно, что она при этом думала.

— Что вы узнали обо мне, когда были в голове у Сола?

— Почти ничего, — сказала я. — Я знаю, что в Германии вы с ним переспали — это единственная интимная подробность, которая мне известна. Конечно, там было куда больше разных деталей про вас двоих, но не забывайте о том, что меня интересовало то, где он находится, а не то, что он чувствует, поэтому я концентрировалась на другом наборе воспоминаний.

— Хм.

— Мне правда очень жаль. Послушайте, вы можете сами побывать у меня в голове, если хотите, в любое время. У меня там полно довольно омерзительных вещей, включая кое-какие подробности, которые я опустила, когда рассказывала вам свою «пока вроде бы оконченную» историю.

— Да нет, обойдусь. Но все равно спасибо, — сказала она и снова принялась рыхлить землю. Похоже, мои слова ничего не изменили.

Но тут она улыбнулась.

— Я всегда иду поработать в саду, когда нужно что-нибудь обдумать, — сказала она. — Монотонная работа расслабляет, вам не кажется?

О боже. Она что же, только что первая ко мне обратилась?

— Да, — сказала я. — Это действительно так.

— Сол сейчас все делает согласно учению Дзен. Поэтому если он занимается работой в саду, то всем своим существом погружается в рыхление почвы. Правда, садом он не занимается. Но иногда, когда он красит забор или чинит розетку, видно, что он сейчас делает только это и ничего другого: отдает себя этому занятию целиком, а не прибегает к нему, чтобы тем временем поразмышлять над чем-нибудь другим.

Интересно, над чем она сейчас размышляет. Может, думает, как будет просить меня уйти? И непонятно, что теперь говорить. Но ведь нельзя же, чтобы разговор на этом и закончился! Впервые за все время, что я здесь, у меня нет ощущения, что она меня презирает.

— Кстати, сегодня на автоответчик пришло еще одно сообщение, — сказала я.

— Ах да, писательница. Опять она.

— Писательница?

— Да. Именно над этим я сейчас и ломаю голову. — Она вздохнула, и между нами снова повисла долгая пауза. — Сол говорил, что вы хорошо разбираетесь в мысленных экспериментах.

— Да, — сказала я. — Разбираюсь... Хотя, наверное, правильнее сказать «разбиралась» — я ведь писала диссертацию по мысленным экспериментам.

— Хм. А как вы думаете — рассказанная история может быть мысленным экспериментом?

— Ну конечно, — тут же ответила я. — Я бы даже сказала, что все мысленные эксперименты и есть истории.

— Интересная мысль. Как это?

— Ну, ведь все мысленные эксперименты принимают форму повествования. Во всяком

случае, те, которые я могу понять. — Я вдруг спохватилась, что разговариваю с настоящим ученым, и почувствовала, что должна оговориться. — Вы-то наверняка могли бы мне рассказать о таких мысленных экспериментах, которые историями не являются. Но...

Она наморщила лоб:

— Нет. Мне нравится ваша идея о том, что все мысленные эксперименты — истории. Полагаю, если они не представляют собой историй, то это уже крутая наука, а вовсе не мысленные эксперименты. Поезда Эйнштейна, кошка Шрёдингера... Хм.

— Именно. Как раз эти два я изучила довольно подробно.

— Ну, надо будет как-нибудь поговорить о них. Но пока мне важно другое: значит, вы согласны с тем, что мысленный эксперимент может представлять собой историю?

— Определенно. А почему вы спрашиваете?

— Что, если я проведу мысленный эксперимент с вашим участием? Он имеет отношение к тропосфере, и хотя он существует в форме истории — с персонажами и всем прочим, — я этой истории не видела, поэтому буду рассказывать ее как такую историю, в которой нет персонажей, понимаете?

Вообще-то нет, но я киваю.

— Продолжайте, вы меня заинтриговали.

— Что вы поняли про тропосферу на сегодняшний день? — спросила она. — Если говорить об основных положениях.

— Эм-м... Что это место, созданное речью.

— А если точнее?

— Ну, еще мыслью, — добавила я. — Которая обращается в метафору и...

— Мыслью, — повторяет она. — Прекрасно. Да. Это место, созданное мыслью. И тогда мы можем задать вопрос: что такое мысль? Вы согласны?

— Да.

— И наш опыт в тропосфере показывает, что мысли — это не только невидимое, вымышленное «ничто». Стоит им появиться, как их тут же записывают — и они в каком-то смысле становятся объектами. С этим вы согласны?

— Да, и с этим согласна.

Мы продолжали рыхлить землю, хотя вообще-то рыхлить в этом месте было уже нечего.

— Отлично. Значит, теперь нам нужно подумать о том, что мысли имеют вещественное содержание.

Мне припомнилось кое-что из первого послания Аполлона Сминфея.

— Что-то вроде того, что мысль материальна? — спросила я.

— Да! Именно. Но трудно представить себе эту мысленную материю.

— Это да. Должна признаться, что я ее так и не увидела.

Хотя небо по-прежнему оставалось чистым и голубым, мне на лицо упало несколько капель дождя. Я задрала голову, чтобы посмотреть, откуда они взялись, но туч над нами не было.

Лура улыбнулась мне.

— Ну хорошо, — сказала она. — Вот история. Мысленный эксперимент. Как вам такой сценарий? Представьте себе компьютер с большим объемом памяти. На компьютере запущена программа — ну, скажем, что-то вроде игры, с героями и разными локациями. И маленькие персонажи в этой программе записаны бинарным кодом. Допустим, они — часть игры-симулятора. Вы, наверное, знаете, о каких играх я говорю, — ты сам создаешь город, в котором эти персонажи будут жить, а потом программа генерирует для него разные процессы вроде дождя, засухи или войн?

— Конечно знаю, — сказала я.

— Хорошо. Дальше потребуется слегка пересмотреть свой взгляд на мир. Что вам известно об искусственном интеллекте?

— Я знаю, что Сэмюэл Батлер беспокоился о том, что машины могут обрести сознание

с тем же успехом, что и люди, — сказала я. — Что машинное сознание так же неизбежно, как и человеческое.

— Это интересно. Продолжайте.

— Он утверждал, что сознание — это всего лишь один из этапов эволюции. Случайная мутация, которая может произойти с чем угодно. И в конце концов, машины ведь сделаны из того же, из чего и мы... И еще мы их все время кормим — даем им питание и наделяем речью...

— Да! — Она хлопнула по земле своей лопаткой для взрыхления. — Отлично. Но не забегайте вперед.

Поскольку я не знала, к чему мы движемся, мне было непонятно, как помешать себе случайно забежать вперед. Но я перевернула еще немного почвы и сказала:

— Ладно, извините. Что там дальше?

— Представьте себе, что в нашей компьютерной симуляции происходит некоторая мутация. Персонажи обретают сознание. И что? Из чего будут сделаны их мысли?

Я представила себе, что на столе лежит мой ноутбук и на нем запущена эта игра-симулятор. И попыталась предположить, каково это — быть одним из этих цифровых, двоичных существ. Сколько измерений ты способен осознать? Как бы ты взаимодействовал с другими персонажами? Я стала размышлять о том, из чего состоит этот мир — в основном из нулей и единиц, — и вдруг поняла, что ведь в этом маленьком мире из нулей и единиц сделано вообще все! Возможно, маленькие человечки этого и не видят, но все, включая их мысли, сделано из одного и того же.

— Их мысли будут сделаны из того же самого кода, что и весь их мир, — сказала я Луре. — Из нулей и единиц.

Я почувствовала, как к горлу подступает тошнота.

— Да, очень хорошо. А теперь скажите-ка мне: трава и деревья в этом двоичном мире — из чего сделаны они?

— Из нулей и единиц, — ответила я.

— А дома, вода, воздух?

— Из нулей и единиц.

— И что происходит с мыслью в этом мире, стоит ей появиться? Она исчезает?

— Она записывается на жесткий диск. — Я остановилась, вспомнив о том, что бывает ведь еще и временная память. — Или нет?

— Да. Записывается в виде информации, переведенной в нули и единицы, как и все остальное в этом мире. И значит, вы согласитесь, что жесткий диск станет увеличиваться с той же скоростью, с которой будут думать эти существа?

Я задумалась. Я уже перестала рыхлить землю, отложила лопатку и уселась поудобнее на своем куске брезента. Откуда-то сверху упали еще несколько капель — опять из какой-то невидимой тучи в небе.

— Да? — спросила я. — В этом я не уверена. Похоже, это вопрос с подвохом.

— Ага. Так и есть. Жесткий диск сам по себе не увеличивается и никак не меняется, он не наращивает массу — ничего такого. Но информация на нем меняется. Поверх нее постоянно что-нибудь записывается. Если бы вы посчитали жесткий диск свободным пространством, на которое можно что-то записывать, вы могли бы подумать, что он увеличивается. Но если признать, что речь идет всего лишь об информации, которая кодируется для того, чтобы обрести смысл, но при этом ее не становится ни больше, ни меньше — тогда вы не станете говорить ни о каком увеличении. А ведь в нашем сценарии, если помните, не было никакого свободного пространства.

— Не было.

— Итак? Что вы обо всем этом думаете?

— Думаю, что мне как-то нехорошо.

— Понятно. А почему?

— Потому что то, что вы говорите, кажется очень логичным. Тропосфера

действительно похожа на жесткий диск, к которому обычно у нас нет доступа, но теоретически мы могли бы его иметь, поскольку он находится на той же машине... И... Вот черт. Мы живем в компьютерной симуляции. Вы это хотите сказать?

— Хм, — сказала она. — Отлично. Очень интересно. Нет. Не думаю, что мы живем в компьютерной симуляции. Компьютер — это всего лишь метафора.

— Метафора чего?

— Вот об этом я и хочу вас попросить подумать, — сказала она. — Вы уже помогли мне с головоломкой про писательницу. Теперь я хочу, чтобы вы подумали о кое-чем еще. Если в этой компьютерной симуляции мысль и материя сделаны из одного и того же, то как создается материя?

Дождь усилился, хотя туч на небе по-прежнему не было. Лура встала.

— Может, это та самая гроза, — сказала она. — Пойдемте в дом.

Как только мы вошли, Лура направилась к себе в кабинет.

— Подумайте об этом, — снова сказала она мне.

И я погрузилась в размышления. Я сидела на кровати и обдумывала все это и так и эдак. Я думала весь день напролет: прокручивала в голове мысленный эксперимент от начала до конца, каждый раз добавляя какую-нибудь маленькую подробность. Если мысль и материя суть одно и то же, то как создается материя? Я думала о материи, о том, что это такое — всего лишь кварки и электроны, — и задавала себе вопрос о том, отличаются ли вообще кварки и электроны от нулей и единиц. В обоих из этих возможных миров они «создают материю» одинаково. Вселенная, как и компьютерный мир, содержит постоянное количество материи. Кварки и электроны могут составлять разные комбинации, чтобы в физическом мире принять любую форму — форму семени, дерева или угля. А потом вещи распадаются и принимают уже другую форму — но новые вещи сделаны из того же материала.

В компьютерном мире можно создавать что-нибудь из нулей и единиц — например, порнографическую картинку, — а потом на ее место можно записать что-нибудь совершенно другое, если, конечно, вы располагаете подходящим программным обеспечением, позволяющим возиться с памятью компьютера на уровне нулей и единиц. Вы можете сделать так, чтобы никто никогда не догадался, что на этом месте раньше стояла порнографическая картинка — оно может выглядеть как ничем не заполненное место или же предстать на этот раз, например, документом про дерево. Но вы можете также оставить какой-нибудь след: например, окаменелости — это следы. Кварки и электроны, застывшие во времени и отказывающиеся быть сломленными и превращенными во что-то иное.

Так как же создается материя?

Позже, за ужином из грибов с поджаренным хлебом, наша дискуссия возобновилась.

— Я рассказала Эриел о своей книге, — сказала Лура Берлему. — Ну, по крайней мере, про мысленный эксперимент с компьютером.

— Это единственная часть, которую я понимаю, — сказал Берлем и, повернувшись ко мне, добавил: — Остальное — сплошная математика.

— Я еще не ответила на ваш вопрос, — сказала я Луре. — «Как создается материя?»

Берлем рассмеялся.

— Отличная загадка, чтобы не заскучать в дождливый денек!

Небо целый день становилось все темнее и темнее, и к трем часам дня я уже не могла сказать наверняка, что происходит на улице — приближается гроза или настала ночь. Около пяти я пошла варить кофе и увидела, как Берлем пытается вытолкнуть Планка из дома. Но собака все время пятилась обратно. Это, безусловно, самый быстрый способ спрятаться от дождя, но выглядело все невероятно комично.

— Я и не ожидала, что вы ответите, — улыбнулась Лура.

— Но, насколько я понимаю, кварки и электроны — это то же самое, что нули и

единицы, — сказала я. — Это кажется совершенно очевидным, раз уж мысль — это материя...

Правда, с этим у меня небольшая проблема. Если мысль — материя, значит, реально все. Но если повернуть это равенство по-другому — если материя — это на самом деле мысль, — тогда, наоборот, не реально ничто. Разве могут быть одновременно верными оба эти предположения? Может это уравнение быть так же непогрешимо верно, как «энергия равна массе»?

— Хотя мысль и не производит большего количества материи, — сказала Лура, — ни мысль, ни материя не могут появляться из ниоткуда.

— Да, это я, кажется, понимаю. Просто мысль как бы... придает форму...

— Кодировает, — подсказала мне Лура. — Мысль кодирует материю.

— И что это значит? — Я отхлебнула красного вина из своего бокала и почувствовала, что рука у меня дрожит.

— С помощью мысли мы теоретически можем изменять вещи.

Я задумалась. Я представила себе маленьких двоичных человечков в их мире, в котором все вещи и все их мысли сделаны из одного и того же. Вероятно, в этом мире вещи можно создавать, просто о них подумав. И нет большой разницы между мыслью о дожде и самим дождем. Но ведь в нашем-то мире это не так?

— Вы ведь не хотите сказать, что, подумав «дерево», я могу создать дерево? — спросила я у Луры с недоверием.

— В этом мире — нет.

— Но в компьютерном мире? В этом мысленном эксперименте?

— Вроде бы да, — ответила она. И посмотрела на Берлема. — У нее очень хорошая способность к упрощению.

— Талант, от которого на английском отделении не слишком много пользы, — ответил он. — Но да, ты права.

— Почему «вроде бы»? — спросила я у Луры. — Почему, если я одно из этих двоичных существ, я только как бы могу сделать дерево, подумав о нем?

— Потому что это зависит от того, в какой кодировке вы о нем подумаете, — сказала она. — В кодировке самой машины или всего лишь в кодировке программы.

— Это мне как-то с трудом дается, — сказала я, наморщив лоб.

Я едва разбирала, что ем. Я так остро осознавала, что это та самая реальность, о которой мы говорим: это комната, в которой я нахожусь, это стул, на котором я сижу, это мой разум и мои сны и все, благодаря чему я существую. Меня не покидало странное ощущение, что, если сейчас я чего-то недопойму, вещи вокруг меня начнут таять, — казалось, от этого разговора зависит существование всего.

Потом я подумала: «Не глупи: это всего лишь теория».

Но я ведь видела доказательство этому. Я была в тропосфере.

Но ведь тропосфера могла означать все что угодно?

— С трудом дается? — засмеялся Берлем. — Добро пожаловать в клуб!

— Я хочу сказать, что у меня такое ощущение, как будто бы весь мир крутится, не знаю...

— В обратную сторону? — подсказала Лура.

— Да. И в большем количестве измерений, чем четыре. Я не могу... — Что я хотела сказать? Я сама уже толком не знала. — Так что такое машинная кодировка? И почему я не могу надумывать деревья?

Она сделала глоток вина.

— Вся моя книга посвящена тому, чем может быть эта «машинная кодировка». Я пока сама еще толком не знаю, что это. У меня есть лишь гипотеза, что она существует, но я все еще пытаюсь полностью выразить это математическими средствами... И думаю, я уже на семьдесят пять процентов с этим справилась. — Она поставила свой бокал на стол. — Вы, конечно, знаете, что в реальном мире нельзя создать что-либо, всего лишь об этом подумав.

Невозможно создать десятифунтовую банкноту, если ты беден, или сэндвич, если голоден. Разум просто не способен на такое.

— А жаль, — сказал Берлем.

— Но в то же время нам известно, — или, скажем так, мы на некоторое время так условились, — что мысль — это материя. Мысль закодирована, мысль никогда никуда не девается. Мысли всех людей существуют в другом измерении, которое предстает перед нами в виде тропосферы.

— Так, — кивнула я, опустив вилку.

— Нам известно, что мысль материальна, потому что она возникает в закрытой системе, в которой все сделано из материи. Точь-в-точь как в компьютерной программе из нашего мысленного эксперимента. Там нет ничего такого, что не было бы записано в коде, потому что, ну... потому что в компьютере просто не может быть ничего, не записанного в коде. Поэтому все, что существует вне этой системы, по определению не может существовать внутри нее. Но мы так же знаем, что мысль не может создавать большее количество материи...

— Понимаю, — подхватила я. — Компьютерные человечки не могут, например, просто взять и пожелать, чтобы у них стало больше оперативной памяти.

— Правильно, — сказала Лура. — Но ту материю, которая уже существует, можно обрабатывать, ею можно управлять.

Где я недавно слышала выражение «гнуть ложки силой мысли»? Я вспомнила сейчас об этом, но вслух ничего не сказала. Я даже не была толком уверена в том, что силой мысли действительно можно гнуть ложки, и что-то мне ни разу не доводилось видеть, чтобы кто-нибудь подумал, например, о золотой рыбке и от этого она появилась. Маги, превращающие шелковые платки в голубей, на самом-то деле ничто ни во что не превращают — это всего лишь иллюзия.

Лура все говорила и говорила. Она рассказывала о двух уровнях кодировки на метафорической машине: машинной и программной. Машинная кодировка заставляет машину работать и говорит программной кодировке, что делать. Лура говорила так сосредоточенно и торопливо, как будто пыталась успокоить пассажира, которому в связи с экстренной ситуацией предстоит вести самолет. Мне на секунду показалось, что она думает, будто скоро умрет. Но эта мысль быстро ушла.

— Итак, что же в нашем мире записано в машинной кодировке? — спросила меня Лура.

— Законы физики? — предположила я, пытаюсь понять, не я ли тот самый пассажир, которому предстоит посадить самолет, и, если да, удастся ли мне его не разбить.

— Так. Прекрасно. А еще?

— Еще? — Я на несколько минут задумалась. Пока я размышляла, Берлем покончил со своей едой, собрал тарелки и сложил их в посудомоечную машину.

— А как насчет философии? — подсказала мне Лура. — Метафизики?

Я медленно кивнула:

— Ладно. И что же вы хотите сказать? Что некоторые люди мыслят в машинной кодировке?

— Возможно, — ответила она. — И кто, как вы думаете, мыслит в машинной кодировке?

— В смысле, в кодировке, которая противопоставляется кодировке, принятой в «обычном мире»?

— Да.

— Ну, если исходить из того, что кодировка обычного мира — это обыкновенный язык, то машинная кодировка — это мысли... м-м... ученых? Философов?

— Да. А теперь подумайте о какой-нибудь исторической личности. О ком-нибудь, кто был бы на это способен.

Я отхлебнула вина.

— Эйнштейн?

— Отличный ответ. Но следующий вопрос будет куда сложнее. Когда Эйнштейн выдвинул свою теорию относительности, он всего лишь описал мир таким, какой он есть, или... — Она подняла брови и предоставила мне самой закончить за нее фразу.

— Заставил его действовать так, а не иначе, — сказала я. — О боже.

— Теперь вы видите, что я имею в виду? — спросила Лура. — Ну разве не странно, что Эйнштейн нашел именно то, что искал, — хотя, рассуждая логически, такого быть не могло? Конечно, теория у него блестящая, но по сравнению с ньютоновской физикой слишком уж необычная. А потом Эддингтон отправился взглянуть на солнечное затмение, и предсказания Эйнштейна подтвердились. И продолжали подтверждаться. Сегодня невозможно построить систему GPS, не принимая во внимание теорию относительности. Даже космологическая постоянная, от которой Эйнштейн отказался, назвав ее своей самой большой ошибкой, — и та в итоге так никуда и не делась. Ну и, наконец, есть же еще квантовая физика, которая и вовсе представляет собой исследование таких вещей, которых мы видеть не должны. Исследование таких вещей, на которые никто никогда не смотрел и о которых толком никто не думал. И что же произошло, когда люди все-таки на них взглянули?

— Они обнаружили неопределенность, — сказала я.

— Раньше никто никогда не говорил, чем следует заниматься этой мелюзге, — сказал Берлем. — И вот, когда на нее посмотрели, обнаружилось, что она там занимается чем в голову взбретет!

— Ох, Сол, ну что за цирк, — вздохнула Лура. — Материя не может «заниматься чем взбретет в голову». Просто у квантовой материи не было законов. Люди никак не могли определиться, является ли свет волной или частицей. А потом с удивлением обнаружили, что он и то и другое одновременно. Согласно моей теории, нет ничего удивительного в том, что на определенном уровне электрон пребывает везде — до тех пор, пока ты не решишь, где он и, следовательно, что он собой представляет. Это прекрасно вписывается в мою теорию. Чтобы обрести значение, материя должна быть закодирована. А кодирует материю не что иное, как мысль. И только мысль решает, где быть электрону.

Мы перебрались на диваны, захватив с собой кофейник. Лура одновременно говорила и вязала: бледно-зеленый кашемир превращался из чего-то, похожего на веревку, во что-то, похожее на рукав кофты, и серые спицы тихонько постукивали у нее в руках. Интересно, для кого она вяжет? Думаю, или для себя, или вообще ни для кого. За вязанием она рассказывала мне, как представляет себе структуру законов физического мира. Она говорила, что никакого существования а priori никогда не было: нет никакого смысла в том, чтобы материя существовала — и уж тем более подчинялась каким-либо законам — до тех пор, пока не появилось сознание, которое могло бы ее воспринимать. Но, поскольку сознание состояло из той же самой материи, две области, которые мы привыкли разделять, — человеческий разум и мир вещей — начали работать вместе над созданием и совершенствованием друг друга. Существа разумные стали смотреть на вещи и решать, что это будет такое и как будет действовать. И следовательно, первая рыба не просто случайно наткнулась на траву, в которой нуждалась, чтобы выжить, — она создала эту траву. И огонь тоже никто не «открыл» по счастливой случайности. Просто кто-то о нем подумал, и, поскольку мысль тогда была еще в «машинной» кодировке, огонь появился. И в течение какого-то времени вещи вели себя именно так, как этого от них ждали. Никто ни с кем не соревновался, и поэтому все было очень просто. Солнце и в самом деле вращалось вокруг Земли, и волшебство существовало. Но потом пришли другие люди — которые тоже умели мыслить в машинной кодировке, — и решили, что мир работает совсем не так. Солнце стало центром чего-то, названного Солнечной системой, и звезды перестали быть прожженными дырами в небе. Волшебство постепенно уходило.

Мы говорили о теории хаоса и о том, как бабочки вдруг оказались наделены способностью вызывать ураганы, и еще говорили об эволюции. Лура излагала свою теорию

— часть ее проекта — о том, что недостаточно придумать что-либо с помощью машинной кодировки, новая идея должна еще и прижиться. Одни теории оставались на века, другие пропадали. В теории Ньютона имелись кое-какие сбои, но их исправила теория Эйнштейна. Она, хотя и представляла собой мутацию ньютоновской теории, оказалась сильнее — и прижилась. Но что-то тут не сходилось...

— А как же время? — спросила я.

— А что с ним? — спросила Лура.

— Ну, никто ведь не думает, что относительность появилась только в 1905 году или когда там. Все считают, что относительность существовала всегда, просто раньше ее не замечали.

— И что вы об этом думаете?

— Не знаю...

— Может быть, время устроено совсем не так, как мы думаем? — сказала Лура. После этого она с минуту ничего не говорила, и когда я взглянула на ее покрытое морщинами лицо, оно показалось мне очень усталым.

— Что это за писательница, о которой вы говорили? — спросила я — Та, что все время оставляет сообщения.

— Ох, — сказал Берлем.

— А, — сказала Лура, — ее заинтересовали мои теории, и она сжала их все в небольшой рассказ. Его собирались напечатать в журнале «Природа», но я все сомневалась, хочу ли этой публикации. Она предложила подписать его и моим именем тоже, но я не уверена, что готова к такому шагу. Что же до моей книги...

Взгляд Луры скользнул с моего лица куда-то в сторону и остановился в районе стола.

— Как она называется? — спросила я.

— «Постструктуралистская физика», — ответила она. Постукивание спиц прекратилось. Она вздохнула и свернула на коленях вязанье. — Она, конечно, никогда не будет опубликована.

— Почему?

— Потому что ничего из того, что я вам рассказала, нельзя доказать. Не существует никакой постструктуралистской физики. Представляю, как бы я пыталась объяснить все это своим бывшим коллегам. Они бы подумали, что я сошла с ума. Такое случается с людьми, когда они выходят на пенсию. Они... — Лура пожала плечами — короткое, едва заметное движение. Мы с Берлемом ждали, что она закончит фразу, но она произнесла лишь: — Ну, что ж...

Берлем нагнулся, чтобы поднять клубок шерсти — я не заметила, как он упал на пол и закатился под стул Луры.

— А как же тропосфера? — спросила я.

— Никакой тропосферы больше не будет, — ответил Берлем.

— Не будет? Но... как?

— Вы ее уничтожите, — сказал он.

Глава двадцать пятая

Я сидела на кровати, и мысли бились в голове всполошившимися бабочками.

Вот черт!

Теперь-то я понимаю, почему Аполлон Сминфей так мною заинтересовался.

Так, значит, я могу изменять мысли людей — точно так же, как и ДИТЯ. Могу заставить кого-нибудь вроде Мартина Роуза так сильно захотеть в туалет, что ему придется оставить свой наблюдательный пост. А еще я не позволила Вольфу рассказать Адаму, где находится книга, когда типы из «Звездного света» наверняка затаились у Адама в голове и подслушивали. Но я-то думала, что все могут так делать. И не подозревала, что во мне есть нечто особенное. А теперь оказывается, что да — есть. Лура даже полагает, что я могла бы

думать в машинной кодировке — что у меня есть такой потенциал. Вот почему Аполлон Сминфей хочет, чтобы я отыскала Эбби Лэтроп и через нее изменила ход истории. А Берлем и Лура мечтают отправить меня еще дальше в прошлое, чтобы я убедила Люмаса вовсе не писать этой книги. Они говорят, что мне не следует торопиться и нужно хорошенько спланировать путешествие — ведь когда не станет книги, знания о тропосфере тоже не останется. Типы из проекта «Звездный свет» никогда не отыщут книгу в монастыре, потому что книги там больше не будет. Да и никакого «Звездного света» тоже не будет. Правда, меня, как обычно, беспокоят временные парадоксы — они ну прямо связывают мне крылья! Ведь если бы я когда-то уже это сделала и все прошло успешно, то теперь мне не потребовалось бы делать это снова. К тому же в действительности у меня не так уж много времени. Мартин и Эд могут прийти сюда завтра же и вынести мне мозг. Разве тот факт, что они здесь, в этом мире, и хотят сделать со мной такое, не означает, что когда-то в прошлом мне не удалось предотвратить появление книги?

Если только... Если только время на самом деле не устроено иначе, чем все мы думаем.

Впрочем, возможно, лучше не думать об этом слишком много... Мне вообще теперь страшновато о чем-либо думать — теперь, когда я знаю, на что способны мои мысли.

Итак, я хотела знания — я его получила. Но хотела ли я такого знания? Хотела ли знать, что никакого Бога нет, потому что Бог — это мы? Что, весьма вероятно, нет никакого создателя и нет никакой причины? Причину мы придумываем сами, а о создателях лишь мечтаем — это все, что нам остается. Но ведь все это я знала и раньше, разве нет? Возможно. Но как же это ужасно: как ужасно убеждаться в своей правоте, ужасно получить подтверждение того, что да, там, наверху, действительно нет никакого папочки и никто не похвалит тебя за то, что ты правильно сложила головоломку. Нет никакого высшего существа, которое захлопало бы в ладоши и выделило бы тебе почетное место в раю, потому что тебе удалось понять кое-что из Хайдеггера. Возможно, где-то в тропосфере бог и существует, но ведь тропосфера — это всего-навсего наши мысли. А вне наших мыслей фактически ничего и нет. Усилиями нашей мысли возвращаются кварки, а из электронов получается все, чего бы мы ни пожелали.

Ньютоновские причина и следствие подразумевают, что, с тех пор как кто-то запустил маятник на часах мироздания, всякое действие во вселенной может быть предсказано, — конечно, если ты располагаешь необходимыми средствами. В этом мире, где все заранее предрешиено и обо всем можно узнать заранее, нет места свободной воле. В этом мире, проснувшись утром, я делаю лишь то, на что запрограммирована: моя жизнь — послушно падающие друг за другом фишки домино, подталкиваемые другими такими же фишками. Вот что бывает, когда пытаешься объединить Бога с наукой. Выходит всего лишь рассказ, простой и без изысков. Рассказ, у которого есть начало, середина и конец. И середина существует в нем лишь потому, что есть начало, а конец — потому что есть середина. А в начале было слово, и слово было с Богом, и слово было Бог.

Если убрать это повествование с его причиной и следствием, нам останется лишь квантовый мир, достаточно тревожный уже сам по себе: возможность существования множества вселенных, бесконечная вероятность... Но если не принимать все это слишком близко к сердцу и учитывать факторы эволюции и экономики и всего остального, что в нашем мире принимается как должное, тогда у тебя появится хотя бы иллюзия свободной воли. Ты можешь, например, решить, стать ли тебе богачом. Можешь вырасти и стать президентом. Маловероятно, но возможно.

Но в этом новом мире постструктуралистской физики свободы воли у меня так много, что уже ни в чем нет никакого смысла.

Но, Эриел, ты ведь и раньше думала точно так же. Ты читала Хайдеггера и Деррида. Тебе так нравилось все это — ничего абсолютного не существует. Вот как ты считала. Все зависит от всего остального.

Но мне не хотелось, чтобы это было правдой. Или так: мне хотелось, чтобы это было правдой, но лишь в закрытой системе языка, в которой абсолютной правды все равно

никогда не бывает. Мне хотелось неопределенности. Но я никогда не мечтала о том, чтобы весь наш мир был создан из одних только слов и из ничего больше.

Вот, может быть, почему Берлем так стремился к пустоте.

И вот куда бы устремилась и я тоже, если бы мне не нужно было снова отправиться в тропосферу, откуда я, весьма вероятно, уже не вернусь. Впрочем, думаю, Берлем и Лура рассуждают вполне разумно. Если я все равно собираюсь отправиться в прошлое, чтобы по просьбе Аполлона Сминфея изменить мысли Эбби Лэтроп, почему бы не переместиться еще дальше и не изменить заодно сознание Люмаса — во благо рода человеческого? И конечно же, в их словах есть смысл. Тропосферы быть не должно. Если многие люди узнают о ней, наш мир станет развиваться по худшему из возможных сценариев: ни бога, ни свободы воли. Одни люди станут контролировать сознание других. Наделенные властью смогут манипулировать остальными, заставляя нас думать то, что хочется им. И все «опасные» или «революционные» элементы будут стерты.

Да — стерты примерно так же, как я собираюсь стереть мысли Эбби Лэтроп и Томаса Э. Люмаса.

Я легла в постель, но сон все не шел. А когда все-таки удалось уснуть, мне снова приснился Аполлон Сминфей. В основном сон повторял прошлый, в котором он стоял передо мной и твердил: «Долги надо отдавать», — снова и снова. Но вторая половина сна была про все, что он говорил мне о путешествиях во времени и парадоксах. Я спрашивала его: «Но как же можно вернуться назад во времени и изменить мир, если сейчас он не изменен, несмотря на мое вмешательство в прошлом?»

А он отвечал только: «Вы уже сделали это».

Под конец мне удалось на часок уснуть.

Наутро, когда я проснулась, дождь уже перестал, и Берлем сварил мне кашу. Не уверена, что мне так уж хотелось каши — пожалуй, хотелось только курить, а потом порыться на кухне в ящиках стола, отыскать самый острый нож и потом провести несколько часов наедине с собой, убеждая себя в том, что я реальна, что я — человек и что-нибудь да значу. Но кончилось тем, что я все-таки съела кашу и после этого выкурила одну сигарету, запивая ее водой. Около десяти часов спустилась из своего кабинета Лура.

Я сидела на одном из желтых диванов и докуривала вторую за сегодняшний день сигарету. Огонь в камине погас, и я швырнула туда окурочку. Берлем выгуливал Планку. Лура налила себе травяного чаю и села рядом со мной в кресло.

— М-да, — сказала она.

Я немного закашлялась.

— М-да, — отозвалась я.

— Ну и ночь, — сказала она. — Как ты?

Я посмотрела мимо нее — и сквозь стеклянные двери, ведущие на террасу. Трава по-прежнему была сырой после ночного мороза. Клочок земли, который мы вчера вскопали, выделялся на фоне всего остального сада рыжеватой рыхлостью.

— Я совершенно разбита, — сказала я. — Все думала, думала... И спала плохо.

— Ну надо же. Из-за того, что думала?

— В основном из-за плохих снов. Из-за парадоксов путешествий во времени.

— А, понятно. Да, из-за них немудрено лишиться сна. Когда-то я была замужем за известным специалистом по таким парадоксам — так что уж я-то знаю, что это такое.

Ее улыбка была печальной — интересно, что с ним произошло? Ушел к одной из тех, кому звонят из туалета? Или, может быть, он умер, и тогда Лура завела себе собаку, чтобы было не так одиноко. Спросить я не решилась.

Я наморщила лоб:

— Меня беспокоили ноги.

Она улыбнулась и отхлебнула чаю:

— Ноги?

— Да, — ответила я. — Человеческая ступня. Никто толком не знает, как она устроена — ну, во всяком случае, не знает настолько хорошо, чтобы ее воспроизвести. А еще есть ведь такие вещи, как бесполезная ДНК, и процесс познания, и то, как квантовая теория не соответствует закону земного тяготения, хотя все полагают, что должна бы соответствовать... Как все это устроено?

— Сформулируй, пожалуйста, поконкретнее. Как устроено что?

— Ну, ведь это же очевидно, что никто не «придумал» эти вещи, и при этом они все-таки существуют. Думаю, меня беспокоит вот какой вопрос: как постструктуралистская физика объясняет существование вещей, которым нет объяснения, если получается, что именно благодаря объяснению они и появляются на свет?

Лура кивала головой. Но пока ничего не говорила.

— Ну, то есть я хотела спросить, — продолжила я, — как может при таком раскладе, который вы описали, вообще оставаться еще что-нибудь неизвестное?

— Это хороший вопрос, — сказала она. — Очень хороший.

— А ответ на него есть?

Она вздохнула:

— Да, думаю, есть. Любопытно, что ты думала о парадоксах путешествий во времени, потому что...

— Почему?

— Ну, потому что все эти вопросы на самом-то деле касаются момента созидания. Что такое творец? Что он делает? Когда происходит акт творения? Конечно, ученые терпеть не могут слов «творение» и «креационист». Естествознание утверждает, что оно против креационизма и теории разумного начала — по крайней мере, оно против того, чтобы эти предметы преподавались наравне с естественными науками и в тех же самых классах. Но ирония заключается в том, что создатели действительно существуют и что эти создатели и есть ученые. — Лура отхлебнула чаю и поставила чашку на столик. — К тому же все мы привыкли считать, что созидание — это то, что происходит в начале. Сначала был создан мир, потом — мы, и только после этого стали происходить разные вещи. Так принято считать. Но что, если нас создает будущее, а не прошлое?

— Черт... — вырвалось у меня. — Но...

Лура засмеялась.

— Но как это происходит? Никак — во всяком случае, согласно классической физике, такого быть не может.

— И что же... Это ведь имеет какое-то отношение к тому вопросу, который я задала вам вчера, о том, что мысли могут иметь «обратный эффект», да?

— Да.

— И вы говорите, что в будущем кто-нибудь может высказать теорию, которая, например, примирит квантовую физику с силой тяготения, и что именно эта теория и позволяет миру быть таким, какой он есть сейчас? То есть ученые всего лишь открывают вещи, которые уже произошли?

— Да — в первом случае и нет — во втором. Эйнштейн все-таки создал теорию относительности, подумав о ней, — сказала Лура, снова взяв в руку свою чашку и сделав глоток. — Но кто-то в будущем сделает следующий шаг, а кто-то еще — следующий, и так будет продолжаться в ходе всей истории.

— Значит, мы живем в мире, в котором в будущем о нас уже подумало бесконечное множество ученых?

— Нет. Потому что будущее еще не произошло. И оно не может быть бесконечно.

— Но...

— Эриел, это больше не та вселенная, в которой действует принцип причины и следствия. На самом деле вещи не происходят после или до чего-то. Можно сказать, что, в каком-то смысле, все происходит сразу.

Я подумала о поезде страха и о том, что мне можно было вернуться к себе в любую

точку времени, в какую бы я ни пожелала. Но тогда-то у меня был транспорт, не имеющий массы и оттого способный развивать бесконечную скорость. Я перемещалась тогда на собственных эмоциях, а не на чем-то осязаемом.

Но, может, мысль осязаема? И у нее есть масса?

Наверняка. Ведь мы же уже договорились, что мысль — это материя.

Или нет? У меня до сих пор остаются сомнения на этот счет.

— Извини, — сказала Лура. — Слишком много всего сразу.

— Нет, — ответила я. — Не извиняйтесь. Я хочу узнать все это сейчас — до того, как снова отправлюсь в тропосферу. Я хочу... Лура?

— Да?

— Когда... и, видимо, если... я вернусь, книги больше не будет, да?

Она кивнула.

— Надеюсь, произойдет именно это, — сказала она.

— Значит, наверняка вы не знаете?

— Нет. Я не знаю, что произойдет.

— Возможно, получится так, что я с вами так и не познакомлюсь, — сказала я. — Ведь, если не будет книги, Сол не станет читать тот свой доклад, и, значит, не встретит вас, и, значит, никогда не найдет книги, и, значит, ему не понадобится бежать. И типы из «Звездного света» не будут всех нас преследовать, и... я тоже не буду знакома с Солом, потому что ведь и я познакомилась с ним на конференции. И значит, диссертацию я писать тоже не буду, и...

— Ты описываешь вселенную причины и следствия, — сказала Лура. — Думаю, наша вселенная не такая.

— Тогда как же, по-вашему, все произойдет?

— Я полагаю, что книга исчезнет, но все остальное будет как прежде.

Я вспомнила Аполлона Сминфея. Думаю, мыши просто растворились бы в воздухе — вот и все. Мир не стал бы другим. Никто бы даже не заметил. Не понимаю. Как можно отправляться назад во времени, чтобы исправить прошлое, и полагать, что будущее изменится лишь самую малость?

— Вы полагаете. Но наверняка не знаете?

— Порой предположение и есть знание, — сказала она.

А это, интересно, что значит? Мое последнее путешествие в тропосферу будет очередным экспериментом или чем-то более (или менее?) важным? Но мне обязательно нужно туда вернуться. По многим причинам. И я рада, что Лура говорит мне все это прежде, чем я сама скажу то же самое. Предполагаю, что мои мысли не изменятся? Надеюсь, нет. Мне еще очень многое нужно обдумать.

В животе у меня что-то перевернулось. Решено. Я сделаю это сегодня же.

Я сказала об этом Луре.

— Да, — ответила она. — Думаю, сейчас самое время.

Когда вернулся Берлем, мы все выпили еще по чашке чаю, и они спросили, не хочу ли я пообедать перед выходом — как будто бы я приезжала к ним в гости на выходные, а теперь возвращалась на электричке в Лондон. Конечно, пообедать стоило, но у меня совсем отшибло аппетит. А еще мне не хотелось прощаться, и им определенно тоже не хотелось. В прощании было бы что-то пугающее, тем более что непонятно, как прощаться — навсегда или ненадолго. Может быть, я смогу найти дорогу обратно. Может быть, я все еще буду знать, кто они такие, когда вернусь.

Черный кружок на карточке. Возможно, мне уже и этого не нужно. Но я все-таки достала карточку из сумки — на всякий случай.

И вот я уже лежала на кровати, а тем временем солнце за окном медленно исчезало, словно растворимая таблетка, и я подумала: интересно, увижу ли я еще когда-нибудь этот мир? Я уверена, что микстура мне больше не нужна — достаточно лишь поднести к глазам

черный круг. И вот я уже растворяюсь. «Прощайте», — думаю я. Я ведь не собиралась этого говорить. Но вдруг понимаю, что попрощаться нужно. Нужно уйти по-человечески. «Прощайте, Лура. Прощайте, Берлем. Прощайте...»

В тропосфере, как обычно, ночь. Я стою на знакомой загроможденной улице, и здесь опять слишком много краев и разных частей зданий — наружных и внутренних одновременно. Но мне это кажется логичным. Под ногами у меня булыжники, но по обеим сторонам улицы проглядывают смутные очертания серых высотных зданий, создающих фон бесконечной череды магазинов, казино, лавок травников, борделей, секс-шопов, ломбардов и магазинов игрушек. На углу — букинистическая лавка, и мне сразу приходит в голову: «Берлем». Но ничего похожего на Луру я здесь не вижу. Повсюду неоновые огни. Открыто. Открыто. Девушки, девушки, девушки. Некоторые знаки — это всего лишь стрелки, но когда я смотрю на них, оказывается, что указывают они на другие такие же стрелки. Рядом с одной из стрелок надпись: «Вы находитесь здесь». Еще одна указывает на дверь, которая, когда я подхожу поближе, кажется мне похожей на вход в мышиную нору. Хочу ли я увидеться с Аполлоном Сминфеем? Полагаю, это нужно сделать. Нужно выяснить, где именно мне следует искать Эбби Лэтроп. Я направляюсь к мышиной норе.

И тут небо темнеет.

Я чувствую какое-то движение. Что происходит? Краем глаза я вижу что-то коричневое и за ним — голубое. Этот голубой, где я его раньше видела? Но подумать над этим я не успеваю, потому что в следующую секунду происходит вот что: из мышиной норы выходят ДИТЯ.

— Ага-а! — выкрикивает один из них — тот, что в ковбойском костюме.

— Обманули дурака на четыре кулака! — радуется второй, и его голубой капюшон колышется на ветру, которого тут на самом деле нет.

Они оба хихикают.

О боже.

— Ну чего, вон ее сознание. Вон дверь. Пошли покончим с этим, — говорит первый.

— Что-то у нее сознание не как у других, — замечает мальчишка в плаще. — Сплошная трава.

— Ну, вообще-то да. Но какая разница-то?

— Пойдите, — говорю я.

— Пойдите, — передразнивает меня тот, что в плаще.

Черт. Черт. Что теперь говорить?

— Вот это мы сейчас повеселимся! — подпрыгивает мальчишка-ковбой. — Ву-хууу!

Он присвистывает так радостно, как будто бы родители только что разрешили ему купить вон ту игрушку, или сообщили, что поведут его в зоопарк, или сказали, что он может посмотреть фильм допоздна вместе со всеми.

— Я знаю, что с вами произошло, — говорю я. — Мне очень жаль.

— Почему? Это же не ты нас убила, — говорит тот, что в плаще.

— Нет, но... — Я хочу сказать что-нибудь о том, что я их понимаю, что я могла бы быть одной из них. Но мне не удается подобрать слова.

— Молчал бы ты, Бенджи, — говорит ковбой. А потом поворачивается ко мне: — Не лезь к нам со своим психоанализом, сука!

Второй мальчишка вытаскивает глаза и громко хохочет.

— Ладно, за дело, — говорит первый и вытаскивает из-под плаща свой скейтборд. — Давай, Майкл.

Нужно что-то делать! Но что?! Здесь даже нет никакого оружия. Ни металлических прутьев, ничего такого — впрочем, не думаю, что от этих можно отбиться металлическим прутом...

Где Аполлон Сминфей?

— Пожалуйста, помогите мне, — думаю я.

— Мы уже позаботились о твоём любовничке, — говорит Майкл-ковбой.

Второй давит в себе смех, но все равно слышно, как он хихикает. Не знаю, зачем ему понадобилось это скрывать — я же ничего не могу с этим поделать...

— Он теперь совсем чокнутый, — говорит Бенджи. И, покрутив пальцем у виска, кривляется: — Ку-ку, ку-ку!

О боже. Что это значит? Неужели они смогли добраться до Адама? Пробрались в монастырь, несмотря на то что вход туда им закрыт, и нашли его — и проникли в его сознание, как пара чертовых гоблинов? И что же они сделали? Возможно, убедили его выйти из монастыря и вынести книгу. Но они ведь не знали, что книга там. Тогда зачем вообще им понадобилось его трогать? Просто так — мне назло? Или, может быть, они думали, что он знает, где я, и хотели добыть у него информацию? А потом зачем-то взяли и превратили его мозг в спагетти. Точь-в-точь как обещали поступить со мной. Точь-в-точь как собираются поступить со мной сейчас, ведь мне совершенно нечем их остановить.

И вдруг я вижу ещё один силуэт — кто-то движется по улице в нашу сторону. Это человек, и он один. Сначала я думаю, что это Аполлон Сминфей, но нет, это кто-то не такой высокий. Потом силуэт начинает приближаться быстрее, и я понимаю, что человек бежит.

Это Адам.

— Вы уверены, что вам это удалось? — спрашиваю я у мальчишек.

И вовсю улыбаюсь. У Адама с собой два гранатомета, по одному на каждом плече. Где он их... А потом я вижу, что он несёт и кое-что ещё. Белый бумажный пакет с неровными краями — похоже на пакет старинных конфет. Что происходит? Мне это все снится? Нет. Это реально. Реально настолько, насколько это вообще возможно.

ДИТЯ оборачиваются туда, куда смотрю я.

— А, это священник, — говорит Бенджи.

— Скукота-а... — ноет Майкл.

— Здравствуй, — говорю я, и Адам протягивает мне один из гранатометов.

— Эриел, — говорит он, глубоко вздохнув и закрыв глаза. — Наконец-то.

— Где ты... То есть как тебе удалось это раздобыть? — спрашиваю я его.

— А, я встретил Бога, — говорит он. — Тут здорово, правда?

— М-м...

— Ну, если не считать этих маленьких придурков.

— О нет! — взвизгивает Бенджи, топнув ножкой. — Мы свихнули не того парня!

— Тьфу ты! — расстраивается Майкл.

— Вольф, — приходит мне на ум. Они ведь видели меня с Вольфом.

— Я сказал им, что у тебя роман с Патриком, — говорит Адам.

— Откуда ты знаешь про Патрика?

— Боюсь, я про все знаю, — говорит Адам. — Сейчас все расскажу, подожди минутку.

Он поднимает гранатомет и прицеливается в Майкла.

— Адам, — говорю я и целюсь в Бенджи — правда, у меня дрожат руки.

— Что?

— Нельзя. Они ведь всего лишь дети.

— Да, — говорит Бенджи. — Так нечестно!

Он принимается плакать. Майкл следует его примеру и тоже ревет.

— Ты говорил, что принесёшь нам конфет, — говорит Бенджи. — А вместо этого хочешь нас обидеть! Ты как все взрослые. Ненавижу тебя!

Я замечаю, что они не произносят слова «убивать». И вспоминаю, что говорил Аполлон Сминфей. В тропосфере нельзя убить. Тогда как же мы сможем избавиться от этих треклятых мальчишек? И почему Адам здесь? Я не понимаю вообще ничего из того, что тут происходит.

— Хотите вместо этого конфет? — спрашивает Адам, опуская оружие.

У Майкла дрожит нижняя губа, и он говорит:

— Да. Да, пожалуйста.

— И мне, — вторит Бенджи. — И мне конфет!

Майкл в нетерпении заламывает руки, а Бенджи от волнения подпрыгивает и покачивается, как малыш, который хочет в туалет.

— Ну хорошо. Только смотрите, не ешьте все сразу, — говорит Адам.

Он подходит к Майклу и дает ему пакет.

— Это вам на двоих, — говорит он, и Майкл немедленно засовывает в пакет руку.

— Эй, отвали, — говорит Майкл, когда Бенджи тоже пытается просунуть туда руку.

Им обоим удастся достать по пригоршне розовых, желтых и зеленых конфет. Они заталкивают их в рот — все больше и больше конфет, — пока щеки у них не раздуваются так, что, кажется, вот-вот лопнут.

— Зачем ты дал им конфеты? — спрашиваю я Адама.

— Смотри, — говорит он.

Мальчишки едят конфеты, и их очертания становятся менее отчетливыми. Сначала мне кажется, что у меня что-то с глазами, и я тру их, чтобы видеть лучше. Но, конечно же, с глазами здесь ничего не может случиться. Мальчишки и в самом деле растворяются в воздухе.

— Они исчезают, — говорю я.

— Они уходят к Богу, — говорит Адам. — Оружие сделало бы то же самое. Они всего лишь, м-м...

— Метафоры, — подсказываю я. — Как и все здесь.

— Ага.

Мальчики уже почти исчезли. Проходит еще минута — и от них не остается и следа, только пустой бумажный пакет.

— А что с ними сделает Бог? — спрашиваю я.

— Освободит их, — отвечает Адам. — Сделает так, чтобы они умерли как следует.

— Бог на это способен?

Адам кивает:

— Может, он ничего и не создавал, но менеджер он неплохой.

Я смеюсь.

— Это похоже на то, что пишут на всяких там плакатах у входа в церковь!

— Ага, — говорит Адам и тоже смеется.

И тут я понимаю: мы вдвоем, одни, в тропосфере. Адам действительно здесь. Ну, или, по крайней мере, так мне кажется.

— Адам, — говорю я тихо.

Он подходит ко мне поближе. В тропосфере ничего не чувствуешь? Ага, как же. Приторное чувство, свойственное тропосфере, разрастается до такой степени, что даже начинает мне мешать — если, конечно, когда-нибудь кому-нибудь мешал оргазм. Кажется, все процессы во мне замедляются. Это совсем не похоже на то, как было бы в реальном мире: ни учащенного пульса, ни мокрых ладоней. Мое тело превращается в расплывчатый ландшафт, который тает и сливается с небом.

— Эриел, — говорит Адам.

Мы кладем на землю оружие и обнимаемся. Кажется, проходит миллион лет, а мы все стоим вот так.

— Я нашел книгу, — шепчет он. — И бутылочку с жидкостью. Я пришел, чтобы найти тебя.

— Но как ты меня нашел? — спрашиваю я. — Люди из «Звездного света» не смогли меня найти. Мне казалось, я хорошо запутала следы. Я...

— Ш-ш... — шепчет он мне в волосы.

— Нет, ну правда, — говорю я. — Мне надо знать. Тебе помог Бог?

— Нет. Бог не одобряет того, что мы делаем.

— Тогда как же?

— Мышиный бог. Аполлон Сминфей. Он сказал, что покажет мне, как тебя найти. Но

эти мальчишки решили тоже увязаться за нами, и, куда бы мы ни пошли, они тащились следом. Я думал, что смогу управиться с ними до того, как ты появишься здесь и откроешь им дверь. Я чуть не опоздал.

— О чем ты? Какую дверь?

— Они могут проникнуть к тебе в сознание сами, только когда ты находишься здесь. В противном случае они могут попасть к тебе только с сознанием Эда и Мартина. Ты это уже знаешь, просто, наверное, забыла.

— Значит, ты был у меня в сознании, — говорю я. И это не вопрос. Я знаю ответ.

— Да. Но ты отбросила меня, когда в первый раз вошла в церковь. Правда, я запрыгнул обратно, как только ты оттуда вышла. Пока ты была внутри, я ждал тебя в тропосфере.

— Как ты нашел книгу? — спрашиваю я.

— Она мне приснилась, — отвечает он. — Мне все приснилось.

— Что? Как это — приснилось?

— Ну, вот так. Я увидел во сне, как ты убираешь ее в шкаф, и еще увидел, как бутылочка с жидкостью случайно падает со стула и закатывается под кровать. Позже, когда я был у тебя в сознании, я увидел все это заново, как дежавю.

— Ох, — выдыхаю я. И даже не знаю, что сказать дальше. — Ясно...

Мне не хочется выпускать Адама из своих объятий, но я все-таки разжимаю руки.

— Ты уже видела Аполлона Сминфей? — спрашивает он.

— Нет, — говорю я.

— Не знаю, что с ним произошло. Он должен был присматривать за ДИТЯ.

— Вон его нора, — говорю я, и мы направляемся к ней.

Во мне происходят сразу две вещи. Первая: все мое тело превращается в улыбку. Я больше здесь не одна. Мне есть с кем поговорить. И не просто с кем-то, а с Адамом — человеком, которого я уже и не надеялась увидеть и которого, кажется, люблю. Но улыбка эта в то же время скручивается в знак вопроса. Вот только я не решаюсь его задать и даже думать о нем боюсь. Как давно он здесь?

Глава двадцать шестая

Аполлон Сминфей привязан к стулу и выглядит страшно злым.

— Ох, спасибо, — говорит он, когда мы его отвязываем.

Он делает попытку встать, пошатывается и падает обратно на стул.

— Ох, — снова говорит он. — Эти маленькие зверюги...

— Их больше нет, — говорю я — Ну, думаю, что нет.

— А вы, значит, воссоединились, — говорит он.

Интересно, Аполлон Сминфей предупредил Адама о том, как опасно оставаться здесь слишком долго? Ему он тоже показал экран, на котором изображено, в каком состоянии пребывает его тело в физическом мире? И где он, кстати? Все еще в монастыре? Нашел ли его кто-нибудь? Спас ли? Я вспоминаю, как Аполлон Сминфей являлся ко мне во сне, повторяя: «Долги надо отдавать. Долги надо отдавать». Интересно, не Аполлон ли Сминфей влез в сны Адама и зачем ему вообще понадобилось, чтобы Адам тоже пришел сюда?

Это ужасная мысль, но на мгновение я представляю себе, что это наказание за то, что я так долго не приходила, что до сих пор не выполнила его поручения.

— Где адрес? — спрашиваю я. — Мне нужно найти Эбби Лэтроп.

— Может, для начала выпьем кофе? — спрашивает он.

— Нет, мне нужно спешить. Сначала я провожу Адама в физический мир, а потом сразу вернусь и сделаю то, о чем вы просили. Так что времени на кофе нет.

Аполлон Сминфей прищуривает глазки, кажется собираясь что-то сказать.

Но Адам его опережает.

— Я с тобой, — говорит он мне.

— Тебе нельзя со мной, — говорю я. — Ты разве не знаешь?

— Не знаю чего?

Я смотрю на Аполлона Сминфей, но тот, похоже, избегает моего взгляда. Тогда я снова смотрю на Адама. Его большие глаза наполнены теплотой и ясностью летнего утра. Какие же они глубокие, — снова думаю я. Но здесь они не выглядят как окаменелости из прошлого — скорее они напоминают собой обещание из будущего.

Вот только как они выглядят сейчас в физическом мире?

— Тебе нельзя находиться здесь слишком долго, — говорю я.

— Разве я вам этого не сказал? — удивляется Аполлон Сминфей.

Адам смотрит на меня.

— Я был у тебя в сознании, Эриел, — говорит он. — А по дороге к твоему сознанию — в сознаниях Сола Берлема и Луры. Я знаю все.

— Но...

Он отводит взгляд:

— Я не собирался говорить об этом сейчас.

— Говорить о чем??

— Думаю, уже слишком поздно. Вчера здесь была сильная гроза. Аполлон Сминфей сказал, что, когда в тропосфере дает о себе знать погода...

Но я уже не слушаю его. Почему Аполлон Сминфей не спас Адама? Почему не отправил его обратно?

Грусть здесь похожа на теплую фланельку. Но все равно это грусть: теплая фланелька закрывает мне лицо, из-за нее мне трудно дышать.

— Не может быть, чтобы было слишком поздно! Ведь Аполлон Сминфей рассказывал тебе о поездах?

— Рассказывал, — говорит Аполлон Сминфей. — Ну, что-то такое вроде рассказывал.

— Он сказал мне, что я могу вернуться в то место, с которого прибыл. Но я не хотел туда возвращаться. Я хотел найти тебя.

— Но, Адам...

— Что?

— Адам, ты ведь не мог... Ты же не...

— Думаю, я лучше оставлю вас, — говорит Аполлон Сминфей. — Вот адрес Эбби Лэтроп.

Он достает изящную белую визитку, очень похожую на ту, что оставил мне в первый раз, — ту, что я нашла на улице, когда впервые совершила педезис. Я беру визитку и смотрю на нее. Когда я поднимаю глаза, его уже нет. Я здесь одна с Адамом.

— Не нравится мне здесь, — говорит Адам. — Давай лучше выйдем.

«Выходить некуда, — думаю я. — Больше некуда выходить».

Но все же иду за ним по загроможденной улице. Мы проходим мимо автосалона и галантерейной лавки. Мне хочется заплакать, но ничего не получается. Думаю, плача здесь вообще не бывает. Но зато откуда-то сверху на меня начинают падать капли дождя, и, когда я задираю голову, ночное небо кажется мокрым и каким-то глянцевым.

Мы доходим до зеленого берега реки. Яркая луна, кажется, касается всей без исключения поверхности черной воды и движется по высокой желтой траве, будто нежные пальцы. У самой воды стоят скамейки, и Адам садится на одну из них. Я сажусь на другую. Дерево не холодное. Как и все здесь, дерево скамейки, кажется, не наделено температурой. Крошечные капли дождя продолжают падать с неба, но не кажутся мокрыми.

— Эриел, — говорит Адам и берет меня за руку.

— Зачем ты это сделал? — спрашиваю я.

— Я хотел узнать... — говорит он.

— Узнать что?

Он пожимает плечами:

— Просто узнать. Я не мог вернуться.

— Но... зачем тебе понадобилось меня искать?

— Я не мог не искать тебя. И к тому же я скучал по тебе.

Я медленно втягиваю в себя воздух. Потом вздыхаю:

— Я тоже скучала по тебе. Но...

— Что?

— Черт. Адам. Зачем?

Он пожимает плечами:

— Аполлон Сминфей сказал, что я тебе нужен.

— Но я бы нашла тебя потом, когда вышла бы отсюда! Я бы...

Адам отводит от меня взгляд и смотрит на реку. Где-то кричит сова.

— Вот дерьмо, — говорю я. — Значит, мы опоздали. Отныне ни в чем нет смысла. Нет смысла и...

— Не говори так, — перебивает меня Адам. — Пойдем со мной.

Он берет меня за руку, и мы встаем. Мы идем по тропе, мимо тысяч деревьев, которые протягивают ветви ввысь и, кажется, хотят дотянуться до небес. Лунный свет стробоскопом проливается на их листву, и крылья летучих мышей мерцают в кронах на фоне черного неба, будто куклы из театра теней. Вскоре мы выходим на поляну — круг густой и мягкой травы, окруженный деревьями. Мы выходим почти на середину, и Адам тут же прижимает меня к себе.

— Эриел, — говорит он. И целует меня.

Но что это? Этот поцелуй — миллион поцелуев. Этот поцелуй — каждый поцелуй. Наши губы прижимаются друг к другу с силой тысячи ураганов, а когда его язык касается моего, это похоже на самый нежный на свете электрический разряд — удар в миллион вольт, но в замедленной съемке, по электрону за раз, и каждый электрон — размером с солнце.

А в небе над нами — молния.

По земле принимается колотить дождь, но я его не чувствую.

Адам тянет меня вниз, на траву.

Закрыв глаза, я вижу, что вокруг нас повсюду бушуют ураганы, но я не чувствую ни ветерка. Одежды на мне нет. Я голая настолько, как будто бы на мне нет даже кожи. Напряженное тело Адама опускается на мое. И когда он входит в меня, меня будто выворачивают наизнанку и весь мир проникает в меня — и, значит, я вмещаю в себя все.

Потом мы оба лежим на земле и дрожим. Теперь я знаю все об Адаме, и он знает все обо мне.

— О... — говорит Адам.

— Да.

— О... Это, что же?..

— Нет.

— Ты ведь даже не знаешь, что я собирался спросить.

— Знаю. Ты собирался спросить, всегда ли секс бывает таким.

Он берет меня за руку:

— Ну, в общем, ты почти угадала.

— И ответ — нет.

— Но мы ведь никогда раньше этого не делали, — говорит он, и я вижу, как он улыбается в свете луны.

Я представляю себе ураганы вокруг усыпальницы св. Иуды. Но, может быть, он и прав.

Я кладу голову ему на плечо, и он обнимает меня одной рукой. Я чувствую себя такой маленькой и теплой, будто бы я — желудь, который он сжимает в ладони. Но в то же время мне кажется, словно это я держу его. Теперь он есть только здесь. И если я сделаю это, а потом вернусь обратно... Не думай, Эриел. Будь здесь, сейчас. Но если не будет тропосферы, я больше никогда не увижу Адама. Возможно, я вернусь и обнаружу, что даже не знаю, кто это такой. И может, я не стану по нему скучать, потому что не буду знать, что знала его.

Но если исчезнет только книга? Если я сделаю так, чтобы она так и не была написана?

Тогда, возможно, я все равно буду знакома с Адамом. Может быть, он все равно переехал бы в мой кабинет. Может, железнодорожный туннель все равно бы обвалился. Но не из-за Берлема. И может быть, я все равно стала бы аспиранткой. Может быть, Берлем, все равно делал бы доклад в Гринвиче — только на другую тему. Может, он говорил бы о Сэмюэле Батлере. На такой доклад я бы тоже пошла. И мы с ним все равно разговорились бы и все равно напились бы вместе, и все равно секса у нас не было бы, и все могло бы быть почти таким же.

В общем, все это кажется мне вполне возможным.

Но Адам все равно был бы мертв.

Возможно, однажды утром я бы проснулась после страшных снов про людей, которые преследуют меня, и в дверь постучали, и полицейский рассказал бы мне, что он только что скончался во сне. Трагическая загадка. Что за чушь! Никакой полицейский не пришел бы мне об этом рассказывать. Они бы сообщили его родственникам, а меня даже не пригласили бы на похороны, потому что никто ничего не знал бы о нашей связи. Возможно, я бы прочитала о его смерти в рассылке университетских новостей или в письме из тех, которые приходят с заголовком «Печальное известие».

Я села.

— Куда ты? — спросил Адам сонным голосом.

— Я должна... В общем, я отправляюсь в 1900-й год, — ответила я.

— Я с тобой.

— Ты уверен, что хочешь этого?

Адам тоже приподнялся и сел, мотая головой.

— Я никогда не переживал ничего более удивительного, чем то, что произошло у нас с тобой сейчас. Я тебя не оставлю. Никогда. — Он замялся. — До тех пор, пока тебе не придется возвращаться.

Я не знала, что сказать. До тех пор, пока мне не придется возвращаться. Я не пообедала. Кто знает, сколько времени у меня осталось? Здесьним метрополитеном можно пользоваться, только если ты живой. Но разве теперь это важно — жива я или умерла? Может, и нет.

— Ну, как ты думаешь? Сначала постараемся перемахнуть в Америку, а уже оттуда в прошлое? — спросил Адам. — Или наоборот?

— Хм...

Мы шли, держась за руки, обратно к городу, и отражение луны в реке бежало наперегонки с нами и выигрывало. Трудно описать, что я чувствовала теперь, когда он шагал рядом. У меня было такое ощущение, как будто бы мы уже состарились вместе. И я уже сейчас знала, что и умрем мы тоже вместе.

Но ведь он уже умер.

— Педезис, — сказал он. — Как мы будем это делать?

— Думаю, придется двигаться назад и вперед вокруг света, чтобы переместиться во времени, — сказала я. — А до Массачусетса можно добраться и потом. Вообще, может быть, стоит для начала отыскать кого-нибудь из потомков Эбби Лэтроп и уже оттуда потихоньку прыгать дальше и дальше в прошлое. Я не очень хорошо понимаю, что произойдет, если мы промахнемся. Ну, прыгнем, например, лет на десять раньше, чем нужно, или что-нибудь вроде этого. Ведь вперед во времени здесь перемещаться нельзя — ну, то есть можно, но только в реальном времени. Поэтому, случись такое, мы застрянем в Массачусетсе на десять лет.

Адам вздохнул.

— Думаю, ты во всем этом разбираешься лучше меня.

— Вряд ли. Ну, то есть Сола Берлема я действительно смогла найти, но только потому, что узнала о его дочери и отыскала ее в физическом мире. А как поступить в нашем случае, я толком и не знаю. Нам нужно преодолеть более ста лет. Огромное расстояние.

Мы прошли через какие-то ворота, и тут река резко свернула влево, в то время как мы

сами шли немного правее, мимо старых навесов для ремонта катеров.

Я наморщила лоб.

— Думаю, ты знаешь об этом столько же, сколько и я.

— Почему?

— Ну, ты ведь был в моем сознании. Ты должен знать все.

— Вряд ли я знаю все, — сказал он. — У тебя очень сложное сознание. Все, что я знаю о тебе... Все это одновременно реально и нереально. Нет... Это не слишком удачное описание. Твое сознание как будто бы немного призрачно. Как будто бы я думал, что я в нем, думал, что я — это ты, но потом — раз! — и все превращалось в обыкновенный сон. Я помню все подробности, но пока не знаю, как связать их друг с другом. Больше мне это никак не описать.

Я вспоминаю момент, когда он вошел в меня там, на поляне, и я осознавала, что наши действия не имеют отношения к физическому миру. Я была пустотой, а он — всем, что есть на свете реального, и его проникновение в меня было похоже на то, как если бы самое большое присутствие наполняло собой самое малое отсутствие. Наши сознания занимались друг с другом любовью, и, кончив, я увидела всю его жизнь так, как будто бы я — это он, и я умираю.

Я почувствовала унижение от отцовского ремня.

Я узнала, что значит настоящий голод.

Я ходила босиком по коричневой пыльной земле.

Я держала червяков под предлогом выполнения школьного задания, но вообще-то считала их своими домашними животными.

Напившись, отец расколотил домик для червей.

Мама на это ничего не сказала.

(Теперь они оба умерли, но я не скучаю по ним; я скучаю по тому, что могло бы быть.)

Жаркие, влажные вечера, когда двоюродные братья и сестры оставались у нас ночевать.

Истории о привидениях, от которых мне становилось страшно.

Колокольчик, в который я звонил во время службы, когда был министрантом.

Холодная, отзывающаяся эхом церковь, и то, как она утешала меня, — ведь жестокость в Библии настолько масштабна, что в сравнении с ней проделки моего отца казались сущим пустяком. Я вывернул свою жизнь наизнанку: реальное стало в ней нереальным, то, что говорили в церкви, было правдой, а все остальное — ложью.

Отец никогда не говорил, что гордится мной, — даже когда я ради него стал посещать церковь, потому что видел, что это единственное, что его интересует; ведь он не играл ни в регби, ни в крикет и утверждал, что спорт — это для геев, а искусство — для извращенцев и что школа не готовит к жизни в реальном мире, а мужчины должны работать и молиться — и больше ничего. Пункт о злоупотреблении алкоголем в его жизненной философии почему-то отсутствовал.

Ночь, когда я рассказал двоюродным братьям и сестрам о Святом Духе, чтобы их напугать.

Еще один случай — когда я сказал им, что все они отправятся в ад.

Как я, по совершенно случайным причинам, решил поступить в семинарию.

Как однажды утром отец обнаружил меня в одной постели с Марти, моим двоюродным братом.

Пустой взгляд в его глазах, когда он смотрел на меня после этого.

Попытки очиститься. Пусто. Пусто. Пусто.

Взрослая жизнь: стараюсь стать отцом для всех людей...

Но смотрю на женщин. Пробую мастурбировать, но ненавижу себя.

Пробую самобичевание. Но от этого лишь еще больше распалюсь.

Узнав, что деревенский священник изнасиловал мою сестру, чувствую себя так, как будто это сделал я сам.

Отец отрекается от церкви.

Теперь мой отец — Господь Бог.

Я должен очистить свою жизнь от всякого желания.

(...)

Я знаю его, но знаю далеко не все: слишком мало я была подключена к его сознанию. Я не знаю того, что в промежутках. Есть еще бескрайнее множество знаний о нем, которых у меня нет. И они нужны мне немедленно — нужны так же сильно, как воздух.

Мы снова в городе — идем к тому месту, где находится вход в нору Аполлона Сминфея. Но ее там больше нет, хотя в остальном улица выглядит точно так же. Это здесь я оказалась, когда вышла в тропосферу из дома Берлема и Луры. Чтобы вернуться в физический мир, нужно просто идти и идти вперед. Можно вернуться обратно и сказать Берлему и Луре, что у меня ничего не получилось. Тогда Адам мог бы жить в тропосфере, и я бы стала наведываться к нему сюда.

Но это невозможно. Ведь тогда он стал бы всего лишь моим воспоминанием.

— Почему ты меня не ненавидишь? — спросила я, хотя уже и так знала ответ.

— Ты о чем?

Он сжимал мою руку так сильно, что казалось, вот-вот ее сломает. Ну и пусть.

— Ну, ведь ты теперь все знаешь. Про весь мой секс. Про... Про все.

— Но я ведь все понимаю, — сказал он. — Я знаю тебя.

— Да. Я понимаю, о чем ты.

Мы остановились у входа в ломбард. Не знаю почему. Потом я увидела, что где-то внутри ломбарда светится кафе. Опять какие-то проблемы с измерениями.

— Может, выпьем кофе на дорожку? — спросил Адам.

— Тропосферный кофе, — обрадовалась я. — Как от такого отказаться?

Мы сели за столик на террасе и после нескольких попыток выяснили, что достаточно просто подумать о кофе — и он тут же появится. То есть, конечно, не просто подумать, а подумать и поверить в то, что он появится, — и тогда он действительно появится.

— Зачем ты отправился меня искать? — спросила я. — Когда мы виделись в последний раз, я тебя здорово разозлила — это было заметно. Не надо было мне говорить...

— Это не имеет значения.

— Может, и не имеет. Но почему?

— Будет очень глупо, если я это скажу? Мне показалось, что я в тебя влюбился.

Я уставилась в стол.

— М-м...

— Извини. Я не очень хорошо управляюсь со словами. Точнее, со словами я управляюсь неплохо, но только не с такими. Ох, ну да, в итоге все-таки получилось глупо. Почему я в тебя влюбился? Ведь, если подумать, это была не такая уж и хорошая мысль — ну, если рассуждать беспристрастно. Но... — Он вздохнул. — Я ничего не мог с собой поделать. — Он зачесал пятерней волосы. — Боюсь, я не смогу объяснить.

— Все в порядке, — сказала я. — Я не знаю, откуда у тебя ко мне такое чувство, но...

— Что?

— Я хотела сказать — я рада, что ты это чувствуешь. Но в то же время... Ведь ты был бы сейчас жив, если бы не я и не «Наваждение».

— Да. Но... — Он закрыл глаза и снова открыл их. — Тогда у меня не было бы этого.

Он раскрыл ладони — так, как будто бы держит в них весь мир, хотя на самом деле они были пусты. Он словно призывал меня оглянуться по сторонам и увидеть, сколько всего оказалось бы у него в руках, если бы они были способны удерживать идеи, метафоры и многомерные здания.

— Почему ты видишь то же, что и я? — спросила я.

— Хм-м?

— Ты видишь то же, что вижу я. Ту же тропосферу. Я думала, это мое сознание.

— Так и есть. Твое.

— Тогда как же...

— Я умер у тебя в сознании.

— А. — Я почувствовала ту особую боль, что бывает только в тропосфере: она вонзилась тупым лезвием где-то глубоко внутри и теперь медленно раздирала меня на части. Нет, я не могу об этом думать. — А какой была твоя тропосфера?

— Почти такой же. Тоже город. Но только у меня там был день. И больше зелени. Но зато все стены были изрисованы граффити — у тебя хотя бы этой проблемы нет.

— Здесь тоже однажды был день, — сказала я. — Не знаю, куда он потом делся.

— Ничего. Мне нравится ночь. Романтично.

— Ага, например, тот луг и река, — сказала я. — Это было очень романтическое место. Но вряд ли его создало мое сознание. Так странно...

Он на секунду склонил голову набок. Думаю, мы оба знали, что произошло, когда мы занимались любовью у реки. Ведь его сознание — в моем.

— Хм, — сказал он. — Да-а... Оба наших сознания — одновременно. И все сознания в мире — с нами, здесь и сейчас. Мы могли бы сделать и увидеть все что угодно!

— Адам. — Я потянулась через стол к его руке. — Я хочу...

Но здесь это звучало как-то нелепо. Это не то место, где можно хотеть.

— Чего?

— Тебя. Понимаю, здесь говорить о желаниях глупо. Но как было бы хорошо, если бы мы остались там, на лугу...

— М-м. Почему бы нам туда не вернуться?

— Нет. Я в долгу перед Аполлоном Сминфеем. Если бы не он, меня бы уже не было в живых.

— Мы выполним его поручение, потом — поручение Луры, и тогда...

— Да.

И тогда.

— Ну, ладно. — Я допила кофе. — Пора.

Адам тоже допил остатки своего кофе, и вдруг его словно осенило:

— Мыши.

— Что?

— Почему бы нам не воспользоваться мышами?

— Зачем нам мыши? А... понимаю. Добраться до Эбби Лэтроп через мышей. Но на это ведь, наверное, уйдет куча времени. Ну, чтобы с помощью педезиса переместиться назад на сто лет, нам придется сменять континенты через каждые несколько прыжков. Ты же помнишь, что время в тропосфере равно расстоянию. Чем большее расстояние мы преодолеем в физическом мире, тем больший отрезок времени перепрыгнем.

Когда я произносила эту фразу, я почувствовала что-то вроде дежавю. Это выражение: «Время в тропосфере равно расстоянию». Я постоянно его слышу, постоянно произношу сама, но не знаю, что оно означает. Тропосфера создана из мыслей. Расстояние в тропосфере — это всего лишь расположенные в особом порядке мысли. Итак, что мне известно на сегодняшний день?

Расстояние = время.

Материя = мысль.

А что, если добавить и еще одно уравнение:

Мысль = время?

Да и вообще, похоже, мысль — это все. И это представляется вполне логичным: время ведь не измеряется ничем иным, кроме мысли. Единственное, что отделяет сегодня от вчера, — это мысль.

— Над чем ты задумалась? — спросил Адам.

Я рассмеялась. Он и так видел, о чем я думаю, — ведь он находился прямо посреди моих мыслей.

— Что?

— Расскажу по дороге, — сказала я.

— Постой. Мы ведь еще даже не знаем, куда идем.

— А, да. Ты прав. Ладно — скажи, ты понимаешь что-нибудь во всей этой истории с расстоянием?

— Да. Думаю, понимаю. Если я нахожусь у кого-то в голове и вижу всех предков этого человека или животного, я могу прыгнуть к любому из них. Если один из них живет в Норфолке, а я нахожусь в Кенте, за время прыжка я перемещусь назад во времени на пару недель. Но если один из них живет в Африке, а я в Кенте, меня может отбросить назад на пару лет.

— Правильно, — сказала я. — Тогда, возможно, для путешествия во времени нам стоит отыскать семью, которую сильно разбросало по миру?

— Ну, посмотри, что там есть, — сказал Адам.

И я стала смотреть. Я видела перед собой черное небо, которое повисло надо мной как что-то такое, на что я только что кликнула «мышью», и луна на нем торчала как большая командная кнопка на компьютерном мониторе. Но светила она все равно по-настоящему, окутывая улицу и стоящие на ней дома. Сразу под небом начинались серые жилые башни, которые, казалось, располагались по всей тропосфере — просто поднимались из земли и тянулись ввысь.

— На что я сейчас смотрю? — спросила я.

— На высотные башни, — сказал он. — В которых живут животные.

— С чего это животным жить в городских домах?

— Не знаю, это ведь твоя метафора.

— А, да. Наверное, мне просто не хотелось представлять их себе в виде магазинов. Люди — это магазины. Они имеют более непосредственное отношение к экономике, чем животные... — Я помотала головой. — Ох, нет, я не знаю.

— Ладно, давай найдем мышей.

— Но время?..

— Посмотрим, насколько далеко нам удастся прыгнуть, прежде чем мы наткнемся на лабораторную мышь, а оттуда будет уже рукой подать до Эбби Лэтроп, правильно?

— Не думаю, что все лабораторные мыши произошли от ее первой партии, — сказала я. — Не помню, что говорил об этом Аполлон Сминфей. Черт.

Дисплей?

Он появился.

— Ты тоже его видишь? — спросила я Адама.

— Да, — ответил он.

— Хм... Интересно, нельзя ли с помощью этой штуковины отправлять сообщения?

Но нам и не пришлось этого делать. Вдруг раздалось потрескивание небольшого моторчика, изо всех сил старающегося не заглухнуть, и из-за угла выехал красный мотороллер.

— Неплохой план, — сказал Аполлон Сминфей, слезая с мотороллера. — Мыши. Мне нравится.

— И с чего же нам начать?

— Я отведу вас к прямому потомку. Но это все, что я могу сделать.

Я хотела было поблагодарить его, но потом подумала, что ведь вообще-то стараюсь ради него.

Но, с другой стороны, я все-таки была перед ним в долгу.

— Спасибо, — сказала я.

Мы все направились в сторону какого-то офисного здания. Вход запирали кодовый замок с домофоном, но Аполлон Сминфей произнес что-то на своем непонятном языке, и дверь приветливо загудела, пропуская нас внутрь. Пока мы поднимались по лестнице, я пыталась составить план, но времени не хватало. Ясно только, что Адам прав. Аполлон Сминфей ведь как-то говорил, что все эти мыши родились от родственного спаривания, и,

значит, мы сможем добраться до Эбби Лэтроп «по прямой». Надо только... Аполлон Сминфей остановился у одной из дверей. Адам открыл ее.

«У вас есть одна возможность...»

У вас... Я... Мы быстро идем по голым деревянным доскам, и наши челюсти клацают на ходу. Похоже на звук вязальных спиц Луры, но только здесь он раздается в более просторном помещении.

— Адам? — говорю я.

— Да.

— Не думаю, что это лабораторная мышь.

— Да, это точно.

Я вдруг понимаю, что мышь слышит наши голоса — точнее, только мой голос, — и осознаю, что нам не следует друг с другом разговаривать. Мышь... У меня в голове какие-то звуки, надо попытаться от них убежать. Быстрее, вот по этой половице. Я уже несколько часов ничего не ела и помню, что, если побежать вон туда, а потом последовать за своим собственным запахом и пролезть через большую прореху в стене, наверняка удастся что-нибудь найти.

Дисплей!

Вот он. На нем — множество картинок. Большинство изображений движется, но одно стоит на месте.

— Давай выбирать будешь ты, — говорит Адам. — Я даже смотреть не стану.

— Хорошо. Только тс-с. Я не хочу спугнуть мышь.

— Ладно, извини!

Голоса, голоса. Я слышу кого-то, но никого не вижу. Помню, когда в прошлый раз я слышала такие голоса, за ними последовала боль. А потом я почувствовала руки у себя на спине, но одеты они были не во что-то гладкое и блестящее, и после этого настала темнота, страх, от которого выворачивает желудок, и вдруг — свобода: то, чего я никогда не знала раньше.

Этот новый голос немного похож на тот. Но все голоса означают опасность.

Я сосредотачиваюсь на том изображении на дисплее, которое не движется. Что-то мне подсказывает, что это, возможно, лабораторное животное. Мышь, в чьей голове мы сейчас, освободили. Я понимаю это из ее воспоминаний. Но...

Мы переключаемся. И...

«У вас есть одна возможность».

У вас... Вдалеке слышен какой-то глухой звук.

«Нет! — это кричит Адам. — Эриел, нет...»

Но я его не слышу, потому что и сама тоже кричу. Впрочем, я и собственного крика толком не слышу, потому что меня пронзает такая боль, что, кроме нее, я почти ничего не в силах осознать. Я хочу умереть... Я не знаю, что такое смерть, но какая-то часть моего сознания знает, что это, и понимает, что я должна иметь возможность двигаться, и что у меня в глазах не должно быть металлических штырей, и что, если бы их там не было, мне было бы не так больно, и может быть, я бы могла видеть. Что значит видеть? Мир — это черная плита, и я никогда не знала ничего другого. Каждый день я прилагаю усилие, чтобы втянуть в легкие воздух, и вот в этом-то и заключается вся моя жизнь — в попытках дышать...

— Прыгай дальше, — говорит Адам. — О боже...

Мне еще никогда в жизни не было так больно.

Дисплей все еще здесь, но он едва различим.

Кажется, у меня нет ног. Думаю, я никогда в жизни не ходила.

Вокруг чернота. Я выбираю картинку на дисплее — первую попавшуюся.

«У вас есть одна возможность».

У вас... Я... Мы стоим у входа в лабиринт. Новый мир! Как здорово. Может быть, мы наконец-то нашли выход? Я уже ходила по этому коридору. И по этому тоже. Я чувствую, что в конце этого коридора есть еда. Опять то же самое, ну да ничего, главное, что благодаря этому я живу и продолжаю заниматься своим делом. Я прошла только половину незнакомого коридора, а рука в перчатке уже поднимает меня, и прикосновение ткани к моей шерсти пахнет так же, как стены этого мира, — всю мою жизнь этот запах меня утешал. Меня снова ставят на ноги, и они касаются травы. А где моя награда? Это неправильный ящик! Где опилки? Тут пахнет не так, как в моем ящике. На земле — те же символы (теперь я могу их прочитать, там написано: «Счастливый коврик ТМ»), но что-то тут совсем не так. Страх пронзает меня подобно иглам, которые в меня каждый день втыкают те, кто обо мне заботится. Мои братья и сестры лежат вокруг, но почему-то не пытаются со мной подраться или забраться мне на спину. И пахнут они как-то по-новому. Я подхожу поближе и смотрю на них. Тыкаюсь в одного из них носом: он холодный. Они все просто лежат тут, как мокрые тряпочки, которые те, кто о нас заботится, иногда оставляют в ящиках, закончив оттирать запах. Я подхожу еще к нескольким и нюхаю их... Что-то с ними не так. Они... Ой! Отпусти! Меня хватает еще одна рука в перчатке, но на этот раз нежной ее никак не назовешь.

— Эриел!

— Извини.

Мы прыгаем.

«У вас есть одна возможность».

У вас... Я... Нам снова делают укол. Я не знаю, что хуже: то, как холодная острая игла входит мне в тело, или то, как она оттуда выходит. Когда ее втыкают, мне хочется, чтобы ее вынули, но когда вынимают, у меня кружится голова, я не могу построить нормальное гнездо и... и мне вообще наплевать, что там будет с этим моим гнездом. Я чувствую, как у меня по ногам стекает что-то теплое и мокрое. И просто хочу спать. Мое гнездо пахнет теперь чем-то кислым, но мне нужно поспать. Надо бы вылизать себя дочиста, но что-то мне лень.

«У вас есть одна возможность».

У вас... Я... Нечем дышать, здесь все в дыму. И еще я не могу повернуть головы.

«У вас есть одна возможность».

У вас... Я... Мы летим по воздуху и с неловким шлепком приземляемся, а потом снова летим. Мой друг тоже летит, и еще одна мышь, которой я раньше не видела, и вокруг нас — люди, они смеются. Хотя я не понимаю этого языка, какая-то часть моего сознания слышит, как те, кто обо мне заботится, говорят: «Прекрати жонглировать мышами, Уэсли!» У меня кружится голова, я мечтаю о своем ящике.

«У вас есть одна возможность».

У вас... Я... Мы не понимаем, почему все время происходит одно и то же. Я каждый раз строю гнездо так, как мне нравится (как меня научила мать), а потом обнаруживаю, что его нет. Эта рука все время его забирает. А потом дает мне еще немного строительного материала, и я снова принимаюсь за работу. Каждую ночь я сплю на голой траве, несмотря на то что понастроила здесь уже столько гнезд...

«У вас есть одна возможность».

У вас... Я... Ну невозможно же спать, когда все время горит свет!

«У вас есть одна возможность».

У вас... Я... Мы...

«У вас есть одна возможность».
У вас... Я...

«У вас есть одна возможность».
У вас...

«У вас есть одна...» «У вас есть...»
«У вас...»
«У вас...»
«У вас...»
«У вас...»
«У вас...»

Мы прыгаем уже с такой скоростью, что это похоже на стремительное путешествие, описанное мистером У. Для такого педезиса требуется большая концентрация, хотя ужасно трудно сосредоточиться, когда летишь на волне боли, страха, унижения — и испытываешь неотступное желание просто оказаться в теплом, спокойном гнезде. Это волна смерти, волна мертвых черных и белых тел, волна рук в перчатках, костлявых пальцев, боли от иглы и от опухолей, слепоты, попыток слизнуть собственную кровь, когда она все еще льется из тебя, переломанных ног и хребта, с которыми тебя бросают в кучу таких же переломанных тел, а ты лежишь и думаешь, что потом наверняка дадут еду и те, кто о тебе заботится, отнесут тебя в твой ящик, как они делают всегда после того, как происходит что-нибудь плохое.

Пока я летаю из сознания в сознание, Адам пытается разглядеть подробности.

В большинстве лабораторий на стенах висят календари.

А еще я замечая, что чем дальше в прошлое мы перемещаемся, тем более тусклым становится освещение и более тесными — ящики для мышей. Больше никаких «Счастливых ковриков ТМ». Мы слышим вой сирен и взрывы и проносимся сквозь лаборатории, в которых пахнет металлом и порохом. Но каждый крошечный прыжок сопровождается новой, незнакомая боль. К 1908 году я успеваю пролить тысячи пинт крови, а еще меня рвало, я мочилась под себя, я засыпала в собственном дерьме, и все это время — каждую секунду этого времени — мне хотелось только одного: забраться в свое гнездышко, потому что мне с самого рождения откуда-то известно, что в гнезде хорошо и уютно, но отчего-то моя жизнь сложилась не так и в ней всегда что-нибудь неправильно. У меня либо совсем нет гнезда, либо у меня его отнимают, либо оно обнесено стеклянными стенами, а я ведь прекрасно помню, что их там быть не должно.

Мы замедляем ход, когда календари начинают показывать 1907, 1906, 1905...

И вот наконец она. Она поднимает нашего друга из коробки, полной опилок.

Черная мышь, которую она держит в руках, начинает размываться.

И мы прыгаем. Всё, мы на месте.

Глава двадцать седьмая

У ВАС ЕСТЬ ОДНА ВОЗМОЖНОСТЬ.

У вас... Я... Мы достаем одну из лучших мышей — одну из черных, — и я собираюсь посадить ее в коробку, тоже с опилками, и отнести на встречу с учеными. Я улыбаюсь этой мысли. Они осмотрят мою мышь, определят ее стоимость. У меня деловая встреча! Правда, встреча по поводу мыши... Какой очаровательный повод. Так и представляю себе своего мышонка в маленьком смокинге и себя саму в... О! Что мне надеть? Боже... Наверное, свою самую нарядную строгую юбку и, может быть, черную шаль? Правда, не хотелось бы быть похожей на вдову в трауре. Наверное, лучше зеленую.

Мышонок — как маленькая машина: перебегает с моей правой ладони на левую и потом снова на правую, пока я вращаю их наподобие коленвала. Или, может, неправильно

сравнивать это движение с движением коленвала? Ох, мамочки. Мне никогда не удавалось подобрать удачное сравнение. Вообще-то я бы скорее сравнила это движение с тем, как работает швейная машина, только не могу понять, мышь — это иголка или нитка? Впрочем, как бы то ни было, строчку эта машинка не прошивает. Скорее нашивает один стежок поверх другого — снова и снова. В моем сознании вдруг мелькают какие-то незнакомые картинки. Сначала что-то вроде семейного древа, потом — белое пространство со стеклянными коробками. Я вздыхаю. Раньше мне нравилось вот так прикасаться к мышам — их быстрые движения казались мне восхитительными. Но теперь это — как и почти все в жизни — стало меня утомлять и навевать тоску. Даже этот запах теперь как-то давит на меня — спертый воздух, в котором смешались запахи сырой стружки, испражнений животных и дешевой древесины. Ох! И опять эта дрожь за грудиной.

Ничего. Доктор сказал...

Мама сказала бы... Она бы сказала, что все из-за этого воздуха.

Мышонок трепещет на колесе из моих рук, а я меняю тему размышлений и теперь дословно вспоминаю письмо от ученого. Как же я разволновалась, когда пришел ответ! Но теперь это уже, конечно, не такое яркое ощущение — оно померкло, как и все в жизни. Я была школьной учительницей, которой хотелось чего-то большего. Теперь я дрессирую мышей, но снова хочу чего-то большего.

Хочу замок, хочу принца.

Платье из белого шелка. Ленты.

Но мне ведь уже не пятнадцать.

Тогда... Может, лучше голубую. Да. Голубую шаль.

Мышонок впивается мне в руку своими коготками, и я вздрагиваю от боли. Безмозглое животное. Отправляйся обратно в коробку, негодник. Раньше я разговаривала с животными — с курами, которых разводила когда-то, с вальсирующими мышами. Но потом я узнала, что вальсирующие мыши ничего не слышат (собственно, поэтому они и вальсируют), и к тому же если бы животные хотели, чтобы мы с ними говорили, они бы, наверное, нам отвечали? Если бы Господь Бог пожелал, чтобы мы общались с Его тварями, Он бы наверняка наделил их способностью поддерживать беседу.

Один мой знакомый, доктор Дункан Макдугал, готовит очень важный эксперимент. Он рассказал мне, что надеется заручиться поддержкой Массачусетской клиники, чтобы ему позволялось взвешивать пациентов до и после смерти — и таким образом определить массу их души. Он собирается соорудить особую кровать-весы, на которую можно будет укладывать пациентов и взвешивать их... Потом он проделает то же самое с собаками (собак он будет убивать, а с пациентами-людьми ему, думаю, придется дожидаться их естественной смерти). Я предложила ему своих мышей, но он пока не определился, станет делать мне заказ или нет.

Но эти ученые... Такой изысканный язык...

Так все-таки голубая или зеленая? Эбби, ну решайся же наконец.

Интересно, у всех людей душа весит одинаково или у одних больше, а у других меньше? Я спросила об этом у доктора Макдугала, и он сказал, что, вероятно, все души весят одинаково, но его эксперимент поможет окончательно разобраться в этом вопросе.

Я представляю себя саму лежащей на такой вот больничной кровати-весах в ожидании собственной смерти.

А потом вдруг слышу у себя в голове голос: «Мисс Эбби Лэтроп!»

Пауза — и тот же голос говорит: «Тс-с! Она тебя не слышит, забыл?»

Ой... Как странно. Я закрываю коробку. Пожалуй, присяду на минутку.

Нет! Я больше не позволю этим голосам мною управлять. Мама немедленно потащила бы меня в церковь, но вряд ли я решусь пройти через это еще раз. Может, если просто занять себя чем-нибудь... Да, мамино лекарство от всех бед: не сиди без дела! Или, еще лучше: не сиди без дела и ступай на свежий воздух! Подсыплю мышонку побольше опилок, сделаю его похожим на дорогую шоколадную конфету — и НЕ БУДУ поддаваться разным там

фантазиям.

Я бросаю взгляд на номер 57. Он будет следующим, если эта затея с учеными сработает.

Но... Пожалуйста, помолчи! О...

Какое странное чувство — быть одновременно собой и Эбби Лэтроп. Когда я — это Эбби Лэтроп, я слышу только свой собственный голос. Когда я — это я сама, я слышу и голос Адама тоже.

— Эриел, — снова говорит он.

Мое существо и существо Эбби Лэтроп сейчас так плотно сплелись друг с другом, что уже трудно различить, где заканчиваюсь я и начинается она. И все же я продолжаю говорить ей о том, какая она никчемная дура, и теперь она бежит по сараю, схватившись за голову и выкрикивая: «Демоны! Убирайтесь! Вон отсюда!»

— Ты не слишком с ней церемонишься, — говорит мне Адам.

— Знаю, — говорю я. — У меня такое чувство, как будто я нападаю на себя саму! Отпусти мышей! — командую я у нее в голове. — Всех до единой!

Она принимается думать о своих источниках дохода, и о холодной зиме, и об изящном почерке, которым написано письмо от ученых, и о том, что теперь у нее нет повода для встречи с доктором Макдугалом, и...

— Отпусти мышей! — говорю я ей. — И ты больше никогда не будешь слышать голосов.

И тогда Эбби Лэтроп встает и дрожащей рукой отодвигает деревянные засовы на всех клетках.

Может, и надо было сделать это как-то поизящнее, но главное, что все получилось.

Дисплей все еще включен. Я смотрю на кнопку с надписью «Выход», и мы снова оказываемся в тропосфере. Мы немедленно бросаемся обниматься и знаем, что нам нет никакой необходимости рассказывать друг другу о том, что только что произошло. У меня словно гора свалилась с плеч: я больше ничего не должна Аполлону Сминфею. Но тяжесть того, что я знаю теперь о страданиях, превращает эту упавшую с плеч гору в крошечную пылинку, которую я стряхнула с рукава. И я все равно чувствую, как кто-то не дает мне покоя — на этот раз, конечно, не Аполлон Сминфей. Какой-то другой долг пришел на смену первому, хотя я пока не очень понимаю, какой именно.

Тропосфера выглядит так же, как и всегда, если не считать того, что теперь, когда я включаю на дисплее карту, видно, что мы находимся в тысячах миль от того места, из которого стартовали. И еще карта выглядит теперь по-другому, и я знаю, что с ней не так: на ней тут и там стоят отметки в виде желтых кружочков — и они наверняка означают станции метрополитена. Карта показывает, как я могла бы выбраться отсюда, если бы это было то, чего я хочу.

Нам нужно перенестись в начало 1890-х, чтобы найти Люмаса, а мы ведь уже в 1900-м. Мы перебираемся из Массачусетса в Нью-Йорк через коммивояжера и затем находим редактора газеты, чей дедушка живет в Англии. Из его сознания уже рукой подать до 1894-го — следующего после публикации «Наваждения» года. Дальнейшие прыжки мы совершаем почти без заминок. Для начала покрываем большую часть времени, а потом в последний раз преодолеваем расстояние, медленно продвигаясь по Лондону до тех пор, пока не оказываемся у входа в издательство Люмаса. И человеком, в чьем сознании мы оказываемся, становится мистер Генри Беллингтон, двадцати трех лет от роду. С толстым манускриптом под мышкой.

Мы условились не разговаривать, пока находимся в сознании других людей, поэтому мне остается самостоятельно составлять впечатления о вещах, которые меня окружают. Больше всего в викторианском Лондоне меня поражает удивительная тишина. Но мистер Беллингтон не согласен. Его этот город подавляет и наводит тоску — своими попрошайками

и ворами и густым черным дымом. Просто он не привык к миру воздушного транспорта, автомобильных двигателей, мобильных телефонов и непрекращающегося монотонного гудения электричества где-то на заднем плане.

Веллингтона проводят в издательство.

И вот: всего два прыжка — и мы уже в сознании редактора Люмаса.

Мне нужен лишь его адрес. Может, он есть у меня в памяти? Да, есть.

Теперь — прочь из здания: через голубя, сидящего на оконном карнизе, оттуда — в экипаж, где сидит молодой банкир, а потом начинается улица Стрэнд, и мы выходим из кэба. А отсюда я просто потихоньку перескакиваю от одного человека к другому, пока не оказываюсь наконец у входа в дом Люмаса. Вот только люди, в чье сознание я запрыгиваю, не желают здесь останавливаться, и, прыгнув несколько раз лишь затем, чтобы стоять на месте, я выбираю на дисплее «Выход» и снова оказываюсь в тропосфере — вместе с Адамом.

— Классно получилось, — сказал он.

Я оглянулась по сторонам. Мое сознание обошлось с этой частью тропосферы странно — и довольно небрежно. Хотя по-прежнему казалось, что мы находимся в каком-то футуристическом городе, этот район похож скорее на съемочную площадку голливудского фильма, в котором нужно быстренько изобразить Лондон 1890-х. Кажется, что регуляторы громкости выкрутили здесь до предела. Брошенные экипажи валялись повсюду точь-в-точь как в берлемовской версии тропосферы, но у меня они выглядели так, будто бы их набросали схематично — мне вроде бы и хотелось, чтобы они здесь были, но в то же время я не очень хорошо представляла, как они выглядят. Над улицей висел диккенсовский туман — правда, Диккенса я толком не читала, поэтому и туман у меня тут был какой-то неуверенный и накрывал улицу вполсилы, словно никак не мог определиться с тем, что он на самом деле такое — просто туман или угольная пыль вперемешку с дымом из лондонских труб. А еще здесь стоял, прислоненный к ограде из кованого железа, старинный велосипед.

Мощенная булыжником улица, все постройки — из красного кирпича. Много магазинов, и у всех — аляповато оформленные фасады. По одну сторону улицы магазины казались мне более знакомыми, чем по другую. Среди множества прочих построек я увидела заведение под названием «Музыкальный банк», а также вегетарианский ресторан. Все эти места были мне знакомы: они — из рассказов и романов, которые я читала. Правда, «Музыкального банка» в Лондоне быть не должно, он из «Эдгина». Но зато вегетарианский ресторан — из «Союза рыжих» Конан Дойла. По другую сторону улицы находились магазинчики с не менее вычурно оформленными вывесками, но они были мне незнакомы. Тут тебе и скобяная лавка, и ювелирная, и банк, и табачный магазин, и книжный. Чуть дальше на вымышленной стороне улицы обнаружился паб, который мерцал на дисплее точно так же, как жилища Аполлона Сминфея, а еще — самые разные кофейни. До этого я никогда еще не встречала в тропосфере пабов.

Я указала на него Адаму.

— Может, сделаем перерыв, прежде чем отправиться к Люмасу? — спросила я.

Он пожал плечами:

— Давай.

Вообще-то я медлила неспроста, и, думаю, он понимал, в чем причина. Стоит мне убедить Люмаса не писать «Наваждение», как все изменится раз и навсегда. Поэтому я даже не уверена в том, что хочу заставлять Люмаса передумать.

Внутри паб ничем не отличался от тех подвальчиков, в которых я пила в студенческие годы, и даже от заведений, в которые ходила по воскресеньям, когда жила в Лондоне. Он был оформлен в зеленом и коричневом бутылочных тонах, и через весь паб тянулся изогнутый деревянный прилавок и плюшевые зеленые табуреты. Все детали оформления казались мне знакомыми, если не считать того, что вместо электрических ламп висели масляные лампы и столы были тщательнее отполированы. За прилавком — никого, посетителей — тоже, но на одном из столов стояли недопитые бокалы, а еще лежал спичечный коробок, колода игральных карт и как будто бы какая-то рукопись. К чему бы

здесь все это?

Мы с Адамом уселись за столик в углу.

— Если мы подумаем об алкоголе, думаешь, он появится? — спросил Адам.

— Давай попробуем.

Через несколько минут перед нами стояла маленькая стеклянная бутылка с водкой и две рюмки.

— Это ты подумала о водке? — спросил Адам.

— Да. А ты?

— Да. Это мое успокоительное.

Я рассмеялась:

— Мое — тоже. А я думала, ты выберешь причастное вино.

— Нет. Я уже давно открыл для себя водку. Это единственный напиток, который не пил мой отец, поэтому мне кажется, что в нем есть нечто особенное.

— Аа-а. — Я кивнула.

— Я открою, — сказал он и взял бутылку. — Ух ты, холодная!

— Отлично.

Он налил нам обоим по рюмке. Когда я поднесла свою к губам, то почувствовала запах бизоновой травы — мой любимый сорт. Я опрокинула рюмку залпом, стараясь запить мышей, запить то, что случилось с Адамом, и больше всего — свою ответственность за то, что я оказалась здесь, и за то, что могу менять вещи. Правда, я не уверена, что от тропосферного алкоголя можно опьянеть. И все-таки я почувствовала себя немного спокойнее. Я налила себе еще рюмку и медленно пила, пока Адам не спеша наслаждался первой.

— Невыносимо, — сказала я.

— Эриел? — Адам протянул ко мне руку. — Что такое?

— Мыши... То, что мы сделали для этих мышей. Мы должны сделать это для всех остальных тоже. Ведь мы можем предотвратить холокост. Можем отменить изобретение атомной бомбы. Можем...

— Эриел.

— Что?

— Мы не вправе редактировать мир. Мы не можем просто так взять и переписать его заново, как будто бы это черновик книги, которой мы недовольны.

— Почему?

— Ну, а разве ты здесь не для того, чтобы сделать такую редактуру невозможной? Лура и Берлем отправили тебя сюда для того, чтобы ты уничтожила книгу, и у людей даже мысли такой не появлялось — что-нибудь менять. Это очень важно. Очень важно, что люди не вправе менять историю.

— Я знаю. Вот поэтому-то я и не уверена, что хочу изменить сознание Люмаса, — сказала я, глотнув еще немного водки. Удивительно, но она действовала, и притворное чувство тропосферы усиливалось по мере того, как я пила. — Ну вот скажи мне, кто дал мне право считать себя Богом? Не мне решать такие вещи. Но раз уж меня поставили в такое положение и я все-таки что-то решаю, я хочу пойти и стереть Гитлера.

— Но ты ведь знаешь, что этого делать нельзя.

— Разве?

— Да. Ну, ты сама подумай. Будь на твоём месте Гитлер, он бы стер что-нибудь еще. Будь на твоём месте Папа Римский, он бы отредактировал мир по-своему. И вот тебе выпала честь прикрыть лазейку, благодаря которой такая редакция вообще возможна.

— Ну а если я убеждена в том, что права?

— Да брось ты! Я-то знаю твоё сознание. Ты никогда не бываешь убеждена в том, что права.

— Гитлер полагал, что он прав, — сказала я. — Но ведь все считают, что это не так.

— Конечно же, он не был прав, — сказал Адам. — Я же не говорю, что все точки

зрения одинаково достойны...

— Моральный релятивизм, — сказала я. — Ловушка.

— Да, но все равно ты должна понимать, что не тебе решать. Мы не можем решать. Это не нашего ума дело. История сама о себе позаботится — что бы мы ни делали. Ведь, стерев Гитлера, мы могли бы открыть дорогу кому-нибудь похуже. Я и сейчас не уверен, что то, что мы сделали, в действительности что-нибудь изменит. Эбби Лэтроп могла решить завести себе еще немного мышей. А если не она, то кто-нибудь другой. Мы помогли этим мышам, но не всем мышам на свете.

Я выпила еще водки.

— Я рада, что ты здесь, — сказала я. И тут же осеклась. — В смысле, со мной. Тому, как ты сюда попал, я, конечно, совсем не рада.

Я поставила рюмку на стол.

— Адам?

— Что?

— Как ты думаешь, что произойдет с тропосферой после того, как я побываю в сознании у Люмаса и заставлю его не писать книгу?

— Не знаю.

— Я не хочу, чтобы ты исчезал.

— Даже если я исчезну, наша встреча того стоит.

— Правда?

— Да. Так, а теперь надо бы поспешить и сделать это как можно скорее. Тебе ведь еще нужно вернуться обратно.

Я ничего не сказала.

— Эриел?

— Да, я знаю. Просто хотела... — Я встала из-за стола.

— Куда ты?

— Нет-нет, никуда, я сейчас.

Я подошла к соседнему столику и взглянула на рукопись, которая на нем лежала. Как я и думала, заголовок на обложке был написан от руки, и это было «Наваждение». Я развернулась и направилась к выходу, Адам пошел за мной.

— Ты тоже пойдешь? — спросила я.

— Конечно, — ответил он.

Хорошо, подумала я. Так меньше вероятности, что он исчезнет, как только я сделаю то, что должна сделать.

Мы прошли вниз по улице и остановились у книжной лавки. Я заглянула в витрину. Там стояли разные романы Сэмюэла Батлера, а также «Зоономия». Не было сомнений в том, кто находится за этой дверью — оставалось всего лишь ее открыть. Раздумывать больше нельзя. Я уже здесь и знаю, что не передумаю, поэтому почему бы не сделать это прямо сейчас? Я поцеловала Адама, подошла к двери, открыла ее — и вошла внутрь.

«У вас есть одна возможность».

У вас... Я... Мы сидим за старым письменным столом в комнате со сквозняком и, как обычно, пишем. Эта книга... Я должен ее написать, должен ее закончить. Разве могут люди, которые не пишут книг, понять, что это значит — писать? В начале я вывел мистера У достойнейшим персонажем, а теперь мне нужно вертеть им до тех пор, пока он не опустится до самого дна. И тогда я перестану им вертеть и положу его, мертвого, обратно в ящик с игрушками. Ах, до чего жестокий бог мог бы из меня получиться! Может, оставить его в живых? Нет, Том, не будь смешон. Оставить его в живых — значит нарушить все законы трагедии, и даже хуже: оставить его в живых — значит погрешить против правды. Итак, мистер У умрет — и умрет от моей руки. И тогда... И тогда.

Моя рука дрожит, когда я думаю об этом. И тогда, конечно, я и сам должен умереть.

Я со всей серьезностью поклялся себе в том, что воздержусь от посещений тропосферы

до тех пор, пока не окончу книгу. А когда все-таки туда попаду, в физический мир больше не вернусь. Все равно этот кашель скоро меня доконает, я прекрасно понял все, что сказал мне доктор. И к тому же я хочу освободиться наконец от правой ноги и этих своих глаз. Конечно, я обречен страдать еще и от жестокого безденежья, а кроме того, уже много лет знаю, что больше никогда не испытаю радостей секса. Да когда же кончится эта чертова книга! Каждый раз, окуная перо в склянку с чернилами (шестую за этот месяц), я думаю, что, может, она окажется наконец последней — или, может быть, это перо станет последним, которое я испишу. И если что-нибудь из них действительно станет последним, то что мне с ними потом делать — сохранить как музейную ценность или сжечь? Я нынче одержим концовками — придумываю одновременно концовку книги и концовку собственной жизни. Ну вот, хотя бы название теперь у меня есть. Надо, наверное, им удовольствоваться. В «Наваждении» есть приятная двусмысленность, хотя я убежден, что большинству обозревателей не хватит смекалки, чтобы вообще увидеть здесь смысл, и если рецензии на книгу и появятся, то наверняка сводиться все они будут к той ужасной истории с Дарвином.

Я совершенно измотан. И масло в лампе пахнет ядом.

Может, просто взять и бросить книгу в огонь?

Что же это я такое думаю?

Я слышу, как за окном цокают по мостовой подковы: мужчины помоложе меня направляются в клубы, чтобы провести вечер в увеселениях и общении с бл...ми. Но моя цель куда величественнее. Вот только как же тут холодно, и уголь почти закончился.

Признаю: когда я начинал это долгое, тяжелое повествование, я искал отмщенья. Мне хотелось, чтобы каждый человек получил знание, которое было дано мне. Потому что я и есть тот самый мистер Y — по крайней мере, на духовном уровне, если не в конкретных деталях. Я тоже отдал все деньги, какие имел, за то, чтобы еще раз попробовать это снадобье, которое с тех пор стало моей самой требовательной возлюбленной. У человека, который продал мне его, не останется ничего ценного, как только я закончу эту книгу. Во всяком случае, именно это я скажу издателям. Возможно, это придаст роману весу, хотя настоящую правду буду знать лишь я один.

А потом я покончу с собой — сразу же после того, как покончу с мистером Y.

Что-то в моих воспоминаниях дергает меня за рукав. Но я не стану об этом думать.

И... О чем это я думаю? Не будет ли меня мучить совесть? Не собираюсь ли я — теперь, когда роман почти на семь восьмых готов, — подумать о том, какие последствия может повлечь за собой его публикация? Ох, пошли они прахом, эти ночи самокопания. Однако теперь, когда я вижу, как повествование оформляется на бумаге, я и в самом деле задумываюсь — а что, если все решат испробовать рецепт? И сколько людей умрет ради того, чтобы я добрался до концовки? И... Нет! Это совершенно безумная мысль. Но от нее все равно никуда не деться. Что, если люди, которые прочитают мою книгу, не только обнаружат тропосферу, но еще и придумают способ ее изменять?

Я сожгу книгу.

Нет! Нет... Только не это. Моя книга.

Мои руки словно уже и не мои: они хватают рукопись, которая для меня важнее всего в этой жизни, и я становлюсь их невольным помощником — вырывая страницы из тетради, руки швыряют их в огонь. Тепло от них надолго не задерживается, но зато как ярко разгорается пламя, когда все двести страниц потрескивают у меня в очаге. Огню нет дела до того, где чернила, а где пустое пространство. Книги больше нет.

Что я наделал?

Что я наделал?

Я падаю на колени и плачу.

Выход.

В тропосфере тем временем пошел дождь.

— Мне бы так хотелось побыть с ним подольше, — сказала я Адаму.

— Нет. Посмотри на погоду. Тебе пора на станцию.

Ночное небо выглядело каким-то размазанным — как лобовое стекло, за которым одновременно творятся ночь и дождь.

Адам вызвал дисплей.

— Прямо за этим углом есть станция, — сказал он. — Быстрее!

— Адам, — окликнула я его поспешно удаляющуюся спину.

— Эриел, бегом!

— Адам.

Он обернулся, по лицу его стекала вода.

— Что?

— Я не поеду.

— Эриел...

— Ты меня не переубедишь. Я не хочу возвращаться.

— Но там у тебя жизнь, ты должна ее прожить. Ты же слышала, что сказала Лура: у тебя есть все возможности стать тем мыслителем, который сможет изменить мир. Ты можешь стать новым Деррида или... да кем хочешь!

— Я прекрасно знаю, чего хочу.

— Я всегда буду здесь. Всегда буду в твоих снах, — сказал он.

Дождь скакал по тротуару, как слезы по столу.

— Этого недостаточно, — сказала я. — Этого ни с какой стороны не достаточно, как ни посмотри.

В небе раздался раскат грома. Думаю, это означало, что мне конец.

— Эриел!

Адаму приходилось кричать — таким сильным стал дождь. Молния освещала небо, разрывая его на части, чтобы выпустить на волю еще больше дождя и темноты. Я почти ничего не видела, но чувствовала руки Адама у себя на плечах. Чувствовала, как он прижимает меня к стене и целует, целует.

— Ты должна уйти! — снова крикнул он.

— Не останавливайся, — попросила я. — Я хочу заниматься с тобой любовью, когда все будет кончено.

Он отпустил меня. Ничего не происходило — только дождь лил с небес.

— Адам, прошу тебя, — сказала я. — Там я не найду того, что мне нужно, я это знаю. И к тому же я понимаю, что это проклятие. Но мне необходимо знание, которое я смогу найти здесь. Я хочу дойти до самого конца вместе с тобой. Хочу, чтобы мы шли назад до тех пор, пока не найдем край тропосферы. Хочу узнать, как все это началось и что такое сознание. Я остаюсь.

Вымышленное небо содрогнулось от нового удара грома, и, когда мы с Адамом опустились на землю, одежда наша сама собой растаяла. Но я чувствовала дождь у себя на лице и на волосах. На этот раз я чувствовала дождь.

И на этот раз, когда Адам вошел в меня, я потеряла сознание.

А когда очнулась, светило солнце.

ЭПИЛОГ

Невозможно определить, сколько времени нам понадобилось, чтобы дойти до края. Времени больше нет. Мы разбили здесь лагерь несколько дней назад — похоже, это и есть край сознания, и мы не знаем, что делать дальше. Мы как будто стоим на краю скалы, а сразу за скалой — обрыв, и я никогда еще не видела скалы настолько узкой.

Это не похоже на край — скорее на середину.

И все-таки это край. К нему можно подойти, и даже кажется, что можно взглянуть с него вниз — но нет, нельзя. Там находится что-то вроде электрической ограды — волнистая

линия, которая потрескивает вокруг всего.

Мы занимались любовью здесь, на краю сознания. Мы делали это тысячи раз. И еще мы рассказали друг другу все, что знаем. Иногда нам кажется, что на самом деле мы — на вершине настоящей скалы, и под ней, возможно, есть море, и под ногами у нас песок, и вокруг растут маленькие полевые цветы. Но бывает и такое, что нам кажется, будто мы застряли тут, на этом острове булавки, и пустота вовсе не под нами, а вокруг нас, повсюду, и невозможно повернуть назад, потому что там, позади, тоже ничего нет. Ни позади, ни впереди, ни вверху, ни внизу.

Сегодня мы решили (хотя это место — один сплошной день), что нужно все-таки сделать выбор: проблема в том, что, когда добираешься до самого конца, дисплей, похоже, ломается, появляются помехи и голос произносит сквозь треск: «У вас есть бесконечная возможность». И когда мы это слышим, мы закрываем дисплей, потому что не можем выбрать себе бесконечную возможность.

Перед нами нечто такое, чего не видел еще никто до нас.

«У вас есть бесконечная возможность».

Мы обошли уже всю тропосферу — нам пришлось это сделать, чтобы попасть сюда.

Поэтому, взглянув друг на друга, мы беремся за руки и идем в сторону этой возможности.

И сегодня, вчера или в любой другой подходящий момент мы проходим сквозь нее.

Я думала, что мы упадем (и надеялась почувствовать пустоту).

«У вас есть бесконечная возможность».

Но мы продолжаем идти все равно. И можно ничего не говорить.

И все возможности — здесь, передо мной. Все до единой.

Но входим мы не куда-нибудь, а в сад. Я никогда раньше не видела такого прекрасного сада и никогда не видела, чтобы в саду было столько деревьев и чтобы так чудесно сверкала река, протекая по самому его краю. Думаю, это вполне логично — что сознание зародилось именно в саду, ведь, в конце концов, оно развивается из растений. Я смотрю на Адама, но больше не могу говорить. Я даже не уверена, могу ли еще думать. А у самой реки стоит дерево, и мы идем к нему.

И тогда я понимаю.

